ISSN 0130–6545

6.1993 ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

РОБЕР МЕРЛЬ
Мадрапур

Г. КРУЖКОВ
Любите «TLS» — источник знаний!

ГУННАР ЭКЕЛЁФ
Из книги «Диван о князе Эмгиона»

МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Л. А. ЖМЫРЕВ — коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ,
Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

6 ИЮНЬ 1993

СОДЕРЖАНИЕ

РОБЕР МЕРЛЬ — Мадрапур *(Роман. Перевод с французского Мориса Ваксмахера)* 5

ГУННАР ЭКЕЛЁФ — Из книги «Диван о князе Эмгиона» *(Перевод со шведского и вступление Алексея Парина)* . . . 188

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ — Рассказы *(Перевод с польского Н. Вертячих и Л. Бухова)* . . . 194

ДЭВИД МЭНИКОМ — Стихи *(Перевод с английского А. Кудрявицкого, Беллы Ахмадулиной)* 203

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ — Европа и мы . 205

Вера и мораль

ИМАМ АЛИ ИБН-АБИ-ТАЛИБ — Завет имама Али его сыну аль-Хасану *(Вступительная статья и перевод с арабского Александра Игнатенко)* 213

Критика

Литературная пресса мира

«The Times Literary Supplement»

Г. КРУЖКОВ — Любите «TLS» — источник знаний. МАРК ЛИЛЛА — Маркс и убийство. РИЧАРД ДЖ. ЭВАНС — Неудавшийся взрыв *(Перевод с английского Г. Дашевского)* . . . 221

Трибуна переводчика

ЛОРИН ЛЕЙТОН — Два мира — одно искусство *(Перевод с английского И. Тогоевой)*. Комментарии В. ГОЛЫШЕВА, И. БЕРНШТЕЙН, В. ХАРИТОНОВА . . 232

Наши интервью

НИКОЛАЙ МОРОЗОВ — Мирча Динеску: «Когда-то я был поэтом...» . 242

К нашим иллюстрациям

ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА — Маргит Ковач: свет, исходящий от огня 246

У книжной витрины . 248

Курьер «ИЛ» 251

Авторы этого номера . 255

© «Иностранная литература», 1993

В следующем номере «ИЛ»

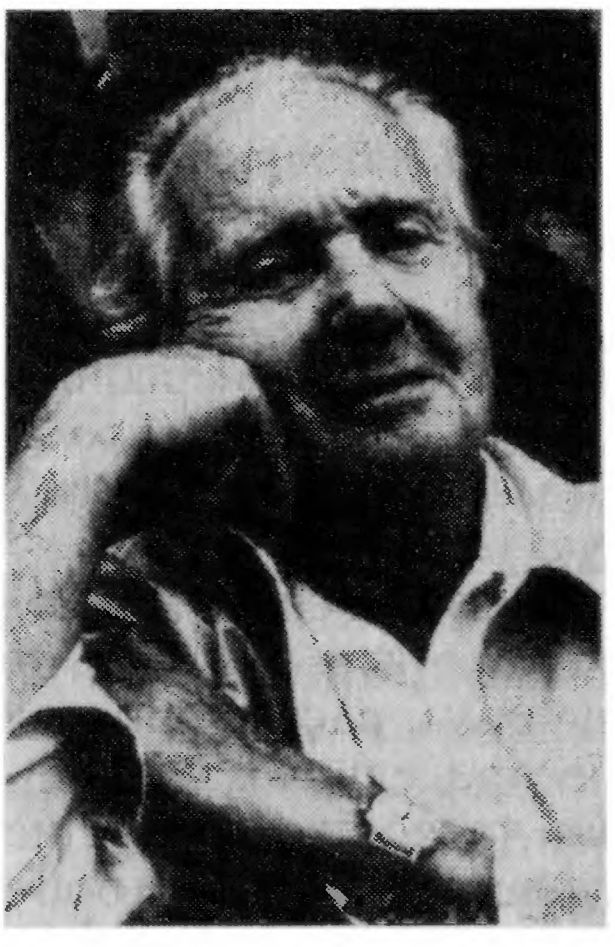
«Волхв» — самый знаменитый роман выдающегося английского писателя **ДЖОНА ФАУЛЗА.** Загадочный «маг» ставит жестокие психологические опыты на людях, погружая испытуемых в мир виртуозно сконструированных фантасмагорий. Традиции классического «романа воспитания» в этой книге парадоксально сочетаются с элементами детектива и мистики. Эротические сцены романа — возможно, лучшее, что было написано о плотской любви в английской литературе второй половины века.

Книга австрийского прозаика **ЭЛИАСА КАНЕТТИ** «Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелице» основана на искусно выстроенном материале из дневников, произведений Кафки и «писем пятилетней муки» к Фелиции Бауэр. Книга рассказывает об отношениях Кафки с его «ненаглядной делячкой» и о том, какое влияние они оказали на творчество знаменитого писателя, в частности, на его роман «Процесс».

«Все лучшее в современном искусстве питается живительным конфликтом массового искусства с творческой личностью»,— считает **АЛЕКСАНДР ГЕНИС.** Проблемам новейшего искусства посвящено его большое эссе «Хоровод».

Мы начинаем публикацию глав из новой книги знаменитого американского адвоката **ЭДВАРДА ДЕ ГРАЦИА** «Девушки заголяют колени везде и всюду. Закон о непристойности и подавление творческого гения». Первый фрагмент посвящен истории судебного преследования романа Дж. Джойса «Улисс».

Теперь уже всякий знает, что мода — это не прихоть праздного ума, а поверхностное выражение глубинных социокультурных процессов. Что означают бурные события в культурном пространстве нынешней моды? Об этом статья **ОЛЬГИ ВАЙНШТЕЙН** «Мода как мифология XX века».



РОБЕР МЕРЛЬ

Мадрапур

РОМАН

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

13 ноября

Я пишу эту историю в то самое время, когда она происходит. Изо дня в день. Или, вернее — не будем излишне самонадеянны,— из часа в час. Впрочем, мы могли бы попытаться вместить окружающий нас мир в каждую утекающую минуту. Ведь в нашем распоряжении их не так уж и много. Даже самую долгую жизнь можно расчислить в секундах. Попробуйте подсчитать — получите цифру отнюдь не астрономическую; правда, и не особенно ободряющую.

Пока я все это пишу, я совершенно не способен предвидеть, чем завершится мое приключение. Не могу я проникнуть и в его смысл. Однако я вправе сделать на сей счет некоторые предположения.

Моя история наверняка будет иметь свой конец, это ясно. Но нет никакой уверенности в том, что в ней имеется какой-то смысл или, во всяком случае, сомнительно — что по существу одно и то же,— чтобы я был способен этот смысл разгадать. «Мошкаре, что рождается на рассвете и умирает с заходом солнца, не дано постигнуть значение слова „ночь“».

Когда такси доставляет меня в аэропорт Руасси-ан-Франс, меня ожидает сюрприз. Кругом — пустота. Ни пассажиров, ни служащих, ни стюардесс. Я одинок, абсолютно одинок в этом величественном дворце из стекла и металла, где царит сейчас безмолвие склепа. Хотя сравнение со склепом, пожалуй, не очень подходит. Своими огромными стеклянными стенами Руасси скорее напоминает гигантскую оранжерею.

Я ставлю чемоданы на багажную тележку и иду по залитой светом пустыне, толкая тележку перед собой. И ощущаю при этом всю смехотворность ситуации: я бдительно конвоирую свои земные блага, а вокруг нет никого из служащих, кто мог бы принять на себя заботу о них.

Не то чтобы я по-прежнему надеюсь улететь в Мадрапур. Но я по крайней мере хочу кого-то найти, чтобы навести справки. И если я беру на себя труд толкать перед собою тележку со своим багажом, я делаю это лишь потому, что мне неприятно оставлять чемоданы в углу без присмотра. Признак того, что изумление, которое я испытываю, немного сбило меня с толку: в обезлюдевших вокзалах воры не водятся.

Я отдаю себе отчет в том, что пустынность и тишина аэропорта начинают внушать мне легкую тревогу — если тревога вообще может быть легкой. Можно ли предположить, что, кроме меня, в этом Руасси, воздвигнутом для приема людских толп, нет ни единой живой души?

© Éditions du Seuil, 1976

Если допустить, что персонал внезапно прекратил работу и вылеты самолетов отменены, а самолеты, прибывающие в Париж, принимает аэропорт Орли,— где же тогда пассажиры, которых, как и меня, неожиданная забастовка захватила врасплох? Куда все девались — бастующие и не бастующие, полиция и отряды республиканской безопасности и персонал всех служб, всех закусочных, лавочек, киосков и касс? И можно ли хоть на минуту представить себе, чтобы весь колоссальный механизм Руасси-ан-Франс неожиданно замер и погрузился в беспробудную спячку?

Мою тревогу усиливает и своеобразная архитектура этого сооружения. Я в Руасси впервые, и меня поражает, что аэровокзал, который, как можно предположить, построен с чисто функциональными целями, рассчитан при этом словно бы и на то, чтобы дать вам ощущение беспредельности мира.

Будучи круглым, аэровокзал не имеет ни начала, ни конца, и внутри его, в самом центре,— пустое пространство, тоже круглое. В этой кругообразной пустоте поднимаются на верхний ярус стеклянные туннели, полы которых представляют собой движущиеся дорожки. Каждая из таких ярко освещенных кишок, которые, судя по указателям, носят название «сателлитов», словно задумана для того, чтобы переварить пассажиров.

Но пассажиров нет. Дважды обойдя это пустое пространство на его нижнем уровне, я вместе с тележкой вступаю на один из «сателлитов». Такое впечатление, будто ты оказался внутри огромного ярмарочного колеса и тебя ради большей остроты ощущений швырнут сейчас вниз, на землю. Но нет, я беспрепятственно выезжаю на верхний ярус. И повторяю все то, что делал внизу: кружусь вокруг центральной пустоты и ее «сателлитов» в поисках живого человеческого существа.

Здесь я тоже делаю два полных круга. У меня возникает неприятное чувство, которое, должно быть, испытывает хомяк, когда он безостановочно семенит по рифленому колесу в своей клетке.

Я останавливаюсь. В застекленной пустыне, именуемой Руасси, я уже не один. В пустыне появляется стюардесса.

В первый раз проходя перед этим барьером, я скользнул по нему взглядом и могу с полной уверенностью утверждать, что там никого не было. А теперь, когда я снова прохожу здесь, за барьером мгновенно возникает стюардесса, миниатюрная зеленоглазая блондинка в пилотке. Не буду настаивать на том, что в ее появлении есть что-то таинственное. У меня и так хватает проблем с вылетом в Мадрапур. Вполне может быть, что, когда я впервые посмотрел в том направлении, стюардесса, скажем, нагнулась, чтобы достать что-то из сумки, и перегородка скрывала ее от меня.

Но, поворачивая с усилием свою тележку в сторону стюардессы, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что присутствие девушки — только ее одной в этой пустыне! — лишь усугубляет нереальность ситуации.

Так или иначе, но стюардесса отнюдь не призрак. Вот она передо мной — из плоти и крови, и, надо признать, из плоти бархатистой и нежной.

Мне с первого взгляда ясно: по части красоты стюардесса — непревзойденный образец, настолько бесспорно и очевидно ее очарование. Таких девушек другие женщины окидывают с ног до головы холодным, оценивающим взором, а мужчины жадно пожирают глазами. И, несмотря на обуревающую меня тревогу, я разделяю общую участь.

При этом я прекрасно знаю, что красота стюардесс — всего лишь конфетка, которую авиакомпании предлагают вам, чтобы усладить ваш взгляд и развеять страх во время взлета.

Но ловушка действует безотказно. У меня множество вопросов, которые я должен задать ей по поводу всей этой нелепой ситуации и, уж во всяком случае, по поводу моего собственного вылета, но я ни о чем не спрашиваю. Не отрывая глаз от ее прелестного личика, я протягиваю билет.

— Вы мистер Серджиус? — говорит по-английски стюардесса, и ее английский очаровывает меня неправильностью своих интонаций.

— Yes,— отвечаю я тоже почему-то по-английски.

И продолжаю уже по-французски:

— Что здесь происходит? Забастовка?

— Вы опоздали,— говорит она с улыбкой.— Остальные пассажиры уже на борту.

— Но,— говорю я в полной растерянности,— я не сумел выполнить все формальности — таможня, полиция...

— Не беспокойтесь,— отвечает она уже с иной улыбкой, которая на сей раз не имеет ничего общего с казенной, требуемой ее профессией. Улыбка теперь дружеская, почти ласковая.

У меня это вызывает шок, что оказывает анестезирующее действие.

— Вы с чемоданами! — вдруг восклицает она.— Вам следовало оставить их внизу! Здесь проходят только с ручной кладью.

— Внизу? — говорю я.— Но внизу же никого нет!

Я сам удивляюсь своему голосу, своему тону, в нем совсем не чувствуется протеста. А если какой-то протест и есть, то он настолько слаб, что уловить его невозможно.

Стюардесса смотрит на меня зелеными глазами, и ее детские губы морщатся в легкой гримасе.

— Вы в самом деле так считаете? — говорит она.— Пойдемте, спустим их снова вниз.

Она выходит из-за барьера и идет впереди меня. Теперь я вижу ее в полный рост. Она невысокая, с тонкой талией, красивой высокой грудью, длинными ногами. Я следую за ней и толкаю свою тележку.

Она нажимает на кнопку, потом на другую.

— Первая кнопка,— говорит она,— для вызова приемщика багажа.

— Но внизу же никого нет,— довольно вяло повторяю я.

Вместо ответа она дарит мне еще одну улыбку. Дверь лифта открывается, и стюардесса настойчиво и строго говорит:

— Быстрее! Пока дверь не закрылась! Втолкните в кабину тележку! Да нет же,— она хватает меня за руку,— самому входить не надо, одну тележку! При себе оставьте только сумку.

Я подчиняюсь и чувствую в горле спазм. Дверь за моими чемоданами закрывается, я слышу, как лифт снова уходит вниз.

Я застываю на месте. Меня охватывает в этот миг полное отчаяние: я совершенно ясно понимаю, что никогда больше не увижу ни своих чемоданов, ни находящихся там бесценных справочников, которые я взял с собою в надежде, что они помогут мне в изучении Мадрапурии.

Однако ладошка стюардессы ложится на мою руку, и на меня в упор смотрят зеленые глаза.

— Пойдемте, мистер Серджиус,— говорит она с прежней настойчивостью.— Вы слишком задержали наш чартерный рейс. Самолет вас ждет.

— Он меня ждет? — спрашиваю я, приподняв бровь.

Она не отвечает. Круто повернувшись на каблуках, она быстрым шагом устремляется впереди меня в переход гармошкой, который ведет пассажиров с верхнего яруса прямо к самолету. Я догоняю ее и на ходу, прилагая немалые усилия, чтобы идти с нею рядом, ибо при всей своей субтильности она шагает так стремительно, что повергает меня в изумление, делаю последнюю попытку взбрыкнуть.

— Но в конце концов,— говорю я,— можете вы мне объяснить? Что же все-таки происходит? Служащие забастовали? Как получилось, что в Руасси вообще никого нет, даже фараонов?

Она ускоряет шаг и, повернувшись ко мне, выставив свою красивую грудь, от которой я уже не в силах отвести взгляд, говорит самым непринужденным тоном:

— Я и сама ничего не понимаю.

И, искоса взглянув на меня, осчастливливает меня улыбкой, которая являет собой странную смесь лживости и чистосердечия.

Я иду с ней рядом или, если сказать точнее, с трудом, запыхавшись, пытаюсь не отставать от нее, ибо, как ни поспешают мои длинные ноги,

миниатюрная стюардесса неизменно оказывается впереди. При этом я охвачен чувством вины, краха, опалы. У меня нет уверенности, что я по своей воле иду сейчас к самолету, выполняющему чартерный рейс в Мадрапур. Напротив, мне кажется, что стюардесса, с этими ее зѐлеными глазами, гибким станом и милой улыбкой, накинула на меня ошейник и тащит за собой на поводке, покорного, дочиста обобранного, оставившего в лифте — бросившего на произвол судьбы! — два своих чемодана.

Мне трудно за нею поспевать. Она не идет, а летит. Время от времени она оборачивается, вскидывает на меня глаза, и я ускоряю шаг.

Однако перед самолетом я резко останавливаюсь и упрямо застываю на месте, как лошадь, которая не желает подниматься в фургон. Не знаю, какая сила заставляет меня замереть в тот самый миг, когда надо перешагнуть через линию, отделяющую твердую землю от неверного, обманчивого настила, который должен вознести меня к небесам. Моя воля не имеет ко всему этому никакого отношения. Я стою, опустив руки по швам, и тупо гляжу прямо перед собой.

И внезапно — хотя я не видел, как стюардесса туда вошла и как она ко мне обернулась,— внезапно обнаруживаю, что она уже в самолете. Она неподвижно застыла в дверях — лицо обращено в мою сторону, талия изогнута, вся тяжесть тела перенесена на одну ногу. И, глядя на меня зеленым глазом, опять ласково улыбается и говорит голосом тихим и теплым:

— Вы не летите с нами, мистер Серджиус?

— Как? — бормочу я в полной растерянности.— Разве вы тоже отправляетесь этим рейсом?

— Ну конечно,— отвечает она.— Стюарда ведь нет.— И, протягивая ко мне ладони движением человека, принесшего другу подарок, добавляет: — Лишь одна я.

Мое решение принято помимо меня. Выйдя из транса, я преодолеваю рубеж. И тотчас стюардесса наклоняется, высовывается наружу и с неожиданной для меня сноровкой и силой тянет тяжелую дверь, захлопывает ее за нами и задвигает задвижку.

Я еще стою с сумкой в руке и гляжу в спину стюардессе. Это непостижимо: стюардесса, в чьи обязанности входит встречать пассажиров в аэропорту и сопровождать их до самолета, на моих глазах превращается в бортпроводницу, летящую вместе с ними.

— Садитесь, мистер Серджиус,— говорит она.

Я оглядываю салон. В нем десятка полтора пассажиров, не больше. Сиденья расположены совсем не так, как в обычном лайнере дальнего следования. К тому же мне ясно, что я нахожусь в салоне первого класса.

— Но у меня билет туристического класса,— говорю я немного смущенно.

— Не имеет значения,— отвечает бортпроводница.— Туристический класс вообще свободен.

— Свободен? — повторяю я, точно эхо.

— Вы же видите,— говорит бортпроводница.— Зачем лететь в одиночестве? Вам будет скучно.

— Но мне кажется, у меня просто нет выбора,— говорю я, удивляясь, что из нас двоих именно я, пассажир, ссылаюсь на правила.— Я не могу лететь классом более высоким, чем тот, что обозначен у меня в билете. Я окажусь нарушителем.

Бортпроводница смотрит на меня с ласковой иронией.

— Вы очень щепетильны, мистер Серджиус, но уверяю вас, билет не имеет ровно никакого значения. И уж буду до конца откровенна: вы намного облегчите мне работу, если останетесь здесь.

Последний аргумент и особенно сопровождающая его улыбка убеждают меня. Я опускаюсь в одно из кресел, ставлю под него свою ручную кладь и пристегиваюсь ремнем.

Когда только бортпроводница успела ко мне подойти? Этого я не заметил и теперь с удивлением обнаруживаю, что она стоит возле моего кресла, устремив на меня свой зеленый взгляд.

— Мистер Серджиус, не будете ли вы любезны дать мне ваш паспорт, а также всю имеющуюся у вас наличность?

— Наличность? — с изумлением переспрашиваю я.— Вот уж это совсем ни на что не похоже!

— Таковы правила, мистер Серджиус. Само собой разумеется, я вам выдам квитанцию, а по прибытии на место деньги вам будут полностью возвращены.

— Не вижу никакого смысла в таких правилах, о которых к тому же никто до сих пор не слышал,— говорю я весьма недовольным тоном.— Подобная практика просто нелепа и, я бы даже сказал, неприемлема!

— Послушайте, brother [1],— говорит один из пассажиров по-английски, но с сильным американским акцентом.— Хватит вам препираться по каждому пустяку! Вы и без того достаточно нас задержали. Так что выкладывайте свои денежки, и не будем больше мусолить эту тему.

Я делаю вид, что не замечаю этого грубого выпада, но все же не могу не обратить внимания на неодобрительные взгляды, которые бросают на меня пассажиры, а также на устремленные на меня глаза бортпроводницы, опечаленные и терпеливые. Я вынимаю из кармана бумажник и принимаюсь тщательно пересчитывать его содержимое.

— Быть может, было бы проще, если бы вы доверили мне целиком ваш бумажник,— говорит бортпроводница.

— Ну, если вам так угодно,— отвечаю я не слишком любезно.— Должен ли я также отдать вам дорожные чеки?

— Именно об этом я собиралась вас попросить.

И она уходит, унося все с собой. Я растерянно провожаю ее глазами. Я чувствую себя дочиста ограбленным: у меня больше нет документа, удостоверяющего личность, нет денег, и к тому же я далеко не уверен, что два моих чемодана находятся в багажном отсеке.

Как только бортпроводница оказывается ко мне спиной и ее магнетический взгляд уже не производит на меня своего действия, я мгновенно соображаю, что не получил никакой квитанции. Я зову ее снова. И в самых вежливых выражениях требую выдать расписку. Она подчиняется.

— Прошу, мистер Серджиус,— говорит она со снисходительной улыбкой.

И когда бумага уже у меня в руках, она тыльной стороной ладони легонько хлопает меня по щеке. Полушлепок-полуласка. Вольность, которая ничуть не обижает меня, а, наоборот, очень мне нравится.

То ли из-за этой сцены, то ли просто оттого, что они ошарашены моей внешностью, остальные пассажиры начинают дружно пялиться на меня. Должен заметить, что для них это не представляет труда ввиду необычного расположения сидячих мест. В самом деле, кресла размещены здесь не друг за другом, рядами, как обычно в самолете, а по окружности, как в зале ожидания. Различие только в том, что здесь они намертво привинчены к полу и снабжены ремнями безопасности.

Я привлекаю к себе общее внимание всех сидящих в этом круге, и, как это происходит со мной всякий раз, когда меня разглядывают особенно настойчиво, мне становится не по себе.

Не знаю, отдают ли себе люди отчет в том, как это страшно — быть безобразным. С той минуты, когда я утром встаю и бреюсь перед зеркалом, и до минуты, когда я собираюсь лечь спать и чищу перед сном зубы, я ни на мгновенье не забываю, что вся нижняя часть лица придает мне удручающее сходство с обезьяной. Впрочем, если бы я об этом забыл, внимательные взоры моих современников позаботились бы о том, чтобы мне об этом напоминать ежесекундно. О, им даже не нужно произносить какие-то слова! Где бы я ни оказался, людям достаточно взглянуть на меня, когда я вхожу в комнату, и я тотчас же *слышу,* о чем они думают.

Мне хотелось бы содрать с себя этот внешний облик, как старую кожу, и отшвырнуть прочь. Я вижу в этом величайшую несправедливость. То, чем

---

[1] Брат; *здесь:* приятель *(англ.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

я на самом деле являюсь, все, что я делаю и чего добился — как в области спорта, так и в социальном плане: моя успешная карьера, знание многих языков,— все это совершенно не в счет. Один взгляд на мой рот и на мой подбородок — и я полностью обесценен. Для людей, которые на меня смотрят, не имеет значения, что их вывод о якобы животном и похотливом характере моей физиономии начисто опровергается светом человечности и ума, горящим в моих глазах. Они обращают внимание только на уродливую нижнюю часть лица и на этом основании выносят мне окончательный, не подлежащий обжалованию приговор.

Я слышу их мысли — я об этом уже упоминал. Как только я предстаю перед ними, я слышу, как они про себя восклицают: «Да ведь это орангутанг!» И чувствую, что тут же становлюсь мишенью для насмешки.

Ирония в том, что при своей страшной уродливости я очень неравнодушен к человеческой красоте. Хорошенькая девушка, красивый ребенок восхищают меня. Но к детям я не решаюсь приближаться из боязни их испугать. И к женщинам обычно тоже. Отмечу, однако, что животные — а я их обожаю — совсем меня не боятся и очень быстро ко мне привыкают. Да и я себя чувствую с ними легко и спокойно. Их глаза никогда не выражают намерения оскорбить. В них я читаю только любовь — просьбу о любви, признательность за любовь, ответную любовь. О, как прекрасен был бы наш мир и каким бы счастливым я в нем себя чувствовал, если бы люди могли смотреть таким же взглядом, каким смотрят лошади!

Я делаю над собой огромное усилие, я поднимаю веки, я в свой черед разглядываю пассажиров, разглядывающих меня. И тогда, с обычным лицемерием тех, кого вы застали врасплох, когда они на вас пялятся, они тотчас отводят взгляд в сторону и принимают безразличный вид, стараясь проделать все это как можно быстрее, потому что моя физиономия внушает им страх. И не то чтобы взгляд у меня какой-то свирепый, скорее наоборот. Но сама обстановка, по-видимому, находит отражение в моих глазах, и это придает им угрожающее выражение.

К тому же после того, что́ мои соседи по салону подумали обо мне и что я отличнейшим образом услышал, я церемониться с ними не буду. Отбросив стеснение, я в свое удовольствие разглядываю их одного за другим и, поскольку места расположены вкруговую, делаю это методично, слева направо.

Бортпроводница занимает кресло, ближайшее к exit [1]. Она сняла свою маленькую пилотку и грациозным движением пригладила золотистые волосы, бросая при этом на пассажиров, вверенных ее заботам, взгляды, которые никак не назовешь безразличными.

Справа от нее сидит великолепная блондинка в облегающем роскошном зеленом платье с черными разводами, вся увешанная отнюдь не самыми скромными украшениями; рядом одинокая девушка; за ней красивый итальянец; следом прелестный, очаровательный немец — гомосексуалист; две весьма благовоспитанные дамы, путешествующие вдвоем,— две, я полагаю, вдовы, одна американка, другая француженка, которая при всей своей благовоспитанности отнюдь не выглядит недотрогой. Встретившись с моим пристальным взглядом, она не отводит глаз в сторону. Напротив, она принимает его так, будто мысль, что где-нибудь в джунглях ее могла бы немножко, ну, просто самую малость, изнасиловать мохнатая обезьяна, не так уж ей неприятна.

Наконец, последней в левом полукружии сидит еще одна дама, чье лицо являет собой целую симфонию желтых тонов. Мне она с самого начала невероятно противна, и я очень рад, что нас разделяет проход, ведущий в туристический класс.

С моей стороны, то есть в правом полукруге, расположились мужчины: американец, трое французов и я, подданный Британии — во всяком случае, это страна, которую я себе выбрал, ибо рожден я был в Киеве, от матери-немки и отца-украинца; затем какой-то вульгарный субъект, который чита-

---

[1] Выходу *(англ.)*.

ет греческую газету, и, наконец, чета индусов, единственные из пассажиров, кто меня не разглядывал, когда я вошел в самолет. Они вообще ни на кого не глядят, не раскрывают рта и сидят неподвижно, как статуи. Женщина и мужчина, оба очень красивы. Если слово «породистость» имеет вообще какой-то смысл, его бы следовало применить именно к ним.

Зрелище, которое являют собою мои попутчики, немного меня развлекло, но моего беспокойства не развеяло. Я непрестанно думаю о своих чемоданах. Я снова и снова с тоской вижу, как они исчезают в кабине лифта. И горько сожалею, что позволил себя обмануть и попался на удочку стюардессы, хотя и был совершенно уверен, что на нижнем этаже аэровокзала нет ни одного приемщика багажа.

Я так был поглощен своими мыслями, что не почувствовал, как самолет оторвался от земли. И заметил это, лишь когда увидел, что спутники отстегивают ремни. Мы уже в воздухе. Может быть, даже достигли уже нужной высоты. Во всяком случае, поведение пассажиров на это указывает. Они встряхиваются, шарят в сумках, разворачивают газеты. Мужчины ослабляют узлы галстуков, те, кто потолще, расстегивают пиджаки, женщины приводят в порядок прически.

Среди всей этой ободряющей суеты меня вдруг поражает одна странность. Я не слышу шума моторов или, если сказать точнее, почти не слышу их. Когда я настороженно вслушиваюсь, мне удается в конце концов уловить слабое, очень слабое гудение, подобное тому, какое при включении издает холодильник. Я спрашиваю себя, не заложило ли у меня уши из-за перепада давления, и лезу мизинцем в правое ухо.

Я стараюсь проделать это по возможности незаметно, но все равно мой жест не ускользает от соседки слева, и она бросает на меня взгляд, полный такого испепеляющего презрения, что я мгновенно отдергиваю палец и прячу провинившуюся руку в карман. В круговом расположении кресел есть, оказывается, и свои недостатки.

Через несколько секунд я жалею уже, что так быстро признал себя побежденным, и решаюсь самым невежливым образом уставиться на Горгону, чей взгляд только что привел меня в оцепенение. Увы, она меня не видит. Она пытается в этот момент привлечь к себе внимание бортпроводницы, подавая ей рукой какие-то знаки.

Ее внешность мне не нравится — вот самое меньшее, что я мог бы сказать. Ей, должно быть, между сорока и пятьюдесятью, но зрелость не придала ее формам округлости, а наоборот — иссушила их, сделала еще более жесткими. Об округлостях здесь говорить не приходится. Скелет скелетом. Дама упакована в удобный английский костюм из серого твида, но и он не способен хоть несколько смягчить резкие очертания ее тела. Жидкие волосы неопределенного цвета стянуты на затылке и открывают низкий, но упрямый лоб. Широкие скулы, не знаю уж почему, придают ей жестокое выражение. Желчный цвет лица, пожелтевшие от никотина зубы. И на фоне всей этой желтизны сверкают два больших синих глаза, которые, надо думать, были очень красивы в те времена, когда мадам Мюрзек пыталась найти себе мужа, вдовой которого она могла бы стать. Ибо она, конечно, вдова или в крайнем случае разведена. Я не представляю себе, чтобы мужчина был в состоянии прожить больше двух-трех лет под этим неумолимым взором.

Должно быть, нервная система бортпроводницы гораздо менее уязвима, нежели моя, ибо ни глаза, ни властные жесты мадам Мюрзек — такова фамилия моей Горгоны — не достигают цели. И тогда, вконец потеряв терпение, мадам Мюрзек говорит по-французски громким и пронзительным голосом:

— Мадемуазель!

— Мадам? — отзывается стюардесса, поворачиваясь наконец к зовущей ее женщине и невозмутимо взирая на нее.

— Мы здесь уже около часа,— говорит мадам Мюрзек,— а командир корабля до сих пор не удосужился приветствовать нас на борту.

— Я думаю, причина в неисправности динамика,— с безмятежностью ответствует стюардесса.

— Что ж, в таком случае приветствовать пассажиров должны вы,— продолжает настаивать мадам Мюрзек, и в ее голосе звучат обвинительные нотки.

— Вы совершенно правы, мадам,— говорит бортпроводница с изысканной вежливостью, которая призвана скрыть ее полное равнодушие.— К сожалению,— продолжает она тем же тоном,— все это было записано у меня на бумажке, но я не знаю, куда я ее положила.

После чего, надув губки, она принимается шарить по карманам своего форменного жакета, но делает это очень неторопливо и как-то неубедительно, будто заранее уверена в том, что ничего не найдет. Я не свожу с нее глаз, ее мимика меня восхищает.

При этом мне кажется, что мадам Мюрзек не так уж и не права. С пассажирами чартерного рейса на Мадрапур обращаются и в самом деле бесцеремонно.

— И для того, чтобы произнести такую простую речь, вам нужна шпаргалка? — говорит мадам Мюрзек вибрирующим от сарказма голосом.

— Конечно, нужна,— простодушно отвечает стюардесса.— Я ведь новенькая. Это мой первый полет в Мадрапур. Ну вот, нашла наконец! — добавляет она, вытаскивая из кармана бумажный квадратик.

Несколько мгновений она рассматривает его с таким видом, словно сама очень удивлена своею находкой. Потом разворачивает записку и монотонно, без всякого выражения читает:

— Дамы и господа, я приветствую вас на борту нашего самолета. Мы летим на высоте одиннадцать тысяч метров. Наша крейсерская скорость девятьсот пятьдесят километров в час. Температура воздуха за бортом пятьдесят градусов ниже нуля по Цельсию. Спасибо.

Прочирикав этот текст на своем птичьем английском, она снова складывает бумажку и прячет ее в карман.

— Но, мадемуазель, ваша информация неполна! — возмущается мадам Мюрзек.— В ней нет ни имени командира корабля, ни названия и типа самолета, а главное — не говорится, в котором часу у нас будет промежуточная посадка в Афинах.

Подняв брови, бортпроводница глядит на нее зелеными глазами.

— Неужто подобные сведения так необходимы? — спокойно спрашивает она.

— Разумеется, необходимы, мадемуазель! — гневно отзывается мадам Мюрзек.— И во всяком случае, это общепринято!

— Я весьма сожалею,— говорит бортпроводница.

Но ее лицо сожаления не выражает. И чем больше я над всем этим раздумываю, тем решительнее прихожу к выводу, что бортпроводница в конечном счете права. Когда мадам Мюрзек явилась в наш мир — конечно, в самой комфортабельной обстановке,— разве потребовала она, чтобы ей незамедлительно объявили имя Творца и грядущие судьбы планеты? А если бы даже все это ей тогда сообщили, многое ли изменилось бы для нее оттого, что она узнала бы: командир корабля зовется Иеговой, а земля — Землей? На мой взгляд, истины такого рода — не более чем словесная шелуха.

— Ну что ж, задайте тогда эти вопросы от моего имени командиру,— высокомерно произносит мадам Мюрзек.— И сразу же возвращайтесь, чтобы передать мне его ответы.

— Хорошо, мадам,— говорит бортпроводница, снова поднимая брови, но все перышки у нее при этом в идеальном порядке и она по-прежнему свежа, как стакан холодной воды.

Она удаляется с грациозностью ангела, с той только разницей, что ангелы — существа бесполые. Я слежу, как она движется к занавеске, за которой, должно быть, расположена кухня, а за ней — кабина пилотов. Я провожаю ее глазами, пока она не скрывается за занавеской.

— Ну и трещотки же они, эти французские бабы,— говорит на своем монотонном английском дородный американец, который сидит справа от меня.

Это он, когда я вошел в самолет, довольно грубо посоветовал мне «выложить денежки» бортпроводнице.

— Но вы-то, конечно,— добавляет он,— понимаете все, о чем они толкуют.

— Почему «конечно»? — не слишком любезно спрашиваю я.

— Потому что вы работаете переводчиком в ООН. И вы полиглот. Судя по тому, что я о вас слышал, вы говорите на полутора десятках языков.

Я недоверчиво гляжу на него.

— Откуда вы это знаете?

— Такое уж у меня ремесло — все знать,— говорит американец и подмигивает мне.

Когда смотришь на него вблизи, особенно поражают его волосы. Они такие курчавые, жесткие, так плотно облегают голову, что кажется, будто на нем защитный шлем. Впрочем, и все черты его физиономии тоже выражают решительную готовность к обороне. За толстыми стеклами очков прячутся серые испытующие, пронзительные глаза. Нос основательный и властный. Губы, открываясь, обнажают крупные белые зубы. И квадратный подбородок с ямочкой посередине, в которой нет ничего трогательного, выдается вперед, как носовая часть корабля.

Этот человек выглядит таким великолепно вооруженным в битве за жизнь, что я искренне удивляюсь, когда он, подмигнув мне, расплывается в улыбке, при этом пухлые губы придают ему весьма добродушный вид. Благосклонно покачивая головой, он говорит все с той же монотонностью, однако же несколько фамильярно, что, надо признаться, озадачивает меня:

— Рад познакомиться с вами, Серджиус.

Я держусь с ледяным равнодушием, чего американец, по всей видимости, не замечает.

— Моя фамилия Блаватский,— добавляет он после короткой паузы.

Он говорит это с ноткой торжественности и бросает на меня дружелюбный и в то же время вопросительный взгляд, как будто ждет уверений, что мне это имя известно.

— Рад с вами познакомиться, *мистер* Блаватский,— говорю я, намеренно нажимая на слово «мистер».

Робби, молодой немец, который, как мне кажется, не совсем в ладах с общепринятыми нормами нравственности и который с иронией наблюдает за этой сценой, понимающе улыбается мне.

Я немного побаиваюсь гомосексуалистов. Мне всегда кажется, что мое уродство сбивает их с толку. На улыбку Робби я отвечаю со сдержанностью, чуточку ханжеской, значение которой он мгновенно разгадывает, и это, по-видимому, его забавляет, ибо его светло-карие глаза начинают сверкать и искриться. Должен, однако, сказать, что я нахожу Робби вполне симпатичным. Он так красив и так женствен, что сразу понимаешь, почему его не интересуют женщины: женщина заключена в нем самом. Добавьте к этому живой, проницательный, умный взгляд, которым он постоянно обводит окружающих, при этом ни на секунду не переставая ухаживать за своим соседом, Мандзони. Ибо он определенно ухаживает за ним — и, я полагаю, без всякого успеха.

— Лично мне,— монотонно говорит Блаватский,— лично мне глубоко наплевать, как зовут командира. Но узнать тип самолета было бы в самом деле любопытно. Во всяком случае, это не «Боинг» и не «ДЦ-10». Я уж думаю, не ваш ли это «Конкорд», Серджиус.

— *Наш* «Конкорд»,— перебивает его француз лет сорока, сидящий слева от меня. (Блаватский сидит от меня справа.) И продолжает очень язвительно, словно отчитывая Блаватского: — Британские в нем только двигатели, а самолет — французский.

Он говорит по-французски правильно и очень старательно; мне предстоит вскоре узнать, что его фамилия Караман; как она пишется, Karamans или Caramans, я не знаю, и мне трудно решить, «К» здесь или «С»; во

всяком случае, «ман» он произносит на французский манер в нос, как второй слог в слове «charmant» [1].

— Это не «Конкорд», мистер Блаватский,— говорю я нейтральным тоном.— Салоны «Конкорда» намного теснее.

— И делает он уж никак не девятьсот пятьдесят километров в час,— добавляет Караман с иронией, как будто такая малая скорость представляется ему смехотворной.

— Ясно одно: мы во французском самолете,— говорит, наклоняясь вперед, Блаватский и с вызывающим видом глядит на Карамана.— Достаточно взглянуть на это дурацкое расположение кресел. Оно съедает по меньшей мере половину полезной площади салона. Французы сроду не имели понятия о рентабельности самолета.

У Карамана взлетают вверх брови — они у него очень черные и очень густые,— и он ядовито, но с полным спокойствием парирует:

— Надеюсь, что, к счастью для нас, мы действительно во французском самолете. Мне, например, вовсе не улыбается, чтобы люк багажного отсека распахнулся во время полета.

После этого коварного выпада Караман снова погружается в чтение «Монда», чуть приподняв в надменной гримасе правый уголок верхней губы. Я отмечаю, что он хорошо одет, но его манера одеваться несколько своеобразна: забота об изысканности костюма проявляется у него в изяществе покроя и отменном качестве ткани, но отнюдь не в умелом подборе цвета. Видя, как Караман одет, и слыша, как он говорит, я сразу проникаюсь уверенностью, что он чистейший продукт определенного слоя французского общества. От него за версту разит Высшим административным училищем, Политехнической школой или Финансовой инспекцией. Достаточно слегка подстегнуть воображение, и я, пожалуй, увижу воочию, как, негромко жужжа, за его лбом исправно, с картезианской точностью вращается безукоризненно отлаженный механизм мозговых извилин. Я убежден также, что, когда он снова откроет рот, оттуда польется четкая, выверенная, исполненная спокойной уверенности в собственном превосходстве речь и начнут одна за другой выстраиваться цепочки неопровержимых доводов и фактов.

— От этого француза мне с.... захотелось,— говорит, наклоняясь ко мне, Блаватский, и, хотя он доверительно понижает голос, каждое его слово отчетливо слышно.— И в порядке доказательства я иду в туалет.

Он громко смеется, скаля крупные зубы, встает и тяжелой, но ловкой походкой направляется в хвост самолета. Караман хранит полнейшую невозмутимость.

Как только Блаватский исчез, один из пассажиров, маленький, толстый, маслянистый, пошло-вульгарный, торопливо пересекает салон, плюхается в кресло, оставленное Блаватским, наклоняется ко мне, так что его лицо почти касается меня, ухитряясь при этом одновременно глядеть на Карамана, сидящего от меня слева, и говорит тихим голосом по-английски:

— Мистер Серджиус, я позволю себе дать вам совет: остерегайтесь Блаватского. Он агент ЦРУ.— И добавляет смиренно: — Моя фамилия Христопулос. Я грек.

Я не отвечаю. Мне претит вступать в контакт с человеком, который так нагло навязывает мне свое общество. К тому же он просто мне неприятен. От него пахнет чесноком, по́том и дешевым одеколоном.

Но Караман реагирует по-другому. Он в свою очередь наклоняется к Христопулосу и как-то алчно очень тихо спрашивает у него:

— На чем основано ваше утверждение?

Я попадаю в смешное и неудобное положение, ибо два человека, сидящие по обе стороны от меня, наклонились друг к другу над моим животом.

— На интуиции,— отвечает Христопулос.

— На интуиции? — переспрашивает Караман, снова откидываясь в кресле и приподнимая правый уголок верхней губы.

---

[1] Очаровательный *(франц.)*.

Отвислые щеки Христопулоса скорбно опадают. Он тоже выпрямляется в кресле, с упреком глядит на Карамана и говорит на своем грубоватом, но исполненном страсти английском:

— Не смейтесь над моей интуицией. Если бы я не научился определять людей с первого взгляда, я бы не выжил.

— А меня вы тоже определили? — спрашивает Караман и опять кривит губы. Эта его манера начинает меня раздражать.

— Конечно,— говорит Христопулос.— Вы французский дипломат и отправляетесь с официальной миссией в Мадрапур.

— Я не дипломат,— сухо отвечает Караман.

Христопулос улыбается с видом тайного торжества, и в эту минуту я тоже уверен, что он попал в самую точку. Караман опять принимается за чтение «Монда», но Христопулоса это не смущает. Он говорит очень любезно:

— Во всяком случае, я вас предупредил. Полагаю, что этот тип буквально нашпигован подслушивающей аппаратурой.

— Я вас ни о чем не спрашивал,— цедит презрительно Караман, не отрывая глаз от газеты.— Зачем вам понадобилось кого-то предупреждать?

— Я люблю оказывать людям маленькие услуги,— говорит Христопулос, и его отвислые щеки раздвигает широченная улыбка.— И люблю, когда их оказывают при случае и мне.

Оторвав массивный зад от кресла Блаватского, он возвращается на свое место, унося с собой острый запах чеснока и пачулей.

И тут же Христопулос вместе со своими речами перестает для меня существовать: в дверях кухни, толкая впереди себя столик с едой, появляется бортпроводница. До сих пор она казалась мне воплощением безмятежности — теперь она бледна, нижняя губа дрожит. Как ни стараюсь я поймать ее взгляд, мне это не удается, она не поднимает на меня глаз. Как, впрочем, и ни на кого из пассажиров.

Бортпроводница останавливает столик посередине салона и начинает разносить подносы. Они закрепляются на подлокотниках кресел — система, которой я не люблю: у меня возникает чувство, что я пленник. Бортпроводница начинает с Блаватского, сидящего от меня справа; значит, я буду последним. Не спуская с нее глаз, я с нетерпением жду, когда она дойдет до меня; мое нетерпение объясняется не тем, что я голоден, и, уж конечно, не тем, что мне по вкусу еда, которой потчуют в самолетах,— я просто надеюсь привлечь ее внимание, увидеть ее глаза. И вот, когда она прикрепляет к креслу мой поднос, я говорю со значением и нажимом, которых явно не заслуживает ничтожность вопроса:

— А соль у вас есть?

Никакого успеха. Не открывая рта и на меня не глядя, она показывает пальцем на пакетик, лежащий на моем подносе. Однако ее лицо в этот миг оказалось очень близко ко мне, и я еще раз отмечаю его страшную бледность. Зато губы у нее больше не дрожат. Ей удалось их укротить — но какой ценой! У нее перекошен рот.

Я не успеваю больше ничего добавить. Поставив передо мною поднос, она стремительно откатывает столик назад и вместе с ним исчезает за занавеской. Быстрота делает этот маневр очень похожим на бегство, и, видя, какое выражение незамедлительно появляется в нестерпимо синих глазах и на желтом лице мадам Мюрзек, я понимаю, что именно от нее — вернее, от ее вопросов — убежала бортпроводница.

— Эта потаскушка так и не ответила мне,— говорит мадам Мюрзек совершенно мужским из-за неумеренного потребления табака голосом.

Говоря это, она, насколько я могу судить, не нуждается ни в чьем одобрении. В одобрении мужчин, во всяком случае. Сильный пол ей решительно ненавистен, это бросается в глаза, и ничего хорошего она от него не ждет ни в какой области, включая область физических отношений, где она, по всей видимости, уже давно выбрала для себя автаркию. Зато она бы, по-моему, не возражала, если бы в ссоре, которую она жаждет затеять с бортпроводницей, она получила бы поддержку двух путешествующих вместе благовоспитанных дам, старшая из которых сидит с нею рядом.

Хотя эти две дамы между собою приятельствуют, единой пары они все же не составляют. Я бы определил их скорее как две безутешные супружеские половинки, которых сблизило их вдовство. Робби, который продолжает усердно и без всякой надежды ухаживать за Мандзони, не оставляет при этом без внимания даже самой незначительной мелочи из происходящего вокруг; он называет их viudas [1], но так тихо, чтобы они его не слышали.

Мини-полиглот Робби, помимо немецкого, своего родного языка, говорит на французском, английском и испанском. И тот факт, что он выбрал испанское слово viuda, а не английское widow, не немецкое Witwe и не французское veuve, свидетельствует о тонкости и лукавстве его лингвистического чутья. Ибо из всех этих слов наиболее «вдовьим», наиболее близким к латинскому vidua является, конечно, испанское viuda.

Когда я несколько позже спрашиваю Робби, почему в разряд viudas он не поместил заодно и мадам Мюрзек, хотя она тоже вдова, его прекрасные светло-карие глаза начинают искриться, и он говорит мне с обычной для него живостью и по своему обыкновению поднимая ладони на уровень плеч: «Нет, нет, конечно же, нет. Здесь совсем другое. У нее вдовство — это призвание».

Он, пожалуй, прав. Для обеих viudas вдовство отнюдь не призвание. Каждая из них по-своему очаровательна. Миссис Бойд — типичная американка старого образца, дама утонченная, космополитических пристрастий и вкусов; миссис же Банистер — женщина снобистского толка, очень уверенная в себе брюнетка, сохраняет остатки былой красоты, весьма искусно поддерживаемые и, полагаю, еще довольно привлекательные для мужчин, которые моложе меня.

Когда мадам Мюрзек, громко и ни к кому вроде бы не обращаясь, сделала свое нелестное замечание в адрес бортпроводницы, я уловил, как мгновенно переглянулись миссис Бойд и миссис Банистер. И хотя ими не было произнесено ни слова, я понимаю, что они единодушно приняли решение отказать мадам Мюрзек в поддержке, о которой она у них молча просила.

Наблюдая за всеми этими мизансценами, я без всякого удовольствия наспех глотаю розданную нам еду, в частности ломоть холодной, на редкость невкусной бараньей ноги. Я тороплюсь. Я пребываю во власти нелепого чувства: мне представляется, что чем быстрее управлюсь я со своей трапезой, тем быстрее в салоне появится бортпроводница и все уберет.

С едой я покончил. Теперь я жду, когда и другие проглотят наконец свои порции, и больше чем когда-либо ощущаю себя пленником ненавистного подноса, загроможденного остатками пищи. До чего же унылы все эти обеды и завтраки на борту самолета! Ты не вкушаешь пищу, производимая тобой операция не заслуживает быть обозначенной этими словами. Вернее будет сказать, что тебя, как и самолет, заправляют горючим.

Занавеска раздвигается словно сама собой — рук бортпроводницы я не вижу,— возникает столик на колесах, следом за ним появляется наконец сама стюардесса; опустив глаза, она толкает столик перед собой. Бортпроводница как будто немного ожила, но вид у нее отсутствующий, она чем-то явно встревожена. Подносы она собирает механическими движениями, без единой улыбки, без единого слова, ни на кого не глядя. Меня внезапно пронизывает волна холода и тоски, когда я вижу, как она забирает мой поднос, не обращая на меня никакого внимания, точно перед нею пустое кресло.

— Мадемуазель,— неожиданно произносит мадам Мюрзек своим хриплым и в то же время светским голосом.— Получили ли вы ответы на те вопросы, которые вы должны были задать от моего имени командиру корабля?

Бортпроводница вздрагивает, я вижу, что у нее дрожат руки. Но она не поворачивается в сторону мадам Мюрзек и не поднимает на нее глаз.

---

[1] Вдовы *(исп.)*.

— Нет, мадам, я весьма сожалею,— говорит она сдавленным и лишенным выражения голосом.— Я не смогла задать ваши вопросы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Не смогли? — переспрашивает мадам Мюрзек.

— Нет, мадам,— говорит бортпроводница.

Молчание. Я жду, что Мюрзек начнет настаивать, начнет сухим тоном выпытывать у бортпроводницы, почему она не смогла задать командиру поставленные ею вопросы.

Но этого не происходит. Однако мадам Мюрзек, со своим упрямым лбом и сине-стальными глазами, являет собой воплощенное ожесточение и упорство. Невозможно себе представить, чтобы она ослабила мертвую хватку, если уж ее когти вонзились в чью-нибудь шкуру.

Никто из сидящих в салоне не принимает от нее эстафету. Ни Блаватский, при всей его непробиваемой самоуверенности, ни Караман, всегда стоящий на страже своих прав, ни нахальный Христопулос, ни обе viudas, столь непринужденно чувствующие себя в привычной роли светских дам, ни Робби, со всеми его дерзостями, готовыми в любой миг сорваться у него с языка. Словно ответы на вопросы мадам Мюрзек никого из нас не касаются.

Согласен, сами по себе эти вопросы серьезного значения, конечно, не имеют. Но отсутствие ответа на них уже кое о чем говорит. Совершенно очевидно, что мы ни в коем случае не должны мириться с отказом стюардессы что-либо нам разъяснить.

Однако именно так и происходит. Мы все, включая меня, молчим. Мы смотрим на Мюрзек. Мы ждем, что она будет настаивать на своем. И суть нашего ожидания можно выразить формулой: «Сама эту кашу заварила, сама теперь и расхлебывай!»

Мадам Мюрзек прекрасно осознает всю низость нашего поведения: мы, по существу, перекладываем на ее плечи тягостную обязанность продолжать этот разговор. И она молчит. Возможно, бросая нам исполненный ярости вызов: «Ах так, теперь вы, значит, хотите, чтобы я говорила! Так нет, от меня вы больше не дождетесь ни слова!»

Молчание нарушает Христопулос, но не словами, а неожиданным шумом. Тяжело вздохнув, он принимается колотить себя толстыми ладонями по жирным ляжкам. Не знаю, что должен означать сей жест — нетерпение или тревогу.

Он все такой же возбужденный и потный, этот Христопулос, и видно, что ему не по себе: ему явно тесны брюки, они топорщатся складками на большом животе, а также и в низу живота, на огромном члене, отчего он вынужден сидеть растопырив ноги. Одет он вовсе не бедно. Наоборот, его даже можно упрекнуть в чрезмерном пристрастии к роскоши, особливо по части дорогих побрякушек и золотых перстней. Украшающий его грудь широкий шелковый галстук опять же с золотым отливом, и туфли на ногах тоже желтые. Несмотря на тяжелый запах, который от него исходит, его нельзя назвать грязным. Просто он принадлежит к разряду мужчин, на которых любая сорочка через два часа уже выглядит несвежей и любой пиджак мятым — слишком много пота, жира и слизи сочится из их кожи и лезет из всех полостей организма: в ушах торчит сера, в уголках глаз желтые корочки гноя, под мышками расходятся потные круги, от носков идет густой дух, каждая по́ра буквально насыщена выделениями. У него круглая голова с пышной седеющей шевелюрой, глаза как у сойки, пронзительный и одновременно ускользающий взгляд и густые, сросшиеся на переносице черные брови; нос у него совершенно непристойной длины и формы, и под ним висят густые усы турецкого янычара.

Христопулос последний раз шлепает себя пухлыми ладонями по ляжкам, искоса бросает быстрый взгляд на Блаватского, встает, пересекает правое полукружие салона и, приподняв занавеску, проходит в туристический класс, оставляя за собой вместе с запахом сверкающий след своих

золоченых туфель. Несколько секунд спустя мы слышим, как он с шумом распахивает дверцу туалета и столь же демонстративно захлопывает ее.

Будто подхлестнутый чем-то, Блаватский с пружинящей упругостью дородного человека тотчас вскакивает со своего места, в свой черед пересекает — но в противоположном направлении — правое полукружие салона и, ко всеобщему изумлению, выхватив из-под кресла Христопулоса сумку, кладет ее на сиденье, раскрывает и начинает перебирать ее содержимое.

Сидящая справа от Христопулоса чета индусов, которая до сих пор проявляла полную невозмутимость, выказывает живейшие признаки волнения, и женщина, возможно бы, даже вмешалась, если б мужчина, пристально глядя на нее черными влажными глазами, с силой не сдавил ей рукою запястье; значит, и у четы индусов есть основания опасаться очередных выходок Блаватского?

Другие пассажиры тоже не остаются безучастными. Первым, совершенно недвусмысленно и открыто, опережая — хочу это особо отметить — даже Карамана, реагирует лысый француз с большими глазами навыкате, сидящий слева от Христопулоса. Он говорит негодующим тоном:

— Послушайте, мсье, вы не имеете права этого делать.

— Я тоже так считаю,— говорит по-французски Караман с подчеркнутым дипломатическим спокойствием.

Не обращая на Карамана никакого внимания, Блаватский воинственно поворачивает к лысому французу свою голову в каске густых волос и отзывается с веселым вызовом, продолжая обшаривать сумку грека:

— И что же заставляет вас полагать, что я не имею на это права?

Вопрос задан на превосходном французском, однако с сильным американским акцентом.

— Вы не таможенник,— говорит француз.— Но даже если б вы были таможенником, вы все равно не имели бы права обыскивать сумку пассажира в его отсутствие.

— Моя фамилия Блаватский,— говорит Блаватский с видом доброго малого, обнажая в широкой улыбке зубы. И добавляет: — Я агент Управления по борьбе с наркотиками.

Он вынимает из кармана визитную карточку и небрежным движением показывает ее издали французу.

— Но это не дает вам права обыскивать багаж греческого пассажира во французском самолете,— раздраженно парирует лысый.

— Я вам свою фамилию назвал,— говорит Блаватский с выражением непререкаемого морального превосходства.— Вы же мне своей не назвали.

Добродетельная мина американца, только что уличенного в противоправном поступке, выводит лысого из себя. Его большие выпуклые глаза наливаются кровью, и он говорит, повышая голос:

— Моя фамилия здесь абсолютно ни при чем!

Блаватский, который тем временем решил вытряхнуть содержимое сумки Христопулоса на сиденье кресла, занят ощупыванием ее подкладки из искусственной кожи. Не поднимая головы, он произносит назидательным тоном:

— Неужели мы не можем поговорить более спокойно, как взрослые люди?

Пассажир, сидящий слева от лысого, очень худой, изможденного вида субъект, наклоняется к нему и что-то шепчет ему в ухо. Лысый, уже готовый взорваться, овладевает собой и сухо говорит:

— Если вы так на этом настаиваете, я представлюсь. Я Жан-Батист Пако. Глава компании по импорту деловой древесины. Мсье Бушуа,— он указывает на своего изможденного соседа,— моя правая рука и мой шурин.

— Рад познакомиться с вами, мистер Пако,— говорит Блаватский со снисходительной любезностью.— А также и с вами, мистер Бушуа. У вас есть сын, мистер Пако? — продолжает он, неторопливо укладывая обратно в сумку Христопулоса все, что он из нее вынул.

— Нет. Но почему вы спрашиваете об этом? Какая тут связь? — говорит Пако, которому круглые навыкате глаза придают неизменно изумленное выражение.

— Если бы у вас был сын,— говорит Блаватский с суровостью протестантского проповедника,— вы наверняка хотели бы, чтобы торговцы наркотиками, и крупные, и мелкие, лишились возможности причинять людям вред. Видите ли, мистер Пако,— добавляет он, кладя сумку Христопулоса на прежнее место под кресло,— у нас есть все основания полагать, что Мадрапур является одним из крупнейших азиатских центров по сбыту наркотиков, а мистер Христопулос — крупным посредником.

Караман хмурит густые черные брови и, приподняв правый уголок верхней губы, говорит по-английски резким голосом, четко выговаривая каждое слово:

— В таком случае вам следовало бы обыскивать сумку Христопулоса не тогда, когда он направляется в Мадрапур, а на обратном пути.

Блаватский садится справа от меня и, наклонившись, улыбается Караману с видом жизнерадостного превосходства.

— Я ищу, разумеется, не наркотики,— говорит он своим тягучим голосом.— Вы не поняли, Караман. Христопулос не отправитель, он посредник.

— Как бы там ни было,— упорствует Караман, и его губы снова кривятся в высокомерной гримасе,— обыскивать вещи попутчика на основании одних подозрений незаконно.

— И еще как! — говорит Блаватский, добродушно улыбаясь всеми своими крупными белыми зубами.— Еще как незаконно!

И, мгновенно переходя от тона циничного к тону морализаторскому, добавляет:

— Но если, воюя с наркотиками, я и нарушаю иной раз букву закона, все же это не такое тяжкое преступление, как продажа оружия слаборазвитым странам.

У Карамана одновременно приподнимаются правая бровь и правый уголок рта.

— Вы хотите сказать, что Соединенные Штаты не продают оружия слаборазвитым странам?

— Я отлично знаю, что́ я хочу сказать,— говорит Блаватский.

Их беседа приобретает настолько неприятный характер, что я решаюсь вмешаться. Мне это тем более легко сделать, что Караман сидит от меня слева, а Блаватский справа и свою перепалку они ведут прямо над моей головой.

— Господа,— говорю я нейтральным тоном,— не прекратить ли нам эту дискуссию?

Однако Караман, внешне спокойный, так и клокочет от сдерживаемого гнева. И тихим, но скрежещущим от затаенной ярости голосом он говорит:

— Вы себя выдали, Блаватский. Вы не принадлежите к Управлению по борьбе с наркотиками. Это только вывеска, на самом деле вы служите в ЦРУ.

Чета индусов, мне кажется, заволновалась. Но это лишь мимолетное впечатление, ибо я гляжу сейчас на Блаватского. Какое поразительное лицо! Весь ощетинился, приготовился к обороне. Непробиваемый шлем волос, стекла очков такие толстые, что ни одному враждебному взгляду сквозь них не проникнуть, и, наконец, крупные белые зубы, длинные, тесно посаженные, защищающие рот, словно блиндаж. Впрочем, на сей счет я ничуть не обманываюсь. Под прикрытием этих оборонительных сооружений все здесь — агрессия и атака: глаз, смех, слово, вызывающая поза, а также, как ни странно, игривое расположение духа. Ибо этот толстяк с жестким взглядом не лишен определенного обаяния. И он им пользуется — порой для того, чтобы расположить к себе собеседника, порой для того, чтобы повергнуть его.

— Да полноте вам, Караман,— говорит Блаватский, показывая крупные зубы, и его маленькие серые глазки сверкают за стеклами очков,— не следует верить тому, что вам наговорил обо мне Христопулос! Этот старый прохвост вообразил, будто вы связаны с ВПМ, и домогается вашего покровительства. На самом деле я не имею к ЦРУ никакого отношения.

Разумеется,— продолжает он, и глаза его щурятся,— мне понадобилась кое-какая информация о моих попутчиках, и получить ее не составило для меня труда. Насколько мне известно, это вообще первый чартерный рейс в Мадрапур.

Теперь Караман нем как рыба. Когда дипломат молчит, его молчание кажется вдвое значительнее. Караман уже не утыкается в «Монд», лежащий у него на коленях. Он сидит неподвижно, с опущенными глазами, будто разглядывает что-то у своего носа, и выставляет Блаватскому для обозрения строгий лощеный профиль и безукоризненную прическу, где ни один волосок не возвышается над своими собратьями. Я замечаю, что и в спокойном состоянии его верхняя губа справа слегка вздернута, словно высокомерное подергиванье в конце концов навечно застыло на его лице.

Караман, мне думается, жалеет, что наговорил лишнего, и у него, должно быть, имеются причины не желать дальнейших разглагольствований Блаватского. Но Блаватский, я чувствую, не собирается молчать. Сперва пораженный тем, что этот секретный агент позволяет себе публично так откровенничать, я спрашиваю себя, нет ли в его чрезмерной болтливости некоего расчета. И у меня не остается в этом сомнений, когда Блаватский продолжает своим монотонным голосом, придавая комичную наивность своему взгляду:

— Поверьте, Караман, я не имею никакого отношения к ЦРУ. Меня интересуют только наркотики. И мне в высшей степени наплевать на все ваши басни про нефтяные скважины и продажу оружия, а также на реальное или воображаемое влияние, которое вы имеете на ВПМ.

Караман вздрагивает, бросает быстрый и тревожный взгляд на других пассажиров и цедит, не разжимая губ:

— Во всяком случае, благодарю вас за такую рекламу.

Блаватский смеется. Его смех вроде бы добродушен, но таит в себе ликование, не сулящее, я уверен, ничего хорошего. С лицом, окаменевшим от усилий сдержаться, Караман опять углубляется в «Монд». Инцидент исчерпан — или по крайней мере таковым кажется.

И в наступившем снова молчании возвращается Христопулос. Предваряемый своими желтыми туфлями и сопровождаемый своим особым запахом, он вновь занимает место между индусом и Пако. Он отсутствовал так долго, что у меня шевелится подозрение, не подслушал ли он, спрятавшись за занавеской туристического класса, весь разговор Блаватского с Караманом или хотя бы часть их разговора.

На борту этого самолета меня ничто уже больше не может удивить. Разве Блаватский только что не признался, что он тоже слышал — может быть, таким же способом, может быть, с помощью какого-нибудь более хитроумного устройства,— как несколькими минутами раньше Христопулос предостерегал Карамана на его, Блаватского, счет?

Бортпроводница возвращается из кухонного отсека и садится с края в левом полукружии; сложив на коленях руки, она сидит неподвижно, с отрешенным видом, ни на кого не глядя. Мне приходит в голову странная мысль. У меня возникает впечатление — вы, возможно, уже догадались, что мне свойственна некоторая склонность к мистицизму,— впечатление, что бортпроводница подавлена каким-то необычайно важным неприятным открытием — например, исчезновением Бога.

Предвижу возражение, которое могут мне высказать по этому поводу. Мне скажут, что утратить Бога, когда он живет в твоей душе, так же трудно, как обрести его, когда у тебя его нет. Я с этим согласен.

Позволительно ли мне, однако, сказать здесь о тех мерах предосторожности, которые я принимаю, чтобы его сохранить? Я считаю, что поскольку религиозное чувство — это акт веры, то вера, которая не требует доказательств, достойна похвал. Здесь угадывается лукавая рука ангела. Ибо, как только появляется сомнение, оно заранее подозрительно. Кроме того, оно очень тягостно для человека и, как говорят англичане, «себя не окупает». Ничего не выигрывая, сомневающийся все теряет — во всяком случае,

все то, чем я особенно дорожу: Бога наших предков, мироздание, в котором имеется какой-то смысл, и потусторонний мир, несущий утешение.

Еще одно слово по этому поводу. Нисколько не ставя себя в пример, я бы хотел сказать, каким путем я достигаю душевного мира. Я разделил свою душу переборками и в самый тесный, самый темный и самый сырой уголок упрятал свои сомнения. Стоит одному из них осмелеть и приподнять голову, как я тут же безжалостно заталкиваю его обратно.

Теперь, глядя на бортпроводницу и видя ее отчаяние, я чувствую, как меня охватывает страстный порыв. Мне хочется вскочить с места, обнять ее, защитить.

Говоря откровенно, я сам удивляюсь тому, что в моем возрасте и с моей внешностью я ощущаю себя таким молодым. Но — от этого никуда не уйти — стюардесса завораживает меня. И, отбросив всякую сдержанность, я смотрю на нее, ослепленный, преисполненный желания, нежности и, разумеется, жалости при виде охватившей ее смертельной тревоги. Она уже не в пилотке, ее чудесные волосы лежат на голове золотой каской, открывая тонкую шею и придавая, на мой взгляд, особую прелесть чертам ее лица. А ее зелено-голубые глаза теперь, когда они погрустнели, кажутся мне еще прекраснее. Я гляжу на нее и не могу наглядеться досыта. Если бы мой взор был наделен властью обладания, она стала бы уже моей женой. Ибо, само собой разумеется, у меня по отношению к ней намерения самые честные, даже если мои шансы завоевать ее благосклонность ничтожно малы.

Через несколько минут я не выдерживаю. Я жажду любого, пусть самого малого, контакта с бортпроводницей. Я говорю:

— Мадемуазель, не будете ли вы любезны принести мне стакан воды?

— Конечно, мистер Серджиус,— отвечает она. (Я с радостью отмечаю, что здесь по фамилии она обращается только ко мне.)

Она грациозно встает и направляется в кухонный отсек. Я провожаю ее глазами. Наслаждение, которое мне дарит это миниатюрное человеческое существо самим фактом своего передвижения по салону, ни с чем не сравнимо.

Она возвращается с полным стаканом воды, поставленным на поднос. Поднос явно не нужен, поскольку девушка все равно придерживает стакан другою рукой, но, должно быть, пользоваться подносом предписывают бортпроводницам правила полетов, и применительно к ней это маленькое проявление служебного долга меня почему-то умиляет.

— Вот, мистер Серджиус,— говорит она, стоя между Блаватским и мной, и, наклоняясь ко мне, обволакивает меня своим свежим и чистым девическим запахом.

Я беру стакан, и, видя, что она уже собирается вернуться назад, охваченный паникой при одной только мысли, что она так быстро уйдет, я отваживаюсь на неслыханную вольность: протягиваю руку и удерживаю бортпроводницу.

— Подождите, прошу вас,— говорю я торопливо.— Вы сразу и заберете стакан.

Она улыбается, она ждет, она не делает никаких попыток высвободиться, и, пока я — честно говоря, в полном смущении,— пью, я краем глаза гляжу удивленно на ее крошечную ручку, зажатую в моей волосатой лапе. Бортпроводница стоит к Блаватскому спиной, зато Мюрзек, увидев мой жест, презрительно фыркает в нос, а мой сосед слева Караман, не прекращая чтения «Монда», приподнимает чуть выше обычного уголок рта. Я внезапно понимаю, что он мне антипатичен, этот Караман, с его безукоризненной прической и физиономией доброжелательного монарха.

Однако не могу же я целую вечность сосать стакан воды, даже если мне совсем не хочется пить, как не могу бесконечно держать пустой стакан, когда рядом его терпеливо ждет бортпроводница, чей печальный лик напоминает ангела с картины Леонардо да Винчи «Благовещение». Я опять замечаю грусть в ее глазах и вполголоса говорю:

— Вы чем-то встревожены?

— Будешь встревожена,— говорит она, озадачивая меня каким-то намеком, который может означать слишком много или, наоборот, слишком мало.

Я продолжаю:

— Вы знаете, жизнь научила меня одной вещи: когда у вас возникают проблемы, достаточно подождать какое-то, порой довольно долгое, время, и все проблемы разрешаются сами собой.

— Вы хотите сказать, их разрешит смерть? — тоскливо спрашивает она.

Я поражен.

— Нет, нет,— говорю я не слишком уверенным голосом.— Нет, нет, так далеко я не заглядываю. Я просто хочу сказать, что со временем ваш взгляд на вещи меняется и все ваши тревоги утрачивают прежнюю остроту.

— Не все,— бросает она.

Ее рука шевелится в моей, как пойманный зверек, и я поспешно отпускаю добычу на волю. Я возвращаю стакан, и, в последний раз улыбнувшись, она уходит, до боли похожая на срезанный цветок. Контакт, которого я так страстно желал, состоялся, но о том, что гложет ее, она мне ничего не сказала. Я еще не встречал существа, такого влекущего к себе и такого неуловимого.

Я бы хотел вернуться к круговому расположению кресел в первом классе и для большей наглядности набросать план салона, чтобы показать, как сказал бы англичанин, «кто с кем рядом сидит».

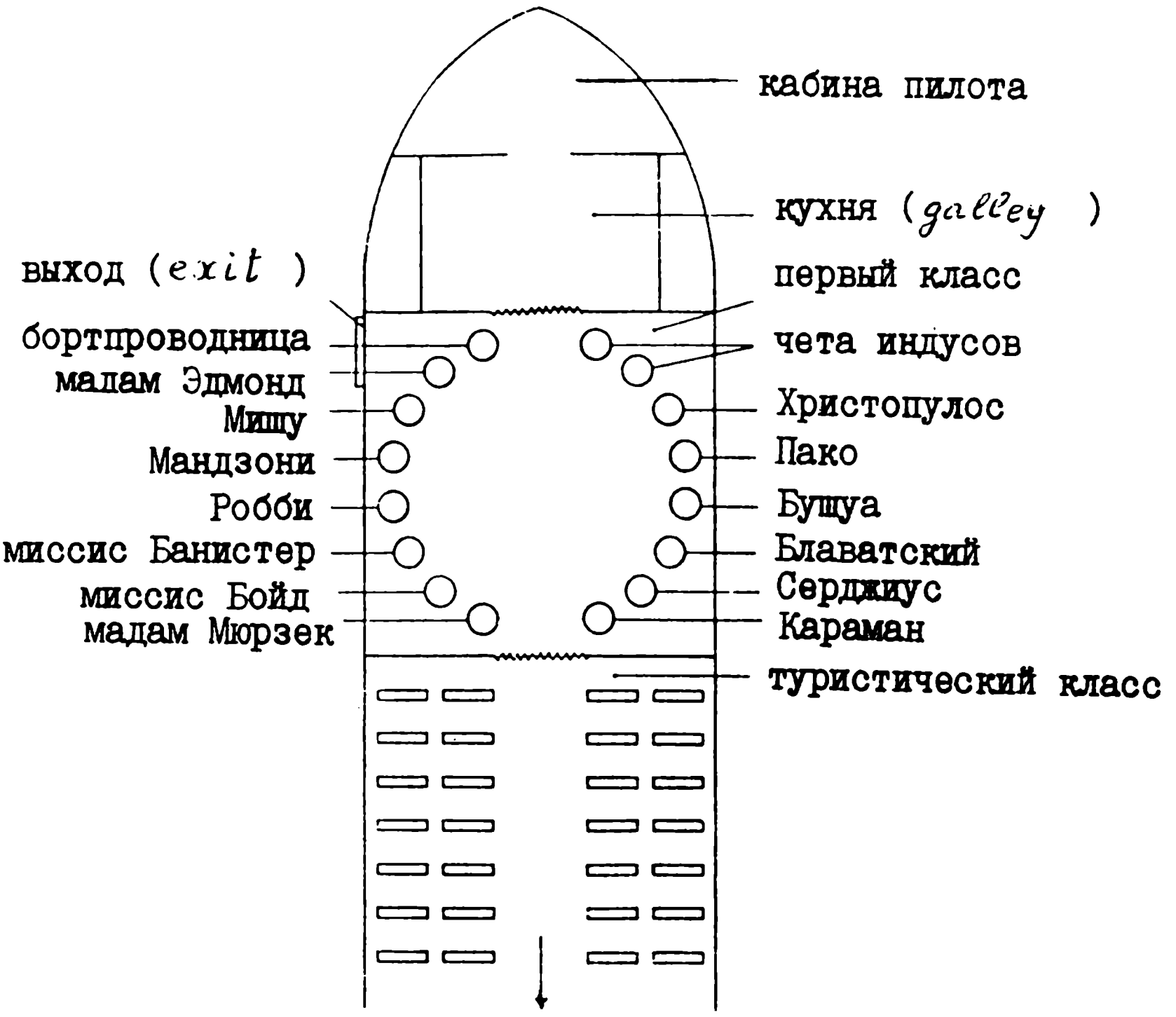
Я с удовольствием занимаюсь этим наброском. Он вызывает у меня в памяти прелестные, так волновавшие меня маленькие чертежи в английских детективных романах начала века. Различие только в том — говорю это, рискуя с самого начала лишить свой рассказ интригующего ожидания развязки,— что здесь, по всей вероятности, никто не даст себя убить, как бы, казалось, ни «вписывался» Христопулос и в роль убитого, и в роль убийцы.

На моем чертеже хорошо видно, насколько необычно расположение кресел в первом классе, тогда как в туристическом классе оно остается традиционным. Проигрыш в количестве мест, проистекающий от такого размещения, очевиден; первый класс здесь заметно длиннее, чем, скажем, в самолетах типа «ДЦ-9», где, однако, имеется двенадцать мест, а здесь их всего шестнадцать при значительно большей площади салона. Этим и объясняется выпад Блаватского: «Французы сразу не имели понятия о рентабельности самолета».

Но обвинение это, конечно, нелепо. В самом деле, ведь можно вполне допустить, что внутренняя планировка самолета была выполнена по специальному заказу некоего главы государства, который желал проводить во время перелетов совещания со своими сотрудниками. Если принять эту гипотезу, самолет впоследствии могла перекупить компания чартерных перевозок, не захотевшая брать на себя расходы по его переделке.

Но лично меня поражает другое. Меня гораздо сильнее смущает пустота туристического класса, не говоря уже о полнейшем безлюдье, которое я обнаружил в Руасси-ан-Франс, об исчезновении в лифте аэропорта моих чемоданов, об инструкциях, полученных бортпроводницей касательно паспортов и наличных денег, и об инциденте — который так ничем и не кончился — с урезанным объявлением бортпроводницы.

Я принимаю мудрое решение: я говорю себе, что во время предстоящих пятнадцати часов полета не стану больше пережевывать свои неприятности и поддаваться страхам, которые, возможно, ни на чем не основаны, и не позволю своему беспокойному характеру портить мне путешествие. Я удобно устраиваюсь в кресле и, полузакрыв глаза, стараюсь отвлечься. Я разглядываю своих попутчиков. Это довольно легко сделать, поскольку благодаря своеобразной планировке салона мне видно их всех.



План салона первого класса
в самолете, выполняющем чартерный рейс
в Мадрапур

И вот забавное открытие: оказывается, порядок, в каком разместились пассажиры, во многом основан на разделении по признаку пола. В правом полукруге сидят, за исключением спутницы индуса, только мужчины — среднего возраста бизнесмены и государственные чиновники высокого ранга. В левой же половине круга расположились женщины, если не считать Мандзони, который, по всей видимости, их очень любит, и Робби, который любит их меньше, но который последовал за Мандзони. Мужчины и женщины, сидящие в этом полукруге, принадлежат, судя по одежде и манерам, к категории богатых туристов.

Поглощенный столкновением Блаватского и Карамана, я поначалу не заметил, что в левом полукруге тоже бушуют подспудные бури, правда, несколько иного свойства, однако не менее сильные, нежели те, что только что вырвались на поверхность в правом полукруге.

Ибо я замечаю там прямо-таки чехарду страстей. На миссис Банистер, ту из двух наших viudas, что не отреклась от радостей грешного мира, производит неотразимое впечатление красавец Мандзони, от которого она, к сожалению, отделена сидящим между ними Робби. А Робби, как я уже говорил, питает, так же как и его соседка справа, явную склонность к своему соседу слева, но, несмотря на то что его позиция для ухаживания за Мандзони в тактическом отношении более удобна, сколько-нибудь заметных успехов она ему пока не приносит. Что до самого Мандзони, его, во всяком случае в данный момент, более привлекает прелесть недозрелого плода, и он полностью сосредоточен на юной Мишу́. Она же, не убирая со лба прядь волос, свисающую ей на глаза, углубилась в чтение полицейского

романа и не обращает на итальянца никакого внимания. Мишу — тот тупиковый, если можно так выразиться, буфер, в который упирается весь этот поезд влечений.

Поскольку Мандзони глядит на Мишу, я тоже гляжу на нее. Это все-таки лучше, чем опять вспоминать про свои чемоданы или напрягать слух, стараясь уловить шум двигателей.

Мне она тоже нравится, эта Мишу, хотя она и лишена того, что обычно меня привлекает в других женщинах,— ни бюста, ни бедер, ни ягодиц; плоский перед и тощий зад. И, несмотря на это, очаровательна. Тонкие черты в изящном овале и, вопреки развязным замашкам, наивные глаза. В XVIII веке, утопая в оборках и воланах, ее красота казалась бы такой трогательной. В XX веке на ней пуловер и линялые джинсы. В этом наряде ее можно принять за работницу какой-нибудь захудалой фабрички, вот только пуловер на ней — кашемировый. А если б я осмотрел ее рот — но эту часть я уступаю Мандзони,— то обнаружил бы, что над зубами ее трудился дорогой стоматолог.

— Мадемуазель,— говорит Мандзони sotto voce [1] по-французски, слегка пришепетывая,— извините меня, но мне бы хотелось задать вам один вопрос.

Мишу поворачивает голову и смотрит на него сквозь светло-каштановую прядь, свисающую ей на глаза.

— Задавайте,— отрывисто говорит она.

— Вы закончили роман, который читали, и тут же опять стали его читать. Вы весьма загадочная девушка.

— Никакой загадочности тут нет,— говорит Мишу.— Когда я дохожу до конца, я уже не помню начала.

После чего Мишу снова погружается в чтение. Не знаю, нарочно это было сделано или нет, но, принимая во внимание ситуацию, ее реплика просто великолепна: Мандзони не знает теперь, говорит она с ним серьезно или издевается над ним.

Через несколько секунд он решается издать вежливый короткий смешок.

— Но это, должно быть, ужасно неприятно, когда читаешь роман,— до такой степени не иметь памяти,— говорит он.

— Это верно,— не поднимая головы, ровным тоном отзывается Мишу.— У меня совершенно нет памяти.

Новый смешок Мандзони, на той же любезной и слегка насмешливой ноте.

— Да ведь это очень выгодно,— говорит он.— В конце концов вы могли бы всегда читать одну книгу.

— До этого еще не дошло,— говорит Мишу тоном человека, который не собирается развивать свою мысль.

Первая атака отбита. Мандзони молчит. Но тем не менее он не падает духом. Мандзони знает, как важна настойчивость, когда обольщаешь девушку.

Я смотрю на него. Рослый, хорошо сложенный, лицо римского императора, глаза, какие принято именовать бархатными, и элегантность в одежде — нечто среднее между элегантностью Карамана и элегантностью Робби.

Караман невероятно корректен и весь в серых, темно-серых и черных тонах. Робби, тот позволяет себе целую симфонию пастельных тонов: светло-зеленые брюки и голубая рубашка; комбинация смелая, но немного холодная, чуть согретая оранжевым платком, повязанным вокруг гибкой шеи. Мандзони одет более традиционно, он в светлом, почти белом костюме, сиреневой сорочке и вязаном темно-синем галстуке. Менее эксцентрично, чем Робби, более артистично, чем Караман, и, по-моему, гораздо дороже. У Мандзони много денег, это очевидно, и я уверен, что он ни дня в своей жизни не работал ради куска хлеба, тогда как, поразмыслив, о Робби я бы этого не сказал.

---

[1] Приглушенно, вполголоса *(итал.)*.

В отношении Мандзони мне трудно быть объективным. Вы скажете, что при моей внешности у меня есть все основания не любить красивых мужчин.

Но здесь другая причина. В Мандзони мне отвратительно его донжуанское женоненавистничество. Совершенно ясно, что, если ему удастся переспать с Мишу, он незамедлительно переключится на бортпроводницу, потом на миссис Банистер, ибо ему льстит ее шик, затем на индуску. После чего, презирая их всех, он будет с нетерпением ждать прибытия в Мадрапур, чтобы заняться освоением местных богатств.

Подобная ненасытность, соединенная с презрением к слабому полу, заставляет меня предполагать, что, по существу, Мандзони мало чем отличается от Робби, хотя на первый взгляд может показаться, что он — полная его противоположность. Наверняка существует некая причина — может быть, неведомая ему самому,— по которой он терпит знаки внимания со стороны Робби, даже если подчеркнуто их отвергает. Он отвергает их, но не пытается их пресечь.

Первое открытое наступление Мандзони на Мишу вызывает многочисленные отклики в левой половине круга. Мадам Мюрзек, еще больше пожелтев, фыркает носом, что является у нее, как мы уже знаем, привычным способом коротко выразить свое моральное неодобрение. Две viudas обмениваются тихими комментариями, и, судя по мимике миссис Банистер во время этого обмена, я заключаю, что реплики их, во всяком случае реплики миссис Банистер, не лишены яда. Мадам Эдмонд, соседка Мишу слева,— речь о ней еще впереди — кажется весьма недовольной, и непонятно почему, ибо она не выглядит пуританкой. Что касается Робби, то к наступательным действиям, предпринимаемым Мандзони в отношении Мишу, он, по-видимому, относится снисходительно. Приняв в своем кресле грациозную позу, он переводит с одного лица на другое живые искрящиеся глаза и улыбается.

Забавно, он кажется не рослым, а долговязым. Его мужественность словно бы растворилась в удлинении всех его членов. Со своими бесконечными и вечно переплетенными ногами и длинными тонкими кистями рук, венчающими мягко изогнутые запястья, он весь — будто утомленный цветок на чересчур длинном стебле.

Можно было ожидать, что Мандзони, выдержав приличествующую случаю паузу, предпримет новые попытки завоевать Мишу, но атаку начинает не он, а сама Мишу, причем — и это уж совсем неожиданно — целью атаки оказывается Пако.

— Мсье Пако,— внезапно говорит она в своей обычной резкой манере,— что такое «деловая древесина»?

Мсье Пако настолько взволнован этим обращением к нему нашей «трогательной красотки», да еще по поводу его профессии, что у него розовеет лысина. Он наклоняется вперед и, втянув голову на короткой негнущейся шее в квадратные плечи, с улыбкой говорит отеческим тоном:

— Это вид древесины, из которой можно делать фанеру.

— А у нас во Франции такой древесины нет?

— У нас она есть, но некоторые сорта мы также ввозим, в частности аукумею, красное дерево и лимбо.

— Простите,— с важным видом говорит Караман,— но я полагаю, что лучше произносить «лимба».

— Вы правы, мсье Караман,— говорит Пако.

— И как же вы эту древесину обрабатываете? — спрашивает Мишу.

— Ну,— произносит Пако, и в его больших выпуклых глазах вспыхивает улыбка,— это довольно сложная операция. Сперва бревна подвергаются сушке...

Судя по началу, фраза будет длинной, и Робби, наклонившись, говорит, обращаясь к Мишу:

— Какой вам смысл про все это узнавать, если у вас все равно нет памяти?

Все спешат рассмеяться, потому что никому не хочется выслушивать

доклад о деловой древесине. А Робби встряхивает белокурыми кудрями и одаривает всех улыбкой, довольный успехом своей шутки.

— Как велико ваше предприятие? — спрашивает Караман, приподнимая уголок рта и подчеркивая свое стремление вернуть беседе серьезный характер.

— Тысяча рабочих,— говорит Пако, пытаясь изобразить скромность, что ему не очень удается.

— Тысяча эксплуатируемых,— говорит Мишу.

Пако вздымает вверх руки, и становится видно, что рукава ему коротки. Как это часто бывает с французами средних лет, кажется, что он растолстел после того, как костюм был сшит.

— Гошистка! — говорит он, и его круглые глаза навыкате сверкают притворным гневом.— А вы, мадемуазель, конечно, числите себя в рядах эксплуатируемых?

Мишу мотает головой.

— Вовсе нет. Я никогда нигде не работала. Ни в лицее, ни дома. Я типичный паразит. Живу на папин счет.— И добавляет, немного подумав: — Примите к сведению: мой папа тоже паразит. Он президент-директор, как и вы. Кстати, вы на него очень похожи, мсье Пако. Такая же лысина, такие же большие глаза. Когда я увидела вас, я даже вздрогнула.

Череп у Пако розовеет, и с волнением, которое он безуспешно пытается скрыть за церемонностью тона, он говорит:

— Поверьте, я был бы счастлив иметь такую дочь, как вы.

И после секундного колебания, понизив голос, неожиданно добавляет:

— У меня нет детей.

Тогда Мишу приветливо ему улыбается, и мы все, как мне кажется, понимаем, что Пако обрел сейчас дочь, во всяком случае на время полета. Это доставляет мне некоторое удовольствие, потому что Пако, несмотря на свои чисто французские недостатки, которых у него, как я подозреваю, полным-полно, мне симпатичен. Но я вижу, что мадам Эдмонд, наоборот, бросает на Пако, старательно избегающего на нее смотреть, насмешливый взгляд, а мадам Мюрзек слева от меня каменеет.

Прежде чем она открывает рот, я понимаю, что сейчас она ринется в атаку.

Начинает она сладким голосом, в котором словно бы нет и тени язвительности:

— Не кажется ли вам, мадемуазель, что вы немного преувеличиваете, говоря о собственной лени?

— Нисколько не преувеличиваю. Я дома даже не стелила на ночь постель. Не могла себя заставить. Я ложилась прямо на покрывало.

— Но не всегда же вы так поступали,— говорит мадам Мюрзек все с той же опасной вкрадчивостью, словно стараясь нащупать наиболее уязвимую точку, чтобы безошибочно нанести удар.

— После того как Майк уехал в Мадрапур — всегда. Я целые дни валялась с сигаретой на постели и читала полицейские романы.

— Но послушайте, дитя мое,— говорит Мюрзек ласковым тоном, призванным немного смягчить высказываемое ею порицание,— ведь так бездельничать непростительно.

— Я не бездельничала. Я ждала.

— Чего же вы ждали?

— Я ждала Майка. Когда полгода назад Майк меня бросил, он возвратился в Соединенные Штаты, а потом написал мне, что на средства какой-то компании, которая ищет золото, отправляется в Мадрапур.

— Золото в Мадрапуре? — с удивлением спрашивает Блаватский.— Вы знали об этом, Караман?

— Никогда об этом не слышал.

Они глядят друг на друга, потом на Мишу, но, видя, что их короткий обмен репликами поверг ее в явную растерянность, замолкают.

Теперь беспощадные синие глаза Мюрзек вспыхивают. Преувеличенно слащавым тоном она обращается к Мишу:

— А этот Майк...— Она прерывает себя, потом продолжает с фальшивой доброжелательностью: — А этот Майк, я полагаю, ваш жених?

— В каком-то смысле да,— отвечает Мишу.

— И этот Майк,— говорит Мюрзек, наклоняясь вперед и нервно сплетая на коленях свои худые пальцы,— и этот Майк,— говорит она с любезной улыбкой, которая обнажает ее желтые от никотина зубы,— написал вам из Мадрапура?

— Нет,— говорит Мишу и внезапно пугается, словно тоже догадалась, какой удар ей собираются нанести.— Майк,— продолжает она с виноватым видом,— вообще редко пишет.

Мюрзек облизывает языком пересохшие губы.

— Выходит, Майк не просил вас приехать к нему в Мадрапур?

— Нет.

Мюрзек выпрямляется и, вытаращив горящие глаза, обращает к Мишу свою желтую физиономию.

— В таком случае,— говорит она тихим свистящим голосом,— откуда вы знаете, что застанете его в Мадрапуре, когда вы туда прилетите?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мишу открывает рот, но не может произнести ни слова, у нее опускаются углы губ, лицо дрожит, будто она получила пощечину.

Все, что происходит следом, надрывает нам сердце. Мишу смотрит на мадам Мюрзек с умоляющим видом, словно она одна может восстановить то, что сама же с таким искусством разрушила. Но мадам Мюрзек не смягчается. Она молчит, опускает глаза и, чуть заметно улыбнувшись, проводит ладонью по юбке, точно желая ее расправить. Не знаю почему, но этот жест окончательно делает ее для всех ненавистной.

В холоде, сковавшем салон после реплики Мюрзек, мадам Эдмонд встает, и еще до того, как она успевает шагнуть вперед, мы уже знаем, что сейчас она пересечет круг и направится в туалет. Это одно из неудобств кругового размещения мест: никто не может облегчить мочевой пузырь без того, чтобы об этом тут же не узнали все остальные.

Чтобы добраться до занавески туристического класса, мадам Эдмонд надо сделать не больше пяти-шести шагов. Но, делая их, она вся колышется, и мы, сидящие в правом полукруге, все, кроме индуса, смотрим на это колыханье. Плотно облегающее ее зеленое платье в крупных черных разводах было выбрано ею не без расчета. Пониже спины на нем красуются два крупных орнамента, и движение усиливает их декоративный эффект. За этими орнаментами мы и следим.

Как только занавеска за ними закрылась, Пако покидает свое место, пересекает круг и опускается в кресло, которое освободила мадам Эдмонд. На свой манер, грубовато и простодушно, он пытается утешить Мишу и, что, пожалуй, уже неосторожно с его стороны, возвратить ей надежду.

Пако всех нас просто умиляет отеческими чувствами, которые можно прочесть в его круглых, выпученных больше обычного глазах; от усилий убедить Мишу лысина его порозовела; надо честно признать, что он не слишком-то умело отстаивает свою правоту, но, как большой добрый пес, исполнен готовности всегда оказать услугу. И всех удивляет грубость мадам Эдмонд, которая, вновь появившись в салоне, говорит резким тоном, сверкая глазами:

— Прошу освободить мое место. Садиться на ваше я не собираюсь.

Пако краснеет, но, к моему немалому удивлению, не отвечает на этот оскорбительный выпад. Он встает и, повернувшись, без единого слова, с тем же напыщенным и одновременно неловким видом, который делает все его движения немного смешными, возвращается к своему креслу. Я изумлен, видя, как этот человек, столь вспыльчивый и тщеславный, не пикнув стерпел грубый окрик, и с этой минуты у меня возникает ощущение, что мадам Эдмонд и он знают друг друга и что Пако по каким-то причинам не имеет желания вступать с нею в спор.

Что до мадам Эдмонд, пора наконец сказать и о ней.

Ах, ну конечно, разве может она не гордиться собственным телом! Крупная, светловолосая, хорошо сложенная, с упругой грудью, которая прекрасно обходится без бюстгальтера, и оба тугих соска дерзко торчат под тканью платья, мадам Эдмонд пристально смотрит на всех сидящих в салоне мужчин, смотрит затуманенными глазами и приоткрыв рот, словно от одного только их вида у нее слюнки текут. Своим ртом она вообще играет очень охотно и имеет привычку, глядя на вас, все время облизывать круговыми движеньями губы, и вы поневоле начинаете думать, что являетесь для нее лакомым куском.

Вначале я увидел в мадам Эдмонд безобидную нимфоманку, но нечто непреклонное, каменное, порою мелькающее у нее в глазах, привело меня к заключению, что в этом выставляемом напоказ разгуле секса есть свой расчет; приветливая и ласковая, эта дама будет вас, разумеется, усердно обхаживать, но отнюдь не из одной лишь любезности.

Ее платье с так удачно размещенными разводами не позволит вам ни на мгновенье забыть об упругости ее бюста, о необъяснимой способности ее сосков всегда пребывать в напряжении. К тому же оно щедро открывает для обзора ее нижние конечности.

Глядя на них, задаешься вопросом, как им удается быть такими ладными и стройными, если она так мало пользуется ими для ходьбы или бега. Но все же я не решаюсь видеть в них только дар Божий. Ибо дар тратится безоглядно, тогда как мадам Эдмонд управляет своим хозяйством довольно расчетливо. С той минуты, когда я сел в свое кресло, я наблюдал, как она, играя глазами и ртом, ласкает манящими взорами всех имеющихся в наличии мужчин. Исключая Пако. Это исключение, даже еще до злобной ее выходки против Пако, меня и насторожило, тем более что сам лысый господин тоже ни на миг не позволил своему взгляду скользнуть в направлении мадам Эдмонд, а ведь она не может не привлекать к себе внимание! Даже Караман и тот несколько раз едва не угодил в ловушку — при всей своей, казалось бы, защищенности от соблазнов подобного рода.

В последний раз взглянув на бортпроводницу — она неподвижно сидит с опущенными глазами, сложив на коленях руки,— я в свою очередь тоже смежаю веки и, должно быть, мгновенно засыпаю, ибо сразу оказываюсь в мире сновидений.

Не буду сейчас — во всяком случае, в подробностях — рассказывать свой сон; он был тягостен и неоригинален. И крутился, хотя и в разных вариантах, вокруг одной-единственной темы — вокруг пропажи.

Я на вокзале, я ставлю на пол чемодан, чтобы взять билет. Я оборачиваюсь. Чемодан исчез.

Место действия меняется. Я брожу по многоярусной автомобильной стоянке у площади Мадлен в Париже. Я не могу вспомнить, на каком уровне я поставил машину. Я обхожу все подземные этажи. Машины нет.

Я гуляю вместе с бортпроводницей в лесу Рамбуйе. Очень высокие папоротники. Я иду впереди, пробивая ей путь. Оборачиваюсь. Ее уже нет. Я зову ее. Вокруг сгущается туман, и одновременно наступает ночь. Я зову ее снова. Поворачиваю обратно. Раза два или три, в разных направлениях, я вижу среди деревьев ее силуэт. Я всякий раз устремляюсь ей навстречу. Но по мере того как я пытаюсь приблизиться к ней, ее силуэт отступает. Я как безумный бегу — она совсем исчезает во мгле.

Просыпаюсь с бешено бьющимся сердцем, весь в поту. Бортпроводница спокойно сидит на своем месте. Во всяком случае, ее телесная оболочка. Но где она сама, эта женщина, что живет по ту сторону своих опущенных глаз? Или своей — такой похожей на искреннюю — улыбки.

Я отвожу глаза, я замечаю Пако, его гладкий пламенеющий череп, его глаза, вылезающие из орбит под напором гнетущих его мыслей.

— Как получилось,— говорит он, глядя на Карамана,— что в Париже для меня оказалось невозможным найти карту Мадрапура?

— Вам бы это не удалось и в Лондоне,— говорит Караман, кривя

губу.— Единственные карты этого региона — индийские, а правительство Индии не признает существования независимого Мадрапура. На картах даже такого названия нет.

— В таком случае,— говорит Пако с широкой улыбкой,— если такого названия нет на картах, откуда мы знаем, что Мадрапур существует?

Караман в свой черед тоже улыбается, сохраняя при этом чопорный вид.

— Я полагаю,— говорит он с иронией,— это произошло потому, что туда уже кто-то ездил.

После чего опять наступает молчание, и кажется, будто ирония обращается, как бумеранг, на самого Карамана. Похоже, что никто из пассажиров нашего самолета не бывал в Мадрапуре, а если кто-то и был, не считает нужным об этом сказать. Я гляжу наугад на Христопулоса, но его лицо, надежно укрытое беспокойно бегающими глазками и огромными усами, непроницаемо.

— Мадемуазель,— говорит Бушуа, изможденный компаньон Пако,— был ли уже до этого хотя бы один рейс на Мадрапур?

— Дорогой мой, ведь бортпроводница уже ответила на ваш вопрос,— говорит Пако с нетерпеливостью, которая меня удивляет. И продолжает таким же раздраженным тоном: — Она еще раньше сказала, что это первый полет! Правда, мадемуазель?

Бортпроводница утвердительно кивает головой. Я отмечаю, что лицо ее снова утратило живые краски и она судорожно вцепилась ногтями в юбку. Непонятная реакция: в конечном счете, ее ли вина, что наш полет является первым?

— Истина такова,— говорит Блаватский, который, кажется, на сей раз не очень уверен в себе,— истина такова, что о Мадрапуре мы знаем лишь то, что нам сообщило в своем письме ВПМ. Индия об этом безмолвствует. И Китай тоже.

— Что такое ВПМ? — неожиданно спрашивает миссис Банистер с беспечной небрежностью.

Мы все немного удивлены, что левый полукруг вторгается в беседу, которую ведут между собой мужчины правого полукруга, однако удивление быстро проходит, и Караман учтиво, но с оттенком снисходительности отвечает:

— ВПМ — это Временное правительство Мадрапура. Так вы француженка, мадам? — добавляет он.— Я думал, что вы американка.

— Я дочь герцога Буательского,— говорит миссис Банистер с царственной простотой.

На всех сидящих в салоне, кроме Мюрзек, которая громко хмыкает, эти слова производят сильное впечатление. Все мы немного снобы, даже Блаватский, который теперь смотрит на миссис Банистер новыми глазами.

— Почему же оно временное? — спрашивает миссис Банистер, и ее пронзительные насмешливые глаза упираются в Карамана, но шея и корпус при этом кокетливо изгибаются в сторону Мандзони; она, должно быть, очень довольна, что он знает теперь, кто она. На весах обольщения титулованные предки могут в конечном счете и перетянуть прелесть двадцати юных лет Мишу.

Караман слегка наклоняет голову к миссис Банистер, делая это немного неловко, но по-светски любезно, словно он предоставляет свою персону, а также и Кэ-д'Орсэ [1] в полное распоряжение герцогской семьи. Почти все французские дипломаты, как я давно уже заметил, тайные роялисты. Да и сам я, сколько бы ни хорохорился здесь, должен признаться, что обожаю листать книги дворянских родов и всякие светские справочники, хотя они в большинстве случаев чистейшая фикция.

Караман говорит проникновенным тоном:

— То, что сказал сейчас мсье Блаватский, совершенно верно, мадам.— (И по тому, как он произносит это «мадам», я ощущаю, насколько он

---

[1] Министерство иностранных дел расположено на набережной Кэ-д'Орсэ в Париже.

сожалеет, что не может сказать «госпожа герцогиня», ибо на миссис Банистер, занимающей ввиду своего пола более низкую ступень в социальной иерархии, лежит лишь отблеск гордого титула.)

И он уверенно, со знанием дела продолжает:

— Я позволю себе повторить то, что сказал мсье Блаватский: Индия упорно не отвечает на наши запросы по поводу Мадрапура. Все, что мы знаем о Мадрапуре, приходит к нам через ВПМ. Коротко говоря, из сообщений ВПМ следует, что Мадрапур — государство на севере Индии, к востоку от Бутана. Он имеет общую границу с Китаем, который, если верить слухам, снабжает его оружием. По данным все того же ВПМ, в 1956 году махараджа Мадрапура уже готов был войти в состав союза индийских княжеств, когда его подданные изгнали его из страны, и Мадрапур практически стал независимым.

— Что вы имеете в виду под «практически независимым»? — спрашивает Блаватский, и его глаза за толстыми стеклами смотрят недоверчиво и внимательно.

— Слово «практически» — англицизм, который, собственно, ничего не означает,— говорит Караман с тонкой улыбкой, предназначенной не столько Блаватскому, сколько миссис Банистер.— Если не считать, может быть, того, что Индия не захотела обременять себя бесконечной борьбой с мятежниками, живущими в высокогорных лесных районах и, вероятнее всего, в обстановке полного бездорожья.

— Как? Полного бездорожья? — в сильном волнении восклицает Пако.— Но меня совершенно не устраивает, если там нет дорог! Как же я буду тогда вывозить свои бревна?

— Свои бревна? — говорит миссис Банистер, поднимая с проказливым и прелестно легкомысленным видом брови и наклоняясь вперед, чтобы Мандзони, которого Робби загораживает от нее, мог видеть ее профиль, не лишенный, надо сказать, очарования, несмотря на остренький носик.

— Речь идет о древесных стволах,— охотно поясняет Караман.— Мсье Пако импортирует во Францию деловую древесину.

Миссис Банистер благосклонно, но сдержанно кивает головой в сторону Пако, словно ее управляющий только что представил ей весьма достойного арендатора. Но всех этих тонкостей Пако не замечает. С побагровевшей лысиной, с выпученными глазами, он переводит озабоченный взгляд с Карамана на Блаватского.

Выдвинув вперед массивный подбородок с ямочкой и обнажив свои крупные зубы, Блаватский улыбается. В то же время в его маленьких и пронзительных серых глазках что-то поблескивает, и это наводит на размышления. Блаватский не забыл своей стычки с Пако, а ведь он, несмотря на свой смех, на игривость манер и грубоватость простецкого парня, безусловно, злопамятен.

— Как я могу это знать? — говорит он с добродушным видом, отводя руки в стороны от своего дородного туловища.— Мы почти ничего не знаем о Мадрапуре. Есть люди, которые надеются найти там золото. Другие,— острый, как бритва, взгляд на Карамана,— нефть. Третьи,— на Христопулоса он не смотрит, но взгляд его становится жестким,— наркотики. А вот вы, мсье Пако, деловую древесину. Почему бы и нет? — Он еще шире разводит руки.— В конце концов, если Мадрапур действительно существует и если он в самом деле находится там, где нам говорят, то уж чего-чего, а лесов там хватает.

— А дороги? — говорит Пако.— Дороги? Мне абсолютно необходимы дороги! — И в его тоне звучит капризная требовательность, которую я нахожу комичной.— Или на худой конец какие-нибудь тропы.

— Уж тут вы, пожалуй, слишком многого требуете,— говорит Блаватский с деланным добродушием и с жестом бессилия.— По моим сведениям — за их достоверность я не ручаюсь,— мы должны приземлиться на китайском аэродроме, расположенном на границе нового государства. А оттуда вертолеты доставят нас в Мадрапур. Вы не можете не признать, что все это отнюдь не свидетельствует о наличии дорог или даже троп.

Пако поворачивается к Караману и смотрит на него с упреком и возмущением.

— В этом случае,— говорит он со свойственной французам привычкой первым делом винить правительство, когда у них не ладится что-то в делах,— надо было меня предупредить, я бы избавил себя от ненужных хлопот.

— Насколько мне известно,— с бесстрастным видом говорит Караман,— вы с нами не посоветовались, прежде чем предпринять это путешествие.

— Вы знаете не хуже меня,— резко парирует Пако,— как это все проходит у вас в министерствах. Мне бы предложили представить целую кучу бумаг, и ответа я дождался бы не раньше чем через полгода. О несоблюдении коммерческой тайны я уж не говорю. А мне совсем не улыбалось вызывать подозрения у моих конкурентов.

— Но тогда,— очень сухо отвечает Караман, и губа его вздергивается несколько больше обычного,— тогда вы не можете нас упрекать, что мы не сообщили вам, с каким риском сопряжен ваш проект, поскольку мы не были о нем предупреждены.

Обнажив все зубы, Блаватский с удовлетворением взирает на эту кисло-сладкую перепалку двух французов.

А меня поражает даже не столько их взаимная враждебность, сколько тот факт, что промышленник Пако, стоящий во главе достаточно крупной фирмы, пошел на эту рискованную затею, располагая такой скудной информацией. Если только он не решил on the sly [1] прогуляться в Индию за счет своей фирмы. Но зачем в таком случае брать себе в попутчики Бушуа, который одновременно и его правая рука и наставник?

А ведь он прелюбопытнейшая фигура, этот Бушуа. Он излучает таинственность, свойственную по-настоящему неприметным людям. Ни одной яркой черты, только невероятная худоба. Никакого выражения в пустых глазах. И ни одной особой приметы, кроме привычки не переставая перебирать колоду карт. Существо — по крайней мере внешне — заурядное, серое, легкозаменяемое, как стандартная деталь, существо, которое невозможно отнести ни к одному человеческому типу. Я говорю о человеческом типе, а не о социальной группе, ибо в этом плане его классифицировать просто: Бушуа принадлежит к администраторам высокого класса. Пако представил его как свою правую руку, и эта правая рука за тридцать лет работы в фирме наверняка прекрасно выучилась не замечать того, что делает левая рука. Несомненно, Бушуа — тот редкостный человек, заполучить которого мечтают все директора предприятий: человек, обладающий избирательной честностью, неспособный по самому складу своей натуры нанести хозяину даже грошовый ущерб, но при этом усердно помогающий ему без зазрения совести облапошивать клиентов. Во всяком случае, так мне видятся Бушуа, Пако и их взаимоотношения внутри фирмы.

Но я, разумеется, могу ошибаться. Быть может, мсье Пако — промышленник, наделенный маниакальной порядочностью, и налоговому управлению ни разу не удалось оспорить суммы его накладных расходов. К тому же он носит в петлице ленточку Почетного легиона и значок Ротари-клуба [2]. Таким образом, перед нами человек, чьи высокие качества оценены по достоинству и ручательства в добропорядочности которого были дважды подтверждены.

Блаватский поплотнее устраивается в кресле и, полуприкрыв глаза, попеременно следит из-за толстых стекол очков за Пако и Караманом. Он почему-то напоминает мне сейчас огромного кота, подстерегающего добычу.

— В сущности, все же есть способ, мистер Пако,— снова вступает он в беседу. (Хочу отметить, что он его величает *мистером* Пако, тогда как меня имеет наглость именовать просто Серджиусом.) — Все же есть один

---

[1] Тайком *(англ.)*.

[2] Престижная международная благотворительная организация, в которую принимаются люди, достигшие высшей степени профессионализма в своей области.

способ вывоза вашей древесины, во всяком случае если Мадрапур и вправду находится именно там, где нам говорят. Способ такой: спуститься вниз по Брахмапутре, потом по Гангу, который выведет вас в Бенгальский залив.

— Так что же мешает мне это сделать? — говорит Пако с искрой надежды в своих круглых выпученных глазах.

Блаватский смотрит на него, явно веселясь.

— Индия, разумеется,— говорит он. И добавляет, бросая быстрый взгляд на Карамана: — Это относится также и к нефти.

— Индия? — спрашивает Пако.

— Брахмапутра, Ганг, Бенгальский залив — это Индия,— говорит менторским тоном Блаватский,— и я не вижу причин, почему Индия должна позволять вывозить через свою территорию сырье из государства, которое она рассматривает в лучшем случае как взбунтовавшийся протекторат.

Следует пауза. Караман — он сидит в своем кресле немного расслабившись, но отнюдь не развалясь, прическа у него по-прежнему безукоризненная и галстук повязан все так же аккуратно — не позволяет себе ни малейшего замечания. Он опять погрузился (или делает вид, что погрузился) в чтение «Монда». Пако слишком подавлен, чтобы как-то реагировать на эти слова. И Блаватский непременно остался бы хозяином положения, если б в разговор не вмешалась, причем с огромной самоуверенностью, которую придает ей наличие титулованной родни, миссис Банистер.

— Мсье Блаватский,— говорит она смеющимся голосом, склоняя набок изящную шею и пуская в ход все свои чары (но к Блаватскому эти ее маневры имеют лишь косвенное отношение: главный объект всех ее попыток обольщения по-прежнему тот же),— упоминая Мадрапур, вы всякий раз говорите о нем так, словно не верите в его существование.

— Я верю в него довольно слабо, миссис Банистер,— говорит Блаватский, пытаясь выдержать светский тон; эта роль не слишком ему подходит. Разумеется, он достаточно ловок, чтобы изобразить хорошие манеры, но это мало совместимо с агрессивностью поведения, которую он явно предпочитает.

Впрочем, он тут же отказывается от галантного поединка с миссис Банистер и, торопясь поскорее сменить рапиру на более привычный ему топор абордажного боя, старается подыскать другого противника.

— Но все же я сделал заметные успехи в этом деле,— говорит он с коротким смешком.— Еще недавно я считал, что ВПМ — чистейшая выдумка Кэ-д'Орсэ.

Говоря это, он с вызовом смотрит на Карамана, но тот, не отрывая глаз от «Монда», довольствуется своей обычной гримаской и чуть заметно пожимает плечами.

Блаватский улыбается.

— По правде сказать,— продолжает он своим тягучим голосом,— я несколько изменил свое мнение. Когда я нашел в списке пассажиров чартерного рейса фамилию мсье Карамана, я вот что себе сказал: если мсье Караман отправляется в путешествие ради того, чтобы убедиться на месте, что мадрапурская нефть — не миф, значит, Мадрапур, возможно, и в самом деле существует. А также торговля наркотиками через Мадрапур.

Меня опять удивляет та безмятежная откровенность, с какой Блаватский раскрывает перед Христопулосом свои карты. Но дальше он ведет себя еще откровеннее и высказывается уже совсем напрямик.

— Мистер Христопулос,— любезно говорит Блаватский,— вы уже бывали в Мадрапуре?

— Нет,— отвечает Христопулос, и его черные глаза начинают метаться во все стороны, как два встревоженных зверька.

— И, следовательно, вы не можете мне сказать, есть ли наркотики в Мадрапуре?

— Нет,— повторяет Христопулос, пожалуй, с несколько излишней торопливостью и энергией.

Блаватский добродушно улыбается.

— Короче говоря, вы находитесь в такой же ситуации, что и Караман по отношению к нефти?

Здесь Блаватский наносит двойной удар. Конечно, сравнение с Христопулосом вряд ли может доставить французскому дипломату удовольствие.

Но Караман и ухом не ведет. Традиционная дипломатия, во всяком случае, обладает тем неоспоримым достоинством, что она приучает вас хорошо переносить удары. Что до Христопулоса, он багровеет и громко говорит на скверном английском:

— Как вам не стыдно, мистер Блаватский, вы не имеете права утверждать, что я интересуюсь наркотиками!

Мне кажется, что эта его реплика звучит не слишком убедительно.

— Разумеется,— говорит Блаватский, обнажая свои клыки,— я не имею права, в особенности публично, выступать с утверждениями подобного рода, и вы с полным основанием можете подать на меня в суд... Что ж, подавайте! — заключает он с торжествующим видом.

Христопулос гневно пыхтит в свои роскошные черные усы, скрещивает на брюшке короткие руки и на родном языке — который я понимаю — вполголоса выдает целую серию не поддающихся переводу ругательств.

Идиомы средиземноморского бассейна вообще отличаются изощренным сквернословием, но изощренность Христопулоса меня поражает: передо мною проходит вся родня Блаватского вплоть до десятого колена. Такое волнение, очевидно, усиливает у Христопулоса и без того бурную секрецию всех желез, ибо по щекам у него обильно струится пот, а источаемый им запах становится таким густым и насыщенным, что доходит даже до меня. Говоря по совести, в эту минуту мне становится жаль беднягу Пако, сидящего с ним рядом.

— Ну а вот я,— неожиданно говорит миссис Банистер веселым и легкомысленным тоном, стараясь казаться моложе в глазах Мандзони, но на меня этот тон производит противоположный эффект,— я надеюсь, что мне удастся отыскать в Мадрапуре тот великолепный четырехзвездный отель, проспект которого я как-то держала в руках. Мне совсем не улыбается спать в шалаше и умываться водою из лужи...

Уже некоторое время я ощущаю сильную надобность отправиться в хвост самолета, и вы, наверно, сочтете меня немного смешным, но я долго не могу на это решиться на виду у всех этих людей, а главное — на виду у бортпроводницы. Я прекрасно сознаю, насколько инфантильны эти мои колебания, но нужда моя стала совсем уж неотложной, когда я наконец решился покинуть свое кресло.

Я прохожу через туристический класс, удивляясь пустоте салона и особенно тому, что компания чартерных перевозок сочла этот полет рентабельным всего при пятнадцати пассажирах на борту. И вот наконец я у цели, но тут за спиной у себя слышу голос:

— Мистер Серджиус!

Я оборачиваюсь. За мною следом идет Пако.

— Мистер Серджиус,— говорит он,— вы, несомненно, много вращались в международных кругах. Что нам следует обо всем этом думать? Об этом полете? О Мадрапуре? Не являемся ли мы жертвами колоссальной мистификации?

При этом он смотрит на левый лацкан моего пиджака и с удивлением, даже, я полагаю, с огорчением видит, что он пустой.

— Знаете,— говорю я, переминаясь с ноги на ногу, ибо теперь, когда я принял стоячее положение, дальше терпеть мне уж совсем невмоготу,— на свете есть люди, которые считают, что сама наша жизнь — не что иное, как колоссальная мистификация: мы рождаемся, плодим себе подобных и умираем; разве во всем этом есть какой-либо смысл?

Мсье Пако смотрит на меня круглыми глазами (из-за выпуклых глазных яблок это, пожалуй, даже и не метафора), и я чувствую, что сам удивляюсь, как мог я сморозить подобную глупость.

— А этот Блаватский,— продолжает, понижая голос, Пако,— он что, и в самом деле тот, за кого себя выдает?

— Вполне возможно.

— Все равно он отвратителен.

— Да нет, он просто выполняет свои обязанности. Только и всего.— И я продолжаю: — Извините, мсье Пако, но когда вы меня окликнули...

И я недвусмысленно показываю на хвост самолета.

— Простите, простите,— говорит Пако. И с поразительной бесцеремонностью людей, для которых те неудобства, которые они вам причиняют, сущий пустяк, добавляет: — Вы позволите мне задать вам последний вопрос? Почему, на ваш взгляд, Блаватский нас не любит?

— Нас? — говорю я.— Вы хотите сказать — Карамана и вас лично или французов вообще?

— Французов вообще.

— Вот уж типично французский вопрос,— довольно ядовито говорю я (мой мочевой пузырь вот-вот разорвется).— Французы всегда считают, что весь мир должен их обожать. И, однако, спрошу я вас, что в них такого по сравнению с другими народами, чтобы их следовало так уж обожать?

На этом я обрываю разговор, поворачиваюсь спиной и бегу в туалет.

Подобные уголки на борту самолета всегда тесны, неудобны, в них довольно душно и здорово трясет. И, однако, после того как я наконец удовлетворил свою неотложную нужду и мог никуда уже не спешить, я вдруг с удивлением обнаруживаю, что погрузился в размышления. Прошу мне поверить, я сам понимаю всю неуместность этого в подобном месте.

Короче говоря, я корю себя за ту глупость, которую я только что ляпнул Пако: «Мы рождаемся, плодим себе подобных и умираем; разве во всем этом есть какой-либо смысл?» В этих словах я не узнаю своей жизненной философии.

Я терзаюсь угрызениями совести. Как мог я позволить себе замечание такого сорта? Ведь я как верующий претендую на знание правды о смысле жизни.

Ибо я отнюдь не Эдип. Я не убивал своего небесного отца. И если он меня породил, то сделал это ради того, чтобы я мог заслужить спасение на земле и чтобы мне позволено было, пройдя испытание, занять место у его престола.

Ах, разумеется, у меня есть право невинно развлечься во время пути и сотворить ненадолго свой маленький рай — с бортпроводницей в качестве супруги — в мадрапурском четырехзвездном отеле.

Но даже в этом раю я буду жить словно бы проездом, транзитом. В конечном счете самое главное для меня — с честью выдержать испытание перед лицом Творца. Нет, никакой ошибки тут быть не может: подлинный смысл моей жизни именно в том, что́ произойдет со мной после смерти.

А это весьма далеко от абсурдности мира, который провозгласил я в злополучной фразе, сказанной мною Пако.

О, знаю, знаю! Мне скажут, да и мои собственные сомнения тоже подсказывают мне: я лишь заставляю абсурдное отступить на один шаг, но вряд ли можно признать нормальным жить всю свою жизнь в предвидении того, что случится (или не случится), когда я перестану дышать.

Не находя вне своей веры никакого ответа на это сомнение, я отмечаю его, но полностью его уничтожить мне не удается.

Когда я возвращаюсь в первый класс, какое-то внезапное предчувствие задерживает меня перед занавеской, отделяющей его от туристического класса, и я слышу, как миссис Банистер изощряется в остроумии на мой счет, вероятно желая лишний раз блеснуть перед Мандзони.

— Дорогая,— говорит она по-английски (обращаясь, конечно, к миссис Бойд),— иметь подобную внешность просто непозволительно. У него такой вид, будто он вышел из доисторической пещеры. У меня от него по спине мурашки бегут. *(Смех.)* Скажите, вы уверены, что это не плод союза Кинг-Конга с той несчастной женщиной, ну, вы знаете, о ком я... та, что с «Эмпайр стейт билдинг»? Несмотря на некоторое, скажем так... *(смех)* несоответствие!.. Когда он схватил за руку стюардессу, я решила, что сейчас он начнет сдирать с нее все, точно с луковицы! *(Смех.)*

— My dear! [1] — смеясь, восклицает миссис Бойд тоном слабого протеста, который на самом деле поощряет на дальнейшие высказывания.

Но мне достаточно и того, что я услышал. Вхожу, оскорбленный и злой, воцаряется тишина, я деревянно сажусь и с упреком смотрю на миссис Банистер. Это дает мгновенный эффект: она отвечает мне быстрым понимающим взглядом и пленительной полуулыбкой; улыбка и взгляд сопровождают друг друга, являя собой истинный шедевр кокетливости, бесстыдства и светской непринужденности. Можно подумать — но она ведь и добивается того, чтобы я так подумал,— что мурашки, которые бегут у нее по спине от моего вида, вызваны не одним только страхом.

Впрочем, и миссис Бойд смущена не больше, чем ее приятельница. Глядя на этих женщин, которые были, как мне казалось, достойны самого высокого уважения, я спрашиваю себя: то, что в них раньше представлялось мне сердечностью, не является ли в конечном счете всего лишь признаком хороших манер?

У меня такое представление — вероятно, ложное, из-за этого мне частенько приходится испытывать разочарование,— что женщина, оттого что ее тело не имеет углов и оттого что у нее нежное лицо, должна быть доброй и по-матерински ласковой. Когда, даже при самом поверхностном с ней контакте, она таковой не оказывается, я тотчас объявляю ее еретичкой, изменившей своему женскому предназначению, и начинаю относиться к ней с неприязнью. Это с моей стороны ошибка. Как, вероятно, также ошибкой было влюбиться в мою стюардессу, влюбиться за то, что она со мной приветлива и дружески мне улыбается, как вот сейчас, желая меня утешить. Но что за чудо, однако, эта улыбка! Как быстро она снимает мою усталость, как успокаивает меня!

Я сажусь. С интересом присматриваюсь и прислушиваюсь к тому, что происходит вокруг. Пока я отсутствовал, ситуация в салоне заметно изменилась и возникла новая волна напряженности, не имеющая ничего общего ни с ВПМ, ни с деловой древесиной.

В центре внимания находится теперь мадам Эдмонд. Перестав посылать всему наличному мужскому составу полупрофессиональные призывы, играя глазами и ртом, она, разумеется, не отказалась от обольщения, но теперь делает это с гораздо большей искренностью, имея в виду одну только Мишу, по левую руку от которой она сидит. Мне не слышно, что именно она ей говорит, ибо говорит она очень тихо, в сугубо доверительной манере, хотя и довольно настойчиво. Но ее взгляды, ее оживление, тон ее голоса, ее поза вызывают в сознании образ — нет, не старшей сестры, старающейся утешить свою младшенькую, а образ мужчины, который пытается незаметно для окружающих — в данном случае даже более чем незаметно, скрытно — приударить за женщиной. Ибо Мишу, принимая (или желая принять) за чистую монету эту игру, которая выдается за бескорыстное участие, в то же время смущена и взволнована заразительной силой тайного влечения, она, можно сказать, уже соблазнена или, во всяком случае, околдована, хотя почти не отдает себе в этом отчета.

Не буду преувеличивать наивность Мишу; мне кажется маловероятным, чтобы она совсем уж не чувствовала, в чем тут дело. Но, завороженная тем, что она пользуется таким вниманием, она предпочитает закрывать глаза на опасность. Ее действительное и притом полнейшее неведение относится к другому, гораздо более опасному пункту: она не имеет ни малейшего представления о том, какого сорта особа мадам Эдмонд и куда может завести ее, Мишу, эта дружба.

Таково, полагаю, и общее впечатление, возникшее у всех пассажиров, ибо разговоры в салоне полностью прекратились и воцарилась напряженная тишина, которая, однако, ничуть не смущает мадам Эдмонд. Разрумянившись, трепеща, но ни на миг не теряя над собою контроля, она продолжает изливать на Мишу свои двусмысленные утешения. До нас доносятся только обрывки, и, взятые вне контекста, они не содержат ничего

---

[1] Дорогая! *(англ.)*.

предосудительного, что, по всей видимости, делает наше вмешательство невозможным. А нам всем безумно хочется вмешаться, и больше всех этого хочет Пако.

Он побагровел, череп его блестит от пота, глаза почти вылезли из орбит, он весь во власти гнева и вместе с тем страха. Его руки дрожат от усилий, которые ему приходится делать, чтобы сдержаться — чтобы помешать себе заговорить. На мой взгляд, сдержаться он не сумеет. Я уже отмечал, что этот человек, вероятно достаточно жесткий в делах, несет в себе заряд душевной щедрости. Он ее уже проявил, когда вступился за Христопулоса, хотя в том инциденте его собственные интересы не были задеты.

Наше молчание, спрессованное из многих подавленных в себе порывов, внезапно обретает еще бóльшую драматичность из-за борьбы, которую ведет с собою Пако. Он становится горячей точкой, в которой сходятся наши взоры. Атмосфера насыщена гнетущим ожиданием. На его вмешательство мы возлагаем наши последние надежды, настолько мы обеспокоены тем, что мадам Эдмонд совращает Мишу. Странное дело, никто из нас не считает Мишу способной за себя постоять. И Пако становится рыцарем, которому пассажиры молча поручают ее защиту.

Пако, я полагаю, чувствует всю неотступность наших безмолвных просьб, и это заставляет его наконец решиться. У него вздуваются жилы на висках, лицо делается кирпично-красным, мы понимаем, что своего добились. И наш эгоизм опять берет верх, каждый удобно устраивается в кресле и ждет, когда разразится скандал, который нам предстоит наблюдать, ничем не рискуя, ибо никого из нас он не должен коснуться.

Вытянув в обвиняющем жесте дрожащую руку, выпучив глаза, должно быть, умирая от страха и в отчаянии устремляясь очертя голову вперед, Пако с неистовым ожесточением атакует.

— Мишу,— сипло говорит он,— вы, наверное, не знаете, кто эта женщина, которая имеет наглость прилюдно строить вам куры. Я вам скажу. Она не только лесбиянка, она еще и проститутка высокого полета. Более того, она мужик в юбке, и она бандерша. Она хозяйка одного из самых шикарных публичных домов в Париже.

Под натиском этих обвинений мадам Эдмонд преображается у нас на глазах. Она вздрагивает, краснеет, и рот ее, который минуту назад искусно имитировал доброту и казался таким утешающе-нежным, начинает с ужасным шипением извиваться, выплескивая яд.

Что до меня, я с превеликой неловкостью слушаю ее гнусные речи. Жаргон, на котором она изъясняется, картины и позы, которые она живописует, возмущают меня. Вместо того чтобы in extenso [1] воспроизвести все, что она говорит, я постараюсь дать краткое изложение ее слов в максимально пристойном и лишенном каких-либо красок виде.

Итак: 1) она, мадам Эдмонд, именно такая и есть, какой ее обрисовал Пако, но всю ответственность за это она возлагает на похотливость мужчин; 2) ее заведение не просуществовало бы и дня без таких субъектов, как Пако, которые, выдавая себя за респектабельных господ, охотно посещают ее дом; 3) Пако, некоторые физические особенности которого могут вызвать лишь жалость, обладает к тому же и весьма своеобразными вкусами; он может вступать в сношения только с «малолетками» и обращается с ними как садист, без чего не в состоянии достичь желанной цели; 4) тот лицемерно отеческий интерес, который Пако проявляет к Мишу, объясняется исключительно его пороками.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я настолько возмущен чудовищным выставлением напоказ интимной жизни Пако, что первым пытаюсь положить этому конец и громко кричу:

— Прекратите!

---

[1] Полностью *(лат.)*.

Моему крику вторит пронзительный голос Робби, который так потрясен этими гнусными подробностями, что вот-вот истерически разрыдается. Тогда мадам Эдмонд обращает свою ярость на нас и принимается осыпать нас оскорблениями — главным образом Робби, который, по ее словам, «никогда и не отважится к ней прийти». Тут в салоне поднимается ропот всеобщего возмущения, и она вынуждена умолкнуть; но побежденной она себя не считает и с вызовом обводит всех поочередно взглядом.

Что касается Пако, то он, как и до своей попытки защитить Мишу́, дрожавшую от страха, теперь, когда мадам Эдмонд безжалостно растоптала его репутацию, ведет себя мужественно и достойно. Скрестив на груди руки — поза немного театральная, но помогающая ему стойко держаться,— он смотрит прямо в лицо мадам Эдмонд, не произнося в свою защиту ни слова. Однако кроме прямых нападок, обрушившихся на него, ему грозит другая неприятность — уже с фланга, со стороны Бушуа, его правой руки и одновременно шурина, питающего к нему, как мне кажется, ту застарелую и затаенную семейную злобу, что описана в стольких французских романах. Он явно ликует, этот Бушуа. Он сразу же оценил, какое великолепное оружие против его родственника вложила ему в руки своими разоблачениями мадам Эдмонд. Мне редко доводилось видеть более мерзкое зрелище, чем та торжествующая низость, которой отмечено в эту минуту его костлявое лицо.

Все мы избегаем слишком открыто глядеть на Пако, но каждый украдкой бросает на него быстрые взгляды, особенно viudas.

Эти дамы пребывают в большом волнении. Они оживленно шушукаются, вполголоса обмениваясь a parte [1] высоконравственными комментариями к услышанному и недоуменными вопросами, ибо они не все до конца поняли в обличениях мадам Эдмонд и жаждут понять. В частности, они спрашивают друг у друга, что она имела в виду, когда упоминала о «малолетках» и о садистском с ними обращении. Разумеется, своими ужимками они показывают, что их целомудрие оскорблено, но в то же время они в полном восторге: ведь приключения, которых они так ждали от своего путешествия в Мадрапур, начались уже в самолете. Ибо каждому известно, что обычно в дальних рейсах на борту ничего не происходит — только нескончаемо долгие часы скуки между двумя короткими приступами тревоги при взлете и при посадке.

Блаватский наклоняется ко мне и, впиваясь в меня из-за толстых стекол очков своим острым взглядом, тихо говорит (попутно отмечу, что он пользуется двумя языками — одним, суховато-корректным, в официальных разговорах, а другим, жаргонным и сочным, в частных беседах):

— Ну, я просто в отпаде.

— Почему?

— С чего это такой грязный тип готов заплатить подобную цену, чтобы только помочь этой шлюшке? Или, если хотите, скажу по-другому: как может человек совершать подобные мерзости и одновременно быть способным на такую безумную душевную щедрость?

— Какие же выводы вы из этого делаете? — говорю я, несколько удивляясь самому ходу его рассуждений.

— А никаких,— отвечает он. Но тут же добавляет со своей обычной вульгарностью: — Кроме одного: не следует придавать слишком большое значение тому, чем занимается мужчина, когда у него спущены штаны.

Я молчу, не желая вести полемику шепотом, но точка зрения Блаватского производит на меня впечатление, хотя я и не согласен с этим в общих чертах.

Он снова обращается ко мне:

— Впрочем, на этом самолете все странно, начиная с моторов. Вы сами-то их слышите?

— Едва-едва.

Все эти реплики a parte еще больше сгущают атмосферу, и тогда Робби,

---

[1] *Здесь:* не для посторонних ушей *(лат.)*.

из чистой любезности, я в этом уверен, пытается громким голосом разрядить обстановку.

— Французский язык,— начинает он беззаботным тоном, который поначалу звучит довольно фальшиво,— поистине поразителен. Когда ты просто употребляешь слово «дом», непременно требуется уточнить: «дом Пьера», или «дом Поля», или «дом народа», или «дом культуры». Но когда ты говоришь «*некий* дом», все мгновенно понимают...

Он прерывает себя на полуслове, ибо видит, как наши глаза наполняются ужасом. Единственным пассажиром, кого это замечание забавляет, оказывается Блаватский, который усмотрел в нем — я полагаю, ошибочно — шпильку в адрес французов.

Тут Мишу начинает горько рыдать. Лучшего способа отвлечь общее внимание от Пако нельзя придумать, даже если бы она захотела. Ее слезы включают механизм сострадания — чувства, достаточно приятного для всех и разделяемого всеми, за исключением, разумеется, индусской четы, мадам Мюрзек и мадам Эдмонд, которая, повернув голову в сторону своей бывшей жертвы, с раздражением взирает на ее слезы.

Ее можно в какой-то мере понять. Мишу появилась на свет с серебряной ложкой во рту, в то время как мадам Эдмонд росла в среде, не знающей жалости, и выбилась на поверхность лишь благодаря таким качествам, как твердость и изворотливость, а отнюдь не хныканье.

Мадам Эдмонд встает, для того, вероятно, чтобы немного освежить макияж, и, высоко подняв голову, величественно проходит через салон. Если принимать во внимание только физическую сторону ее натуры, перед нами поистине роскошное животное, великолепное в своих пропорциях и наделенное бьющей через край энергией.

Как только она ушла, Мандзони заводит тихую беседу с Робби. О чем они говорят, мне не слышно, но, по всей видимости, он требует от своего друга нечто такое, что тому явно не нравится. Мандзони настаивает все упорнее, и в конце концов Робби, не скрывая своего недовольства, сдается. Он встает, с томным изяществом распрямляя свое длинное тело, и уступает свое кресло Мандзони, а тот свое уступает Мишу. И Мишу, которая все еще продолжает плакать, оказывается, почти не отдавая себе в этом отчета, сидящей между Мандзони и Робби и избавленной таким образом от своей соседки слева. Эта комбинация не очень устраивает Робби, который больше теперь не входит, говоря военным языком, «в соприкосновение» со своим другом, но зато она на руку итальянцу, который, получив в качестве соседок слева Мишу, а справа миссис Банистер, имеет возможность приступить к двусторонним действиям.

Пако глядит на эти перемещения со сложными чувствами и с тоскою в глазах, но после намеков мадам Эдмонд относительно причины его интереса к Мишу он не решается снова вмешаться. Что касается миссис Банистер, она словно бы даже не замечает, что у нее теперь сосед совершенно иного склада, нежели Робби. Но какую, однако, выгоду она из этого извлекла! Ей больше не надо наклоняться вперед, чтобы ее очаровательные ужимки были замечены тем, кому они адресованы.

Сидящий слева от меня Караман выглядит среди всей этой суеты таким благонравным, таким чистеньким, что меня разбирает любопытство. Я наклоняюсь к нему и тихо спрашиваю:

— Ну и что вы обо всем этом думаете?

— Это сенсация,— говорит он, приподымая уголок рта и произнося слово так, словно вкладывает в него сугубо криминалистический смысл. И добавляет со значением: — Вы, конечно, знаете, что во Франции такого рода дома были запрещены законом сразу после войны.

— Но они существуют?

— Они существуют во всем мире,— сухо отвечает он, словно подозревая меня в нападках на его страну.

Спустя некоторое время он говорит совсем тихим, еле слышным голосом:

— Что касается этого господина, ему лучше было бы промолчать. Не понимаю, что за удовольствие пилить сук, на котором сидишь.

— Не знаю,— говорю я.— И все-таки он кажется мне довольно симпатичным.

Караман искоса взглядывает на меня, приподымая уголок рта и одновременно правую бровь. После чего замолкает. Это вовсе не значит, что он перестает участвовать в разговоре. Нет, он замолкает, будто плотно закрывает дверь. Но, разумеется, не хлопает ею. Он слишком для этого хорошо воспитан.

На сей раз в салоне устанавливается тишина. Я взглянул на свои часы — мы летим уже два часа; летим между двумя слоями облаков: в иллюминаторах абсолютно ничего не видно, ни единой звезды, ни луны, ни земли. Черная ночь. По всем законам нам бы сейчас полагалось поспать, но, за исключением миссис Бойд, по возрасту самой старшей среди нас, которая, кажется, время от времени дремлет, ни у кого нет сна ни в одном глазу.

А я гляжу на бортпроводницу и, глядя на нее, размышляю обо всем, что только что произошло,— о том, что пассажиры были гораздо больше возбуждены инцидентом с Пако, чем предшествовавшей этому дискуссией о Мадрапуре, хотя она-то и должна была представлять для нас интерес, поскольку под вопросом оказался самый факт существования страны, в которую мы все направляемся. Но нет, мы уютно устроились в креслах и, искренне убежденные в том, что подобные несуразицы приключаются только с другими, предпочли поскорее развеять все, что могло бы заронить нам в души сомнение относительно конечной цели нашего полета.

Другой парадокс: тогда как обычно в самолете время ничем не заполнено, а человеческие контакты ничтожны, здесь мы с самого начала полета живем весьма интенсивной общественной жизнью, разнообразной и бурной. Столь оживленная атмосфера, как я уже отмечал, стала возможной благодаря круговому расположению кресел. Но вопрос, которым я теперь задаюсь, идет несколько дальше: всего-навсего «стала возможной» или именно этим расположением и вызвана?

Я не хотел бы показаться вам слишком заумным и сложным, но фигура круга для меня чрезвычайно важна. Я не рассматриваю ее в том смысле, в каком это делают буддисты, для которых круг символизирует *колесо времени,* где вещи вовлечены в вереницу нескончаемых превращений и души переселяются из тела в тело, пока не очистятся, и тогда они выйдут из *колеса* и познáют наконец покой.

Для меня круг — это сообщество мужчин и женщин, частью которого я являюсь и проблемы, усилия, надежды которого я разделяю. Счастье для меня — быть вместе со всеми. Другого счастья, по-моему, нет.

Вот почему я сожалею, что мы, проявив склонность к манихейству, столь поспешили превратить Мюрзек в нашего врага. Правда, мы не исключили ее из круга физически. Да и как, впрочем, могли бы мы это сделать? Но в нашем сознании Мюрзек уже заклеймена, изгнана, брошена в гетто. Словом, стала для нас козлом отпущения. А это суд скорый, и меня коробит его неправедность.

Нужно сказать, что Мюрзек и пальцем не пошевельнула, чтобы нас обезоружить. Она могла хотя бы посидеть тихонько, чтобы о ней немного забыли, могла помолчать. Но нет! Она снова высовывается! У нее просто мания во все встревать! Она считает своим долгом наводить порядок в чужих делах.

Ей наплевать, что ее вмешательство всегда бывает невпопад и вызывает у окружающих только скрежет зубовный.

Когда мадам Эдмонд уничтожала Пако, это было, конечно, зрелищем малоприятным. Но у мадам Эдмонд было хоть то извинение, что на этот шаг ее спровоцировали. Почему же теперь, едва успев вырваться из ее когтей и вконец обессилев, бедняга Пако, мечтающий лишь о том, чтобы его оставили в покое и позволили в уголке зализывать раны,— почему он должен снова с ужасом видеть, как, плотоядно обнажив свои желтые зубы,

Мюрзек свирепо набрасывается на него с явным намерением растерзать его в клочья?

— Мсье,— говорит, ко всеобщему удивлению, Мюрзек, когда мы уже предвкушали возможность насладиться наконец минутой покоя после мучительной сцены, в которую нас втянула мадам Эдмонд,— я почитаю своим долгом спросить у вас, верны ли те факты, которые сообщила относительно вас эта особа.

— Но, мадам,— говорит, выпучив глаза, пунцовый Пако,— вы не имеете права задавать мне подобные вопросы!

— Во всяком случае, я отмечаю, что вы не ответили мне. А также не опровергли утверждений этой особы.

Тут мадам Эдмонд, дважды отмеченная званием «особа», начинает смеяться и, наклонившись к Робби, своему новому соседу, говорит ему вполголоса:

— Какая дура!

Я с удивлением отмечаю, что с Робби она уже успела помириться и они напропалую кокетничают друг с другом, будто ведут какую-то сомнительную игру. Я думаю, для обоих есть нечто успокаивающее в мысли, что они никогда не переспят друг с другом.

— Во всяком случае,— огрызается Пако,— это вас не касается. Речь идет о моей частной жизни.

— Ваша частная жизнь, мсье,— заявляет Мюрзек напыщенным тоном,— ныне предана гласности, и вы сами должны сделать из этого необходимые выводы.

— Какие выводы? — говорит остолбеневший Пако.

— Как это «какие»? — с грозной настойчивостью продолжает гнуть свое Мюрзек, останавливая на Пако неумолимый синий взор.— Но это же очевидно! Если у вас еще осталась хоть капля нравственного чувства, вы должны понять, что вам среди нас не место.

По салону пробегает вздох изумления, и все глаза устремляются на Мюрзек.

— Что? Что? — взрывается Пако.— Вы, наверное, спятили? Где же прикажете мне сидеть?

— В туристическом классе,— отвечает она.

— Отправляйтесь туда сами,— в ярости говорит Пако,— если мое присутствие вас стесняет!

— Конечно, стесняет,— говорит мадам Мюрзек, и ее глаза сверкают синим огнем на желтом фоне зубов и кожи.— Я спрашиваю, кого оно не стесняет после того, что мы узнали?

— Меня, например,— на удивление небрежно цедит миссис Банистер (урожденная де Буатель), лениво глядя на мадам Мюрзек.

— My dear! — восклицает миссис Бойд, вздымая вверх руки.— You don't want to argue with that woman! She is the limit! [1]

— Вас, мадам? — говорит Мюрзек с видом королевы из классической трагедии (в довершение всего играет она фальшиво, как это часто бывает с актерами на ролях «злодеев»: не имея перед собой подходящей «натуры», на которую можно было бы опереться, они прибегают к ложному пафосу).

Миссис Банистер довольствуется утвердительным кивком, сохраняя при этом, наподобие гимнаста во время передышки, позу полного расслабления. Мюрзек ощущает или, вернее, чует носом, какая хорошо рассчитанная сила таится за этой небрежностью, и она, несмотря на все свое безрассудство, колеблется. Что и говорить, теперь перед нею противник неизмеримо более опасный, чем бедняга Пако.

В наступившем молчании миссис Банистер поднимает кверху свои прекрасные раскосые глаза и словно по чистой случайности опускает их на Мюрзек. Удивившись, как если бы она вдруг обнаружила на ухоженных аллеях парка в замке своего отца кучку нечистот, она улыбается. Понадоби-

[1] Дорогая моя! Не станете же вы вступать в спор с этой женщиной! Она невыносима! *(англ.)*.

лись долгие века полного социального господства, чтобы выработать улыбку де Буателей. Но результат того стоит.

Нужно сказать, что у миссис Банистер вдобавок ко всему тот тип лица, которому, кажется, самой судьбой предназначено излучать внутреннюю гордость,— глаза, как и брови, поднимаются к вискам, очень черные зрачки и почти монголоидного рисунка веки, унаследованные, возможно, от далекого предка, который в поисках приключений отправился некогда на Дальний Восток. Все вместе напоминает маску японского воина и придает миссис Банистер ту природную надменность, которой она, опытная актриса, очень умело пользуется. Ничего общего с несколько механической гримасой Карамана, здесь все гораздо тоньше. Улыбка презрительная, но не сама по себе, а вследствие того, что она вобрала в себя презрительность других черт лица, особенно глаз.

Под воздействием этой мимики — на что миссис Банистер, разумеется, и рассчитывала — лицо у Мюрзек резко меняется; колер его из светло-желтого становится темно-желтым. И, забыв всякую осторожность, Мюрзек пригибает голову, бьет копытом о землю и кидается в бой.

— Вероятно, у вас имеются особые причины,— свистящим голосом начинает она,— заставляющие вас быть снисходительной к этому господину!

— Ну, конечно, имеются,— говорит миссис Банистер, поочередно одаривая всех очаровательной в своем простодушии улыбкой.— И вот вам главная из них: я не очень поняла, в чем же его упрекают. Я, например, не знаю, что такое «малолетки». Но вы, мадам, в этой области, несомненно, опытнее меня и, вероятно, могли бы меня просветить?

Мюрзек молчит. Как она может признать себя «в этой области» более опытной, чем ее противница? Что касается мужчин правой половины круга, они тоже молчат, считая неловким в присутствии Пако (по голому черепу которого снова обильно струился пот) объяснять значение этого термина. Тем не менее миссис Банистер переводит с одного на другого свой вопрошающий капризный взгляд, заставляя при этом всех нас ощутить, с какой снисходительной благосклонностью она осыпает нас своими милостями.

Но все напрасно. Мы по-прежнему упорно молчим, не желая подливать масла в огонь, на котором уже и так поджаривается Пако. И тогда Мандзони, приблизив губы к ушной раковине миссис Банистер (и даже, я полагаю, к ней прикоснувшись, потому что я вижу, как она, не раковина, конечно, а сама дама, вздрагивает), шепчет ей несколько слов.

— О! — говорит миссис Банистер.— Это верно?

Она настолько возбуждена, что словно бы невзначай хватает Мандзони за руку и с силой сжимает его запястье и одновременно, изображая смущение, великолепно отработанным жестом юной воспитанницы монастырской школы подносит другую свою руку к губам.

— What did he say? What did he say? [1] — с почти комической алчностью спрашивает миссис Бойд, наклоняясь к миссис Банистер.

И тотчас, с самоуверенной невоспитанностью людей, принадлежащих к избранному обществу, наши две viudas начинают упоенно шушукаться, с интересом поглядывая на Пако, словно на редкий музейный экспонат.

Тут Мандзони, вместо того чтобы постараться закрепить очевидный успех, которого он только что добился у своей соседки справа — ибо, в конце концов, не каждый же день миссис Банистер снисходит до нас, сжимая наше запястье своей герцогской ручкой,— Мандзони в угаре самовлюбленности совершает грубейшую ошибку, которая, на мой взгляд, ему дорого потом обойдется. Он предпринимает свою вторую атаку на Мишу.

— Ах, вы читаете Шеви́? — говорит он, наклоняясь к ней и пуская в ход свои бархатные глаза, голос и очаровательное пришепетывание.

— Да,— отвечает она и с обычной своей бесхитростностью приподнимает книгу на уровень его глаз, показывая ему обложку.

---

[1] Что он сказал? Что он сказал? *(англ.)*.

— «Тринадцать пуль в башку»,— читает Мандзони и издает короткий смешок. И добавляет: — Тут и одной бы хватило.

Но Мишу даже не улыбнулась. Наша трогательная красотка, наверно, одна из тех девиц, которые так поглощены собственными чувствами, что юмор в любой форме остается им чужд. Мандзони, должно быть, тоже понимает, что рассмешить ее не удастся, ибо продолжает уже серьезно:

— Вам не кажется, что у Шеви есть некоторая склонность к садизму?

— Нет,— говорит Мишу и замолкает, поскольку ей нечего больше сказать.

— И, однако,— говорит Мандзони,— все эти трупы...

— Ну и что,— говорит Мишу.

Видимо, это должно означать, что от полицейского романа ничего другого ждать не приходится. В это мгновенье миссис Банистер, повернув элегантную шею, обращает в сторону Мандзони свое удивительное лицо, которое сейчас еще больше напоминает маску японского воина, и бросает на него короткий испепеляющий взгляд. Счастье Мандзони, что он живет в XX веке, а не четырьмя веками раньше: кинжал незамедлительно положил бы конец его вероломству.

— Но, в общем, это достаточно страшно — вся эта кровь,— говорит Мандзони.

— Достаточно,— говорит Мишу.

Из ее книги выскальзывает фотография, Мандзони проворно подбирает ее, бросает на нее быстрый взгляд и, возвращая ее Мишу, вполголоса говорит с наигранным великодушием:

— Какой красивый парень.

— Это Майк,— с признательностью говорит Мишу.

— Майк? — лицемерно переспрашивает Мандзони, словно Мишу произносит это имя впервые.

— Да вы знаете,— говорит Мишу. И добавляет с легким движением в сторону viudas: — Тот, кого эти дамы называли моим «женихом».

Черный глаз миссис Банистер вспыхивает и тотчас же исчезает в щелках раскосых век. Хотя Мишу наверняка не имела никакой задней мысли, она, по существу, присоединила ее к старухам, и перед кем!

Однако, когда миссис Банистер отвечает Мишу, все черты ее лица уже обрели прежнее выражение и в голосе звучат ласковые нотки. Нет, она не совершит ошибки, не станет нападать на Мишу, тем более в разгар недвусмысленных заигрываний Мандзони.

— Да что вы, Мишу,— говорит она тоном любящей старшей сестры.— Я вовсе не так старомодна, как вы думаете! Когда я была в вашем возрасте, у меня был не один жених — у меня их было несколько.

После чего она делает паузу, склоняет голову к плечу и, глядя на нас сверкающими глазами, небрежно бросает:

— В том смысле, в каком вы сейчас это понимаете.

— My dear! — говорит, вздымая вверх руки, миссис Бойд.

Свои японские глаза миссис Банистер устремляет на нас — на правую половину круга, но мы только стенка, которая должна отослать мяч тому, кому он в действительности предназначен. И траектория его рассчитана точно, хитроумно и дерзко. Миссис Банистер хорошо знает: ничто не делает женщину такой привлекательной в глазах мужчин, как ее признание в том, что она их любит.

Даже мы, стенка, начинаем смотреть на миссис Банистер другими глазами.

И именно эту минуту мадам Мюрзек, с ее талантом делать все невпопад, выбирает для того, чтобы ринуться в атаку.

— И вы этим хвастаетесь! — ликуя говорит она, видимо полагая, что нашла в панцире уязвимое место, тогда как панцирь миссис Банистер составляет одно целое с кожей.

Уверенная в нас — которых она только что околдовала, признавшись в собственных слабостях,— миссис Банистер принимает новый вызов довольно беспечно и не торопится продолжать наступление; она даже позволяет себе роскошь немного отступить.

— Это должно вас, наверно, шокировать,— говорит она с волнующими модуляциями в голосе,— но сейчас я, пожалуй, больше всего сожалею о возможностях, которые упустила.

Говоря это, она смотрит на нас, изгибая шею с такой восхитительной грустью, словно ее упущенные возможности — это мы. И, невольно уступая ее тщеславному задору и в то же время покоренные ее милыми ужимками, все мы уже у ее ног. Включая Карамана, который забывает в эту минуту о воспитании, которое он получил у святых отцов. Как отличается, как разительно это все отличается от тех грубых приемов, к которым, соблазняя нас, прибегает мадам Эдмонд. Что же касается эротического воздействия, то светская дама и здесь даст проститутке сто очков вперед.

— Какой цинизм! — с возмущением восклицает Мюрзек, и она, конечно, права, но права с той точки зрения, про которую всем нам очень хочется забыть.

— Я полагаю,— говорит миссис Банистер, незамедлительно используя против нее именно тот аргумент, в котором Мюрзек усматривает свою основную опору,— я полагаю, что среди ваших достоинств вы числите также и добродетель.

И мы все чувствуем в эту минуту, что добродетель не входит в кодекс хорошего тона.

— У меня в самом деле есть нравственные устои,— сухо говорит Мюрзек.

И все ждут, все просто надеются, что миссис Банистер спросит сейчас, как сочетаются эти нравственные устои с ядовитой злобой, которую на наших глазах Мюрзек выплеснула на Мишу. Но миссис Банистер не расположена снова привлекать наше внимание к своей трогательной сопернице и еще того менее — давать Мандзони новый повод для умиления по поводу этой бедняжки. Для атаки она выбирает другой плацдарм.

— Что же,— говорит она со спокойной дерзостью,— ни одного поклонника? Ни самой крохотной слабости? Ни одной связи? Ни даже минутной потери самообладания наедине с подругою детства?

Примечательно, с каким коварством, а быть может, и с какой проницательностью миссис Банистер выдвигает сапфический вариант как один из наиболее правдоподобных.

— Эти предположения только характеризуют вас самое,— отвечает Мюрзек.

Ответ в общем-то достаточно сильный, но весь эффект которого она тут же портит, добавляя:

— Я должна вас разочаровать: у меня никогда никого не было, кроме мужа, который скоропостижно умер.

В конце концов, вполне может статься, что у нее в самом деле никогда никого, кроме мужа, не было, но почему ее голос на слове «скоропостижно» дрогнул? Вообразить Мюрзек влюбленной невозможно, а безутешной вдовой и подавно.

Миссис Банистер это чувствует, поднимает к небесам свои сорочьи глаза, вновь опускает их, метнув сообщнически взгляд на нас и, тихо вздохнув, вполголоса произносит:

— Укокошили.

— My dear! — говорит миссис Бойд.

— На что вы намекаете? — грозно вопрошает Мюрзек.

— Ни на что,— с полнейшим бесстыдством говорит миссис Банистер.

И, что уж действительно предел наглости, после всех вопросов, которые она сама же и задавала на эту тему, добавляет:

— Ваша личная жизнь меня не касается.

— Вы хотите сказать, что не способны ее понять,— говорит Мюрзек.— И это меня мало удивляет после всего того, что вы нам сейчас доложили о вашей.

Преимущество в счете на стороне Мюрзек. Преимущество не ахти какое большое и не слишком убедительное, но тем не менее свидетельствующее о крепком профессиональном мастерстве. К сожалению, и на сей

раз Мюрзек снова все портит, добавляя с невыносимо фальшивой интонацией:

— Я представляю собой личность, понимаете, личность, которая наделена совестью и духовными запросами. А вам должно быть стыдно считать себя всего лишь объектом сексуальных вожделений.

Тут миссис Банистер производит целую серию очаровательных иронических ужимок, в чем ей очень помогают ее сверкающие раскосые самурайские глаза. Сейчас она должна нанести удар. Битва гадюки со скорпионом близится к завершению.

— Милостивая государыня,— говорит миссис Банистер,— ваше понимание роли секса в отношениях между людьми весьма далеко от реальности. Поверьте мне, быть объектом сексуальных вожделений — вовсе не это печально для женщины, для нее печально другое — никогда им не быть...

Мюрзек ничего не отвечает, сидит с отсутствующим видом, поджав губы. Но когда, опьянев от своего триумфа, миссис Банистер обращает взор на Мандзони, она не встречает его ответного взгляда. Он отвернулся, он молчит, он никого не видит, кроме Мишу.

В театре гаснут свечи, и в наступившей тишине на лице миссис Банистер после стольких затраченных впустую усилий появляется усталое выражение, которое старит его. Как ни напрягает она лицевые мускулы, стараясь сохранить невозмутимость, в ее восточных глазах проступает печаль. Должно быть, она думает о том времени, когда ей не нужно было блистать всеми своими талантами, когда она тоже могла сидеть с дурацкой книгой на коленях и в ответ нести сквозь зубы любую околесицу — все равно вокруг так же неистово трепетали устремленные к ней мужские желания.

Сейчас все сидят будто в рот воды набрали. Но это продлится недолго. Игра влечений и антипатий за короткое время так захватила всех в этом кругу, что рассчитывать на тишину не приходится. Используя передышку, я смотрю на viudas и, проявляя нескромность, слушаю их приглушенные речи.

Вдов на Западе становится все больше и больше, их теперь уже столько, что на них перестают обращать внимание. Однако они представляют собой психосоциальный феномен, достойный особого изучения. Следовало бы, на мой взгляд, постараться раскрыть тайну долголетия женщин, корни той поистине неукротимой любви, которую они проявляют к своему земному существованию, истоки их способности уцелеть, приспособиться к своей одинокой судьбе.

Правда, им в этом весьма помогают деньги. Было бы интересно узнать, чем занимались, пока были живы, мистер Бойд и мистер Банистер и как они заработали те деньги, которые оставили своим супругам. Если судить по одежде и украшениям их вдов и по рассказам этих вдов о том, как они путешествуют (неизменно живя во дворцах), покойники должны были оставить каждой целую кучу сокровищ. Но о своих этих кучах и о происхождении их — деньги, надо думать, все-таки пахнут — ни слова. Но зато обе весьма охотно повествуют о своей родне, и вся их беседа пересыпана громкими именами, которыми они обмениваются, точно паролем.

Возраста они разного. Миссис Банистер только еще вступила на опасную стезю, ведущую к сорокалетию, и она старается насколько возможно притормозить свое движение по этому склону. Миссис Бойд уже вошла в стоячие воды старческой поры и обрела в них, кажется, тихую пристань — обеспечивая себя мелкими удобствами, большим комфортом и радостями ненасытного чревоугодия. Робби сказал бы, что таким способом наша вдовушка ублажает свою утробушку.

Когда миссис Банистер соглашается предоставить ей слово, миссис Бойд с большим знанием дела и в мельчайших подробностях вспоминает те яства, которые ей доводилось отведать. Речь здесь идет не о какой-нибудь простой обжираловке, но о пище тонкой и изысканной, которую ты вкушаешь посредством серебряной вилочки, в избранном обществе, под неусып-

ным заботливым взором многочисленной челяди. Эти дорогие сердцу воспоминания в конце концов выработали у миссис Бойд счастливый характер, и со своими красивыми белоснежными волосами, взбитыми в старомодные букли, со своим круглым и гладким лицом, свежим цветом кожи, пухлым ртом и заметным животиком она производит впечатление человека, живущего в полном согласии с окружающим миром. Так оно в самом деле и есть. Тем более что, «никогда не читая ни книг, ни газет» (она этим хвастается), она не позволяет всяким там катаклизмам, происходящим на нашей планете, смущать ее душу и проникать в ее замкнутый мир.

Отношения ее с миссис Банистер характеризуются, по-моему, множеством разных оттенков. Она ею восхищается, но, как это ни покажется невероятным, ею руководит и никогда не выпускает поводьев из рук. Как будто бы строго придерживаясь общепринятой морали, она, по существу, очень довольна, что миссис Банистер в изобилии снабжает ее волнующими сюжетами для бесед, поскольку ее интерес к сексуальным проблемам с возрастом вылился в форму пересудов и сплетен.

Несмотря на то что они соотечественники, миссис Бойд и Блаватский друг друга не любят, ибо она с самого начала отнеслась к нему подчеркнуто холодно, а Блаватский не из тех, кто прощает такую обиду.

Кроме того, светские разговоры наших viudas раздражают его, и, когда миссис Бойд чванливо упоминает о своих бостонских корнях, Блаватский нахально перебивает ее и с обычным своим акцентом, вульгарность которого он сейчас нарочно утрирует, говорит:

— Слыхали, слыхали. В Бостоне Лоджи разговаривают только с Кэботами, а Кэботы — только с Господом Богом!

Миссис Бойд дает понять, что эта выходка вызывает у нее только презрение, но еще никому, я думаю, не удавалось смутить Блаватского. Тягучим голосом он опять обращается к своей визави:

— А вы, миссис Бойд, сами-то из каких будете — из Лоджей или из Кэботов?

— Ни из тех, ни из других,— говорит миссис Бойд, всеми силами стараясь придать своему круглому лицу надменное выражение.— В конце концов, кроме Лоджей и Кэботов в Бостоне есть и другие фамилии.

Блаватский принимается хохотать.

— Ах, как я рад! А то я все думаю, до чего же тоскливо Господу Богу все время выслушивать одно-единственное бостонское семейство!

И он снова грубо хохочет. А ведь Блаватский был одним из тех, кого герцогское происхождение миссис Банистер особенно впечатлило. И здесь, на мой взгляд, нет никакого противоречия. Герцоги и графы — это пожалуйста, для Европы это годится. Другое дело — Соединенные Штаты, там вы не можете допустить, чтобы на вас свысока смотрели люди, чья единственная заслуга в том, что они прибыли туда раньше вас.

С Блаватским я в общем согласен. Я и сам не очень люблю, когда в Великобритании мне дают почувствовать, что я — свежеиспеченный британец.

После этой маленькой стычки между миссис Бойд и Блаватским наступает затишье, время течет вхолостую. Потом индус, сидящий напротив меня на другом конце правого полукруга, снимает с себя тюрбан. Я не говорю, что он разматывает его. Нет, он стаскивает его с головы, не разрушая его целостности. Совершенно так же, как снимают шляпу. С той только разницей, что он действует двумя руками и наклоняет вперед голову, словно тюрбан очень тяжел. Потом он осторожно кладет свой головной убор на сдвинутые колени, внутренней стороной к себе. Я не способен сказать, из какой ткани этот тюрбан и даже какого он цвета. Меня только удивляют его солидные габариты, удивляет видимое усилие, которое индус прилагает, чтобы снять его с головы, удивляет та методичность, с какой он проделывает всю эту операцию.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Через минуту индус и его жена с величавой медлительностью поднимаются с места (они оба очень высокие) и встают за спинками своих кресел к нам лицом; при этом мужчина оставляет тюрбан на сиденье кресла. Их лица серьезны и благородны, можно подумать, что они готовятся исполнить для нас с просветительскими целями религиозное песнопение.

Миссис Бойд испускает крик ужаса, и индус говорит ей вежливым тоном на изысканнейшем английском:

— Не пугайтесь, прошу вас. В мои намерения не входит стрелять, по крайней мере в данную минуту. Моя цель — захват самолета.

Тогда я замечаю, что каждый из них сжимает направленный на нас револьвер. Руки у меня начинают слабо дрожать, волосы встают дыбом. Однако, странное дело, в это мгновение я не чувствую страха: мое тело откликается на опасность гораздо быстрее, чем мозг. Нет, то, что я сейчас ощущаю,— это не страх, а скорей любопытство. Все мои чувства обострены до предела, глаза и уши настороже. Однако своим поведением я внешне ничем не отличаюсь от моих попутчиков. Я сижу неподвижно, я замер, застыл. Я смотрю в круглые отверстия направленных на нас пистолетных стволов и ничего не говорю. Я жду.

Мы ждем долго, ибо, по всей видимости, индус не торопится... Можно было ожидать, что после своего заявления он сразу с громкими возгласами и решительными жестами кинется в кабину пилотов. Вовсе нет. Он тоже застывает неподвижно, молча разглядывает каждого из нас своими большими черными глазами и словно бы размышляет. Впрочем, самый тип его лица вообще, кажется, больше подходит для размышления, чем для действия.

— Что? Что? Что происходит? — выпучив круглые глаза, вопрошает Пако.

— Сам, что ли, не видишь, что происходит? — говорит по-французски Блаватский, который, должно быть, некогда был жителем Латинского квартала и теперь, пребывая в крайнем возбуждении, вспомнил, как студенты обращались друг к другу на «ты».

Он продолжает:

— Эти типы на нас напали. С тебя достаточно? Или тебе нужно, чтоб я еще и на пальцах показал?

— Но это же стыд и срам, стыд и срам! — говорит миссис Бойд и подносит пухлые руки к губам; ее тон исполнен негодования и морального осуждения.— Такие вещи должны быть запрещены!

— Они и запрещены,— мягко говорит индус на своем оксфордском английском.

Он это говорит без тени улыбки, только глаза его начинают искриться.

— Поскольку вы сами признаете, что это запрещено,— с поразительной наивностью продолжает миссис Бойд,— вы не должны этого делать!

— Увы, мадам,— говорит индус,— у меня нет выбора.

Снова наступает молчание, и индус не торопится его нарушать; быть может, он хочет дать нам время немного свыкнуться с мыслью о грозящей нам участи.

Самое поразительное во всем этом — красота этой пары. Оба рослые, величественные, с породистыми лицами. Кроме того, они весьма элегантны. Мужчина одет, как британский Караман, только костюм на нем не темно-серого сукна, а из светло-серой фланели. Женщина задрапирована в переливающееся разными оттенками сари, которое обрисовывает ее очень женственные формы. Ее нельзя назвать хрупкой, но, как известно, полнота женщин цветной расы нисколько не смущает белых мужчин. Даже наоборот.

Караман кашляет. Воспринимает ли он бездействие индуса как нерешительность? Этого я не знаю, но чувствую, что он сейчас попытается проявить инициативу. Я гляжу на него. А ведь, если одеть его как индуса, он тоже будет выглядеть британцем. Правда, он совершенно лишен чувства юмора.

— Я считаю своим долгом,— произносит он со значительным видом,— предупредить вас, что за угон самолета полагается весьма тяжкое наказание.

— Я это знаю, мсье, спасибо,— с полнейшей серьезностью, но с тем же мерцанием в глазах отвечает индус.

Что ж, значит, так тому и быть. Если нам суждено умереть, будем утешаться хоть тем, что наш убийца безукоризненно вежлив.

Но меня, должен признаться, больше всего ужасает женщина. В глазах у индуса кроме тонкого ума можно прочитать и какие-то крохи человеческого сочувствия. Но глаза женщины, неподвижные, сверкающие и чуть выпирающие из орбит, вызывают у меня страх. Они устремлены на нас с выражением фанатической злобы. Такое впечатление, что разрядить в нас обойму для нее не только долг, но и удовольствие.

— My dear! — говорит миссис Бойд жалобным голосом, повернувшись к миссис Банистер.— Могла ли я подумать, что подобная вещь произойдет именно со мной!

При этой реплике Мюрзек ухмыляется. Сама Мюрзек, рискую это утверждать, боязни не испытывает, но она наслаждается нашим страхом.

— Опомнитесь, Элизабет,— с раздражением говорит миссис Банистер,— это произошло не только с вами! Вы же сами видите!

Сказав это, она улыбается индусу. Она не дрожит, наша знатная дама. Возможно, герцогская кровь не позволяет ей проявлять трусость. Или, полагая, что из-за ее высокого положения никакая опасность ей всерьез не грозит, она пытается заглушить беспокойство, рисуя в своем воображении некие ограниченные насильственные меры, которые примет по отношению к ней красавец индус?

Это ощущение, с незначительными вариациями, является, по-моему, общим для всех, кто сидит в левой половине круга. Мадам Эдмонд еще зазывнее манипулирует глазами и ртом. Мишу, как мне кажется, отчасти пребывает в гипнотическом оцепенении. Робби тоже.

— Ну, хорошо, мсье,— жалобно говорит миссис Бойд,— что же нам следует делать?

— Делать? — спрашивает индус, и у него удивленно подскакивает бровь.

— Ну да, я не знаю, должна ли я поднять руки вверх? — говорит миссис Бойд с жалкой готовностью повиноваться.

С этими словами она тянет вверх свои пухлые ручки. Глаза индуса снова начинают искриться, и он вежливо говорит:

— Опустите руки, прошу вас, мадам, эта поза вас утомит. Достаточно, если вы будете держать их на виду, положив на подлокотники кресла.— И добавляет: — Это относится ко всем.

Мы повинуемся. Наше ожидание, насколько я понимаю, закончилось, хотя я так и не знаю, чему оно послужило. Может быть, оно было нужно для того, чтобы оценить наши реакции. Если это так, индусу беспокоиться не о чем. Сражаться мы вовсе не настроены. Даже Блаватский, а ведь у него наверняка есть оружие! Но именно то, что Блаватский не счел нужным вмешаться, показывает, насколько опасна эта пара.

Хотя руки у меня больше не дрожат, я чувствую, что меня охватывает ужас. Мне все меньше нравятся глаза этой женщины. Она взирает на нас с алчной жестокостью, которая меня окончательно парализует.

Индус переходит наконец к действиям. Мягкой и в то же время величественной походкой он приближается к бортпроводнице и шепчет ей на ухо несколько слов. Бортпроводница встает и застывает метрах в полутора от занавески, отделяющей салон от кухни (или от galley, как сказала бы она сама). Индуска проходит у нее за спиной и, обхватив рукой за шею, резким движением притягивает девушку к себе и плотно прижимает. Индуска очень высокого роста, она на целую голову выше бортпроводницы и свободно может держать под прицелом каждого пассажира салона.

— Моя ассистентка,— говорит индус,— не знает европейских языков. Но у нее очень хорошее зрение, и она без предупреждения выстрелит

в каждого, кто будет иметь неосторожность шевельнуть рукой. Что касается меня, я собираюсь осуществить захват экипажа.

Но пока что он ничего такого не делает. Он не двигается с места. Он все еще колеблется. Можно подумать, что он опасается оставить нас одних со своей грозной спутницей. Он, должно быть, боится, как бы во время его отсутствия она не нажала без особой надобности на спусковой крючок пистолета. Он подходит к ней и тихо говорит ей что-то в самое ухо. Я не разбираю, что он ей говорит, но похоже, он советует ей проявлять сдержанность. Она слушает его с полнейшей невозмутимостью, и ее глаза сохраняют свирепое выражение.

Он с тихим вздохом пожимает плечами, обводит нас взглядом и говорит очень любезно, но с тем произношением high class [1], которое придает его словам едва уловимый оттенок насмешки:

— Good luck! [2]

После чего он проходит позади своей «ассистентки», приподнимает занавеску кухонного отсека и, пригнувшись, исчезает за ней. Я делаю легкое движение в своем кресле, и бортпроводница спокойным голосом говорит мне:

— Сидите смирно, мистер Серджиус. Здесь никому не грозит никакая опасность. Ровным счетом ничего не случится.

Я смотрю на нее в изумлении. Я ее больше не узнаю. Я видел ее бледной, дрожащей и напряженной, когда она не в состоянии была ответить на вопросы Мюрзек, а теперь она улыбается, держится спокойно и очень уверенно. Я также не понимаю, как она может — таким тоном, каким взрослый успокаивает детей,— как она может утверждать, что ровным счетом ничего не случится, в то самое время, когда двое вооруженных фанатиков захватили нас в качестве заложников.

Но мое удивление, вопросы, которые я себе задаю, поведение бортпроводницы — все это в какой-то мере возвращает мне хладнокровие, и я, не шевеля, однако, руками — реакция на это, я совершенно уверен, последовала бы незамедлительно,— беру на себя инициативу: я обращаюсь к женщине на хинди.

— С какой целью вы это делаете? — как можно спокойнее говорю я.— Ради освобождения политических заключенных или ради получения выкупа?

Женщина вздрагивает, потом хмурит брови, качает справа налево головой и, не разжимая губ, движением револьвера приказывает мне замолчать. И в ее больших черных глазах сверкает такая ненависть, что мне все понятно без слов. Впрочем, я не знаю, как расценить это нежелание отвечать. Оно представляется мне лишенным всякого смысла, поскольку оба предположения, которые я сейчас высказал, отвергнуты ею.

Поразмыслив, я прихожу к выводу, что мимика индуски может означать лишь одно: она отказывается от какого бы то ни было диалога с людьми, которых ей, возможно, придется убить. Моя спина и подмышки мгновенно взмокают от пота. У меня такое впечатление — наверно, нелепое, но от этого не менее страшное,— что, если впоследствии ей нужно будет ликвидировать заложника, она непременно выберет меня.

Мне не терпится, чтобы индус побыстрее вернулся в салон и снова взял контроль над ситуацией в свои руки. Это чувство, как я понимаю, разделяет большинство пассажиров. Напряжение стало просто невыносимым после того, как он оставил нас один на один с этой фанатичкой.

Круглое лицо миссис Бойд вдруг принимает выражение полнейшего отчаяния, и она говорит дрожащим детским голоском:

— Мистер Серджиус, поскольку вы говорите на языке этих людей, не будете ли вы любезны спросить у этой... темнокожей особы, могу ли я снять с подлокотника руку, чтобы почесать себе нос?

Индуска хмурит брови и с угрожающим видом глядит на миссис Бойд и на меня, поочередно наставляя на нас пистолет.

[1] Высших классов *(англ.)*.

[2] Желаю удачи! *(англ.)*.

Я храню молчание.

— Прошу вас, мистер Серджиус,— говорит миссис Бойд.— У меня ужасно чешется нос.

— Я очень сожалею, миссис Бойд. Вы сами видите, индуска не желает, чтобы мы к ней обращались и даже чтобы мы разговаривали между собой.

Взгляд индуски опять вспыхивает, и она издает серию гортанных звуков, которые, кажется, вообще не имеют отношения к членораздельной речи. Но еще более, чем звук, меня устрашает взгляд. Никогда в жизни я не видал ничего похожего на глаза этой женщины. Они огромные, влажные, невероятно черные и излучают беспредельную злобу.

Наступает молчание, и я уже надеюсь, что инцидент исчерпан, когда миссис Бойд испуганным голосом маленькой девочки заводит снова:

— Я вас умоляю, мистер Серджиус, попросите ее за меня. Зуд становится просто нестерпимым. Я чувствую, что уже не в силах сопротивляться,— добавляет она на грани рыданий или истерического припадка.

Я взглядываю на индуску и продолжаю молчать.

— Прошу вас, мистер Серджиус! — говорит миссис Бойд; по щекам у нее текут слезы, и голос поднимается вдруг до жутких пронзительных нот.— Я чувствую, что не смогу удержаться! Я подниму сейчас руку и почешу себе нос! Она выстрелит, и вы из-за своей трусости станете виновником моей смерти!

— Мадам, я не трус,— говорю я, оскорбленный таким обвинением, да еще в присутствии бортпроводницы.— Ничто не дает вам права так говорить! Ваш эгоизм просто непостижим! Ничего больше в мире не существует, только ваш нос! Что касается меня, то я полагаю, что моя жизнь никак не дешевле вашего носа!

— Мистер Серджиус, ну пожалуйста,— говорит она с такою мольбой и таким детским тоном, что меня это сразу смягчает.

— Дело в том,— говорю я уже несколько более спокойно (но я должен сознаться, что даже в подобный момент признание дается мне нелегко, ибо я привык гордиться своей превосходной памятью),— дело в том, что я не могу вспомнить, как будет на хинди слово «почесать».

В этот миг индуска направляет оружие на меня. Она делает это так медленно и с такой решительностью, что я понимаю: сейчас она выстрелит. Своим взглядом она парализует меня, по моей спине, между лопатками, струится пот.

Однако вместо того чтобы выстрелить, индуска спокойным голосом, высокомерно произносит на хинди:

— Что нужно этой старой свинье?

Я отвечаю, удивляясь, что так быстро вспомнил слово «почесать», которого до этой секунды мне не хватало. (Полагаю, что у Фрейда можно найти объяснение этой «забывчивости».)

— Она хочет почесать себе нос.

— Пусть почешет! — говорит индуска с уничтожающим презрением.

— Миссис Бойд,— незамедлительно говорю я,— эта особа разрешила вам поднять руку.

— Ах, спасибо, спасибо! — говорит миссис Бойд, обращаясь исключительно к индуске.

Можно подумать, что я в этом деле вообще не играю никакой роли. Миссис Бойд на меня даже не смотрит. За это мое посредничество она затаит на меня совершенно необъяснимую злобу. Я для нее буквально перестану существовать. Ни слова, ко мне обращенного. Ни взгляда.

Продолжая рассыпаться в неумеренных благодарностях, в которых, по-моему, явно ощущается дефицит собственного достоинства, миссис Бойд поднимает с подлокотника свою белую, пухлую, унизанную кольцами руку и чешет нос — сладострастно и долго.

Я смотрю на бортпроводницу. Она не только не оказывает своей обидчице никакого сопротивления, но даже в этой ее беспомощной позе нет и намека на испуг, на какую-то напряженность. Кажется, что она с полным доверием положилась на индуску, словно этот захват ее шеи сзади — а он

ведь может очень быстро превратиться в удушение — был только шаловливым объятием старшей сестры. Она даже ухитряется мне улыбнуться — свободно и непринужденно, как если бы она сидела в своем кресле.

Колышется занавеска кухонного отсека, и в салоне вновь появляется индус; его смуглое лицо непроницаемо, в руке опущенный пистолет. Тихим голосом он говорит своей подруге несколько слов. Та отпускает пленницу, и индус, вежливый и безмолвный, жестом приглашает бортпроводницу сесть. После чего он тоже садится, без особых церемоний сбросив прямо на пол со своего кресла тюрбан. Потом кладет на колено руку с пистолетом, но ни в кого конкретно не целится.

Его ассистентка по-прежнему стоит с наведенным на нас пистолетом и продолжает разглядывать нас своими фанатичными глазами, но не поочередно одного за другим, а всех сразу, и это странное свойство ее взгляда видеть одновременно всех внушает смутную тревогу.

На несколько секунд сама ситуация будто застывает в ожидании и тишине. Потом индус, на котором, как в фокусе, сходятся все наши взоры, говорит на изысканном английском:

— Я очень рад, что за мое отсутствие здесь ничего не случилось. Зная умонастроение моей ассистентки, я не без некоторых опасений оставлял вас с нею наедине.

Все в наилучшем виде: английский язык, акцент, текст, психологический настрой. Индус демонстрирует нам великолепную карикатуру на несколько уже затрепанную тему: «британский джентльмен». Но в этой имитации угадывается намеренная пародия.

После долгого молчания он продолжает:

— I am annoyed.

Что можно перевести как «я весьма раздосадован», хотя английское выражение довольно часто содержит в себе эвфемистическое определение понятия, выходящее за пределы его буквального смысла. Но меня особенно поражает та царственная манера, с которой индус это произносит, точно все мы должны сразу же затрепетать оттого, что он «весьма annoyed».

Он обводит глазами наш круг и неторопливо продолжает, тщательно, с каким-то безразличием выговаривая слова:

— Я вынужден изменить свои планы ввиду непредвиденного обстоятельства: в пилотской кабине никого нет.

Это вызывает у всех сидящих в салоне некий шок, что выражается поначалу гробовым молчанием, затем сумбурными всплесками возгласов, которые раздаются со всех сторон и́ в которых звучит недоверие, тревога, растерянность. За этим половодьем слов индус наблюдает молча, с презрительной миной, которая представляется мне довольно лицемерной: сам-то он оставался в кабине пилота добрых две минуты и у него было достаточно времени, чтобы оправиться от потрясения, которое он тоже наверняка пережил, обнаружив отсутствие экипажа. Очень легко при этих условиях процедить небрежное «я ве́сьма раздосадован», тогда как мы здесь, в салоне, буквально все ошеломлены.

— Но это же невероятно! — говорит Блаватский так громко, что сразу устанавливается тишина.— Военные самолеты, управляемые по радио с земли, я видел, но самолеты дальних пассажирских рейсов, пилотируемые таким образом,— никогда!

— Так же как и я,— говори́т индус.— Но, может быть, вы, джентльмены, хотели бы направить кого-нибудь из своей компании для осмотра пилотской кабины?

— Предлагаю поручить это мне,— говорит Пако.— Я служил в авиации во время войны.

Индус поворачивает к нему голову.

— В каком качестве?

— Я был радистом.

— Превосходно. Действуйте, мистер Пако. Лично я не нашел в кабине ничего похожего на радиоаппаратуру.

Пако, руки которого по-прежнему лежат на подлокотниках кресла, глядит поочередно на обоих воздушных пиратов. Индус что-то тихо говорит своей ассистентке. Потом жестом разрешает Пако встать.

Пако исчезает за занавеской кухонного отсека, а индус спрашивает на хинди свою помощницу, как мы себя вели.

— Осторожно,— отзывается она,— не говори на хинди. Этот хряк,— дулом пистолета она указывает на меня,— все понимает.

Она говорит это, конечно, на хинди, дабы я знал, кто я такой. Оказывается, я хряк, а миссис Бойд — старая свинья.

— Ах вот как,— говорит индус по-английски и злобно усмехается.— Джентльмен понимает хинди?

Но в слово «джентльмен» он вкладывает столько иронии, что выражение, употребленное в мой адрес его спутницей, кажется мне теперь почти дружелюбным.

Индус продолжает насмешливым тоном, угрюмо уставившись на меня с враждебностью, которой он и не думает скрывать:

— Как любезно с вашей стороны, что вы дали себе труд выучить язык, на котором говорит цветное население!

Он произносит эти слова как бы нехотя, стиснув зубы и без малейшей тени юмора.

— Но,— говорю я, ошарашенный столь недоброжелательным ко мне отношением только из-за того, что я говорю на его языке,— но разве я сказал, что индусы принадлежат к цветному населению?

— Вы это думаете,— говорит он прокурорским тоном.

— Я думаю, что какая-то разница в цвете кожи между нами есть, но не придаю этому никакого значения.

— Вы очень добры,— неприязненно говорит индус и отводит глаза в сторону.

Я гляжу на него в замешательстве. Невзирая на то что Индия еще с конца второй мировой войны является страной независимой и пользуется всеобщим уважением в мире, передо мною оказался индус, причем молодой индус, настолько болезненно воспринимающий последствия колонизации (самой колонизации он даже не застал), что он вступил на путь воинствующего расизма с обратным знаком против европейцев.

Вслед за этим появляется, весь красный от затылка до подбородка, Пако, садится на свое место и, с трудом переводя дыхание, говорит:

— В кабине никого нет и нет никаких следов радиоаппаратуры классических типов.

— Вы хотите сказать,— говорит индус,— что какой-то радиоаппарат все же есть, но неизвестного вам типа?

— Какая-то связь между землей и самолетом непременно должна существовать,— говорит Пако,— иначе самолет не мог бы лететь.

— Вы пришли к тем же заключениям, что и я, мистер Пако,— говорит индус.— Все происходит так, будто *Земля,*— он интонацией подчеркивает это слово, и в дальнейшем все мы вслед за ним будем его употреблять, обозначая людей, управляющих нами с земли,— будто *Земля* отказывается от всякого диалога с нами, притом что она, в этом я убежден, прекрасно слышит все наши разговоры.

Индус говорит теперь абсолютно спокойно, без тени иронии или презрения, совершенно так, как если бы он был одним из нас. Нам почти удается забыть, что в руке у него пистолет и что его ассистентка держит нас под прицелом.

— Я не могу с этим согласиться,— дрогнувшим голосом произносит Блаватский, избирая для себя ту из своих двух лингвистических личин, которая припасена у него для серьезных бесед.— Ничто не доказывает...— продолжает он на своем тягучем английском и вдруг прерывает себя. Я замечаю, что в его серых пронзительных глазах за толстыми стеклами очков мелькает тревожное выражение. Сглотнув слюну, он с усилием продолжает: — Ничто не доказывает, что *Земля* слышит наши слова.

Я слушаю Блаватского, вижу, как он взволнован, и у меня создается

впечатление, что он быстрее, чем кто-либо другой среди нас,— во всяком случае, быстрее, чем я,— догадался, к чему клонит индус. Он тоже произносит *Земля* с той же интонацией, что и индус, хотя мне трудно было бы сейчас определить, какой смысл каждый вкладывает в это слово.

— В данную минуту ничто не доказывает,— говорит индус самым вежливым тоном.— Но очень скоро нам предстоит это выяснить.

Блаватский вздрагивает, и индус понимающе смотрит на нас. В его голосе проскользнула металлическая нотка, но, что касается меня, я все же не понимаю, почему его фраза показалась Блаватскому столь угрожающей. Индус поворачивается к Пако.

— Кроме отсутствия радио, вы заметили в пилотской кабине что-либо необычное?

— Я не знаю,— говорит Пако, и на его гладком черепе опять выступают крупные капли пота,— я не знаю, что должна представлять собой обычная кабина в самолете, управляемом на расстоянии. Щиток приборов показался мне почти пустым, но это, в конце концов, естественно, поскольку не предусмотрено, чтобы кто-то в кабине на эту доску смотрел. Но чего я никак не могу объяснить — это назначения маленького красного сигнала, который постоянно горит в центре приборного щитка.

— Оптический указатель? — спрашивает индус.— Сигнал тревоги?

— Но тревоги для кого? — говорит Пако.— Пилота ведь нет.

— Я тоже обратил внимание на этот красный сигнал,— говорит индус.

Правильные черты его смуглого лица утрачивают неподвижность, в них проскальзывает беспокойство. Но лишь на малую долю секунды, и вот он уже вновь обрел свою невозмутимость, как будто опять натянул на себя привычную маску. Наступает тягостное молчание, и чем дольше оно длится, тем оно тяжелее давит на нас. И дело, наверно, не в том, что у нас нет желания сообща обсудить свою участь, а в том, что глаза индуса заставляют нас молчать. В отличие от своей спутницы, чья злоба мгновенно доходит до предела, он обладает способностью, как реостат, произвольно увеличивать напряжение своего взгляда. Но мое сравнение с реостатом верно лишь наполовину, ибо у индуса одновременно изменяется и выражение взгляда.

— Я не посвящен в тайны *Земли,*— говорит индус со своим изысканным английским выговором,— и поэтому мне неизвестно, куда она намеревается препроводить вас.

— Ну конечно же, в Мадрапур,— говорит Караман.

Караман несколько бледен, как, должно быть, бледен и я и как бледны мы все, за исключением Пако, чья лысина еще больше побагровела. Но Караман по-прежнему чопорен, его волосы тщательно прилизаны, галстук на месте, и все так же подергивается вместе с бровью уголок губы.

— Мой дорогой мсье,— говорит индус,— я родился в Бутане. И с полным знанием дела могу вас заверить, что на восток от Бутана нет и в помине какого-нибудь государства, которое называлось бы Мадрапуром. Мадрапур — это миф, плод богатого воображения каких-то мистификаторов. Никакого ВПМ не существует. Нет ни малейших следов нефти в этих местах. Как нет и намека на четырехзвездный отель, якобы стоящий на берегу некоего озера,— я очень огорчен, что вынужден разочаровать этих дам.

Неужели он огорчен больше, чем сами эти дамы? Они же, как бы нелепо это ни выглядело, более удручены утратой отеля, нежели пропажей государства, где, по их расчетам, должен был располагаться этот вожделенный отель.

Судя по выражению японских глаз миссис Банистер, перспектива спать в шалаше и «умываться водою из лужи» теряет для нее характер забавной игры, и этот последний удар она воспринимает даже болезненнее, чем отклонение самолета от курса.

— Но это невозможно! — говорит она и глядит с умоляющим видом на индуса, не упуская, однако, возможности прибегнуть к своему аристократическому очарованию.— Нельзя же разыгрывать с людьми такие жестокие шутки! Это ужасно! Что с нами будет?

— Эту шутку, мадам, с вами сыграл не я,— говорит индус с той подчеркнутой и презрительной учтивостью, к которой он прибегает, когда обращается к женщинам.— Я ограничиваюсь простой констатацией: нет Мадрапура — значит, нет и отеля. Все яснее ясного.

Но миссис Бойд не желает мириться с логичностью этого вывода. Ее круглое лицо любительницы вкусно поесть густо краснеет, и она с возмущением говорит:

— Но я же видела фотографии отеля в буклете для туристов! Видела их так же ясно, как вижу сейчас вас! В том числе и фотографии ресторана!

— Вы видели фотографии некоего отеля,— говорит индус, даже не удостаивая ее взглядом,— и, доверившись туристическому буклету, решили, что этот отель находится в Мадрапуре.

Среди пассажиров растет возбуждение, раздаются возгласы недоверия, и, чтобы прекратить этот шум, индус поднимает правую руку.

Меня же больше всего поражает вид бортпроводницы. Она все так же безмолвна и неподвижна, но в отличие от того безмятежного спокойствия, которым она была полна несколько минут назад, ее лицо выражает сейчас полнейшую растерянность. То, чего не смогли добиться ни направленные на нас пистолеты, ни мускулистая рука индуски, сжимавшая ее хрупкую шею, совершила простая фраза с прозвучавшим в ней отрицанием. В тот самый миг, когда воздушный пират отказывает государству Мадрапур в географическом существовании, то есть еще до того, как он обращает четырехзвездный отель в чисто мифологическую категорию, я вижу, что бортпроводница внезапно бледнеет и ее лицо искажается. Признаюсь, охватившее ее сейчас смятение я понимаю не больше, чем спокойствие, которое она выказала в момент захвата самолета террористами. Что она искренне верит в существование пункта, куда направляется самолет, на котором она работает бортпроводницей,— это, конечно, естественно... Но чтобы угонщик, который летит, во всяком случае, не в Мадрапур, поскольку он требует изменить маршрут самолета, чтобы этот угонщик одним лишь скептицизмом своим мог повергнуть ее в столь глубокое отчаяние — такая реакция представляется мне совершенно неадекватной, или же это реакция, причины которой от меня ускользают.

Волнение и возгласы пассажиров не утихают и после того, как индус поднял руку.

Он не спешит заставить их подчиниться. С сардонической улыбкой наблюдает он за сумятицей, которую сам же и вызвал, и, должно быть, получает удовольствие от нашего лицемерия, ибо сомнения, весьма серьезные и весьма обстоятельно мотивированные, высказывались нами еще до того, как он захватил самолет...

— Джентльмены, джентльмены! — восклицает он, снова поднимая руку (к женщинам он не обращается, хотя и проявляет по отношению к ним церемонную вежливость).

Когда тишина устанавливается, он продолжает тоном холодной издевки:

— В конце концов, вы вправе не разделять мое мнение. Если вера в существование Мадрапура может вас хоть как-то утешить, я не буду спорить.

— Мне кажется,— говорит Караман,— что ваша точка зрения в конечном счете не слишком отличается от точки зрения правительства Индии, которое не желает признавать существование Мадрапура в политическом плане.

Изящным движением руки индус отвергает этот тезис.

— Никоим образом. Я не имею ничего общего с правительством Индии.— Короткий смешок.— Моя позиция совершенно иная. Я отрицаю *физическое* существование Мадрапура.

— И, однако,— уже с некоторой горячностью говорит Караман,— мы располагаем путевыми заметками, датированными 1872 годом, авторы коих, четыре брата по фамилии Абберсмит, утверждают, что они посетили Мадрапур по приглашению махараджи.

Индус поднимает брови.

— Ах, путевые заметки! — насмешливо говорит он.— Сочиненные век назад! Четырьмя английскими мистификаторами! К тому же достаточными снобами, чтобы похвастаться мнимою дружбой с индийским князем! Я читал этот текст, мсье Караман. Он изобилует противоречиями и несообразностями. Это чистейший вымысел.

— Специалисты придерживаются другого мнения,— обиженно говорит Караман.

— Специалисты в чем? — говорит индус.

И устремляет на Карамана взгляд такой гипнотической силы, что Караман молчит. Но молчит с выражением дипломатического достоинства, словно показывая, что хотя он и не согласен, но вынужден уступить. И даже когда он молчит, уголок его верхней губы подергивается, точно лапка цыпленка, которому только что перерезали горло. Он, как и Блаватский, тоже, кажется, с ужасом понял, куда нас должны завести силлогизмы индуса.

— Специалисты! — повторяет индус, и хотя лицо его сохраняет обычную неподвижность, голос от бешенства вдруг начинает дрожать.— Специалисты, которые исследуют сомнительные свидетельства вне индийского контекста! — И уже в полной ярости продолжает: — Вне индийского контекста, набитого до отказа легендами! Ложью! Чудесами! Веревками, которые сами собой висят вертикально в воздухе! Или растениями, которые вырастают у вас на глазах!

Я ощущаю справа от себя какое-то сотрясение и, отведя глаза от индуса — что мне удается лишь с большим трудом,— вижу, что левая рука Блаватского дрожит. Должно быть, он замечает направление моего взгляда, ибо сразу сжимает пальцы, лежащие на подлокотнике кресла, стискивая их с такой силой, что побелели косточки.

Я чувствую некоторую растерянность. С самого начала я с превеликим вниманием слежу за этим разговором, но все никак не могу взять в толк, *о чем,* в сущности, идет речь и почему Блаватский в таком ужасе. Быть может, его состояние заразительно, ибо я чувствую, что и меня начинает охватывать паника.

В наступившей тишине о своем присутствии напоминает Пако: произведя серию осторожных «гм-гм», он привлекает общее внимание к своим выпученным глазам и пунцовому черепу. Однако чувства, которыми он переполнен, не имеют, кажется, ничего общего с тем страхом, что терзает Карамана и Блаватского.

— Следовательно, вы полагаете,— говорит он по-французски, уставившись на индуса,— что в Мадрапуре нет деловой древесины?

Пако изъясняется по-французски, индус поднимает вопросительно брови, и я перевожу, удивленный тем, что Пако, человек неглупый, может сейчас задавать такие до смешного эгоцентричные вопросы.

Индус и отвечает ему смехом, но ухмылка его весьма далека от веселости.

— Деловую древесину,— начинает он и тут же добавляет, бросая презрительный взгляд на Христопулоса,— а также наркотики вы найдете в Индии повсюду, мсье Пако, но Мадрапура вы там не найдете, поскольку Мадрапура не существует. Откровенно говоря, я полагаю, что все это с вашей стороны не очень серьезно. Вам бы следовало раз навсегда отказаться от мечты вывозить сырье из слаборазвитых стран в обмен на ничтожную горсточку хлеба или, что, собственно, одно и то же, за бесценок забирать у голодающих родителей маленьких девочек.

Физиономия Бушуа мгновенно растягивается в злобной улыбке, и хотя достоверность оскорбительных выкладок индуса невозможно ничем подтвердить, мы все охотно признаем его правоту, и мы бы, наверно, признали ее даже без коварной улыбки злорадствующего шурина Пако.

На Пако просто жалко смотреть. Он съеживается в своем кресле, точно паук, попавший под струю горячей воды.

Но индус на этом не успокаивается. Он неумолимо держит Пако под хлыстом своего магнетического взгляда и после короткой паузы говорит:

— Не понимаю, как вас могут еще занимать подобные пустяки, когда вопрос стоит о вашей жизни или о вашей смерти.

— О моей смерти? — говорит немного приободрившийся было Пако и растерянно ворочает по сторонам своими выпуклыми глазами, старательно избегая глядеть на индуса. И добавляет нечто уже совсем несуразное: — Я же отлично себя чувствую! Я совершенно здоров!

— Конечно, о вашей смерти,— небрежно бросает индус. И, уже ни на кого не глядя, заключает вполголоса со слабой улыбкой: — И не только о вашей.

Наступает молчание, оно, как лавина, обрушивается на нас, и мне кажется, что я падаю, проваливаюсь куда-то, как бывает в кошмарном сне, когда земля уходит у тебя из-под ног и от невыразимого ужаса сжимается сердце.

Я бросаю взгляд на Карамана. Он все такой же чопорный и бледный. Справа от меня пальцы Блаватского все так же судорожно сжимают подлокотник кресла. Христопулос сидит с отвалившейся челюстью, с таким же желтым, как его туфли, лицом и потеет всеми своими порами. Пако распадается у нас на глазах. Только один Бушуа, костлявый, похожий на труп, но при этом, как всегда, теребящий и тасующий карточную колоду,— только он один кажется спокойным: может быть, мысль о смерти уже так для него привычна, что не может по-настоящему его взволновать?

Что касается левой половины круга, там все, кроме Робби и бортпроводницы, по части быстроты реакций сильно от нас отстают. Женщины охвачены беспокойством; они слушают все, о чем говорится в салоне, но делают это скорее как зрительницы, как молчаливые свидетельницы, словно вопрос, вокруг которого идет спор,— дело «чисто мужское» и участвовать в нем им не положено.

А вот Робби меня удивляет. Его живые, искрящиеся глаза устремлены на индуса, он все слышал и, думаю, все понял, но не выказывает по этому поводу ни малейшего беспокойства; наоборот, он весь светится тихой радостью.

Сверкая всеми цветами радуги, с абрикосового оттенка загаром, с ниспадающими на затылок золотистыми кудрями, в светло-зеленых брюках и нежно-голубой рубашке, под которой на шее пылает оранжевая косынка, и, я едва не забыл еще об одной детали, с босыми ногами в красных сандалиях, позволяющих видеть темно-розовый лак, покрывающий ногти, он весь точно майский веселый лужок. Он не только не испытывает страха — это очевидно,— его словно переполняет радость при мысли, что ему уготована казнь. В какой-то момент он даже стягивает с шеи оранжевую косынку и кокетливым дерзким движением приглаживает концы воротника своей лазоревой рубахи, вызывающе глядя на индуса, как будто он готов уже, как молодой французский аристократ эпохи Террора, с улыбкой понести свою очаровательную голову на гильотину.

Индус смотрит на нас, и по легкому мерцанию его зрачков я чувствую, что сейчас он нанесет удар. Хотя он изъясняется по-английски и с тем произношением high class, которое в его устах звучит для меня оскорбительно и пародийно, его ассистентка, по-видимому, уже заранее угадала то, что он собирается сказать, ибо в ее фанатичных глазах вспыхивает огонек удовлетворения.

— Мне бы хотелось,— говорит индус,— объяснить вам свое решение, чтобы оно не показалось немотивированным и произвольным. Когда вы поймете его,— продолжает он, и в его тоне я слышу завуалированный сарказм,— мне кажется, вы сможете признать его логичность и с большей охотой принять его, сколь бы мучительным для вас оно ни оказалось.

Слово «мучительным» он произносит с учтивой улыбкой, точно хирург, который намеревается сделать вам без наркоза пустячную операцию. Он продолжает:

— Я не могу вам сказать, куда *Земля,* в чьи замыслы я не пытаюсь проникнуть, отправляет вас под предлогом доставки в Мадрапур. Об этом мне ничего не известно. Это дело *Земли.* А также, разумеется, ваше.

Он говорит это полуироничным-полусострадательным тоном (но в самом его сострадании коренится жестокость), как будто хочет, чтобы мы ощутили всю смехотворность и нелепость своего положения.

Что до меня, в этом он преуспел. Глубоко удрученный той категоричностью, с какой он отрицает существование Мадрапура, устрашенный насилием, над нами учиняемым, и еще больше, быть может, насилием, втайне творимым над нашими душами, я ощущаю, что меня низвели в разряд насекомого, на которого охотник, сам того не ведая, случайно наступает своим сапогом. Я чувствую себя втянутым в некое головокружительное падение в бездну, смысл которого мне недоступен, я только вижу, что несусь с бешеной скоростью в пропасть нравственного небытия. Словно прекрасное здание человеческого духа, на возведение которого понадобилось столько веков — а быть может, и столько красивых легенд, чтобы его укрепить,— сейчас стремительно рушится, и все, чем были наполнены наши жизни, становится вдруг ничтожным.

— Надеюсь, вы понимаете,— продолжал индус,— что в этих условиях у меня нет желания войти в ваш *круг.* Наоборот, мое намерение состоит в том, чтобы как можно скорее покинуть *колесо,* которое тащит вас с собой. Я не согласен подписывать с *Землей* договор, условия которого мне неизвестны, или лететь вслепую в некий пункт по ее выбору, если этот пункт вообще существует и ваше путешествие имеет какой-нибудь смысл.

Он смотрит на вас, то умеряя, то смягчая силу своего взгляда, и в глазах его читается жалость, думаю, на сей раз непритворная.

— Джентльмены,— продолжает он,— когда я был в пилотской кабине один, я потребовал от *Земли* высадить меня вместе с моей ассистенткой на каком-нибудь дружественном аэродроме. Чтобы не оставалось никаких неясностей, я хотел бы сказать, что мое требование основывается на двух гипотезах. Я, как и мсье Пако, предположил, что *Земля* меня слышит, хотя в кабине и не видно какого-либо радиоустройства. Вторая моя гипотеза заключается в том, что *Земля* относится к вам, пассажирам, с некоторой заботливостью, поскольку она организовала ваше путешествие...

— Но у вас нет никаких, абсолютно никаких оснований это предполагать! — говорит Блаватский, и в его глазах за стеклами очков мечется страх, губы и подбородок дрожат.

Он до такой степени забылся, что даже оторвал руку от подлокотника кресла, но, как только индус направляет на него пистолет, он поспешно опускает ладонь и опять цепенеет.

И все же с горячностью, которая оттого, что он неподвижен, кажется еще более исступленной, он продолжает:

— Ваше предположение, что *Земля* относится к нам с какой-то особой заботой, беспочвенно! И вы, так гордящийся своей логикой, должны были первым это признать! Если *Земля* однажды уже обвела нас вокруг пальца с Мадрапуром, кто же осмелится утверждать, что она к нам благосклонна? И как можно внушать нам, что *Земля* нас опекает, если она нам солгала!

Я слушаю его сиплый голос, который от усилий убедить оппонента звучит почти жалобно, и чувствую, что он и сам, продолжая еще говорить, уже осознал бесплодность и тщетность всей силы своей диалектики, к которой он прибег. Я не понимаю — или по крайней мере недостаточно ясно понимаю,— куда он гнет, но у меня мучительно сжимается горло от предчувствия неизбежного поражения, которое его ожидает.

Не знаю, смутило ли индуса возражение Блаватского. Во всяком случае, он ничего не отвечает, и трудно сказать, как долго длилось бы его молчание, не окажись у него неожиданного союзника: в своем кресле выпрямляется Караман; бледность сменяется у него ярким румянцем, и, чуть наклонившись вперед, чтобы видеть Блаватского — мое кресло их разделяет,— он говорит по-английски резким тоном и с величайшим негодованием:

— Я не могу позволить вам говорить подобные вещи, мсье Блаватский! Это недостойно вас и ваших официальных обязанностей! У нас нет никаких доказательств того, что Мадрапура не существует, что *Земля* нас

обманула и, самое главное, что она выказала по отношению к нам безразличие или небрежность. Вам должно быть стыдно так говорить!

— Да помолчите вы, Караман! — в совершенном бешенстве кричит Блаватский и, не помня себя от гнева, чуть не вскакивает с кресла.— Вы ничего в этом не смыслите! Не суйте свой нос куда не следует! Дайте мне вести игру одному! Своим дурацким вмешательством вы все портите! А что до ваших верноподданнических чувств в отношении *Земли*, катитесь вы с ними подальше!

— Напротив, я очень хорошо все понимаю,— с ледяным гневом говорит Караман.— Я понимаю, что вы цинично отвергаете все человеческое общество! Всю философию жизни!

— Философию моей задницы! — кричит по-французски Блаватский.

— Джентльмены, джентльмены! — говорит индус, в успокаивающем жесте грациозно поднимая руку.— Хотя ваш спор для меня в высшей степени интересен и я воистину наслаждаюсь прихотливыми извивами его логических ходов, но меня несколько поджимает время, и я буду просить вас отложить эту дискуссию на более поздние сроки, чтобы дать мне возможность закончить свое заявление.

— Но это несправедливо! — в отчаянии восклицает Блаватский.— Вы совершенно не принимаете в расчет мои возражения. Тогда дайте мне их, по крайней мере, развить!

— Да нет же, я как раз принимаю их в расчет,— говорит индус.— Сейчас вы сможете в этом убедиться.

Он оборачивается к нам, охватывает весь наш круг своим взглядом и говорит с оксфордским выговором:

— Напоминаю вам, что́ я потребовал от *Земли:* высадить мою ассистентку и меня на дружественном аэродроме. На выполнение своего требования я дал *Земле* один час. Когда этот срок истечет, я буду вынужден, к моему великому сожалению, казнить одного заложника... Минутку, прошу вас, я еще не закончил. Если после казни заложника пройдет еще час, а самолет не приземлится...

Незавершенная фраза повисает в воздухе. Он небрежно взмахивает рукой, и его мрачные глаза смотрят на нас из-под полуопущенных век с такой холодностью, как будто мы принадлежим не к роду людскому, а к какой-то другой породе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я, как и все, потрясен и раздавлен. Ибо на этот раз смерть уже не отвлеченное понятие, не что-то далекое. Теперь до нее рукой подать.

Тело, не спрашивая нас, реагирует первым и делает это с неистовой силой: волосы встают дыбом, страшное сердцебиение, струйки холодного пота, дрожащие руки, ватные ноги, позывы к мочеиспусканию.

И тут же следует реакция нравственная — слепая, но спасительная: ты в это *не веришь*. Говоришь себе: «Нет, только не я, это невозможно. Может быть, другие. Но не я».

И сразу третья фаза: замыкаешься в себе. Я думаю только о собственной персоне. Буквально не вижу своих попутчиков. Забываю о бортпроводнице. И сижу съежившись в кресле, сведенный к своему собственному «я», и никакого дела до других. Ужас обрывает все человеческие связи.

И вот наконец я на самом дне морального падения; с гнусненькой надеждой прикидываю: в конечном счете тринадцать шансов против одного, что не я окажусь тем заложником, на кого падет жребий и кто будет убит.

Тут я со стыдом замечаю, что в свои тринадцать шансов уцелеть я засчитал и смерть бортпроводницы.

С этого мгновения начинается мой подъем на поверхность, но это стоит мне огромного труда. Мне приходится до предела напрягать волю, чтобы вернуть себе мужество, а главное — восстановить социальные рефлексы. Ох, с этим у меня обстоит пока еще слабо. Прогресс невелик — и в моем стоицизме, и в моем беспокойстве о ближних.

Однако я уже вынырнул из глубин и способен снова видеть своих спутников, снова их слышать. И именно Блаватского, к которому вернулись жизненные силы, достаточные для того, чтобы продолжить поединок с индусом.

— Я не очень понимаю, что заставляет вас действовать подобным образом, мсье,— революционные идеалы или надежда на выкуп.

— Ни то, ни другое,— говорит индус.

Ответ, способный лишь озадачить, но Блаватского этим не собьешь.

— Во всяком случае,— продолжает он,— я не понимаю, чем можно оправдать хладнокровное убийство одного или многих ни в чем не повинных людей.

— Ни в чем не повинных людей не бывает,— говорит индус,— а среди белых и американцев тем более. Вспомните обо всех низостях, учиненных вашими соотечественниками в отношении народов с другим цветом кожи.

Блаватский краснеет.

— Если вы осуждаете эти низости,— говорит он, и у него дрожит голос,— вы с тем бóльшим основанием должны осудить ту из них, которую вы сами готовитесь учинить.

Индус издает сухой короткий смешок.

— К этим вещам нельзя подходить с общей меркой! Что такое казнь горсточки белых, какими бы выдающимися людьми они ни являлись,— добавляет он саркастически,— рядом с чудовищным геноцидом, который творили подобные вам в Америке, в Африке, в Австралии и Индии?

— Но ведь все это в прошлом,— говорит Блаватский.

— Для вас чрезвычайно удобно как можно скорее об этом прошлом забыть,— говорит индус,— но в нашем сознании оно оставило неизгладимый след.

Блаватский судорожно сжимает в кулаки лежащие на подлокотниках пальцы и с возмущением говорит:

— Не можете же вы заставить нас отвечать за преступления прошлого! Виновность человека индивидуальна, она не бывает коллективной!

Индус внимательно смотрит на Блаватского. На сей раз в его взгляде нет ни иронии, ни враждебности.

— Полноте, мистер Блаватский,— говорит он спокойно,— будьте искренни. Разве к настоящему времени вы полностью сняли с немецкого народа ответственность за геноцид, который был совершен в отношении еврейского народа тридцать лет назад? И когда вы произносите слово «Германия», разве до сих пор что-то не содрогается в вас?

— Мы отклонились от темы,— говорит Караман, приподняв уголок верхней губы. И как только он открывает рот, я уже знаю, что нам предстоит прослушать речь во французском духе, ясную, логически выстроенную, четко произнесенную — но не затрагивающую существа вопроса.— В конечном счете,— продолжает он,— мы говорим сейчас не о евреях и не о Германии, а о принадлежащем французской авиакомпании самолете, который вылетел из Парижа и пассажиры которого в большинстве своем французские граждане. И я хотел бы заметить нашему перехватчику,— такое имя нашел он для индуса,— что Франция после двух принесших ей неисчислимые страдания войн сумела осуществить процесс деколонизации, что она во всем мире является другом слаборазвитых стран и не скупясь предоставляет им широкую финансовую помощь.

Индус улыбается.

— Продает им оружие.

— Слаборазвитые страны имеют право обеспечить свою оборону,— с оскорбленным видом говорит Караман.

— А Франция — свои прибыли. Не хотите ли вы теперь нам сказать, мсье Караман,— с убийственной иронией продолжает индус,— что и *Земля* тоже французская?

— Это весьма вероятно,— и глазом не моргнув, отвечает Караман.

— Если *Земля* — французская,— говорит, усмехаясь, индус,— тогда больше нет никаких проблем, и вам нечего портить себе кровь, мсье

Караман! *Земля,* разумеется, не даст в обиду своих «подданных»,— это слово он произносит с сардоническим видом,— и через час, простите,— он глядит на свои часы,— теперь уже через три четверти часа,— от этого уточнения у меня мурашки бегут по спине,— через три четверти часа мы приземлимся.

— Но остается все же гипотеза,— говорит Караман, и у него подрагивает губа,— что бортовая радиоаппаратура, которой мсье Пако вообще не обнаружил в кабине, является лишь принимающей, а не передающей. В этом случае *Земля* даже не услышит вашего требования и содержащегося в нем бесчеловечного шантажа и, следовательно, не сможет его удовлетворить.

Лично я нахожу, что словами «inhuman blackmail» [1] Караман, выказывая, нужно сказать, изрядное мужество, провоцирует индуса и тем самым рискует стать первой жертвой. Но индус пропускает это мимо ушей. Он улыбается. Он не проявляет к Караману и четвертой доли той враждебности, с какой он относится к Блаватскому и ко мне. Такое впечатление, что реакции Карамана его в основном забавляют.

— Ваша гипотеза не кажется мне убедительной,— говорит он и легким движением кладет левую руку на пистолет, лежащий у него на колене.

— И все же ее нельзя полностью исключить.

— Увы, нельзя,— равнодушно говорит индус,— и в случае, если она подтвердится...— Он снова взглядывает на часы.— Но продолжение вам известно, мсье Караман, и нет нужды повторять все сначала.

— Я не могу поверить, что вы способны хладнокровно совершить подобную вещь! — восклицает Караман с внезапным волнением, но, должен это признать, без всякого страха.

Слегка улыбнувшись, индус сухо роняет:

— Вы ошибаетесь.

— Но это же отвратительно! — говорит Караман. И с напыщенностью, которая вызывает у меня некоторое раздражение, продолжает: — Казнить беззащитных заложников — означает преступить все законы, божественные и человеческие!

— Ах, божественные законы! — говорит индус, поднимая вверх руку, и, прежде чем вернуться обратно на подлокотник, рука описывает в пространстве широкую вогнутую кривую.— Вы сказали «божественные законы». Эти законы вам известны?

— Как и всем, кто верует в откровение,— говорит Караман с твердостью, которая, на мой взгляд, может вызывать только уважение.

— Ну что ж,— говорит индус, и у него в глазах вспыхивает веселый огонек,— если они вам известны, вы должны знать, что вы от рождения смертны. Вы живете лишь для того, *чтобы* умереть.

— Да вовсе нет! — горячо протестует Караман.— Ваше «чтобы» — дьявольский софизм. Мы живем. И наша конечная цель — не смерть. А жизнь.

Его собеседник отзывается слабым смехом. Слабым в смысле громкости, а не продолжительности звучания; мне кажется, что этот смех никогда не кончится. У индуса чувство юмора совершенно особого, я бы сказал, похоронного свойства, ибо ничто в предыдущих репликах Карамана не развеселило его так, как высказанное только что жизненное кредо.

— Помилуйте, мсье Караман,— говорит он,— вы похожи сейчас на ребенка, который встал за тоненьким деревцом и думает, что он спрятался! Как вы можете жить — пусть на протяжении всего только часа,— цедит он сквозь зубы,— жить, притворяясь, будто вам невдомек, чем неизбежно закончится ваша жизнь?

Он делает паузу, обводит взглядом весь наш круг, словно обращается к каждому из нас, и говорит, отчеканивая слова:

— Оттого, что вы избегаете думать о смерти, смерть не перестанет думать о вас.

---

[1] Бесчеловечный шантаж *(англ.)*.

Эта фраза и тон, каким она сказана, производят на меня ошеломляющее действие. Я чувствую, что весь леденею. Я мало склонен к романтическим вымыслам и абсолютно лишен интереса к сверхъестественному, но, если бы сейчас мне сказали, что смерть материализовалась и предстала передо мной в облике индуса, я бы поверил. Я убежден, что ощущение ледяного холода, охватившее меня в этот миг, обрушилось также и на моих спутников, потому что все они внезапно оцепенели, словно восковые фигуры, выставленные в музее.

При этом я вижу, что руки у меня, как и руки Блаватского, начинают дрожать. Я с огорчением отмечаю, что бортпроводница, бледная, с опущенными глазами, избегает смотреть на меня, хотя она не может не чувствовать, с каким отчаянием, с какой жаждой утешения и поддержки я стараюсь привлечь к себе ее внимание. Тогда я пробегаю взором по кругу в надежде обрести хоть немного симпатии, встретить человеческий взгляд и вижу всюду только поникшие головы, неподвижные лица, глядящие в сторону глаза. За исключением, однако же, Робби.

Когда наши взгляды встречаются, я чуть ли не вздрагиваю. Вот уж кто не застыл. Даже наоборот. Брови у него подняты, зрачки расширены, к щекам прилила кровь, и он глядит мне в лицо с таким выражением, будто счастлив повстречать, наконец, свидетеля. Удостоверившись, что и я не отвожу от него глаз, он с воодушевлением восклицает:

— Ах, как мне нравится эта фраза!

— Какая фраза? — в изумлении говорю я.

— Да та, которую мы только что услыхали!

И с поднятой головой, в своей лазурно-синей рубашке, ворот которой широко распахнут на бронзовой от загара шее, он декламирует, и все тело его трепещет в радостном порыве:

— Оттого, что вы избегаете думать о смерти...

Он прерывает себя и, не сводя с меня восторженных глаз, повторяет эту формулу по-немецки — медленно, словно наслаждается ею и словно он вдруг обнаружил в ней, к своему радостному удивлению, тот закон, которому подчинено его собственное существование:

— So sehr ihr vermeidet, an den Tod zu denken, denkt doch der Tod an euch.

Я привожу здесь немецкий вариант, ибо так эта фраза сильнее берет меня за душу, словно прикасается к обнажившимся нервам и каким-то таинственным образом потрясает все мое существо. Да, это странно, но та же самая фраза, произнесенная Робби на его родном языке, приобретает совсем другой смысл, чем в устах индуса. У того она звучит погребальным колокольным звоном, тогда как у Робби она исполнена стоицизма и в ней слышится эхо героизма и доблести.

Какую-то минуту я ощущаю смятение, я колеблюсь между двумя воплощениями одной и той же мысли, но, видимо, я не настолько молод и не настолько полон юношеских сил, чтобы принять интерпретацию Робби. Могу ли я, подобно ему, вообразить, будто смерть — это веселый привал, к которому мчишься галопом вместе с отважными спутниками в вечерней прохладной тиши? Мои колебания кончаются тем, что во мне побеждает интерпретация индуса. И я тоже в свою очередь цепенею, отвожу взгляд от лица Робби и упираюсь глазами в пол.

Убедившись в бесполезности всякого спора с индусом, Блаватский и Караман умолкли, один с затаенной яростью, другой с чопорным достоинством. И ни у кого нет желания принимать у них эстафету. На нас, как свинцовая крышка, снова наваливается тишина.

Если полет тянется долго, в самолете всегда начинаешь страдать клаустрофобией. Но чета индусов заточила нас еще в одну тюрьму, поместив ее внутри первой, и наши руки прикованы к подлокотникам кресел, намертво прикованы страхом и неотвязной мыслью о том, что близится срок ультиматума.

Когда индус сказал — и каким тоном! — что осталось всего лишь три четверти часа, я посмотрел на свои часы, и вот я снова бросаю на них взгляд

и с изумлением убеждаюсь, что прошло только пять минут. Значит, нам предстоит еще сорок минут обливаться потом смертной тоски. У меня такое чувство, что время ползет — мне даже страшно об этом говорить,— ползет подобно слепому чудовищу по болотному илу, и этот образ не раз и не два возникает в моем мозгу.

И я понимаю тогда, что самым ужасным и невыносимым в положении узника, которому грозит смерть, в случае если ни бунт, ни побег невозможны, является бездействие: человек ничего не может предпринять, ему не на что надеяться, не о чем говорить и в конечном счете даже не о чем думать, разве только о том, что сама его мысль скоро перестанет существовать вместе с его бренным телом. Предчувствие небытия — вот что страшнее всего.

Индус охватывает нас взглядом, и, хотя мое предположение, я отдаю себе в этом отчет, может показаться невероятным, у меня такое чувство, что наша апатия раздражает его, он хотел бы заставить нас выйти из нее. Ибо его мрачные глаза глядят на нас с вызовом — возможно, в надежде подстегнуть нас и тем самым оживить угасшую дискуссию. Но все напрасно. Мы настолько удручены и каждый настолько замкнулся в своем отчаянии, что никто не склонен вступать с нашим палачом в словесные поединки.

В этом гнетущем молчании проходит несколько минут, и нас пробирает ощущение смертельного холода и даже еще более жуткое ощущение, будто мы увязаем в зыбучих песках; наконец индус выпрямляется в кресле и говорит совершенно спокойно, словно речь идет о самой простой и будничной процедуре:

— Джентльмены, моя ассистентка подойдет сейчас к каждому из вас и протянет ему сумку. Окажите любезность положить в нее ваши часы, обручальные кольца, перстни и прочие драгоценности. Это относится, конечно, и к дамам.

Мы ошарашенно молчим.

— Имеются возражения? — вопрошает индус.

— Вы меня разочаровали,— говорит Блаватский.— Я принимал вас за бунтаря.

— Как это типично для вас,— говорит индус.— И какое лицемерие. Я разочаровал бы вас еще больше, если бы оказался бунтарем, враждебным вашему правительству. Есть другие возражения?

Опять воцаряется молчание, и все, как мне кажется, признательны Караману, когда он говорит:

— Но ведь это самая обычная кража.

Как всегда, когда в спор ввязывается Караман, глаза индуса начинают сверкать насмешливым любопытством.

— Можете называть эту акцию и так. Меня это не смущает. Но вы могли бы также считать, что речь идет о попытке духовного самоочищения. Особенно для вас, мсье Караман, поскольку вы христианин...

У Карамана приподнимается губа: он явно не желает принимать бой на этом плацдарме.

— Если вы не бунтарь,— говорит он довольно дерзко (и с чисто французской страстью подыскивать всему дефиниции),— тогда кто же вы?

Индус не обижается. Напротив, он даже как будто доволен, что ему представился случай внести ясность в вопрос, кто он такой. Однако, когда он эту ясность вносит, он делает это с такой иронией и таким двусмысленным тоном, что в дальнейшем я не раз буду задаваться вопросом, серьезно ли он говорил.

— I am a highwayman [1],— говорит он торжественно, но в его мрачных глазах вспыхивает улыбка.

— Что-что? — переспрашивает Мюрзек. И добавляет на английском совершенно школьного уровня: — I do not understand [2].

Я уже открыл было рот, чтобы ей перевести, но индус предостерегающе поднимает руку, мечет в меня один из своих парализующих взглядов и, повернувшись к Мюрзек, медленно повторяет, отчеканивая каждый слог:

[1] Я бандит с большой дороги *(англ.)*.

[2] Я не понимаю *(англ.)*.

— I am a highwayman.

— I see [1],— говорит Мюрзек, и я не знаю, что́ она в самом деле понимает, ибо выглядит она необычайно взволнованной и отныне взирает на индуса с возросшим уважением.

Внезапно в воздухе пробегает нечто вроде судороги. Взгляд индуса мгновенно становится жестким и с ослепляющей силой упирается в Христопулоса. Тогда я замечаю, что его левая рука, которая только что изящно покоилась на револьвере, держит грека под прицелом. Я не могу дать даже приблизительное представление о быстроте этого жеста. Мне кажется, ее вообще невозможно измерить, даже в долях секунды.

— Сидите смирно, мистер Христопулос,— говорит индус.

Бледный и потный, Христопулос глядит на него, и над его толстой губой дрожат толстые черные усы.

— Но я ничего не сделал,— жалобно говорит он.— Я даже рукой не шевельнул.

— Не отпирайтесь,— говорит индус, не повышая голоса, но снова сосредоточивая на нем всю силу своего взгляда.— Вы собирались броситься на меня — это верно? Да или нет?

Глаза индуса оказывают на Христопулоса поистине устрашающее действие. Его будто перерезал на уровне легких лазерный луч. Он весь от головы до пят корчится в конвульсиях и несколько раз с отвратительным хлопающим звуком открывает рот, точно ему не хватает воздуха.

— Это верно,— выдыхает он.

Индус наполовину прикрывает веки, и Христопулос переводит дух, на его щеки постепенно возвращаются краски. Однако тело его все еще скомкано в кресле, словно груда тряпья.

— Я даже с места не двинулся,— тянет он слабеньким голоском, как ребенок, который жалобно просит прощения.— Я и пальцем не шевельнул.

— Я это знаю,— говорит индус, без всякого перехода вернувшийся к своей обычной иронической интонации и к своему равнодушному виду.— Я должен был предотвратить ваше нападение, смысл которого мне, впрочем, неясен,— добавляет он, вопросительно поднимая брови.— Вам ничто не угрожало, мистер Христопулос. Ведь я не говорил, что именно вы окажетесь первым из заложников, которого я вынужден буду казнить.

Христопулос производит глотательное движение и облизывает под толстыми усами отвислую нижнюю губу. Когда он говорит — осипшим, почти беззвучным голосом,— я вижу, что во рту у него тянутся нити не совсем затвердевшей слюны, как будто ему стоило большого труда разлепить свои губы.

— Но я,— говорит он не со смущенным, а с растерянным видом,— я очень дорожу своими кольцами.

Все взгляды — не одного только индуса — сходятся на его руках. В самом деле, Христопулос носит кольцо с большим черным камнем и огромный золотой перстень с печаткой на левой руке и еще один перстень, не такой массивный, но зато с бриллиантом, на мизинце правой руки, не считая золотой цепочки с именной пластинкой на правом запястье и золотых наручных часов на левом; и часы, и цепочка довольно внушительных размеров.

Индус коротко смеется.

— Род человеческий,— говорит он на своем английском high class,— не перестает меня удивлять. Ну не абсурдно ли, мистер Христопулос, что вы готовы были пойти на отчаянный риск ради спасения всей этой мишуры и пребывали, однако, в бездействии, когда речь шла о вашей жизни?

Христопулос, бледный и мокрый от пота, не реагирует. Лишь когда индус называет его драгоценности мишурой, у него чуть заметно кривится рот. В это мгновение я слышу справа от себя свистящие звуки, их издает Блаватский, словно ему стало вдруг трудно дышать, но, зная его возбудимость, я не придаю этому значения.

---

[1] Понимаю *(англ.)*.

— Тогда мы вот как поступим,— снова говорит индус, но теперь уже не кладет револьвер себе на колени. Он словно невзначай направляет его на Блаватского.— Я буду проходить позади ваших кресел, и, когда вы почувствуете, что дуло моего пистолета упирается вам в затылок,— но, подчеркиваю это особо, не раньше,— вы опустите ваше приношение в сумку, которую я вам протяну. Во время этой операции моя ассистентка будет стрелять во всякого, кто окажется настолько неблагоразумен, что пошевелит без необходимости руками.

Загипнотизированный индусом, я совсем забыл про его грозную спутницу. В переливающемся всеми красками сари она стоит за креслом бортпроводницы неподвижно, как статуя, и по-прежнему смотрит на нас немигающим взглядом, способность которого видеть одновременно всё и всех я уже отмечал. Ничто в ней не шелохнется. Ее можно было бы принять за каменное изваяние, за навеки застывшее воплощение злобы, если бы ее горящие мрачным огнем глаза не были бы, увы, такими живыми. И у меня нет желания поднять с подлокотника руку даже для того, чтобы почесать нос,— вот самое меньшее, что я могу сказать.

Но на «ассистентку» я взглядываю лишь мельком. Мои глаза опять устремляются на индуса; так намагниченная стрелка всегда показывает на север. Слово «приношение», которое он только что употребил, застряло у меня в ушах, и я задним числом удивляюсь тому, что он не вложил в него абсолютно никакой иронии. Так я и сижу, погруженный в свои мысли, и мои зрачки прикованы к его зрачкам, когда я внезапно замечаю, что он стоит. Пусть поймут меня правильно. Я не говорю, что он встает. Хотя мои глаза неотступно глядят на него, я не вижу никакого движения, не вижу перехода от одного состояния к другому, от сидячего положения к стоячему.

Первая фаза: я вижу индуса сидящим в кресле; вторая фаза: я его вижу стоящим, с револьвером (по-прежнему направленным на Блаватского) в руке; но никакого перехода между этими фазами нет, нет никакого заметного интервала, который разделил бы две эти позиции; как будто кусок пленки, запечатлевший этот переход, был ловко изъят из фильма и десятка три кадров оказались вырезанными ради того, чтобы создать эффект чертика, выскочившего из табакерки. Во всяком случае, это производит на меня и, я полагаю, еще больше на Блаватского, который все время находится в прорези прицела, потрясающее впечатление. Мне кажется, что индус обладает способностью по желанию мгновенно материализоваться в любом углу самолета.

Когда он снова двигается, на этот раз медленно и величественно, я жду, что он начнет сбор «приношений» с Христопулоса, а затем перейдет к Пако и Бушуа, совершая обход в порядке расположения кресел, от передних к задним, по правой половине круга. Но первых троих он пропускает, хотя они находятся у него на пути, и останавливается позади Блаватского.

— Мистер Блаватский,— спокойно говорит он и приставляет дуло пистолета к его затылку.— Постарайтесь не шевелиться, по крайней мере до тех пор, пока я не вытащу из кобуры револьвер, который вы носите у самого сердца. Это лишит вас возможности строить в отношении меня рискованные планы.

Даже на пороге смерти мы не слишком-то готовы к тому, чтобы отказаться от земных благ. В салоне царит недовольство, растерянность, слышатся жалобы и даже — у женской половины — на глазах слезы. Все происходит так, будто, отбирая у нас драгоценности, которые мы на себя нацепили, у нас отнимают частицу нас самих.

Мне казалось, что я выше этих собственнических инстинктов. Я заблуждался. Я испытываю чувство утраты, и — что уж совсем странно — у меня такое ощущение, будто я сам словно бы уменьшаюсь в размерах, когда опускаю в сумку из искусственной кожи свои наручные часы, хотя особой ценности они не представляют: сделаны из дешевого металла и у меня не связано с ними никаких воспоминаний.

Наше подавленное настроение усугубляется еще теми уничижительными комментариями, какими индус сопровождает каждое «приношение», причем замечания эти, как правило, дают прямо противоположную оценку действительной стоимости бросаемой в сумку вещи. Если по поводу моих жалких часов он вообще воздерживается от каких-либо реплик, то бриллиантовую подвеску миссис Банистер именует не иначе как «туфтой», кольца миссис Бойд «дешевкой», а массивные золотые браслеты мадам Эдмонд — «подделкой». И, брезгливо держа кончиками пальцев эту старую, потертую, замызганную сумку из черной искусственной кожи, он так пренебрежительно встряхивает свою добычу и вообще относится к нашим сокровищам с таким невыразимым презрением, что невольно возникает мысль: не выбросит ли он потом все это на свалку?

— Ну, мистер Христопулос,— говорит он, завершая обход,— киньтека и вы сюда свои гигантские побрякушки. Вы сразу почувствуете облегчение. В конце концов, это ведь чистая условность, что золото и бриллианты ценятся так высоко. В них самих нет ничего необыкновенного.

Но эти сентенции не утешают Христопулоса, который, кажется, успел уже заполнить весь самолет своим тяжелым духом. Можно подумать, что он вырывает из своей груди добрый фунт мяса, когда бережно кладет в сумку — он просто не в силах бросить их — два своих золотых браслета. Переходя наконец к кольцу с крупным бриллиантом, украшающему мизинец его правой руки, он издает надрывный стон и плачущим голосом говорит:

— У меня растолстел палец. Кольцо не снимается.

— Я вам очень советую снять ваше кольцо, мистер Христопулос,— говорит индус суровым тоном.— Снять самому. И побыстрей. В противном случае моя ассистентка отрубит вам палец, и сделает это с большим удовольствием.

Христопулос, по-видимому, прилагает отчаянные усилия, чтобы расстаться со своим украшением. Я говорю «по-видимому», ибо не вполне убежден в том, что его усилия искренни. И только после вмешательства бортпроводницы, которая, с согласия индуса, приносит из кухонного отсека немного растопленного масла, кольцо наконец вызволено. Препятствием на его пути явилось, на мой взгляд, не жировое утолщение на пальце, а судорожное сокращение мышц, пожалуй сознательно вызванное.

Совершив это последнее жертвоприношение, Христопулос со вздохом отчаяния безжизненно оседает в кресле, и по его одутловатым щекам текут слезы. Кажется, что он не сел в кресло, а обвалился в него. И, точно хорек, которого загнали в нору, из всех своих пор он испускает такой омерзительный запах, что даже мне, сидящему достаточно далеко от него, становится не по себе. Мне кажется, что блестящие желтые туфли, в которые обуты его тяжелые ноги — единственное оставшееся на нем золото,— мало сказать: ослепительно сверкают, они насмешливо скалят зубы.

— Очень хорошо, мадемуазель,— говорит индус.— Кидайте эти стекляшки сюда и, раз уж вы встали, пройдите в galley. Моя ассистентка вас обыщет.

Он с отвращением швыряет револьвер Блаватского в сумку (я все время жду, что из нее того и гляди выкатится какой-нибудь перстень, настолько она выглядит ветхой, даже дырявой), потом протягивает ее ассистентке и быстро что-то говорит ей, но не на хинди, а на каком-то другом языке. Индуска кивает головой и идет вслед за бортпроводницей в кухонный отсек.

Индус снова садится в свое кресло, с изящной медлительностью царствующей особы кладет ногу на ногу и смотрит на нас, вздыхая, словно он тоже устал от испытания, которому нас подверг. Мне хочется спросить у него, зачем ему понадобилось обыскивать бортпроводницу, но я не успеваю задать свой вопрос: бледная, с потупленными глазами, она сама появляется в салоне. Я пытаюсь уловить ее взгляд, но, к моему великому огорчению, она снова отвергает всякий контакт.

Атмосфера опасности сгущается, и я хочу узнать, сколько времени осталось до истечения срока ультиматума. И ощущаю подобие шока:

у меня на руке уже нет часов. Чувство, которое я испытываю, совершенно неадекватно моей потере, как если бы, лишив меня часов, индус отнял у меня не просто прибор, измеряющий время, а самую ткань моей жизни.

В это мгновенье отодвигается занавеска, и из galley выходит ассистентка индуса. В руке у нее старая черная сумка из искусственной кожи, по-моему, заметно разбухшая по сравнению с тем, какою она была, когда индуска унесла ее в кухню.

Я замечаю также, что сумка уже не раскрыта, как прежде, а тщательно заперта. Ассистентке, должно быть, стоило большого труда затянуть на ней молнию: сумка туго набита и вся топорщится. Я пытаюсь сообразить, что же она могла прибавить к драгоценностям пассажиров и к револьверу Блаватского, чтобы сумка достигла такого объема. Ибо это уже не ручная кладь, теперь ее вес превышает все багажные нормы. Индуска не кладет, а небрежно кидает ее к ножкам своего кресла, и Христопулос вздрагивает. Со скорбью, к которой примешивается вожделение, он глядит на сумку, и, как мне кажется, особенно пристально на две небольшие прорехи в средней ее части, словно надеется, что его браслеты и кольца сами ускользнут из своей тюрьмы и вернутся к хозяину. Но это пустая надежда, ибо добыча воздушных пиратов покоится на дне сумки, а предметы, добавленные помощницей, лежат сверху, и они слишком велики, чтобы пролезть через узкие щели.

Индуска снова занимает сторожевой пост позади своего кресла, и глаза ее мрачно взирают на нас поверх сверкающего пистолета.

Снова нависает гнетущая тишина. Индус взглядывает на часы — отныне лишь он один на борту может это сделать, а мы так деморализованы своими утратами и полны такого ужаса перед неизвестностью, которую скрывает от нас неумолимо текущее время, что никто не решается спросить у террориста, который час.

Индус чувствует, как велика наша тревога, и говорит вызывающим тоном:

— Еще двадцать минут.

Если он этим хотел немного нас подстегнуть и развязать наши языки, то он в этом вполне преуспел.

— Могу ли я задать вам вопрос? — говорит миссис Банистер, изгибая свою элегантную шею и производя самые обольстительные движения глазами и ртом.

— Задавайте,— говорит индус, полуприкрыв веки.

— Вы производите на меня впечатление,— говорит она с бесстыдной и в то же время надменной кокетливостью, словно припадает к стопам индуса, сохраняя при этом свое герцогское достоинство,— впечатление человека весьма образованного, и к тому же чувствительного.— Индус улыбается.— И могу ли я, мсье, поверить, что такой человек, как вы, через двадцать минут сможет убить одного из нас?

— Я сделаю это не сам,— говорит индус с пародийной важностью.— Я прикажу это выполнить своей ассистентке. Как вы могли заметить, натура у нее гораздо более грубая.

— Ваша ассистентка или вы сами — это дела не меняет,— негодующе говорит миссис Банистер, мгновенно переставая жеманничать.

— Вы, к сожалению, правы,— говорит индус.— Но так как стрелять будет она, это все же немного сбережет мою... чувствительность.

— А вам вполне хватает вашей жалкой отваги, чтобы издеваться над нами! — бросает миссис Банистер, переходя с быстротой, которая меня удивляет, от обольщения к непритворному гневу.

— My dear! My dear! — лепечет миссис Бойд.— Вам не следует ссориться с этим... джентльменом!

Слово «джентльмен» она произносит после короткого колебания.

— С цветным джентльменом,— невозмутимо говорит индус.

Наступает пауза, и миссис Банистер восклицает в несколько театральной манере:

— Надеюсь, вы посчитаете своим долгом пощадить женщин!

Тут Мюрзек иронически хмыкает, а индус цедит сквозь зубы:

— Приехали!

Он упирается глазами в миссис Банистер, но вместо того чтобы придать своему взгляду максимальную силу, он, если можно так выразиться, переключает реостат на половинное напряжение и очень медленно, развязно и дерзко начинает разглядывать ее лицо, бюст и ноги, как это делают прохожие, когда пялятся на проституток, демонстрирующих себя в витринах амстердамских публичных домов. После чего он отворачивается с таким видом, будто результат обследования его не удовлетворил.

— Мадам,— говорит он с нарочитой и насмешливой вежливостью, которой обычно щеголяет, обращаясь к представительницам прекрасного пола,— я не вижу никаких причин предоставлять женщинам какие-то льготы, поскольку они с полным правом считают себя во всем равными мужчинам. Что касается меня, я лишен каких бы то ни было предрассудков, когда речь идет о казни заложников: мужчина передо мной или женщина, мне совершенно безразлично.

Мюрзек опять хмыкает и, глядя на миссис Банистер в упор своими неумолимыми синими глазами, шипит:

— Браво! Многого же вы добились, выставляя себя напоказ, точно шлюха!

Миссис Банистер прикрывает свои японские глаза, но столь же герметично закупорить уши она не может и слышит, конечно, внезапный взрыв злобной брани, которую обрушивает на нее мадам Эдмонд.

Я отказываюсь воспроизводить здесь эту брань, она слишком непристойна. Коротко говоря, мадам Эдмонд упрекает миссис Банистер в том, что та своими нелепыми провокационными вопросами и поведением только ожесточила индуса и окончательно определила и даже ожесточила его позицию в отношении женщин. Все это высказано, вернее, выплеснуто самым яростным тоном, с содроганием плеч, бурным колыханием груди и выставлением напоказ тугих сосков.

После чего миссис Бойд, чье круглое лицо искажено гримасой отчаяния, начинает рыдать — даже не оттого, что ее огорчают оскорбительные слова, высказанные в адрес ее приятельницы, а потому, что ничем не прикрашенная откровенность языка мадам Эдмонд вдруг впервые заставила ее в полной мере ощутить истинное положение вещей.

Миссис Банистер наклоняется к ней, пытается ее утешить. Но, по-моему, все ее сострадание — не больше чем светская игра. Ибо, судя по выражению, которое принимает в эти минуты ее лицо — эта маска японского воина,— я вижу, как презирает она эти слезы, что делает ее, по крайней мере в этом, очень похожей на Мюрзек.

А сама Мюрзек, в силу злобности характера, проявляет истинный стоицизм, подкрепляя желчную филиппику мадам Эдмонд торжествующими смешками, действующими мне на нервы, так же как и громкие визгливые сентенции, которыми разражается Робби, возбудившийся при виде волнения, охватившего женскую половину салона.

Единственная, кто сохраняет в левом полукруге безмятежное спокойствие,— не считая бортпроводницы, которая всегда и на все вопросы отвечает односложно,— это Мишу. Но спокойствие бортпроводницы — это спокойствие напряженного внимания; спокойствие же Мишу — спокойствие полной отрешенности. Слепая и глухая ко всему, что происходит в самолете, она восхищенно рассматривает фотографию Майка, лежащую у нее на коленях. И хотя мне известно, какую огромную власть имеет над людьми — и особенно над молодежью — мечта, я все равно поражен. Значит, в сознании Мишу ровным счетом ничего не отложилось — ни язвительная реплика Мюрзек относительно Майка, ни скептицизм индуса относительно Мадрапура, ни объявление о первой казни заложника, ни считанные минуты, которые нас от этого отделяют.

Наступает обманчивое затишье, потом мадам Эдмонд с новой силой принимается поносить миссис Банистер, миссис Бойд — горько рыдать, миссис Банистер — перекрикивать весь этот гвалт, чтобы ее утешить,

Мюрзек — хихикать и хмыкать, Робби — крикливо комментировать происходящее, адресуясь к Мандзони над головою Мишу; и в левой половине круга поднимается вдруг такой шум и такая сумятица, что индус в сильном раздражении, которое у столь владеющего собой человека, надо сказать, удивляет, выпрямляется в кресле и громко кричит:

— Хватит!

Тишина наступает не сразу, так как миссис Бойд продолжает какое-то время глухо рыдать. Индус опять резко меняет свое поведение, он уже снова невозмутим и спокоен, и когда наконец устанавливается тишина, он поднимает правую руку и говорит на своем изысканном английском, с показной британской fair play [1], как всегда сдабривая ее изрядной долей иронии:

— Если *Земля* не согласится уступить моим требованиям, я полагаю, было бы справедливо прибегнуть уже сейчас к жеребьевке, дабы решить, кто из присутствующих здесь женщин и мужчин...

Вслед за этой оборванной на полуслове фразой наступает продолжительное молчание. Мы украдкой, словно чего-то стесняясь, переглядываемся, потом Караман говорит глухим голосом:

— Ни в коем случае. Я решительно возражаю против процедуры подобного рода. По моему мнению, которое, надеюсь, разделит большинство моих спутников, выбирать свои жертвы должны лишь вы сами, и вся ответственность за этот выбор будет лежать исключительно на вас.

— Вы говорите это,— пригнув с воинственным видом голову, незамедлительно вступает в дискуссию Блаватский (его глаза за стеклами очков злобно сверлят Карамана),— потому что, будучи французом, рассчитываете на льготные условия, которые вам предоставит террорист...

Замечание не отличается особым великодушием, но и в самом деле индус, может быть с тайным умыслом внести раскол в наши ряды, уже не раз выказывал к Караману меньше враждебности, чем к Христопулосу, к Блаватскому или ко мне.

— Вовсе нет! — восклицает оскорбленный Караман.

В его негодовании есть, мне кажется, словно бы два разных уровня — один официальный и дипломатический, второй чисто личный. И ни тот, ни другой не кажутся убедительными.

— Мистер Блаватский,— добавляет он,— обвинять меня в каких-то тайных намерениях с вашей стороны абсолютно недопустимо!

Он говорит с жаром, словно желая убедить самого себя. И он собирается еще что-то сказать на той же негодующей ноте, но Блаватский его обрывает.

— Жеребьевка,— непререкаемым тоном, подчеркивая каждый слог, говорит он,— это единственная процедура, являющаяся по-настоящему демократичной; к тому же она защищает нас от произвольного выбора, продиктованного фанатизмом.

Индус улыбается и молчит. И хотя аргументация Блаватского более чем спорна — что́ может быть менее демократичным и более произвольным, чем выбор, отданный на волю случая? — она встречена ропотом одобрения, которое, в сущности, представляет собой не столько согласие с Блаватским, сколько несогласие с Караманом.

Караман это чувствует и, вместо того чтобы постараться опровергнуть точку зрения Блаватского, обиженно говорит:

— Я еще раз самым решительным образом протестую против обвинений, которые были мне предъявлены. А вопрос о жеребьевке я требую поставить на голосование.

Индус сухо говорит:

— Что ж, голосуйте, но поторопитесь. Остается всего лишь пятнадцать минут.

Тогда бортпроводница робко поднимает руку и просит слова. И в который уж раз я чувствую, что совершенно не способен ее описать. Я только гляжу на нее. Вряд ли смогу я выразить чувство, которое в этот миг

---

[1] Беспристрастностью *(англ.)*.

мощной волной захлестывает меня: ко мне разом возвращается, стократно усилившись, пылкая влюбленность, которую я испытал при первой встрече с нею. Поверьте, я понимаю, как смешон мужчина, когда он так говорит о себе, и особенно мужчина с моей наружностью. Что ж, пусть я буду смешон. Но в то же время мне хочется, чтобы это восхитительное чувство открыто заявило о себе, и среди охватившего меня, подобно всем моим спутникам, ужаса я становлюсь глух и слеп ко всему, ощущая вновь поднимающийся во мне неодолимый порыв, который влечет меня к ней и одновременно отдаляет от самого себя. Не то чтобы страх мгновенно исчез, но он уже начинает сдавать позиции, и, если он даже потребует, чтобы я проголосовал, это будет его последним надо мною тиранством.

Мне бы хотелось, чтобы остановилось это мгновение, когда бортпроводница, бледная, спокойная, в шапке золотистых волос, решается поднять руку. Глядя на индуса своим чистосердечным взглядом, она произносит мягким, тихим, чуть глуховатым голосом, который отныне, я думаю, будет всегда вызывать у меня прилив глубочайшей нежности:

— Я бы хотела выразить свое мнение.

— Пожалуйста,— говорит индус.

— Я согласна с мсье Караманом. Я не считаю, что мы сами должны тянуть жребий с именем заложника, который будет казнен. Мне кажется, что, поступая так, мы стали бы соучастниками насилия, которому подвергаемся.

Бортпроводница до сих пор говорила так мало и в такой уклончивой манере, что я удивлен, видя, как решительно определяет она свою позицию, ясность и благородство которой внушают мне самое высокое уважение к этой девушке.

— Прекрасно, прекрасно! — говорит Караман, и у него победоносно вздергивается уголок губы.— И к тому же прекрасно сказано, мадемуазель,— добавляет он с неуклюжей галантностью, которая меня в высшей степени раздражает, как будто никто, кроме меня, не имеет права восхищаться бортпроводницей.

— Возможно,— говорит Блаватский, вульгарность которого впервые вызывает у меня острую неприязнь,— возможно, наша бортпроводница полагает, что в случае, если мы не станем тянуть жребий, ей не угрожает опасность оказаться в числе первых жертв, поскольку кто-то ведь должен разносить нам еду...

— Вы не имеете права так говорить! — с возмущением кричу я.

— Имею, раз уж я им пользуюсь,— говорит Блаватский с поражающей меня твердостью.— Впрочем, проблема не в этом. Проблема, стоящая перед нами,— это проблема *демократического* выбора. И прежде чем мы приступим к голосованию,— продолжает он, с необычайной ловкостью переключая наш спор на обсуждение второстепенных деталей,— имеется один пункт, к которому я бы хотел привлечь ваше внимание. Нас четырнадцать человек. Что будет, если семеро проголосуют за жеребьевку, а семеро — против?

— Я могу на это ответить,— говорит индус, который следит за дискуссией с огромным вниманием.— Если семеро проголосуют «за» и семеро «против», я буду считать, что большинство не поддерживает идею жеребьевки, и тогда я сам сделаю свой выбор.

— Что ж, давайте голосовать,— поспешно говорит Блаватский.

Голосование производится простым поднятием рук. Семь голосов за жеребьевку и шесть против при одном воздержавшемся; воздержалась Мишу, которая очнулась от своих грез для того только, чтобы сказать, что за спором она не следила и никакого мнения у нее на этот счет нет, к тому же ей на все это наплевать. Учитывая последнее заявление индуса, можно утверждать, что именно позиция Мишу и обеспечила победу сторонникам жеребьевки.

Против проголосовали: разумеется, Караман, а также бортпроводница, мадам Эдмонд, миссис Бойд, миссис Банистер и мадам Мюрзек, то есть все женщины, кроме Мишу. Это женское единодушие объясняется, по-моему,

не игрой случая и не поддержкой той принципиальной позиции, которую выразили Караман и бортпроводница. Женщины, вероятно, подумали, быть может даже не всегда сами это сознавая, что, если индусу придется выбирать самому, его выбор, возможно, и не падет на представительницу их пола.

Очевидно, по той же самой — или, вернее, по обратной причине голоса мужчин были отданы жеребьевке. Если я к ним и присоединился, хотя в глубине души согласен был с доводами бортпроводницы, то лишь потому, что в последнюю минуту вспомнил о той резкой враждебности, которую выказал мне индус,— так что мотивы моего голосования были не из самых благородных. Правда и то, что при любом голосовании решение часто диктуется страхом, даже при мирных парламентских выборах.

Ну а я, как только поднял руку, тут же пожалел об этом. И после голосования я просто был убит, что проголосовал не так, как надо.

— Значит, будете тянуть жребий,— говорит индус, не скрывая презрения, на сей раз совершенно оправданного, которое внушил ему наш выбор.— Мистер Серджиус,— продолжает он,— у вас в сумке наверняка найдется бумага. Не будете ли вы любезны подготовить четырнадцать бюллетеней с фамилиями?

В знак согласия я киваю. Голова у меня какая-то ватная, взмокшими от пота ладонями я начинаю делать то, о чем он меня просит. Операция заключается в складывании бумаги и разрезании ее на множество листков, и единственная моя забота — сдержать дрожь в руках во время этих манипуляций. Это не так-то легко. Все глаза устремлены на меня. Атмосфера в салоне невероятно напряжённа, и каждый из нас молча лелеет гаденькую надежду, что на листке, предначертанном судьбой, будет стоять не его, а чье-то другое имя.

Я чувствую в эту минуту всю гнусность такой жеребьевки, чувствую, насколько права была бортпроводница, когда выступила против нее. Мы собираемся отдать одного из нас на заклание палачу, чтобы ценой его крови купить себе жизнь. Увы, тут нет ничего нового. Назначая жертву для убиения, наш круг лишь доводит до логического конца свой мерзкий эгоизм. От козла отпущения мы очень быстро перешли к искупительной жертве.

Я уже заканчиваю работу, как вдруг Робби с некоторой торжественностью на своем гортанном английском обращается к индусу:

— Я хотел бы кое-что сказать.

— Я слушаю вас,— говорит индус.

Я поднимаю глаза. С золотыми локонами, ниспадающими на изящную шею, с гордо поднятым красивым загорелым лицом, которое озарено ярким светом живых глаз, Робби, кажется, дождался своего звездного часа. Голосом, в котором звучит с трудом подавляемое ликование, он говорит:

— Я предлагаю себя в качестве добровольца на роль первого заложника, которого вы должны будете казнить.

По кругу пробегает трепет. Все взгляды устремляются к Робби. Но это не значит, что все они выражают одно и то же. В левом полукруге преобладают восхищение и признательность, тогда как в правом к этому примешивается чувство униженности.

— Почему же в таком случае вы голосовали за жеребьевку? — говорит индус так, словно он поймал Робби с поличным.

— Ну, ясное дело, потому, что в тот момент я боялся, что ваш выбор падет на меня,— совершенно спокойно говорит Робби.

— А теперь вы решили избавиться от страха путем трусливого бегства вперед? — спрашивает индус с такой жестокостью, что у меня перехватывает дыхание.

— Можно все это представить и так,— говорит Робби, моргая.— Только мне вовсе не кажется, что это бегство.

Полуприкрыв глаза, индус молчит, и его молчание тянется так долго, что Робби снова говорит:

— Для меня, а возможно, и для моей страны будет великой честью, если вы примете мое предложение.

Индус смотрит на него и коротко бросает:

— Нет. Не приму. Вы должны были голосовать против жеребьевки. А теперь слишком поздно. Вы разделите общую участь.

По левой половине круга пробегает ропот разочарования; не повышая голоса, индус говорит:

— Однако я не возбраняю никому из числа лиц, голосовавших *против* жеребьевки, предложить себя в качестве добровольцев.

Противники жеребьевки молчат, не смея от ужаса даже вздохнуть. Но индус на этом не останавливается. С безжалостной злобой он продолжает:

— Мадам Мюрзек, вы согласны быть добровольцем?

— Но я не понимаю, почему именно я...— начинает Мюрзек.

— Отвечайте, да или нет.

— Нет.

— Миссис Банистер?

— Нет.

— Миссис Бойд?

— Нет.

— Мадемуазель?

В знак отказа бортпроводница качает головой.

— Мсье Караман?

— Нет.

Караман тотчас добавляет:

— Могу я одной фразой прокомментировать свой ответ?

— Нет, не можете,— говорит индус.— Впрочем, никакому комментарию не удастся облагородить ваш нравственный облик.

Караман бледнеет и умолкает. Индус говорит несколько слов на хинди своей помощнице, та наклоняется, хватает с пола тюрбан своего командира и, пройдя позади Христопулоса, Пако, Бушуа и Блаватского, останавливается за спинкой моего кресла и протягивает мне сей головной убор. Я кладу в него четырнадцать сложенных бюллетеней с именами.

— Я полагаю,— говорит Мюрзек своим хриплым благовоспитанным голосом, обращаясь к индусу,— что вы намерены провести эту жеребьевку согласно правилам.

— Разумеется.

— В таком случае,— продолжает Мюрзек,— сосчитайте бюллетени, чтобы убедиться, что их в самом деле четырнадцать, а также разверните каждый из них, чтобы убедиться, что в каждый вписано по одному имени.

— Мадам! — говорю я с возмущением.

— Золотые слова, мадам,— говорит индус.— Неукоснительному соблюдению правил в этой операции я придаю огромное значение.

Он поднимается, встает справа от своей ассистентки и, опустив правую руку в тюрбан (в левой руке он держит оружие, но на нас оно не направлено), достает бюллетень, разворачивает его, читает и перекладывает в другую руку, прижимая бумагу рукояткой револьвера к ладони. Эту процедуру он повторяет, пока не кончаются бюллетени.

Закончив, он глядит на меня с высоты своего роста и говорит с суровостью, в которой, мне кажется, проскальзывают пародийные нотки:

— Я бы никогда не поверил, что британский джентльмен способен плутовать. Тем не менее факт налицо. Мистер Серджиус сплутовал.

Я храню молчание.

— Не хотите ли вы объясниться, мистер Серджиус? — говорит индус, и в его глазах загорается огонек, который я не могу назвать неприязненным.

— Нет.

— Следовательно, вы признаёте, что сплутовали?

— Да.

— И, однако, не желаете объяснить, почему и зачем вы это сделали?

— Нет.

Индус обводит глазами круг.

— Ну-с, что вы об этом думаете? Мистер Серджиус признаёт, что он пытался фальсифицировать бюллетени для жеребьевки. Какие санкции предлагаете вы к нему применить?

Все молчат, потом Христопулос голосом, дрожащим от безумной надежды, говорит:

— Я предлагаю, чтобы мы назвали мистера Серджиуса первым заложником, которого надо казнить.

— Что ж, в добрый час! — говорит индус, бросая на него взгляд, полный уничтожающего презрения. И сразу же добавляет: — Кто согласен с этим предложением?

— Минутку! — говорит Блаватский, с воинственным видом глядя на него из-за своих толстых стекол.— Я не желаю голосовать очертя голову! Я решительно протестую против такого голосования и отказываюсь принимать в нем участие, пока не буду знать, *как* Серджиус сплутовал.

— Вы ведь сами слышали,— говорит индус.— Он не хочет вам этого объяснять.

— Но вам-то это известно! — говорит Блаватский, с радостью обретая привычную агрессивность.— Что вам мешает нам об этом сказать?

— Мне ничто не мешает,— говорит индус. И добавляет с насмешливой учтивостью: — Если мистер Серджиус не против.

Я гляжу на индуса и говорю, с трудом сдерживая бешенство:

— Покончим с этой комедией. Я никому не причинил никакого вреда. У вас есть все ваши четырнадцать бюллетеней. Чего вам еще не хватает?

— Как — четырнадцать? — спрашивает Мюрзек.

— Да, мадам! — говорю я, с яростным видом поворачиваясь к ней.— Четырнадцать! Ни одним меньше. И я благодарю вас за подозрения, свидетельствующие о широте вашей души!

— Если я правильно понял,— говорит Блаватский,— Серджиус не забыл вписать свое имя в один из бюллетеней?

Индус улыбается.

— Вы его плохо знаете. Мистер Серджиус весьма гордится своим именем. Он посвятил ему не меньше *двух* бюллетеней. Что и позволяет нам прийти к цифре, которая так удивила мадам Мюрзек.

— Но это полностью меняет ситуацию! — говорит Блаватский.— В конце концов,— продолжает он со своей грубоватой развязностью, стараясь не показать, что немного растроган,— это касается только Серджиуса, если ему хочется сделать кому-то приятное.

Индус качает головой.

— Я так не считаю. Нам требуется четырнадцать имен, а не четырнадцать бюллетеней с одним-единственным именем. Я не могу допустить, чтобы одно какое-то лицо, кем бы оно ни было, получило преимущество перед другими. Это нарушило бы весь ход операции.— И он продолжает: — Мне не нужен герой, избравший самоубийство. Не нужен влюбленный, приносящий себя в жертву. Если вы не хотите применить к мистеру Серджиусу санкции, тогда самое меньшее, что мистер Серджиус может сделать,— это исправить один из двух бюллетеней, в которых стоит его имя.

Я молчу.

— Закончим с этим,— говорит с измученным видом Блаватский.— Полноте, старина,— продолжает он, наклоняясь ко мне,— хватит упрямиться! Вы препятствуете жеребьевке, за которую мы высказались демократическим путем.

— Исправляйте второй бюллетень сами! — говорю я в запальчивости.— Я больше не хочу ни к чему прикасаться! И, поверьте, я сожалею, что голосовал за жеребьевку. Это мерзейшая подлость! И мне глубоко отвратительно, что я согласился писать все эти имена!

Блаватский пожимает плечами и выразительно глядит на индуса. Тот делает знак рукой, и ассистентка, пройдя позади кресел, приносит Блаватскому бюллетень. Он кладет его себе на колено и исправляет шариковой ручкой. На последней букве ручка прорывает бумагу, и Блаватский чертыхается с такой яростью, какой этот незначительный эпизод, разумеется.

не заслуживает. Думаю, именно в это мгновение, своей рукою вписывая в бюллетень недостающее имя, Блаватский ощутил, как и я несколькими минутами раньше, всю низость нашего решения.

Ассистентка берет исправленный бюллетень из рук Блаватского — до которого она избегает дотрагиваться, словно перед ней презреннейший из неприкасаемых,— затем, снова заняв свое место справа от индуса, показывает ему бюллетень в развернутом виде. Индус утвердительно кивает, и она, по-прежнему держа нас под прицелом своего пистолета, с поразительной ловкостью одной рукой складывает бюллетень вчетверо и бросает его в тюрбан, который держит в правой руке индус. До меня впервые доходит, что он левша, поскольку он держит оружие в левой руке. Но в отличие от своей ассистентки он ни в кого не целится и его рука с пистолетом опущена вниз.

Я не спускаю с них глаз — и не вижу, чтобы они сдвинулись с места. Тем не менее я замечаю, что оба уже отступили назад. Теперь они стоят за пределами круга, перед занавеской кухонного отсека, и на лице индуса я читаю ту религиозную сосредоточенность, которая так поразила меня при захвате самолета. Словно, зажав в руке пистолет, он собрался не стрелять в нас, а обратиться к нам с проповедью.

При всей, казалось бы, серьезности его поведения в нем заключена чудовищная насмешка: какой нравственный или близкий к нравственному урок может преподать нам наш вероятный убийца?

— Джентльмены,— говорит он (в очередной раз избегая обращаться к дамам),— через несколько минут, если самолет не приземлится, я буду вынужден — что, прошу мне поверить, крайне меня удручает — оборвать одну человеческую жизнь. Но у меня нет выбора. Я во что бы то ни стало должен выйти отсюда. Я больше не могу разделять с вами уготованную вам судьбу, так же как и ту пассивность, с какой вы ее принимаете. Вы все — более или менее покорные жертвы непрерывной мистификации. Вы не знаете, куда вы летите, кто вас туда ведет, и, возможно, весьма слабо себе представляете, кто вы сами такие. Следовательно, я не могу быть одним из вас. Покинуть как можно скорее этот самолет, разорвать круг, в котором вы вращаетесь, вырваться из *колеса*, увлекающего вас за собой, стало для меня первоочередной необходимостью.

Он делает паузу, давая нам возможность осмыслить его слова; что касается меня, эту фантастическую картину нашего состояния, развернутую перед нами, я, как и прежде, воспринимаю с отчаянием и стыдом.

Индус как будто стал выше на несколько дюймов, его мрачные глаза невероятно расширились, и, когда он снова начинает говорить, его голос звучит в моих ушах похоронным звоном.

— Должен сказать, вы разочаровали меня. Вы повели себя в этом деле не как человеческая семья, а как стая зверей, как толпа эгоистов, где каждый пытается спасти свою шкуру. Надеюсь, вы не можете не видеть, что эта жеребьевка, к которой я вас подтолкнул, потому что она выгодна для меня, и которую вы облекли обманчивыми словесами о демократичности, является, если взглянуть на нее непредвзято и трезво — а только так вы и должны были на нее смотреть,— является гнусностью. И никто здесь, абсолютно никто не имеет права сказать, что совесть у него чиста. Те, кто проголосовал против, сделали это не без влияния задних мыслей шкурного характера, а те, кого возмутила финальная процедура, решились на протест слишком поздно.— Глухим голосом он продолжает: — Ставки сделаны. Отменить ваше решение невозможно. Моя жертва — она также и ваша — будет сейчас извлечена из урны.

Никто не возражает ему. Вероятно, ни у кого нет ни сил, ни просто голоса, чтобы что-то сказать. Я чувствую, что у меня мгновенно пересохло во рту, так я боюсь, что сейчас будет названо мое имя или имя, которое я пропустил. Индус протягивает тюрбан своей ассистентке, и, как только она его берет, он опускает в него руку и вынимает бюллетень. Мне кажется, что у меня остановится сердце, пока он с невероятной медлительностью разворачивает листок.

Развернув бюллетень, индус долго глядит на него — сперва с недоверием, затем с отвращением. Когда он наконец решается заговорить, он облизывает губы и, не поднимая глаз, тихим и хриплым голосом произносит:

— Мишу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Изумление, подленькое облегчение, стыд, а также и жалость, но на фоне слишком поспешной покорности пред волей судьбы — налицо все «добрые чувства», перемешанные, впрочем, и с некоторыми другими.

Мы все, разумеется, ошеломлены. Но наше сострадание немного лицемерно, поскольку оно служит оправданием нашей пассивности. Мы говорим себе: «Бедная маленькая Мишу, ей придется сейчас умереть, а ведь она так мало прожила, и жизнь только обманывала ее — с этим Майком, с этим Мадрапуром, с этим полетом...» Короче говоря, мы очень ее жалеем. От всего сердца. Которому теперь несколько полегчало.

Общая растерянность увеличивается оттого, что мы даже не можем ненавидеть индуса. Ведь не он выбрал жертву. К тому же, за несколько минут до убийства сбросив с себя маску невозмутимости, индус, вопреки всякому ожиданию, обретает человечность, и мы видим, что ему самому тошно. Свои первые слова он обращает к Мишу, и они полны упрека и сожаления:

— Вам нельзя было быть такой безучастной. Если бы вы не воздержались, а проголосовали против жеребьевки, было бы семь голосов против и семь голосов за, а в этом случае, как я уже говорил, я не стал бы полагаться на случай, а выбрал бы заложника сам.

Эту тему он больше не развивает. Но все и так ясно. Повинуясь его повелительному взгляду, я перевожу. Я не уверен, доходит ли даже сейчас до Мишу смысл того, что говорит ей ее палач. Испуганная и растерянная, как птенец, выпавший из гнезда, она из-под свисающей на лоб прядки уставилась на индуса своим карим, расширившимся от изумления зрачком и недоверчиво говорит:

— Вы собираетесь меня убить?

Я перевожу, и, ни слова не говоря, с тяжелым взглядом и замкнутым лицом, индус утвердительно кивает.

— О нет, нет! — по-детски протестует Мишу и, уткнувшись в ладони лицом, начинает рыдать.

— Мсье,— говорит Блаватский,— разве сможете вы хладнокровно...

— Замолчите! — гневно восклицает индус, направляя на Блаватского пистолет.— Мне надоели эти штампы. Поберегите свое хладнокровие для себя. Оно вам еще пригодится, если *Земля* останется глуха к моим просьбам. Сейчас я отказываюсь вести какую бы то ни было дискуссию по этому поводу.— И добавляет: — Если только кто-нибудь из вас не согласится заменить Мишу.

Два движения пробегают по кругу. Сначала все отводят глаза. Потом дружно останавливают их на Робби. Под натиском наших взглядов Робби вздрагивает, потом откидывает голову назад и, оглядев нас, говорит резким тоном:

— Если вы подумали обо мне, не рассчитывайте на это. Мой героический порыв прошел. Мне было сказано, что я должен разделить общую участь. Я ее и разделяю. И одному лишь Богу известно, насколько будет она общей.

После паузы в разговор влезает Христопулос, который с некоторым усилием произносит:

— Но вы ведь уже объявили себя добровольцем...

— Совершенно верно,— явно любуясь собою, парирует Робби,— как все настоящие артисты, я не повторяю своих эффектных номеров.

— Значит, речь шла всего лишь об «эффектном номере»? — говорит Мюрзек.

Но Робби такого рода выпадами не собьешь.

— Да,— сухо отзывается он,— причем о номере, который всем доступен. Можете сами попробовать.

— Я, конечно, понимаю, чем сейчас вызван ваш отказ,— гнет свое Мюрзек, бросая наглый взгляд на Мандзони и Мишу.— Вряд ли вам так уж хочется спасать жизнь своей более удачливой сопернице.

— Мадам, вы отвратительны и гнусны! — говорит Мандзони.

— Тише! Успокойтесь! — раздраженно восклицает индус.— Мне надоели ваши постыдные препирательства! Если вы не способны ни на что другое, не срамитесь по крайней мере, промолчите!

Мишу отрывает от лица руки, нежные черты ее искажены ужасом и слезами. Она плачет по-детски, не стыдясь, не заботясь о приличиях, из ее губ, сведенных, как на греческих масках, в прямоугольную щель, изливается нескончаемый жалобный стон, который надрывает нам сердце.

— Не смотрите на меня! — говорит она прерывающимся голосом, обращаясь к кругу.— Я не хочу, чтобы на меня смотрели! Это ужасно! Я знаю, чего вы ждете!

Она снова прячет лицо в ладони и продолжает рыдать. Я гляжу на нее, у меня до боли перехватывает горло, я бесконечно взволнован, но при этом далек, очень далек от того, чтобы перескочить ту бездонную пропасть, что отделяет меня от самопожертвования.

— Я предлагаю провести новую жеребьевку, в которой имя Мишу будет отсутствовать,— бесцветным голосом говорит Пако, и из его круглых выпученных глаз по багровым щекам текут слезы.

Индус хранит молчание, и в круге тоже никто не открывает рта. Никто не смотрит на Пако. Пако снова говорит, обращаясь к индусу:

— Так что же, мсье, мы будем делать?

— Да ничего,— отвечает индус.— Решайте между собой. Я этим больше не занимаюсь.

И он с видом крайнего отвращения садится возле Христопулоса и протягивает тюрбан Пако, который дрожащими руками хватает его.

— Кто согласен, чтобы мы снова провели жеребьевку, исключив из бюллетеней имя Мишу?

Уткнувшись глазами в пол, пассажиры молчат, как будто разом превратились в каменные статуи. И я в том числе. Все наше великое сострадание мгновенно зачахло, как только потребовалось перейти к действиям. Никому, по сути, не хочется еще раз пережить те страшные для каждого минуты, которые предшествовали вскрытию бюллетеня. Испытанное нами огромное облегчение мы уже обратили в капитал и, ничуть не желая пускать его снова в оборот, одним своим молчанием второй раз воровски соглашаемся на смерть Мишу.

С безнадежным видом Пако повторяет свой вопрос, и тут происходит нечто новое. Руку поднимает бортпроводница. Я смотрю на нее — она сидит бледная, сжав зубы, и ее зеленые глаза устремлены на меня с выражением крайней серьезности. Я тоже в свою очередь поднимаю руку. Нет, я не отношу этот жест к своим заслугам, отнюдь нет. Я совершаю его, чтобы не упасть в глазах бортпроводницы, ибо, говоря по правде, я не ощущаю в этот момент никакого сострадания, его убила боязнь новой жеребьевки.

К моему большому изумлению — ибо я не предполагал за ним такого великодушия,— руку поднимает Блаватский. Пако тоже. И это все.

— Робби? — с вопросительной интонацией говорит Пако.

— Мсье Пако,— с высокомерием поучает его Караман,— вы не должны оказывать на людей давление, принуждая их голосовать так, как этого хочется вам.

Робби поднимает подбородок, жестким взглядом смотрит в лицо Пако и говорит вызывающе и очень четко:

— Нет!

Мюрзек ухмыляется.

— Мсье Мандзони? — спрашивает Пако.

— Послушайте, мсье Пако,— говорит Караман,— это совершенно недопустимо...

Мандзони, смущенный и красный, стараясь не привлекать к себе внимания, отрицательно качает головой, и Пако, повернувшись к Караману, говорит с нотками надменности в голосе:

— А вы?

— Мсье Пако! — восклицает Караман, негодующе приподнимая уголок губы.— Вы не имеете никакого права вербовать своих сторонников! Кроме того, я напоминаю вам, что я с самого начала решительно выступил против жеребьевки. Посему я не буду голосовать за то, чтобы она была проведена снова. Это полностью расходилось бы с моей принципиальной позицией.

Он замолкает, довольный, что оправдался. По крайней мере, в плане логики так оно, вероятно, и есть.

Пако, у которого по щекам по-прежнему катятся слезы, обводит круг глазами и говорит сдавленным голосом:

— Вы подлецы.

Мюрзек незамедлительно принимает вызов.

— Уж во всяком случае, не от развратника вроде вас выслушивать нам нравственные проповеди,— говорит она свистящим голосом.— А если у вас такое нежное сердце, почему же вы сами добровольно не вызвались занять место Мишу?

— Но я... я не могу,— говорит, вконец растерявшись, Пако.— У меня жена, дети.

— Жена, которую ты обманываешь со своими «малолетками»,— злобно цедит Бушуа.

— Если ты обо всем так правильно рассуждаешь,— обернувшись к шурину, в приступе ярости бросает ему Пако,— почему бы тебе самому не вызваться добровольцем? Ты ведь с утра до вечера твердишь, что тебе осталось жить не больше года...

— Конечно,— подтверждает Бушуа.

Свой ответ он сопровождает коротким, леденящим душу смешком. Чудовищно худой, с лицом трупа, Бушуа воплощает собой классический облик смерти. А сейчас мы узнали, что по истечении недолгого срока он и в самом деле умрет. Испытывая неловкость, мы отводим глаза, словно он принадлежит уже к другой породе, словно и мы сами не смертны.

— Впрочем, ты отпускаешь мне слишком большой срок, Поль,— продолжает Бушуа, явно получая удовольствие от страха, который он нам внушает.— Мне остается уже не год, а всего лишь полгода. Так что можешь себе представить, как мне не терпится попасть в Мадрапур!

Он снова смеется — негромким скрежещущим смехом, каким в моем представлении должен смеяться прокаженный.

В этот миг рыданья Мишу прекращаются, она поднимает голову, ее лицо мокро от слез, но оно достаточно твердо, и голосом, четкость которого меня удивляет, она спрашивает у индуса:

— Сколько времени у меня остается?

Индус приподымает рукав пиджака и после довольно заметного колебания говорит:

— Десять минут.

У меня сразу возникает уверенность, что он лжет, что срок ультиматума уже истек, но он втайне от всех предоставил Мишу отсрочку. Он может себе это позволить, теперь он безраздельный хозяин времени, поскольку лишь один владеет часами.

— И я могу на эти десять минут удалиться в туристический класс? — спрашивает Мишу, и голос ее больше не дрожит.

— Да,— незамедлительно отвечает индус.

— Вместе с Мандзони?

Индус поднимает брови.

— Если синьор Мандзони согласен,— говорит индус, к которому вернулась его напускная учтивость.

Мандзони утвердительно кивает. У него бледное и неподвижное прекрасное лицо римской статуи. Кажется, он не в состоянии выговорить ни

слова. Мишу проворно встает, берет Мандзони за руку и тянет за собой, точно ребенок, которому не терпится поскорее пойти поиграть с товарищем, ускользнув от опеки взрослых. Она стремительно пересекает круг, волоча за собой на буксире Мандзони, который рядом с нею выглядит нелепо огромным.

Занавеска туристического класса опускается за ними. И в салоне ничего не остается от Мишу, кроме полицейского романа, который она в спешке уронила на пол и, жалея терять лишнее время, решила не подбирать. Падая, книга раскрывается, фотография Майка вылетает из нее и, прочертив в воздухе короткую траекторию, неподвижно замирает лицом к полу.

Индус встает и тихо говорит несколько слов своей помощнице, та сразу же пересекает салон и останавливается на пороге туристического класса. Она не отдергивает занавеску, а только отодвигает один ее уголок на уровне глаза.

В салоне продолжает царить молчание, но в молчании этом появляется новый оттенок. Мы смущены. Никто не понимает, как Мишу после столь горьких рыданий смогла так быстро прийти к своему неожиданному решению. Нам не по душе, что в трагическую серьезность этой минуты вторгается чувственный элемент, нас это коробит. Я скажу нечто довольно гнусное по своей бестактности, но что поделаешь, это соответствует тому, что мы сейчас переживаем: нам кажется, что Мишу вышла из роли.

Но никто, даже Караман, не чувствует себя в ладах с собственной совестью, чтобы позволить себе замечание подобного рода. И мы почти признательны Робби, когда он предпринимает отвлекающий маневр.

— Могу ли я подобрать книгу? — спрашивает он по-английски у индуса.

— Можете,— отвечает тот.

Робби наклоняется, одной рукой хватает полицейский роман, другой рукой фотографию Майка, закладывает ее между страницами, кладет книгу на пустое кресло Мишу, и я уже готов решить, что он проделал все это из чистой деликатности — чтобы избавить Мишу от лишних хлопот, когда она вернется на свое место,— как вдруг, передумав, он вытаскивает фотографию из книги и с полнейшей бесцеремонностью начинает ее неторопливо рассматривать.

— Вам нравится Майк? — спрашивает с ухмылкой Мюрзек.

Робби, и глазом не моргнув, продолжает свое обследование, потом поднимает голову, глядит на меня и говорит:

— Er ist ein schöner Mann, aber... Ich fühle nicht die Spur von einem Geist [1]. Нет, не переводите, мистер Серджиус,— продолжает он по-немецки,— это бесполезно. Переводить стихотворную строчку из Гёте в данном случае то же самое, что бросать жемчужину свинье. Есть люди, мы с вами знаем, абсолютно глухие к психологическим нюансам.

Он сует фотографию обратно в книгу и с чванливой миной, как будто только за одно то, что он процитировал Гёте, ему полагается лишняя звездочка на эполетах, кладет руки на подлокотники и одновременно приставляет ногу к ноге, проделывая все это с каким-то особенным рвением, словно застывает в нравственной стойке «смирно», дабы с честью ответить на вызов судьбы.

Опять наступает молчание, и тогда Блаватский, воинственно глядя из-за очков, решительным тоном говорит:

— Вы позволите мне сделать замечание?

Индус тихо вздыхает. С той минуты как из тюрбана появилось имя Мишу, весь его облик, манера держаться, а возможно, и само его положение на борту в чем-то неуловимо изменились. Он уже больше не единоличный властитель в самолете. Такое впечатление, что теперь он и сам чему-то подвластен. И хотя он по-прежнему остается хозяином наших жизней, наших слов, нашего имущества и малейших наших движений, расстояние между ним и нами уменьшилось — и оно уменьшается в той мере, в какой

---

[1] Он красивый парень, но... Я духа в нем не вижу и следа *(нем.)*.

становится все более очевидным, что, впутавшись в общую для нас всех авантюру, он не больше, чем мы, в состоянии контролировать дальнейший ход событий.

По мере того как движется время (поскольку часовой срок, который он дал *Земле* на выполнение этого требования о посадке самолета, я в этом убежден, давно истек), его по-прежнему всесильная власть над нами не мешает ему, полагаю, ощущать свое бессилие перед лицом *Земли*. Отсюда и возникшее у нас чувство, что после жеребьевки он вдруг как-то сник, что мыслями он уже где-то не здесь и лишь по инерции употребляет свою над нами власть.

— Говорите, мистер Блаватский,— устало отзывается он.

— Предположим,— говорит, сверкая глазами, Блаватский,— предположим, что один час пройдет — если он уже не прошел. Что в этом случае происходит? Вы держите слово (он понижает здесь голос), вы казните эту девушку. Но самолет, хочу вам это напомнить, представляет собой герметически замкнутую систему. Первый вопрос: как вы поступите с телом?

— Я отказываюсь обсуждать эту тему,— говорит индус, но в его тоне не слышно язвительности, и он не лишает Блаватского слова.

Он даже, кажется, хочет, чтобы тот продолжал.

— Что ж, рассмотрим дальнейшие перспективы,— продолжает Блаватский.— После этой первой казни вы снова ставите ультиматум *Земле*. И *Земля*, то ли оттого, что она вас не слышит, то ли слышит, но не желает уступать вашим требованиям, вновь не сажает самолет по истечении второго часа. Тогда вы казните второго заложника, и его тело будет присоединено к телу этой девушки — ради соблюдения внешних приличий вы, допустим, уберете их куда-нибудь в сторонку, подальше от наших глаз. С этого момента, поскольку *Земля* по-прежнему глуха к вашим мольбам, ничто не мешает этому зловещему процессу продолжаться, а туристическому классу сделаться своего рода моргом для всех четырнадцати пассажиров на борту. В конце концов лишь вы со своей ассистенткой останетесь в живых среди всей этой бойни. И в пункте прибытия, где бы он ни был, вы неминуемо будете задержаны и обвинены в этой массовой резне.

Положив ногу на ногу и держа в левой руке револьвер, ствол которого опущен вниз, индус выслушивает мрачный сценарий Блаватского без тени волнения. Затем снова взглядывает на часы, но, как и прежде, старается сделать это незаметно. Как ни странно, анализ, произведенный Блаватским, кажется, его не только не смутил, но даже вернул ему былую самоуверенность. И он совершенно спокойно говорит:

— Ваше исследование возможных перспектив, мистер Блаватский, неверно в своей основе. Оно строится на двух допущениях: во-первых, что *Земля* не испытывает никакой доброжелательности к пассажирам, и, во-вторых, что мои требования к *Земле* чрезмерны.

— Я готов обсудить эти допущения,— говорит Блаватский, наклоняя свою курчавую голову и выдвигая вперед квадратную челюсть.

— Помилуйте, мистер Блаватский! — говорит индус, к которому вернулась его прежняя язвительность.— Тут и нечего обсуждать! Доброжелательство *Земли* является в нашей задаче величиной неизвестной! Окончательная судьба пассажиров — тоже. Впрочем, само слово «пассажир» [1] — оно очень двусмысленно! И как прекрасно оно выявляет всю ненадежность и хрупкость вашего допущения!

Говоря это, он обводит круг глазами и — чего он давно уже не делал — внезапно придает своему взгляду максимальную напряженность. Эффект наступает мгновенно. Я чувствую, как меня захлестывает тоска, которая, может быть, даже хуже смертной тоски, ибо она остается смутной, расплывчатой, ни к чему конкретному не привязанной — и при этом она так сильна и коварна, что с головы до пят насквозь пронизывает мое тело. Отвратительная минута. Только этим эпитетом могу я обозначить ощущение, которое я испытываю. Оно, повторяю, ни с чем определенным не

[1] По-французски слово «passager» означает также «мимолетный», «скоротечный», «временный».

связано, разве что с той интонацией, с какой индус произнес слово «пассажир», и с тем семантическим зарядом, который он в него вкладывает.

— Ну хорошо,— говорит поспешно Блаватский, и я вижу, как он моргает за защитным экраном своих очков,— перейдем ко второму допущению; вы наверняка лучше, чем я, осведомлены относительно требований, с которыми вы обратились к *Земле*.

— Но в моих требованиях,— говорит индус, усмехаясь,— поверьте мне, нет ничего чрезмерного! Вопреки тому, что вы могли предположить, я не требую от *Земли* никаких жертв! Ни освобождения политических узников, ни внесения выкупа.— И добавляет со странной улыбкой: — Я лишь прошу исправить одну ошибку. Ибо мы с моей ассистенткой находимся у вас на борту по ошибке.

— По ошибке! — восклицает Караман.— Как могу я в это поверить?

— Ну конечно же, по ошибке,— говорит индус.— А вы, мсье Караман, вы — сама логика, как могли вы хоть на секунду предположить, что я пожелал бы отправиться туда, куда вы, по вашему мнению, летите? Ведь я совершенно убежден, что Мадрапура не существует!

— Тогда куда, по вашему мнению, мы летим? — вопрошает Караман, и губа его так сильно дрожит, что это даже мешает проявиться привычному тику.— Но, пока не получен новый приказ, мы, конечно, летим в Мадрапур! Я решительно отвергаю любую другую гипотезу!

Индус вздергивает брови и, ни слова не говоря, улыбается со снисходительным видом взрослого, которого забавляет поведение заупрямившегося ребенка. Должен сказать, что чересчур категоричный тон Карамана, во всяком случае для меня, прозвучал довольно фальшиво.

Индус опять смотрит на часы, но в нем уже не чувствуется никакого нетерпения, никакой возбужденности, словно отсрочка, которую он молчаливо предоставил Мишу, теперь может быть беспрепятственно продлена. Как будто спор с Блаватским вернул ему — совершенно непостижимым для меня образом — надежду, что *Земля* примет его ультиматум. И, однако, единственная новая деталь, которая обнаружилась в ходе этой короткой дискуссии: ошибка индуса при посадке на самолет, скромность его требований к *Земле*,— является новой только для нас. Для него здесь нет ничего нового, нет ничего, что вдруг могло бы так твердо уверить его в успехе предпринятой им попытки.

Однако эта его уверенность не разряжает царящего в салоне напряжения. Набросанный Блаватским сценарий дальнейшего разворота событий, оставив равнодушным индуса, поверг нас в леденящий ужас, и в нас, пробивая себе дорогу сквозь пласты угрызений совести и стыда, начинает шевелиться мысль, что принесение в жертву Мишу в конечном счете звучит похоронным звоном и для нас.

Так, без единого слова с той и с другой стороны, без реплик a parte, произносимых внутри нашего круга, проходят две или три бесконечно долгих минуты. Потом индус поднимает голову и говорит своей помощнице на хинди:

— Ну, что они там делают?

Она отрывает глаза от угла занавески, оборачивает к нему искаженное презрением лицо и произносит на хинди одно только слово; я не понимаю его, но смысл его благодаря ее мимике вполне очевиден.

Она добавляет, по-прежнему на хинди:

— Все западные женщины — суки.

Это не нравится индусу. Он надменно хмурит брови и с таким видом, будто напоминает своей ассистентке азбучную истину, говорит ей:

— Все женщины — суки.

— Я не сука,— величественно выпрямляясь, возражает она.

Индус обволакивает ее ироническим взглядом.

— Что ты станешь делать, если тебе придется через несколько минут умереть?

— Предамся медитации.

— О чем?

— О смерти.

Индус глядит на нее так, словно его отделяют от нее столетия мудрости, и торжественно изрекает:

— Физическая любовь — тоже медитация о смерти.

В это мгновенье ассистентка перехватывает мой устремленный на нее внимательный взгляд и гневно говорит:

— Будь осторожен, этот хряк с обезьяньим лицом понимает хинди.

Индус поворачивается ко мне.

— Поверьте,— говорит он по-английски, и в его мрачных глазах вдруг вспыхивают искорки,— я не разделяю того мнения о вас, которое выразила моя ассистентка.

С той поры как он поймал меня на плутовстве с бюллетенями, его отношение ко мне перестало быть враждебным. Его глаза снова начинают искриться. Он продолжает по-английски с абсолютно безмятежным видом, словно все, что произошло за последние минуты, больше не в счет, и тоном — неожиданным с его стороны — доверительного разговора мужчины с мужчиной:

— Моя ассистентка гораздо более страстная натура — она одержима ненавистью.

— А! — внезапно кричит ассистентка, вздымая свой пышный бюст, словно ей не хватает воздуха.

Она вытягивает руку, указывая на что-то пальцем, и, выпучив глаза, широко разевает рот, из которого не вырывается ни единого звука.

— Вот тебе раз,— говорит индус голосом резким, точно удар хлыста.

И тут язык ассистентки будто мгновенно развязался. По-прежнему тыча указательным пальцем куда-то вперед, она в безумном возбуждении принимается кричать на хинди:

— Гляди! Гляди! Там что-то есть! Там! Там!

Индус оборачивается, а я поднимаю глаза. По обе стороны от занавески кухонного отсека, на перегородке, отделяющей нас от него, загорелись световые табло, и они преспокойнейшим образом, словно речь идет о самой обычной промежуточной посадке, на двух языках объявляют:

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ
FASTEN YOUR BELTS

Странное дело, объявление не вызывает у нас никакого желания обсудить эту новость, и я не замечаю ни малейшего признака облегчения на напряженных лицах моих спутников. Нам пока еще не удалось одолеть крутой пик драмы, избавиться от ощущения своей обреченности. Однако, поскольку индус не потребовал от *Земли* ни выкупа, ни освобождения узников, ясно, что его высадка произойдет без особых осложнений и что, во всяком случае, Мишу не будет казнена. Значит, снова сможет продолжаться нормальное течение полета. Но, хотя все как будто улаживается наилучшим образом, мы еще полны недоверия к судьбе или, что, пожалуй, одно и то же, к конечной цели нашего путешествия.

Бортпроводница первой нарушает молчание. Она говорит с чисто профессиональной невозмутимостью и таким тоном, будто ей уже возвратили все ее права на борту, ибо привычный порядок вещей восстановлен:

— Пристегните, пожалуйста, ремни.— И повторяет на своем щебечущем английском: — Please, fasten your belts.

Я повинуюсь. Я сцепляю одну с другой обе части металлической пряжки. Слышится щелчок, и благодаря ему я ощущаю, что возвращаюсь к реальности.

Миссис Бойд, должно быть, испытывает такое же чувство, ибо ее круглое лицо розовеет, она наклоняется к миссис Банистер и на одном дыхании тихо произносит:

— Слава Богу, этот кошмар кончился.

Индус слышит ее слова и, словно такой оптимизм раздражает его, с суровостью говорит:

— Он кончился для меня. А для вас, по-прежнему привязанных к *колесу времени*, он продолжается.

Он больше ничего не добавляет, и никто — и уж миссис Бойд меньше, чем кто-либо,— не ощущает желания просить у него разъяснений. Впрочем, протяженность времени, проходящего между мгновением, когда ты застегиваешь пряжку ремня, и мгновением, когда ощущаешь соприкосновение с землей,— эта протяженность в самолете совершенно ничтожна, настолько вся она заполнена тревожным ожиданием посадки.

Индус наклоняется и на хинди приказывает своей помощнице вызвать нашу парочку обратно в салон, что она и проделывает без малейшего стеснения, стремительно раздвигая занавеску туристического класса и сопровождая этот повелительный жест гортанными звуками.

Первым появляется Мандзони (вероятно, ему меньше надо было приводить себя в порядок). Наставив на него револьвер, ассистентка с брезгливым видом сторонится, пропуская его, будто боится, что он может ее задеть. Но Мандзони задерживается на пороге — я бы даже сказал, что он вальяжно располагается там,— высокий, хорошо сложенный, нелепо элегантный в своем белом костюме, и с такой заботливостью поправляет галстук, словно на карту поставлены грядущие судьбы планеты. Возможно, он медлит потому, что хочет дождаться Мишу или сыграть роль ширмы между нею и нами, пока она не приведет в порядок свой туалет. Но когда он обводит нас своими довольно пустыми глазами избалованного ребенка (избалованного сперва матерью, потом многочисленными женщинами), я замечаю в его лице странное противоречие: эти черты римского императора достаточно мужественны, но в целом лицо кажется каким-то дряблым, вялым.

Он глядит на индуса и в несколько театральной манере, как будто драпируясь в тогу, говорит по-английски, очень четко выговаривая слова, но чуточку сюсюкая:

— А теперь, если вам нужно кого-то казнить, казните меня.

Может быть, потому, что мы так долго пребывали в мучительном напряжении, это заявление наконец-то рождает на наших лицах улыбки, тут и там даже вспыхивает смех. Мюрзек мгновенно набрасывается на добычу.

— Мсье Мандзони,— говорит она свистящим голосом,— жаль, что вы успели прочитать на световом табло в туристическом классе приказ застегнуть ремни. Иначе вы, конечно бы, стали для нас героем!

— Но я там ничего не прочитал! — говорит Мандзони с такой страдальческой миной, что мне он кажется искренним.

Однако я заметил в дальнейшем, что в нашем салоне никто не желал верить, что у него, с его манерой одеваться, с его риторикой, с его сюсюканьем, хватило бы мужества всерьез предложить себя вместо Мишу.

Со спадающей на лоб прядкой волос, потупив взор, появляется Мишу. Она проходит перед Мандзони, словно не замечая его, машинально пересекает левую половину круга, скованно садится в свое кресло, пристегивает ремень и, ни на кого не глядя, никому ничего не говоря, раскрывает свою книгу и принимается ее читать — или делает вид, что читает.

— Не будете ли вы так любезны сесть, мадам? — говорит бортпроводница, обращаясь к индуске, которая по-прежнему стоит перед занавеской туристического класса.— Посадка иногда бывает довольно жесткой.

Я перевожу. Никакого ответа. Только исполненный уничтожающего презрения взгляд. Сперва на меня. Затем на бортпроводницу.

— Прошу вас извинить мою ассистентку,— говорит индус с изысканной вежливостью, за которой мне всегда слышится насмешка.— Ей поручено бдительно следить за всеми. А то у мистера Христопулоса душа разрывается из-за утраты колец, а мистер Блаватский скорбит о своем револьвере.

— Вы могли бы вернуть мне его, когда будете покидать самолет,— со спокойной самоуверенностью говорит Блаватский.

— И не подумаю.

— Только револьвер,— говорит Блаватский.— Без обоймы, если вы боитесь, что я в вас выстрелю.

— Довольно, обойдемся без вестернов, мистер Блаватский! — говорит индус. И добавляет с милой улыбкой, но тоном, не допускающим возражений: — Вы не нуждаетесь в оружии, вы прекрасно вооружены своей софистикой.

После чего он, как и мы, пристегивает ремень и, заложив ногу за ногу, с разбухшей от нашего добра черной сумкой из искусственной кожи возле кресла, невозмутимый, gentlemanly [1], ждет. И в то же время не знаю почему, но мне кажется, что он теперь от нас бесконечно далек, что он уже не с нами, не здесь и что он просто не допустит, чтобы кто-нибудь сейчас к нему обратился.

Что касается нас, мы уже успокоились и с каждой минутой все больше погружаемся в трясину повседневности. Каждый со своими мыслями, каждый сам по себе, мы ждем, послушные, безмолвные, хорошо воспитанные, надежно привязанные к креслам, ждем, сглатывая слюну, чтобы не заложило уши, и легкая тревога, всегда охватывающая человека при посадке самолета, скрывает от нас другую тревогу, ту, что вызвана полной неопределенностью нашей ситуации. Миссис Бойд сосет карамельку, миссис Банистер зевает, прикрывая рукою рот. Под своими пышными усами Христопулос жует зубочистку. Бушуа тасует колоду карт. Мишу с ледяным видом повернулась к Мандзони спиной и перечитывает свой кровавый детектив.

Словом, глядя на нас, можно решить, будто здесь вообще ничего не происходило. Не было ни захвата воздушными пиратами самолета, ни жеребьевки, ни тем более искупительной жертвы, которую мы протянули на подносе всемогущему божеству. Разумеется, мы избавлены от изрядной части наших земных благ, но, за исключением мадам Эдмонд и Христопулоса, людей примитивных, весьма дорожащих внешней мишурою как свидетельством успеха, все остальные рады, что дешево отделались, и насильственное изъятие ценностей воспринимают не более мучительно, чем какой-нибудь дополнительный налог. Кошмар, как очень точно выразилась миссис Бойд, кончился. Готов побиться об заклад, что наши viudas, которые, лишившись своего вожделенного четырехзвездного отеля, на какое-то время овдовели вторично, мысленно уже обретают его вновь в целости и сохранности, с роскошными, обращенными на юг номерами и с выходящими на озеро своими собственными террасами.

И, однако, во время этого обманчивого возвращения к нормальному положению вещей происходит важное событие. Мадам Мюрзек еще раз бросает всем нам вызов, и наш круг окончательно отторгает ее. Я употребляю этот глагол в его самом сильном и самом буквальном физиологическом значении, в том смысле, в каком говорят об организме, отторгающем чужеродное тело.

Разумеется, у всех у нас предостаточно причин плохо относиться к Мюрзек. Я, например, не могу ей простить подлого предположения, что, подготавливая бюллетени для жеребьевки, я пропустил свое имя. Будем откровенны: я ее ненавижу. Ненавижу даже физически. Мне невыносим самый вид ее широких скул, синих глаз, отдающего желтизною лица. И, признаюсь в этом без околичностей, я был в числе тех, кто, когда настал час, резко и недвусмысленно выступил против нее.

Однако справедливости ради мне хотелось бы все же отметить, что, непрестанно в чем-то нас изобличая, Мюрзек почти всегда оказывалась по существу права.

Приведу один лишь пример. Когда она спрашивает у Робби, разглядывающего фотографию жениха Мишу, нравится ли ему Майк, это, разумеется, грубость с ее стороны, но грубость, вызванная бестактностью Робби и имеющая целью его за эту бестактность наказать. Почему же в таком случае нашему кругу запомнилась не эта нескромность Робби, а только выпад Мюрзек?

---

[1] С видом джентльмена *(англ.)*.

Быть может, вот почему: за довольно короткое время у нас выработались свои негласные правила, самым очевидным из которых была необходимость о многом умалчивать. Так, мы прекрасно знаем, что́ собой представляет мадам Эдмонд, и каковы порочные наклонности Пако, и что за штучка Робби, но мы, если можно так выразиться, постарались стереть все это в своей памяти, надеясь, что и в отношении нас и наших заблуждений произойдет ответная амнезия.

Но мадам Мюрзек в эти игры не играет. Она нарушает правила. В ней сидит какая-то лихорадочная тревога, заставляющая ее беспрестанно взбаламучивать ил на дне колодца, воду из которого мы пьем.

Раздумывая обо всем этом, я нисколько не сомневаюсь, что сейчас, перед самой посадкой самолета, наблюдая, как, пристегнув ремни, мы сидим, благодушные и умиротворенные, и благостно вкушаем моральный комфорт и забвение, она не сможет этого вынести. Отсюда ее яростный выпад. И против кого же? Попробуйте догадаться, как догадался и я сам! На кого Мюрзек должна в это мгновенье напасть, чтобы нас всех побольнее задеть, довести до белого каления, заставить заскрипеть зубами от бешенства? На кого же, кроме Мишу?

— Я должна вам сказать, мадемуазель,— внезапно начинает она своим свистящим голосом, впиваясь в Мишу холодными глазами,— что я просто поражена тем, как вы воспользовались первым попавшимся предлогом, чтобы незамедлительно спутаться с фатом самого низкого пошиба, и это вы, заявляющая, что любите своего жениха. И вы совершаете это почти что на глазах у всех, в кресле туристического класса. Впрочем, это место вполне подходит для такого сорта любви по дешевке, если не побояться запачкать слово «любовь», обозначая им упражнения, каким вы предавались в компании с человеком, которого еще сегодня утром совсем не знали!

Под этим свирепым наскоком Мишу вздрагивает, как будто ей влепили пощечину, затем бледнеет, уголки губ у нее опускаются, из глаз брызжут слезы. Она открывает рот, чтобы ответить своей обидчице, но не успевает это сделать. Пако, с пламенеющим черепом и выпученными глазами, уже бросается ей на помощь.

— Вы, змея подколодная,— говорит он, бросая на Мюрзек яростный взгляд,— оставьте малышку в покое, иначе вам придется иметь дело со мной!

Эта отповедь действует на пассажиров как детонатор. Со всех сторон на Мюрзек обрушиваются гневные возгласы.

— Вам давно бы следовало понять, мадам,— говорит Блаватский, чей голос в конце концов перекрывает возмущенный гул,— что вы нам осточертели, вы и ваши оскорбительные выпады! Замолчите же! Это все, что от вас требуется!

Жестом, мимикой, голосом все сидящие в круге, даже бортпроводница, поддерживают его. Один лишь индус не принимает в этом участия; он внимательно следит за разыгрывающейся сценой, но следит откуда-то издалека, словно не принадлежит уже к миру, где это происходит.

Смолчи Мюрзек в эту минуту, я полагаю, все могло бы еще обойтись. Но Мюрзек горит безумной отвагой, она лицом к лицу встречает нападение всей нашей своры, на каждый удар отвечает ударом, и ожесточенная перебранка захлестывает всех с головой, неся на своих волнах, как это часто бывает даже в самых серьезных диспутах, мелкие колкости и прочий несусветнейший вздор.

Вперившись в Блаватского, глаза Мюрзек мечут гром и молнии, и она восклицает крикливым, но решительным голосом:

— Мсье Блаватский, да будь вы хоть сто раз американец, вам все равно не удастся командовать в этом самолете! Я имею право свободно выражать свое мнение, и никто не заставит меня замолчать.

— Еще как заставит! — вне себя от ярости восклицает Пако.— Я вас заставлю! И влеплю вам пару хороших затрещин, если понадобится!

— Вы здесь не у мадам Эдмонд,— с ухмылкой парирует Мюрзек.— А я не малолетка!

— Мадам! — рычит Пако.

— О, без воплей, пожалуйста! Я достаточно проницательна и вас вижу насквозь, это вам и мешает.

В схватку ввязывается Робби, в его голосе слышатся мстительные нотки:

— Знаем мы эту проницательность ограниченных людей. Они вроде бы все понимают, да только наполовину.

Мюрзек ухмыляется.

— Вам очень подходят рассуждения о половинках — вы сами ведь половинка мужчины!

— Но помилуйте,— говорит Караман, впервые непосредственно обращаясь к мадам Мюрзек,— ваше право думать о своих спутниках что вам угодно, но ничто не заставляет вас им это выкладывать.

— Ах вот чего вы от меня хотите! Но я человек откровенный. Лицемерить не научилась, и молитвы свои произношу от чистого сердца.

Караман выдает свою обычную гримаску и молчит.

— Речь идет не об откровенности,— комментирует Блаватский,— а об элементарной воспитанности.

— Отличный пример элементарной воспитанности,— говорит, усмехаясь, Мюрзек,— рыться в сумке соседа, когда тот ушел в туалет.

Христопулос вздрагивает и бросает на Блаватского разъяренный, но в то же время испуганный взгляд.

— Мадам! — с негодованием восклицает Блаватский.— Вы злой человек. В этом вся истина.

— Истина вестернов: Добрые и Злые. И в финале Добрые с хваленой своей добротой уничтожают Злых. Если это и есть ваша мораль, приберегите ее для себя.

Тут я вижу, что индус улыбается, но так мимолетно и так скрытно, что уже через миг я сомневаюсь, в самом ли деле я видел, как дрогнуло его бесстрастное лицо. Впрочем, я тоже полагаю, что Блаватский несколько упрощенно подходит к проблеме, и поэтому, пренебрегая очевидной опасностью, ибо Мюрзек словно с цепи сорвалась и раздает удары направо и налево, рискую вмешаться.

— Злая вы или не злая,— говорю я,— но, глядя на вас, не скажешь, что вы очень любите себе подобных.

— Нет, люблю,— говорит она,— но при условии, что они действительно мне подобные, а не подобие горилл.

Слышатся возмущенные возгласы, и миссис Бойд вскрикивает:

— My dear! She's the limit! [1]

— Это вы — the limit! — кидается на нее разъяренная Мюрзек.— Жалкая чревоугодница! Рот, кишечник, анальное отверстие — вот к чему сводится вся ваша суть!

— Боже мой! — стонет миссис Бойд.

— Но это отвратительно — говорить такое старой даме! — вступает в беседу Мандзони, оскорбленный словами «анальное отверстие». И добавляет с мягкостью благовоспитанного мальчика: — У вас ужасные манеры!

— Уж вы-то бы помолчали! Вы просто орудие для ублажения этих дам! — с величайшим презрением говорит Мюрзек.— Фаллосы права голоса не имеют.

— А если бы и имели,— говорит с усмешкой Робби,— то уж голосовали бы, во всяком случае, не за вас.

Но, обычно такой смелый, он высказывает эту мысль очень тихо, нанося удар украдкой и словно a parte. Что позволяет Мюрзек, у которой от упоения битвой даже ноздри расширились, не замечать нового выпада и немного отдышаться.

Я использую временное затишье, чтобы перевести баталию на более солидную почву:

— Мадам, разрешите задать вам один вопрос: не находите ли вы, что

---

[1] Дорогая! Она невыносима! *(англ.)*.

это несколько ненормально — до такой степени всех нас презирать и ненавидеть? В конце концов, что мы вам сделали? И чем мы так уж отличаемся от вас?

— Да решительно всем! Разве можно нас сравнивать? — кричит Мюрзек таким пронзительным и дрожащим голосом, что я ощущаю в ней явные признаки душевного расстройства.— У меня, слава Богу, нет ничего общего с гнусными отбросами человечества, которыми я здесь окружена!

Следует шквал протестующих криков. В течение нескольких секунд всеобщее возмущение ширится и нарастает. Хорошо, что мадам Мюрзек женщина, а мы пристегнуты к своим креслам, ибо первое побуждение нашего круга — чуть ли не линчевать ее. И лишь второе — изгнать. Именно к этому призывает Пако, который, больше обычного выкатив круглые глаза и пылая раскалившимся докрасна черепом, заходится в яростном крике:

— Затолкнем ее в туристический класс — и покончим с этим!

Блаватский поднимает руку, даже не замечая, что помощница индуса направляет на него пистолет, и его мощный голос заглушает все наши вопли. Я знал до сих пор, что он владеет двумя голосовыми регистрами — грубовато-разговорным, вульгарность которого он нарочито подчеркивает, и официальным английским, сухим и корректным, к которому он прибегает в своих стычках с Караманом. Теперь я обнаруживаю и нечто третье: степенный и гнусавый голос протестантского проповедника.

— Мадам,— говорит он,— если для вас мы всего лишь отбросы человечества,— последние два слова он произносит с затаенным бешенством,— самое лучшее, что вы можете сделать,— это сойти с нашего самолета, когда он приземлится!

Предложение Блаватского встречается одобрительными воплями, которые, мне стыдно в этом признаться, довольно похожи на завывания своры гончих, преследующих зверя. Со всех сторон и на разных языках звучит единодушный приговор Мюрзек: «Вон отсюда! Out with you! Raus!»

Но бортпроводница тихим голосом напоминает:

— У мадам Мюрзек билет до Мадрапура.

Фраза произнесена таким тоном, что нам надо было сразу понять: ее символический смысл важнее буквального. Но сейчас мы не расположены вникать в подобные тонкости. Мы дружно топчем Мюрзек, и это сладострастное занятие поглощает нас целиком.

— Если понадобится, мы просто вышвырнем вас вон,— вопит Пако, и его череп пламенеет еще ярче, а на висках вздуваются жилы.

— Вам этого делать не придется,— говорит Мюрзек.

Эти слова и спокойствие, с которым они произнесены, восстанавливают тишину. Спокойствие чисто внешнее, я в этом уверен, потому что при всем мужестве, с каким Мюрзек себя ведет, лавина ненависти, которую мы на нее обрушили, должна была подействовать ужасающе. Она моргает глазами, желтоватая кожа ее лица бледнеет. Я замечаю также, что, пренебрегая предписаниями индуса, она складывает на груди руки и прячет ладони под мышками.

И произносит довольно твердым голосом:

— Как только самолет приземлится, я уйду.

Следует долгая пауза, после чего бортпроводница говорит сухим, официальным тоном:

— Мадам, ваш проездной документ дает вам право сохранять за собой место в этом чартерном рейсе вплоть до прибытия к пункту назначения.

Другими словами, она вовсе не просит Мюрзек остаться. Она только еще раз напоминает ей, что та имеет на это право. Бортпроводница исполняет свой долг, но делает это довольно холодно.

Мюрзек мгновенно улавливает этот оттенок, и в ее синих глазах вспыхивает огонь.

— И вы можете меня уверить, что этот самолет действительно направляется в Мадрапур?

— Да, мадам,— так же сухо и официально отвечает бортпроводница.

— «Да, мадам»! — с презрительной ухмылкой передразнивает ее Мюр-

зек.— На самом-то деле вы ничего не знаете. И тем не менее, начиная с минуты отлета, не перестаете нас убаюкивать, поддерживая в нас иллюзию полнейшей безопасности.

— Я, мадам? — осведомляется бортпроводница.

— Да! Вы! Меня не так легко одурачить, да будет вам это известно! С вашими ужимками недотроги вы здесь хуже всех остальных! И я откровенно скажу вам, что я о вас думаю: вы лицемерка и лгунья! Ведь не станете же вы утверждать,— продолжает она, повышая голос, чтобы перекричать наши протестующие возгласы,— будто не знали, что в пилотской кабине никого нет! Вы это знали с самого начала! Вы это знали с той минуты, как я потребовала от вас дополнить ваше объявление.

Круг замирает, ощутив, что Мюрзек говорит правду. Это не делает ее для нас более приятной, наоборот. Но, во всяком случае, мы вынуждены замолчать. Мы переводим разъяренные взгляды с нее на бортпроводницу, и наши глаза при этом, конечно, смягчаются, но теперь в них можно прочесть глубокую озабоченность и сомнение, ибо чем дольше медлит бортпроводница с ответом, тем все очевиднее становится, каким он будет.

— Это верно,— говорит бортпроводница.— Как раз в тот момент, когда я по вашей просьбе вошла в кабину пилотов...

Она оставляет фразу незавершенной. И хотя я дрожу за нее и очень хочу ее защитить, я все же испытываю какую-то неловкость. Не зная, что думать, мы застываем и глядим на нее со смешанным чувством, ибо если до сих пор все пассажиры уважали и ценили ее за приветливость и любезность, то после этих слов в нас рождаются подозрения. Я вижу, как Блаватский хмурит брови и пригибает голову,— боюсь, он готовится к атаке.

Если бы в эту минуту Мюрзек, поднявшая эту щекотливую тему, нашла в себе силы смолчать, она бы, я полагаю, была спасена. Но отойти по собственной воле в сторону — это как раз единственное на свете, чего она не умеет делать. Она разражается отвратительным смехом. И, вся трепеща от предвкушения, что сейчас возьмет над одним из нас реванш, восклицает:

— И вы там никого не обнаружили?

— Нет,— отвечает бортпроводница, держа прямо голову и благонравно сложив на коленях руки, и она кажется такой хорошенькой и такой скромной, что у меня колотится сердце.

И, не дожидаясь ее дальнейших слов, я решаю, что буду ей полностью верить и помогать.

— Но в таком случае,— говорит Мюрзек желчным голосом,— вашим долгом было сообщить это пассажирам.

— Сперва я подумала: может быть, мне надо это сделать,— говорит бортпроводница. (И, как мне кажется — потому что теперь я снова всей душой с нею,— говорит совершенно чистосердечно.) — Но,— продолжает она, помолчав,— я предпочла ничего не говорить. В конце концов, моя роль на борту — не тревожить пассажиров, а, наоборот, успокаивать их.

Наступает короткая пауза, и я говорю:

— Что же, такая точка зрения представляется мне вполне законной.

Мюрзек хмыкает:

— Чудовище спасает красавицу! За чем тогда дело стало, мадемуазель,— цедит она сквозь зубы,— успокойте же этих простаков до конца! Скажите им, что вы в самом деле направляетесь в Мадрапур!

Бортпроводница молчит.

— Видите! Вы даже не осмеливаетесь повторить эту ложь! — восклицает Мюрзек ядовитым тоном.

— Мадам,— с невозмутимым лицом отвечает бортпроводница,— я не думаю, что мое мнение может кого-то интересовать. Оно не имеет никакого значения. Самолетом управляю не я, а *Земля*.

Несмотря на то что эти слова можно понимать двояко — а возможно, как раз именно поэтому,— никто не испытывает ни малейшего желания подвергать их сомнению, даже Мюрзек, вообще теряющая всякий интерес к бортпроводнице и к ее объяснениям, как только включается тормозное

устройство. Она сильно вздрагивает и, замкнувшись в себе, словно собирается с силами, чтобы выполнить до конца принятое ею решение.

Она обращается к индусу, и ее голос немного дрожит:

— Где мы садимся?

— Откуда мне знать? — отвечает индус, и его тон пресекает всякую возможность дальнейшего диалога.

Снижение заметно ускоряется, и никто уже не склонен вступать в разговоры. И вот, в полном мраке, без единой звездочки на небе, без малейшего проблеска света на земле, который указывал бы на присутствие аэропорта или вообще человеческого жилья, и даже, насколько я мог убедиться, заглянув в ближайший иллюминатор, без какого-либо видимого ориентира, самолет наконец приземляется, причем с такой неожиданной резкостью, что у нас падает сердце. Индуску, которая так и осталась стоять перед занавеской туристического класса, с силой швырнуло вперед, и она наверняка бы упала, если б ее сотоварищ, изловчившись, не схватил ее за руку, когда она пролетала мимо.

Пока самолет, с грехом пополам преодолевая ухабы, прыгает по посадочной полосе, индус встает и самым вежливым тоном обращается к пассажирам:

— Не двигайтесь и не отстегивайте ремни. В ту минуту когда exit откроется, все огни в самолете сразу погаснут. Не пугайтесь. Темнота входит в число моих требований. Она продлится всего лишь несколько минут.

И видя, что мадам Мюрзек, вопреки только что отданному приказанию, уже поднимается, ставит свою ручную кладь на кресло и натягивает на себя замшевую куртку, индус говорит ей вполголоса и с исполненной такта сдержанностью, но словно всего лишь для очистки совести, без всякой надежды, что она с ним согласится:

— Мадам, мне кажется, вы ошибаетесь, если полагаете, что у вас есть выбор: лететь или не лететь в Мадрапур.

Его странная фраза заставляет нас насторожиться. Но Мюрзек как будто не слышит его. И индус ничего больше не добавляет. Медленными, осторожными движениями он водружает себе на голову тюрбан и, тепло одетый, даже в перчатках, по-прежнему с револьвером в левой руке, проходит позади своего кресла, останавливается — его ассистентка стоит по правую руку от него, отступив немного в глубину,— и смотрит на нас своими черными сверкающими глазами, выражение которых мне трудно определить: мне видится в них ирония, смешанная с состраданием.

Самолет замирает на месте, и в наступившей тишине я слышу — или мне чудится, что слышу,— как из фюзеляжа выдвигается трап и устанавливается снаружи, перед выходом. В то же мгновение свет гаснет, и кто-то из женщин, думаю, миссис Бойд, вскрикивает.

Темнота непроницаемо черна, она плотная и густая, без малейшего просвета или щелки, без всякого смягчения этой абсолютной черноты, без намека на переход к серым тонам. Мне кажется, я слышу вокруг какой-то шорох, шелест, у меня взмокают ладони, и я прижимаю руки к туловищу, словно пытаюсь себя защитить.

За спиной у меня раздается резкий голос индуса:

— Сядьте, мистер Христопулос! И больше не двигайтесь. Вы чуть не закололи мадам Мюрзек.

Сзади вспыхивает луч электрического фонаря. Он освещает Христопулоса, который стоит перед своим креслом, в руке у него нож с выкидным лезвием, а в нескольких шагах от него, спиною к нему — мадам Мюрзек, направлявшаяся, видимо, к exit, когда голос индуса ее остановил. Что до индуски, чей силуэт смутно виднеется за пределами светового пучка, она стоит немного поодаль, возле exit, и держит в руке сумку из искусственной кожи.

Христопулос садится. Слышится сухой щелчок — это он закрыл свой нож. Пучок света передвигается вправо от меня, последовательно освещая неподвижные фигуры Блаватского, Бушуа, Пако, затем замирает на затыл-

ке грека. К нему протягивается рука индуса в перчатке, и Христопулос, ни слова не говоря, отдает ему закрытый нож.

— Вы представляете себе, мистер Христопулос, что произошло бы,— говорит индус голосом, в котором нет и намека на раздражение,— если бы мы начали в вас стрелять в темноте? Сколько человек могло бы погибнуть... И всё ради нескольких жалких колец.

Он вздыхает, гасит фонарь, нас опять окутывает мрак и безмолвие. Не знаю, слышу ли я звук открываемой двери, или он сливается с шумом моего дыхания. Но я чувствую, как в самолет врывается холодный ветер, у меня перехватывает дыхание, и я съеживаюсь в кресле, мгновенно окоченев от ледяного воздуха, навалившегося на меня, как тяжелая глыба.

— Вы спасены,— говорит индус.

Его гулкий голос колоколом отдается у меня в голове. Он продолжает:

— Вы спасены. На время. Но на вашем месте я не полагался бы на благосклонность *Земли.* Ничто не позволяет предполагать, что участь, которую она вам уготовила, многим отличается от той, какую я наметил для вас на тот случай, если бы самолет не приземлился. Иными словами, может статься, что *Земля* вас тоже устранит одного за другим. В конце концов, в обычной жизни вы именно так и умрете, не правда ли? Один за другим. С той единственной разницей, что интервалы между смертями будут немного длиннее, и у вас возникнет иллюзия, будто вы живете.

После недолгой паузы он продолжает:

— Что ж, держитесь за эту иллюзию, если она хоть немного уменьшает вашу тревогу. И главное, если вы любите жизнь, если, в отличие от меня, не считаете, что она *неприемлема,* не тратьте ее редкие мгновения на бесконечные дрязги. Не забывайте одного: сколь долгим ни казалось бы вам ваше существование, вечной остается только ваша смерть.

Я напрягаю слух. Я не слышу звука шагов. Ничего, что говорило бы о том, что кто-то уходит. Ничего, кроме нашего свистящего дыхания да стонов, которые полярный холод исторгает у нас из груди. Я без конца повторяю про себя последние слова индуса, точно лейтмотив кошмарного сна. Я не знаю уже, они ли парализуют меня, или ледяной ветер, или нечеловеческий мрак. Но меня пронзает вдруг мысль, что я уже в могиле, что я погребен в промерзшей земле и в ночи и — что страшнее всего,— будучи мертвым, еще способен чувствовать свое положение.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Теперь, когда дверь снова заперта, впечатление, что все тело пронизывают струи морозного сибирского воздуха, понемногу проходит, но чувство леденящего холода остается. Оно даже словно усилилось. Кажется, что самолет не только не согревается, но теряет свои последние калории.

Тем не менее только теперь, когда присутствие индуса среди нас больше не ощущается, мы рискуем пошевелиться и понимаем, что надо на себя что-то надеть. Это происходит в полной сумятице, ибо все, не сговариваясь, разом встают и, подняв окоченевшие руки, принимаются на ощупь искать в темноте свои пальто.

Почти никто ничего не говорит, и те немногие слова, которыми мы обмениваемся друг с другом, прерываются постанываньем из-за свирепого холода. В левой половине круга кто-то клацает зубами, и этот звук вызывает у меня сильное раздражение, точно я боюсь, что стану ему подражать.

Со свинцовой тяжестью в ногах, с зажатой словно в тиски грудью я опускаюсь на свое место. И тут же снова встаю с нелепой мыслью, что надо пойти поразмяться немного в туристическом классе. Но едва я отодвигаю занавеску, на меня обрушивается такой ужасающий холод, что, шатаясь точно пьяный, я возвращаюсь к своему креслу. Хотя я плотно укутан — даже надел шляпу, до того нестерпимо было для головы ощущение холода,— толстое пальто, которое я натянул на себя, делу не помогает. Оно, как ледяной панцирь, не выпускает наружу вселившийся в меня холод.

Странное дело, мне никак не удается вспомнить, было ли мне вообще

когда-нибудь в жизни тепло, и трудно представить себе, что я когда-нибудь снова смогу наслаждаться теплым воздухом. Когда вновь вспыхивает электричество, я, как и все, испускаю вздох облегчения, но это такая же рефлекторная реакция, как и трепет моих век под воздействием яркого света. Я не в силах всерьез поверить, что самолет сможет согреться.

Я смотрю на бортпроводницу. Она не просто бледна, она посинела от холода. Она без пальто, только в своем форменном костюме, а на плечи накинула одеяло, но сразу сбросила его, как только включился свет. Нетвердо стоит на дрожащих ногах, растирает себе руки и говорит еле слышным, надтреснутым голосом:

— Пойду сделаю кофе.

По салону пробегает признательный ропот, но слов разобрать невозможно, мы экономим силы. А миссис Банистер на одном дыхании говорит:

— Вы не могли бы принести чай?

— И мне тоже,— просит Бушуа умирающим голосом.

Я гляжу на него. Обессиленно рухнувший в кресло, дрожащий всем телом, с восковым цветом лица и провалившимися глазами, он кажется почти мертвым.

— Да,— говорит бортпроводница, и даже это «да» явно дается ей с трудом.

Она направляется к galley, чуть пошатываясь, как будто холод сковал ее коленные суставы.

Как только она покидает свое место, Пако поднимается, нетвердыми шагами пересекает правую половину круга, дрожащей рукой берет одеяло, которое бортпроводница оставила в кресле, и, ни слова не говоря, неуверенными движениями прикрывает им ноги Бушуа. Сначала мне кажется, что Бушуа ничего не замечает, ибо он не смотрит на своего шурина и не говорит ему «спасибо». Однако через минуту я вижу, как его скелетоподобная рука схватывает одеяло и натягивает до самого горла.

Я оставляю шляпу в кресле и в свою очередь не без труда встаю. К моему большому удивлению, сидящий справа от меня Блаватский поднимает голову и слабым голосом, в котором тем не менее слышны властные нотки, спрашивает:

— Куда это вы идете?

— Хочу предложить бортпроводнице свою помощь.

— Она в вашей помощи не нуждается.

— А я — в ваших советах, благодарю вас.

При всей краткости этой перепалки она меня утомила, и до galley я добредаю покачиваясь, тяжело дыша и с мучительным ощущением скованности во всех суставах. Бортпроводница стоит, обхватив обеими руками металлическую кружку, в которую погружен электрокипятильник. При виде меня она слабо улыбается благодарной улыбкой, но удивления не выражает. Она не перестает дрожать, вся, от головы до ног, и говорит мне едва слышным голосом, желая, видимо, объяснить, чем она здесь занимается:

— Вода еще недостаточно нагрелась.

Я гляжу на ее длинные тонкие пальцы, судорожно сжимающие кружку, и говорю:

— Не забудьте вовремя убрать пальцы. А то сами не заметите, как обожжетесь.

Она кивает головой, а я продолжаю:

— Нужно также дать пассажирам какую-нибудь еду. Это поможет им согреться.

Она снова кивком подтверждает свое согласие и, указывая головой на дверь позади нас, говорит: «Там»,— говорит одними губами, ни единого звука не вылетает у нее изо рта.

Это не стенной шкаф, как я полагал, а нечто вроде холодной кладовки, и меня поражает огромное количество припасенных здесь продуктов, неизмеримо больше того, что требуется, чтобы кормить пятнадцать человек на протяжении пятнадцати часов полета.

Я, как умею, готовлю подносы и ставлю их на тележку, а бортпровод-

ница смотрит на меня своими зелеными глазами; она по-прежнему дрожит, не двигается с места и ни слова не говорит, и руки ее все так же приклеены к металлической кружке. Я взглядываю на воду, она уже покрывается рябью. Я поспешно говорю:

— Уберите руки. Вы сейчас обожжетесь.

Она словно не слышит. Живут и говорят только ее глаза, она вся как будто превратилась в ледышку, утратила всякую волю. Я захожу ей за спину, хватаю за запястья и с силой отрываю руки от кружки. Я успел как раз вовремя — ее ладони уже начинают краснеть. С легким вздохом она приникает ко мне, откидывает голову назад и беспомощно кладет ее мне на плечо.

Оказавшись так близко к ней, но не испытывая никакого желания, я особенно остро ощущаю, что меня затопила нежность. Я не выпускаю ее запястий, держу ее в кольце своих рук и думаю лишь о том, чтобы так продолжалось вечно, чтобы я вечно ее обнимал, ничего другого мне и не нужно, меня ничуть не тревожат мысли о грядущем, которые так часто отравляют нам настоящее. Без единой мысли в голове, сохраняя лишь ту крупицу сознания, которая позволяет мне чувствовать себя счастливым, я гляжу прямо перед собой поверх ее золотистых волос. При этом я смутным и, однако же, довольно внимательным взглядом слежу за металлической кружкой, где вода уже начинает кипеть. Несмотря на туман в голове, я все же отмечаю странное противоречие между этим бурленьем кипящей воды и безмятежностью своей души, ибо на сей раз я чувствую, что отныне могу быть спокойным за свое счастье.

Не знаю почему, но лучшим мгновениям жизни неизбежно приходит конец, и чаще всего по нашей собственной воле, как будто мы сами себе враги. Бортпроводница не делает ни малейшего движения, чтобы высвободиться из моих объятий, я сам от нее отстраняюсь. Я наливаю в чашку с растворимым кофе немного кипятка и протягиваю ей.

— Нет,— говорит она лишенным всякого выражения голосом.— Я не буду пить первой, прежде чем не выпьют пассажиры.

— Все-таки выпейте,— настаиваю я.— Вам необходимо скорее прийти в себя, хотя бы для того, чтобы их обслужить.

Она слишком слаба, чтобы сопротивляться, и, когда она берет у меня чашку, я растворяю в кипятке немного кофе и для себя. Бок о бок, прикасаясь друг к другу бедрами, обратив друг к другу лица, мы молча, маленькими глотками пьем кофе, обхватив обеими руками большие горячие чашки.

Наверно, включился кондиционер: я чувствую, как мою голову обтекает поток теплого воздуха. Я положил себе в чашку три куска сахара и тонкой струйкой втягиваю в себя сквозь зубы горячую сладкую жидкость. Одновременно я смотрю поверх чашки на бортпроводницу, на ее зеленые бездонные глаза. Я чувствую, как все мое существо властно тянется к ней, и меня сверлит недоуменный вопрос: почему она так доверчиво подчиняется мне, такому уроду? Ох, нет, спрашивать об этом я ее не буду! Бесполезно. Я ее знаю. В искусстве уходить от прямого ответа у нее нет равных.

Я вкатываю тележку в салон первого класса и помогаю бортпроводнице раздать подносы. По мере того как мы продвигаемся вдоль кресел, я с удивлением замечаю, что за время, пока мы отсутствовали, расположение пассажиров в круге претерпело некоторые изменения.

Христопулос устроился в конце правого полукружия в освободившемся кресле индуса, освободив в свою очередь место справа от Пако, которое заняла Мишу, должно быть, чтобы спастись от Мандзони. Робби, которому это бегство на руку, поспешил захватить кресло Мишу по левую сторону от итальянца, а мадам Эдмонд, привязанная к Робби парадоксально идиллическими узами, о которых я упоминал, передвинулась на одно место, чтобы по-прежнему сидеть с ним рядом, и оставила свободным кресло слева от бортпроводницы.

Пассажиры встречают нас с благодарностью, и только миссис Банистер высокомерно замечает:

— Вас произвели в чин стюарда, мистер Серджиус?

Я не знаю, что подумать об этом неожиданном выпаде, и вместо ответа бросаю на нее не слишком приветливый взгляд. Но за оружие хватается Робби — и даже не столько в мою защиту, сколько ради того, чтобы осадить мою обидчицу. Он наклоняется вперед, чуть вправо, чтобы видеть миссис Банистер, и говорит:

— Я полагал, что с уходом мадам Мюрзек замечания подобного рода прекратятся.

И поскольку миссис Банистер не удостаивает его ответом, добавляет с коварной проницательностью:

— Вам следовало бы привыкнуть к мысли, что мужчины, которые вас не интересуют, сами могут интересоваться кем-то другим.

Удар попадает в самую точку.

— Мне хотелось бы, чтобы вы знали,— парирует миссис Банистер, и ее длинные ресницы над японскими глазами яростно трепещут,— что в этом плане уж от вас-то я никогда ничего не ждала.

— Тогда не напускайте на себя такой вид, будто вас обманули,— с откровенной злобой отвечает Робби.

Он встряхивает белокурыми волосами, поправляет на шее оранжевую косынку и бросает торжествующий взгляд на Мандзони, который, со своей гордо поднятой красивой головой и вялым лицом римского императора, пытается показать, что эта схватка совершенно его не касается.

Мадам Эдмонд с покровительственным видом несколько запоздало кладет ладонь на руку Робби.

— Да плюнь ты, Робби,— говорит она с самой вульгарной интонацией.— Ты что, не видишь, какая это шлюха!

То, что мадам Эдмонд уже так ласково говорит Робби «ты» и обращается с ним как со своей собственностью, тогда как назвать их родственными натурами, с какой стороны ни подойти, вроде бы никак нельзя, кажется невообразимым. Даже Караман смотрит на них с изумлением.

Пока мы подкрепляемся, все разговоры смолкают, если не считать нескольких слов, которыми обмениваются Пако и Бушуа; первый безуспешно пытается заставить второго поесть. Бушуа настолько изнурен, что смог только выпить полчашки чая, да и то с помощью шурина.

Жадно поглощая еду и, странное дело, сразу же, сам почти этого не заметив, перейдя от вызванного холодом озноба к блаженному наслаждению теплом, я смотрю на этих двух человек. До сих пор их ненависть казалась мне обоюдной. Я ошибался: она односторонняя. И я восхищен кротостью Пако, который, тревожно выпучив свои круглые глаза, окружает братскими заботами человека, не только не выражающего ему благодарности, но по-прежнему относящегося к нему с непримиримой враждебностью.

Я помогаю бортпроводнице составить на тележку пустые подносы и иду следом за ней в кухню. Когда она задвинула занавеску, которая отделяет нас от салона, я нерешительным голосом говорю:

— Теперь в первом классе рядом с вами есть свободное кресло. Вы мне разрешите в него сесть?

— Ну разумеется, если это доставит вам удовольствие,— отвечает она, бросив на меня быстрый взгляд. И добавляет: — Не думаю, что мадам Эдмонд захочет его снова занять.

Ее «если это доставит вам удовольствие», как всегда, довольно двусмысленно. Да и тон тоже. Словно об ее чувствах вообще речь не идет.

Я решаюсь продвинуться еще немного вперед.

— Вы полагаете, что мне следует спросить у мадам Эдмонд, вернется ли она на свое место?

Бортпроводница качает головой.

— Пожалуй, не стоит. Мадам Эдмонд очень хорошо себя чувствует на своем теперешнем месте.

Но она говорит это без малейшей улыбки или взгляда, которые могли бы перебросить между нами мостик. Глаза опущены и не встречаются с моими.

Я делаю еще один маленький шаг:

— Вам не кажется, что с моей стороны будет немного нескромным сесть рядом с вами?

Сам вопрос мой тоже нескромен, но ее ответ никто бы в нескромности не упрекнул.

— Да нет,— говорит она спокойно.— Это вполне естественно.

Ее «вполне естественно» все же не кажется мне вполне очевидным... И я отваживаюсь еще на один шаг.

— Знаете,— говорю я,— меня удивляет, что вы со мной так приветливы.

— Но вы сами...— говорит она и не заканчивает фразы.

Хочет ли она намекнуть на то, что, желая пропустить ее имя, я дважды вписал в бюллетень свое? Быть может, ее отношение ко мне объясняется признательностью? Не знаю. Не думаю. Ведь она и до жеребьевки держалась со мной так же, как сейчас.

Во всяком случае, она больше ничего мне об этом не скажет. Беседа завершена — на минорной ноте. Я смотрю на золото ее волос, на тонкие черты лица, на удивительно красивую грудь, высокую и пышную, подчеркнутую тонкой талией. Воплощение самой нежности. Но нежности непроницаемой.

Принимаю все это к сведению. Я довольствуюсь тем, что́ мне было даровано: объятием в кухне, креслом с ней по соседству. Но слова ее, как всегда, уклончивы. Или, как я предпочел бы назвать это на английский манер, «elusive». Нет, здесь не стоит усматривать какую-то хитрость, эту альфу и омегу кокетства. Дело, возможно, в другом: она чувствует, что ее доброе отношение ко мне лишено будущего, как, впрочем, и вообще вся ситуация в этом чартерном рейсе.

Когда мы возвращаемся в салон, там уже вспыхнуло световое табло и пассажиры — произнося это слово, я не могу отделаться от гнетущего чувства — пристегивают ремни. Я сажусь рядом с бортпроводницей, что дает кое-кому повод переглянуться украдкой, но это не сопровождается никакими высказываниями, даже шепотом на ухо, молчат даже viudas, что свидетельствует об эффективности наказания, которому Робби подверг миссис Банистер.

Застыв в терпеливом и в то же время тревожном ожидании, предшествующем взлету, пассажиры готовятся пережить эти ничем не заполненные мгновения, очевидно забыв, что именно во время посадки, которую мы тоже тогда оценивали как пустое, мертвое время, разразилась та жуткая свара, приведшая к изгнанию Мюрзек.

И в самом деле, пока самолет катился по ухабистой полосе, невероятную жесткость которой мы уже испытали, в салоне ровным счетом ничего не происходит и никто не произносит ни слова. Но как только самолет встает на дыбы, готовый подняться в воздух,— меня снова восхищает поразительная бесшумность его двигателей,— я чувствую, что нам и сейчас не избежать скандала.

Агрессивность перемещается на этот раз из левой половины круга в правую, и, опустив забрало шлема, зажав в кулаке копье, атаку начинает Блаватский.

— Мадемуазель,— говорит он бортпроводнице,— этот полет по меньшей мере необычен, и я полагаю, что наступило время задать вам несколько вопросов.

— Я к вашим услугам, мсье,— вежливо, но еле шевеля губами, с усталым видом отвечает бортпроводница.

Она как будто дает понять, что все эти вопросы, равно как и ее ответы, ни к чему не приведут.

— Когда вы узнали, что должны будете принять участие в нашем полете?

— Вчера днем. Я сама этому удивилась.

— Почему?

— В то утро я вернулась из Гонконга и должна была, как обычно, трое суток отдыхать.

— Как с вами связались?
— Мне позвонили по телефону. Ко мне домой.
— Это был обычный способ связи?
— Обычный — не скажу. Но так уже бывало.
— И что вам сказали?
— Принять в 18 часов в Руасси пассажиров, вылетающих в Мадрапур, и лететь вместе с ними.
— Уже одно это нарушало общепринятый порядок. Стюардесса, которая регистрирует пассажиров в аэропорту, и стюардесса, которая летит вместе с ними,— это две различные службы.
— Вы правы,— говорит бортпроводница.
— Кто вам звонил?
— Начальник.
— Как его зовут?
— Он назвал мне фамилию, но я не расслышала. Была очень плохая связь.
— И вы не попросили его повторить?
— Я не успела. Он дал мне инструкции и тут же повесил трубку.
— Какие это были инструкции?
— Я вам уже говорила: прибыть к 18 часам в Руасси.
— А потом?
— Подняться на борт за пять минут до вылета.
— Это нормально для бортпроводницы — подниматься на борт так поздно?
— Нет. Обычно мы приходим в самолет за час до посадки пассажиров, чтобы успеть все подготовить.
— Вам было сказано, чтобы вы не входили в кабину пилотов?
— Нет.
— Тогда почему же вы не сделали этого?

Бортпроводница спокойна и вместе с тем напряжена. Благонравно сложив руки на коленях, но временами тяжело дыша, она, хотя все ее ответы звучат вполне правдоподобно, чувствует себя не в своей тарелке. Может быть, это вызвано агрессивностью подозревающего ее в чем-то Блаватского. Ведь это общеизвестно: когда людей считают виновными, они через какое-то время начинают ощущать, что и вправду в чем-то провинились.

Безжизненным голосом и словно не надеясь, что собеседник ей поверит, бортпроводница говорит:

— Я считаю, что бортпроводница не должна входить в пилотскую кабину, пока ее туда не позовут. Особенно когда она не знает командира корабля.
— А объявление? — сурово спрашивает Блаватский.— Кто дал вам текст объявления?
— Никто. Я нашла его в galley.
— Что вы имеете в виду под galley? — спрашивает Караман.
— Кухню,— говорю я.— Французские бортпроводницы употребляют английское слово.
— А,— со своей обычной гримасой отзывается Караман.
— И это объявление не поразило вас тем, что оно крайне неполно? — снова говорит Блаватский, недовольный тем, что его перебили.
— Поразило.
— И вы даже не подумали попросить командира корабля его дополнить?
— Я не хотела делать это по собственной инициативе,— устало говорит бортпроводница.— Это выглядело бы так, будто я его критикую.

Наступает молчание, и внезапно Робби начинает смеяться. Все глаза устремляются на него, и он говорит:

— Извините меня, мистер Блаватский, но все это так нелепо, так по-американски...
— Так по-американски? — насупив брови, переспрашивает Блаватский.

— Не сердитесь, прошу вас,— говорит Робби, и в его живых глазах прыгает насмешливый огонек,— но одна вещь меня действительно поражает: вы буквально погрязли в американских стереотипах и даже не замечаете этого!

— И что же тут американского? — сухо осведомился Блаватский.

— Да все! — весело отвечает Робби.— Дознание! Cross examination, detective story! [1] Ничего не упущено! Но помилуйте, это все так комично! — продолжает он, смеясь.— Ведь ничем этим тут не пахнет! Вы рассматриваете эту историю под таким углом зрения, который тут абсолютно не годится! Через минуту объя́вите нам, что индус был гангстером!

— А кто же он был?

— Этого я не знаю. Во всяком случае, не гангстер.

— Но он нас ограбил! — возмущенно говорит Христопулос.

— Это была шутка — или моральный урок. Возможно, и то и другое.

— Шутка! — кричит Христопулос, и его на сей раз поддерживают viudas.— Для вас, может быть, это и шутка!

Робби снова смеется, но, поскольку я вижу, что он не собирается продолжать, я решаю принять от него эстафету.

— Я тоже нахожу совершенно неуместным полицейский допрос, которому вы подвергаете бортпроводницу. Вы обращаетесь с ней как с подозреваемой, даже как с виновной.

— Да нет же! — восклицает Блаватский.

— И все же, пожалуй, да,— с притворной сдержанностью говорит Караман.— Не стану утверждать, что в ваших вопросах в самом деле имеется полицейский привкус, но инквизиторский тон, который вы избрали, звучит не очень приятно.

— Бортпроводница пользуется у мужчин единодушной поддержкой,— с ехидством говорит миссис Банистер, не столько приходя на помощь Блаватскому, сколько предостерегая Мандзони.

Действительно, Мандзони с самого начала допроса так настойчиво пялился на бортпроводницу, что это раздражает не одну только миссис Банистер.

Наступает пауза. Блаватский весь подбирается, как перед прыжком, и решительно говорит, больше обычного растягивая слова:

— Ну так вот, нравится вам это или нет, но я продолжу свои расспросы. Вас, может быть, и устраивает полная невозможность что-нибудь понять и вообще вся эта вереница тайн и загадок, но я намерен прояснить ситуацию. Мадемуазель,— продолжает он, теперь уж более вежливым тоном,— еще несколько вопросов, если не возражаете. Кто предписал вам забрать у пассажиров не только их паспорта, но и всю имеющуюся у них наличность и дорожные чеки?

— Человек, позвонивший мне по телефону.

— Это совершенно из ряда вон выходящая процедура. Я бы даже сказал, оскорбительная. Вы ничего об этом не спросили?

— Я уже вам сказала,— устало говорит бортпроводница.— Я не успела. Он повесил трубку.

— Вам следовало перезвонить.

— Но кому? Я не знала его фамилии.

Выдержав небольшую паузу, Блаватский продолжает:

— Я бы хотел вернуться к объявлению. Вы читаете его, мадам Мюрзек находит, что оно неполно, и настаивает на том, чтобы вы получили дополнительные сведения у командира корабля. Тогда вы заходите в кабину пилотов и обнаруживаете, что в ней никого нет. Это было, разумеется, для вас потрясением?

— Разумеется,— отвечает бортпроводница, но дальше об этом не распространяется.

— И, однако, когда вы возвращаетесь в первый класс, вы молчите. Почему?

---

[1] Перекрестный допрос, детективный роман! *(англ.)*.

Я с раздражением говорю:

— Вы ровным счетом ничего не проясняете, Блаватский. Вы топчетесь на одном месте. Мадам Мюрзек этот вопрос бортпроводнице уже задавала, и бортпроводница уже ей ответила.

— Что ж, пусть она повторит свой ответ.

— Моя роль на борту — не тревожить пассажиров, а их успокаивать.

— Такова, в самом деле, ваша профессиональная мотивировка. Имели ли вы еще какую-нибудь другую?

— Какую же другую могла я иметь? — с неожиданной горячностью говорит бортпроводница.— В конце концов, самолет ведь летел, он поднялся в воздух без экипажа. Следовательно, он мог точно так же приземлиться. Зачем зря волновать пассажиров?

— Перейдем к следующему пункту,— говорит Блаватский, и в глубине его глаз вспыхивают огоньки.— Отобрав у нас часы и драгоценности, индус приказал своей помощнице вас обыскать. Почему только вас, почему не других?

Я вижу, что бортпроводница бледнеет, и спешу ей на помощь:

— Но этот вопрос надо было задать индусу!

— Да замолчите же вы, Серджиус! — кричит Блаватский и гневно вскидывает вверх свои короткие толстые руки.— Своими идиотскими репликами вы только все запутываете!

— Я никому не позволю говорить со мной в таком тоне! Вы сами идиот! — говорю я, отстегиваю ремень и наполовину приподнимаюсь в кресле.

Должно быть, у Карамана создается впечатление, что я сейчас брошусь на Блаватского, потому что он наклоняется, протягивает вперед руки и торопливо говорит:

— Господа, господа! Не будем вкладывать в нашу дискуссию столько страсти!

В ту же секунду бортпроводница, ни слова не говоря, хватает меня за левую руку и с поспешностью тянет назад. Я снова сажусь.

— Мне кажется,— с дергающейся губой и взлетевшими вверх бровями говорит Караман, в восторге оттого, что ему выпала роль арбитра в споре двух «англосаксов»,— мне кажется, что мистеру Блаватскому не следовало так поддаваться своему темпераменту и что мистер Серджиус со своей стороны...

— Если мистер Блаватский признáет, что первым употребил слово «идиот»,— говорю я с натянутым видом,— я готов взять это слово назад.

— Пусть будет так, старина,— с чудовищной наглостью говорит Блаватский тоном человека, перед которым только что извинились,— я, со своей стороны, на вас не сержусь.

— В таком случае я не беру никаких своих слов назад,— в полной ярости говорю я без малейшего желания кого-нибудь позабавить.

Но, приняв это заявление за юмор, все начинают смеяться, и Блаватский с добродушием, не знаю, искренним или притворным, присоединяется к общему смеху. Я в свою очередь выдавливаю из себя улыбку, на чем инцидент угасает.

— Должен, однако, сказать,— говорит Караман, незамедлительно и с большой охотой беря на себя роль судьи,— что вопрос, который задал мистер Блаватский, представляется мне весьма и весьма существенным. Мадемуазель, расположены ли вы на него ответить? Речь идет о том, чтобы узнать, по какой причине вы оказались единственной из нас, кого индусы подвергли обыску.

— Я и не отказывалась ответить,— кротким голосом отзывается бортпроводница.— Я просто была удивлена тем, какой смысл вложил мистер Блаватский в свой вопрос. Послушать мистера Блаватского, я должна была заранее знать причину, по которой индус велел обыскать только меня одну.

— Заранее — нет,— говорит Караман.— Но потом?

— Потом я, естественно, поняла, почему он велел меня обыскать.

— Ну так что ж,— говорит Караман с подчеркнутой галантностью,

которая, будучи обращена к бортпроводнице, бесит меня не меньше, чем агрессивность Блаватского,— не скажете ли вы нам, мадемуазель, что именно вы поняли?

— В том-то и вся сложность,— тревожным голосом отвечает бортпроводница.— Я не знаю, должна ли я это говорить.

Караман поднимает брови.

— Почему же? — спрашивает он чуть дрогнувшим голосом.

Все взгляды устремляются к бортпроводнице. Со сложенными на коленях руками, с поднятой головой, глядя зелеными глазами, не моргая, на Карамана, она кажется спокойной, но мне, сидящему рядом, видно, как трепещут ее ноздри.

— Если я скажу,— продолжает она,— это может привести к открытию, которое очень взволнует...— (Думаю, она собиралась сказать «пассажиров» — слово, от которого у меня по спине мороз подирает,— но после короткого колебания она выбрала слово «путешественников».)

Тут раздался смех, переливчатый и мелодичный: миссис Банистер напоминает нам о своей персоне. Не знаю, каким образом удается этому смеху достигать столь жеманных модуляций; быть может, ему для этого достаточно пройти через длинную прерафаэлитскую шею.

— Мне кажется, мадемуазель,— говорит она, принимая элегантную позу и словно бы устанавливая непреодолимую дистанцию между собою и бортпроводницей,— что вы чересчур переоцениваете заботы, которые вам положено проявлять по отношению к нам. Мы не нуждаемся ни в няньке, ни в наставнице; самое большее, что нам нужно,— это официантка.

Я доволен реакцией бортпроводницы: ни взгляда, ни слова. Что до Карамана, он держится так, будто ничего не слышал — завуалированная дерзость, свойственная дипломатам.

— Мадемуазель,— говорит он,— вы сказали нам или слишком много, или слишком мало. Отступать теперь некуда, мы ждем от вас фактов.

— Хорошо,— со вздохом говорит бортпроводница.— Так вот, когда ассистентка меня обыскала, она забрала у меня электрический фонарик.

— Тот, которым в темноте воспользовался индус, чтобы осветить... инициативу мистера Христопулоса?

— Да.

— И это все?

Бортпроводница молчит.

— И это все? — повторяет Караман.

— Нет. Он забрал у меня и ключ.

— Какой ключ? — рычит Блаватский, прежде чем Караман успевает открыть рот.

— Ключ, на который запирается стенной шкаф, куда я спрятала паспорта и деньги...

— Черт побери! — восклицает Блаватский, отстегивая ремень и с поразительной резвостью вскакивая на ноги.— Пойдемте, мадемуазель! Вы покажете мне этот шкаф!

Он устремляется к galley, бортпроводница идет за ним. Через две секунды он снова появляется в салоне, и в его очках отражается яркий электрический свет. Он поворачивается к нам и с мрачным видом, в котором, однако, проглядывает удовольствие оттого, что ему удалось наконец добиться решающего успеха в расследовании, говорит:

— Стенной шкаф пуст. Они все похитили.

Смятение в салоне достигает предела. Раздаются яростные выкрики и сетования, сопровождаемые ужасающей толкотней. Дело в том, что надписи на световых табло уже не горят, температура в салоне снова стала нормальной, путешественников бросило от гнева и отчаянья в жар, они принимаются стаскивать с себя пальто, и по закону стадности все это происходит одновременно и со взаимными упреками. Салон охвачен несусветной сумятицей, звучат проклятия на многих языках и язвительные замечания в адрес соседа, и то здесь, то там вспыхивают перепалки уже

совершенно ребяческого свойства по поводу того, кому где положить пальто. Все эти разногласия, которые в последующие часы будут еще больше нарастать, являют собою, должно быть, следствие усталости, бессонницы, резких перепадов температуры, всевозможных моральных стрессов, из которых последний, не будучи самым тяжелым, отозвался так остро лишь потому, что обрушился на нас после всех остальных.

Что касается меня, утрата паспорта, денег и чеков меня угнетает гораздо сильнее, чем она того стоит, если смотреть на вещи здраво. Ибо, в конце концов, паспорт можно получить новый, да и денег с собой я взял не так уж много. Но как же тогда объяснить, что, утратив дорожные чеки и десять банкнотов по сто французских франков, я чувствую себя так, будто лишился всех земных благ? И, главное, как объяснить охватившее меня тяжкое, в высшей степени неприятное чувство, что, утратив паспорт, я потерял свою личность?

Я не пытаюсь разобраться в этом своем умонастроении. Я просто его констатирую. И в конечном счете оно не так уж и нелепо, ибо с той минуты, как вы больше не можете доказать другим, кто вы такой, вы становитесь безликой единицей среди миллионов подобных же единиц. Обезличенность неведомо почему с головокружительной быстротой приближает вас к смерти, вы словно уподобляетесь всем тем покойникам, что лежат на старых кладбищах и чьи имена давно стерлись с могильных плит.

В то время как я предаюсь этим размышлениям, я замечаю, что по направлению к galley (как любит говорить бортпроводница) тянется нелепая цепочка людей, которые хотят собственными глазами, после Блаватского, удостовериться в том, что стенной шкаф и в самом деле пуст и что наши деньги и паспорта не засунуты по ошибке в какое-то другое место. Самые остервенелые в этих розысках — Христопулос и мадам Эдмонд; красные от гнева и злости, они шарят по всем углам тесной маленькой кухни. Мне слышно, как они все время переговариваются между собой тихими голосами. Что именно они говорят, я разобрать не могу, но после всех этих шушуканий их ярость доходит до пароксизма; вернувшись на свои места, они бросают на бортпроводницу злобные взгляды, Христопулос по-гречески что-то бурчит в свои пышные черные усы, а мадам Эдмонд внезапно разражается бранью, завершая свои оскорбления следующим пассажем.

— Грязная потаскуха! — вопит она, безбожно грассируя.— Ты с самого начала знала, что они все у нас сперли!

— С начала чего? — спрашивает Робби и кладет свою узкую руку на могучую руку мадам Эдмонд, в то время как я устремляю на нее исполненный бешенства взгляд.

Но моя разъяренная рожа не производит на нее ни малейшего впечатления — не в пример вмешательству Робби, на которого, мгновенно прервав свои инвективы, она, как завороженная, обращает ласковый взор.

— Минутку, минутку! — тотчас говорит Блаватский, который, однажды забрав лидерство в свои руки, уже не намерен его выпускать.— Не время сейчас раздражаться! Будем действовать по порядку. Мадемуазель, когда индуска забрала у вас ключ, она открыла при вас шкаф, где были заперты паспорта и деньги?

— Нет,— устало говорит бортпроводница.

— Но, однако, вы поняли, что она это сделает, как только отправит вас обратно на место?

— Да, я об этом подумала,— говорит бортпроводница.— Иначе зачем же ей было брать ключ?

Сложив руки на коленях, она отвечает вежливо и внятно, но при этом довольно равнодушно, словно вопросы, которые ей задают, считает ненужными и пустыми.

— Значит, вернувшись на свое место, вы пришли к выводу, что индуска собирается все заграбастать?

— Да, именно к такому выводу я пришла,— отвечает бортпроводница.

— И тем не менее вы ничего не сказали! — говорит с осуждением Блаватский.

Бортпроводница слегка пожимает плечами, затем, разведя на коленях руки, поворачивает их ладонями вверх, будто демонстрируя очевидность.

— Какая была бы польза от того, что я бы вас предупредила? Они были вооружены.

Блаватский моргает за стеклами очков.

— А после того как индус покинул самолет, вы не подумали о том, что надо проверить содержимое шкафа?

— Нет,— отвечает бортпроводница.

— Вы нелюбопытны,— безапелляционным тоном изрекает Блаватский.

Бортпроводница безмятежно глядит на него зелеными глазами.

— Но ведь в эту минуту я уже знала, что шкаф пуст.

— Ах, вы уже знали! — восклицает Блаватский с торжествующим видом, как будто поймал ее в ловушку.— И откуда же вы это знали?

— Когда индуска вышла из galley, ее кожаная сумка была набита до отказа.

После небольшой паузы Блаватский говорит:

— Ну, хорошо, индусы смываются. Почему бы вам сразу было не сказать нам, что они выпотрошили стенной шкаф?

Бортпроводница довольно долго молчит, а когда решается наконец ответить, она отвечает так, что озадачивает даже меня.

— Я бы, конечно, могла вам сказать,— говорит она.— Но этим я еще больше взволновала бы пассажиров, к тому же это было не так уж и важно.

Гул всеобщего негодования, и Христопулос кричит:

— Чего ж вам еще надо!

— Минутку! — властным тоном восклицает Блаватский.— Мадемуазель,— продолжает он, и его глаза за толстыми стеклами мечут молнии,— это совершенно возмутительно! Деньги и паспорта собрали у нас именно вы, и за их сохранность должны отвечать также вы. А теперь вы говорите нам, что их исчезновение кажется вам «не таким уж и важным».

— Я хочу сказать, что в ту минуту было еще кое-что, встревожившее меня гораздо сильнее.

— Что же?

Бортпроводница колеблется, затем лицо ее замыкается, и она говорит решительным голосом:

— Этого я не могу вам сказать. Мне не подобает сеять панику среди пассажиров.

Опять поднимается протестующий шум, а мадам Эдмонд восклицает:

— Ах, как все получается просто!

Блаватский поднимает руку и говорит зычным голосом:

— Мадемуазель, можете ли вы представить нам доказательства, что вы действительно получили в Париже приказ отобрать у пассажиров паспорта и наличные деньги?

— Какие же доказательства? — отвечает бортпроводница.— Эти инструкции я получила по телефону.

— То-то и оно! — победоносно говорит Блаватский.— Нет никаких доказательств, что вы действительно их получили.

Я говорю дрожащим от гнева голосом:

— Но нет никаких доказательств и того, что бортпроводница это выдумала. Напомню вам юридическую аксиому, Блаватский. Не бортпроводница должна доказывать свою невиновность, это вы должны доказать ее соучастие.

— Но я никогда не утверждал...— начинает Блаватский.

— Утверждали! Это все могут подтвердить! Вам недостаточно мадам Мюрзек! Вы нашли теперь другого козла отпущения, теперь вы пытаетесь изобразить виновной бортпроводницу.

Робби улыбается.

— Серджиус прав, Блаватский, даже если у него есть особые причины защищать ее невиновность. Я еще раз вам повторю: все это просто нелепо, вы со своим расследованием находитесь на ложном пути! А ведь есть один

факт, который сводит к нулю все ваши жалкие идейки о мнимом сообщничестве бортпроводницы! Она здесь. Она не последовала за индусом. Она с нами, на том же самолете, что и мы, и ее ожидает та же судьба.

Он произносит «судьба» с выражением безропотной обреченности, чего французское слово, за редкими исключениями, обычно не передает и которое показалось бы более естественным, если бы он сказал «Schicksal» на своем родном немецком языке. Несмотря на это маленькое расхождение между интонацией и выбранным словом, его фраза производит на всех поистине замораживающее действие, даже, я думаю, на Блаватского, который, разумеется, не может не отдавать себе отчета в шаткости своих построений.

Тогда Караман делает замечание, очень для него характерное; его не назовешь совсем неудачным, ибо то, что он говорит, в общем-то даже и верно, но оно уводит куда-то в сторону от обсуждаемого вопроса.

— Мистер Блаватский,— говорит он, вздергивая губу,— я хотел бы привлечь ваше внимание к следующему факту: никто вас не уполномочил выполнять роль следователя в отношении француженки во французском самолете. Так же как ничто не дает вам права самолично брать на себя здесь leadership [1], которого за вами никто не признаёт.

— Я, как и все, имею право задавать вопросы! — говорит Блаватский; его глаза гневно сверкают, но при этом он замечательно владеет собой, и ему даже удается в какой-то мере сохранять добродушный вид.

— Такое право вы имеете, но вы им злоупотребляете,— говорит Караман, который явно рад, что может свести старые счеты, но старается не слишком это показывать.— Говорю вам по-дружески, мистер Блаватский, вы страдаете чисто американским недугом — манией во все вмешиваться.

— Что же это означает?

— Вы без конца во что-нибудь вмешиваетесь. Как ЦРУ. И, как ЦРУ, всегда невпопад. Например: вы устраиваете заговор в Афинах и устанавливаете там режим полковников. Затем через несколько лет устраиваете заговор на Кипре. Результат: возмущение в Афинах — и ваши греческие полковники свергнуты. Ваш первый заговор аннулирован вторым.

— В чем смысл ваших дурацких соображений? — грубо кричит Блаватский.— Я не имею никакого отношения ни к Кипру, ни к Афинам!

— Вы не имеете никакого отношения и к нам,— говорит Караман, поджимая губы.

И он замолкает с надменным и чопорным видом, точно кот, который заворачивается в свой пушистый хвост, решив отгородиться от мира.

— Все это нас никуда не приведет! — восклицает Блаватский, опять принимаясь за свое еще более агрессивно, чем прежде.— Вернемся к бортпроводнице, поскольку истинная проблема кроется именно здесь. Я не утверждаю, что она сообщница индуса. Однако, если б она таковою была...

— Вы не имеете права публично рассматривать такого рода гипотезу! — в гневе говорю я.— Вы бросаете подозрение на бортпроводницу, нанося ей огромный моральный ущерб!

— Мистер Серджиус,— спокойно говорит бортпроводница и смотрит на меня ясными глазами,— меня совершенно не задевают эти подозрения. Пусть себе мистер Блаватский думает, что он все еще занимается своими профессиональными делами, раз это доставляет ему удовольствие.

Хотя замечание бортпроводницы и лишено коварного подтекста, оно оказывает на Блаватского куда более сильное действие, чем мои яростные протесты. Он моргает за толстыми стеклами очков и когда все-таки возобновляет свою атаку, делает это довольно вяло, словно бы по инерции.

— Допустим,— говорит он тусклым голосом,— что бортпроводница все же сообщница индуса. Сейчас она здесь, это верно. Но что помешает ей, прибыв к месту назначения, встретиться с индусом и получить свою долю добычи?

---

[1] Руководство *(англ.)*.

Словно услышав нечто невероятно комичное, Робби заливается громким смехом, и все глаза устремляются на него.

Надо сказать, что уже одна его одежда невольно привлекает взгляд. Светло-зеленые брюки, небесной голубизны сорочка и оранжевая косынка на шее делают его, без сомнения, самой живописной фигурой в салоне. А в его мимике, особенно когда он веселится, есть какие-то элементы пароксизма, что тоже приковывает к нему внимание. Он не просто смеется. Он весь извивается и трясется в кресле, сплетая между собой свои нескончаемо длинные ноги и сжимая точеными тонкими пальцами щеки, словно боится, что голова не выдержит такого неистового веселья и разлетится на части. Он не в состоянии выговорить ни слова, так сотрясают его прерывистые толчки звенящего на высоких, пронзительных нотах смеха, хотя время от времени он и пытается их унять, прикладывая, точно школьница, ко рту ладошку. Однако, когда ему наконец удается вновь обрести голос, он выражает свои мысли вполне серьезно.

— Полноте, Блаватский,— говорит он, и в его быстрых глазах после долгого смеха сверкают слезы.— Вы ведь умный человек. Как вы можете говорить подобные вещи! Значит, вы его не слушали? Для индуса, являющегося буддистом, жизнь представляет собой абсолютно неприемлемую штуку. Вы понимаете, Блаватский? *Не-при-ем-ле-мую.* Покидая самолет — вы слышали это, как и я,— он навсегда вышел из *колеса времени,* к которому здесь мы все прикованы. Совершенно очевидно,— очевидно даже для ребенка! — что индус покинул мир, в котором мы с вами живем, и что мы никогда уже больше его не увидим! Ни его, ни кожаной сумки!

— Зачем же в таком случае он ее утащил? — рычит Христопулос.

— Разумеется, не ради собственного обогащения,— говорит Робби.— А ради того, чтобы нас всего лишить!

— Именно это я и говорил! — скорбно отзывается Христопулос.— Он в самом деле всего нас лишил!

— Простите,— с холодной учтивостью говорит Робби, пристально глядя на грека,— но я думаю, что, говоря «всего нас лишил», мы с вами вкладываем в эти слова разный смысл.

Все молчат, и тогда Блаватский, воздев руки вверх, с горячностью восклицает:

— *Колесо времени!* Не хотите ли вы мне сказать, что принимаете всерьез всю эту...

Полагаю, что он собирался произнести слово, которое, естественно, первым пришло ему на ум, но его удержало, должно быть, присутствие viudas, потому что он говорит только: «чепуху», и это слово кажется слабым, принимая во внимание ярость его протеста. Впрочем, судя по ропоту одобрения, этот протест встречен пассажирами почти с полным единодушием. Толкование, предложенное Робби, похоже, не получает поддержки ни у кого, кроме меня (я поддерживаю его потому, что оно полностью оправдывает бортпроводницу).

Уж на этот счет я совершенно спокоен. Если смотреть на вещи непредвзято (что для меня почти невозможно, особенно с тех пор, как я сел возле нее), бортпроводница, конечно, могла дать повод для подозрений — своим молчанием, двусмысленностью своего поведения, странностью некоторых своих ответов. Но, честно говоря, на нее накинулись так же, как люди накидываются на налогового чиновника, обвиняя его в том, что им приходится платить чересчур большие налоги,— обвинение предъявляют не ей, а тому, кто за нею стоит. Ведь никто в самолете не верит всерьез в ее виновность. Даже Блаватский. Для него «сообщничество» бортпроводницы — сама бортпроводница очень точно это угадала — явилось лишь соблазнительной гипотезой, которая позволила ему снова вернуться к привычным для него категориям, и в то же время почти безнадежной попыткой объяснить необъяснимое.

И вот доказательство: после выступления Робби, которое он с презрением отверг, Блаватский умолкает, очевидно отказавшись усматривать в происшедшем некий «заговор», к которому могла быть причастна

бортпроводница. По его мнению и, я думаю, также по мнению всех остальных, включая мадам Эдмонд, этот ложный след никуда не ведет.

Наступает молчание, которое длится несколько минут, так как никто не заинтересован в том, чтобы его нарушать. Я потому, что сижу рядом с бортпроводницей. Караман оттого, что Блаватский стушевался, и это доставляет Караману заметное удовольствие. Пако потому, что разрывается между тревогой, которую внушает ему состояние здоровья Бушуа, и близким соседством Мишу, которая с дочерней непринужденностью положила ему на руку свою ладонь. Миссис Бойд потому, что «кошмар» уже кончился и она может отдаться приятным мыслям о вновь обретенных радостях жизни. И миссис Банистер потому, что, ни разу на него не взглянув, она видит только Мандзони.

Из-за Мандзони и нарушается молчание; вернее, из-за тех затруднений, которые он испытывает, вынужденный играть навязанную ему роль. Ему следует заниматься лишь миссис Банистер, но после того, как закончился допрос, его глаза снова устремлены на одну Мишу. С той минуты, как девушка покинула его ради Пако, она перестала быть для Мандзони очередным номером в длинной веренице номеров и превратилась в бередящий душу звук непонятного поражения. Ибо Пако, с его лысым черепом, круглыми навыкате глазами, солидным брюшком и мятым костюмом, никак не должен был внушать Мишу такую нежность, особенно после разоблачений насчет его повадок, с которыми выступила мадам Эдмонд. И тем не менее птенчик выпорхнул и пристроился под крылом этой толстой ощипанной птицы, словно прося защитить его от Мандзони, который, однако, так великодушно и щедро утешил ее, когда она была уже, можно сказать, на смертном одре.

Как я уже упоминал, я не люблю красивых мужчин, и сейчас, ненадолго забыв, насколько тревожна вся наша ситуация, я от души забавляюсь. Мандзони так деморализован неблагодарностью Мишу, что даже не остерегается острых как бритва взглядов, которые мечут в него японские глаза миссис Банистер. А ведь, имея хоть каплю воображения, можно увидеть, что правая половина его лица уже исполосована лезвиями этих взглядов и на щеках начинают выступать капли крови.

Несчастный ничего не чувствует. Он не знает, какие огромные запасы невыплеснутой злобы накапливаются у него под боком и какой чудовищный счет придется ему оплатить, когда он решит наконец принести дань своего почитания тем холмам и долинам, где его давно уже ждут.

В той стороне все грозно и страшно. Ураган наносит свирепый урон душевному пейзажу миссис Банистер, с корнем, точно морковку, вырывает деревья, крушит кровли, налетая на Мишу, бросает ее на асфальт. Когда подумаешь обо всех бесспорных и неисчислимых преимуществах, какие миссис Банистер, урожденная де Буатель, имеет перед этой жалкой Мишу, плоской точно доска, извалявшейся в грязи, брошенной женихом, не обладающей ни культурой, ни твердым характером... Тогда как на стороне миссис Банистер не только благородное происхождение, элегантность, знание света, но и великолепное, устоявшее под натиском лет тело, ягодицы, которые действительно ягодицы, а не костлявые плашки для сидения, и груди, которые действительно груди, а не эти крохотные мешочки, отвисшие и пустые, и, наконец, живот, пленительный и нежный, словно подушка в светской гостиной, а не этот худосочный набор томящихся в тесноте внутренних органов.

В то время как нож миссис Банистер протыкает своим острием эту девицу и вышвыривает ее, точно сор, на помойку, бортпроводница покидает меня, чтобы прибрать в galley, и своим отсутствием обрекает меня на нестерпимое одиночество, но вместе с тем возвращает мне зрение, и теперь я могу более спокойно рассмотреть своих визави.

И я сразу же понимаю, что царящему в салоне молчанию с минуты на минуту наступит конец. Миссис Банистер, с бесстрастным лицом, но судорожно вцепившимися в юбку пальцами, устремляет взор своих жестоких

самурайских очей уже не только на одного Мандзони, но и на всех сидящих в круге мужчин, поскольку они, как и он, обязаны были пасть на колени у подножия ее трона, дабы лобызать ее прелестные ножки.

Я удивляюсь такой силе страсти, сконцентрированной в одном-единственном устремлении. Удивляюсь и своей собственной страсти — благо бортпроводница ушла и я могу достаточно трезво взглянуть на вещи. Все это просто невероятно. Мы все поглощены своими любовными переживаниями и ничтожными заботами. Караман, раскрыв папку, делает вид, что с головой погрузился в проблемы нефти и продажи оружия; Пако размечтался о деловой древесине и о Мишу; Христопулос и Блаватский — о наркотиках; миссис Бойд — о четырехзвездном отеле; и все как один дружно забыли, что мы не знаем ни кто управляет нашим самолетом, ни каков конечный пункт его назначения, ни даже того, есть ли вообще у него такой пункт.

Миссис Банистер не приходится делать таких усилий, чтобы отвлечься от мыслей о нашей ситуации. Она вся переполнена обидой, которую ей нанесли своим невниманием эти мужланы. И в ту минуту, когда я слышу, как у меня за спиной отодвигается и вновь опадает занавеска galley, и жду, не решаясь обернуться, что бортпроводница опять займет свое кресло,— в эту самую секунду, изогнув несколько вбок элегантную длинную шею и произведя своим туловищем целую серию мелких движений, чтобы дать нам возможность оценить все великолепие ее груди, миссис Банистер говорит резким тоном, не глядя на Мандзони:

— Поскольку меня окружают столь внимательные и столь умные мужчины, я хотела бы задать им один вопрос: как объясняют они ледяной холод, ворвавшийся в самолет, когда индус и его спутница покидали его?

Я слышу, как рядом со мной задышала бортпроводница. Потом ритм ее дыхания меняется, и, бросив на нее сбоку взгляд, я вижу, что вопрос миссис Банистер встревожил ее и она опасается, как бы это не вызвало нового спора. Но, по правде говоря, поскольку агрессивность вопрошающей очевидна, никто из мужчин (миссис Банистер обратилась только к ним) не собирается ей отвечать. Впрочем, совершенно очевидно, что миссис Банистер и не ожидает ответа; по существу, она не столько задала вопрос, сколько бросила вызов, использовав как предлог первое, что пришло ей на ум,— вызов мужчинам, которые «окружают ее»; этим выражением она себя выдала, ибо миссис Банистер изъясняется так, будто она восседает в центре круга, а мы все сидим вокруг нее, тогда как на самом деле ее кресло расположено по отношению к центру точно так же, как наши.

Первым, кто реагирует — правда, не произнося ни слова,— оказывается Караман; не желая ни ввязываться в дискуссию, ни оставлять без внимания вопрос, заданный дочерью герцога Буательского, он изображает улыбку светского человека и, приподняв бровь, с учтивым и понимающим видом глядит на Мандзони.

Это напоминание о его обязанностях оставляет Мандзони безучастным. Он снова впал в оцепенение и сидит, не сводя глаз с маленькой узкой ручки Мишу, которую держит в своей толстой волосатой лапе Пако. Конечно, в их позе нет ни малейшей двусмысленности, это всего только нежность, но нежность, которая украдена у него, у Мандзони, и которой ему сейчас не хватает — не хватает, наверно, впервые с той давней поры, когда обожавшая его мать баюкала его, прижимая к груди.

И тут на вопрос миссис Банистер отвечает Пако, но его ответ вряд ли может ее удовлетворить, потому что он затрагивает тему, которая отвлекает внимание круга от ее особы.

— И верно,— говорит он,— холод действительно был ужасающий. И у меня сжалось сердце, когда я увидел, что мадам Мюрзек уходит в ледяную тьму в одной легкой замшевой куртке.

Следует неловкое молчание. Оно свидетельствует о том, что почти все мы испытываем то же самое чувство, но у нас, в отличие от Пако, не хватало смелости об этом сказать. Однако Мандзони, по-прежнему поглощенный своими переживаниями по поводу содеянной с ним несправедливости, отказывается участвовать в последовавшем за ответом Пако

обмене взглядами, и миссис Банистер, обрушивая на Пако всю ту ярость, которую вызвало в ней равнодушие соседа, с враждебностью говорит:

— Если у вас такое нежное сердце, мсье Пако, не надо было угрожать мадам Мюрзек, что вы ее «вышвырнете вон»!

— My dear! — говорит только что проснувшаяся миссис Бойд.

— Но я никогда ничего подобного не говорил! — с неподдельным негодованием восклицает Пако.— Я посоветовал ей удалиться в туристический класс. Это Блаватский подал ей мысль покинуть самолет!

— Совершенно верно,— говорит Блаватский, холодно глядя из-за очков.— Это сделал я. Но немного позже именно вы произнесли слова, которые сейчас процитировала миссис Банистер.

— Нет, нет и нет! — кричит Пако с искренней, но отчасти сознательной забывчивостью.

— Да, да и да! — говорит миссис Банистер.— Вы это сказали! А потом вы пригрозили надавать ей оплеух! Странная угроза, адресованная даме!

Мадам Эдмонд не может вынести торжествующего вида миссис Банистер. Она наклоняется вправо и, сильно грассируя, говорит:

— Мюрзек не более дама, чем вы.

Миссис Банистер пропускает этот выпад мимо ушей, а Робби, встряхивая кудрями, серьезным голосом говорит:

— Но какое имеет значение, кто что сказал! Мы все приложили руку к тому, чтобы она ушла! И все несем за это ответственность!

В разговор вступаю я:

— Все, кроме бортпроводницы.

— Это верно,— говорит Робби.

— Нет,— со смущенным видом говорит бортпроводница.— Это не совсем верно. Я ограничилась тем, что сказала мадам Мюрзек, что она имеет право остаться. Я не настаивала на том, чтобы она это сделала.

Тут меня удивляет Блаватский. Однако мне бы не следовало удивляться, ибо Блаватский, проголосовав вместе с Пако, бортпроводницей и мной за то, чтобы провести повторную жеребьевку, исключив из бюллетеней имя Мишу, уже выказал известную склонность к состраданию. Но мне пока еще трудно признать за ним это качество — может быть, из-за его инквизиторских пристрастий.

Глухим голосом он говорит:

— Я сожалею, что подал мадам Мюрзек мысль покинуть самолет. Для меня это был способ оказать на нее давление, чтобы заставить ее замолчать! Я был поражен, когда она восприняла мой совет буквально! Высаживаться одной, в полной тьме, среди этого холода, даже не зная, где ты находишься!.. Такое решение мне совершенно непонятно!

Караман, у которого совесть чиста, так как он почти не вступал с Мюрзек в пререкания, не склонен, следуя Блаватскому, подвергать себя самокритике:

— Знаете, откровенно говоря, у нее был такой вид, будто этот индус ее околдовал. Она могла добровольно последовать за ним,— гримаса и быстрый взгляд в сторону Робби,— и выйти вместе с ним.... из *колеса времени.*

Такая версия не лишена правдоподобия, но, к моему большому удивлению, Робби не поддерживает ее. Он молчит и с огромным вниманием смотрит на Блаватского.

— Нет, нет! — говорит Блаватский, и выражение его глаз скрыто толстыми стеклами очков.— Это мы своей бранью выгнали ее из самолета!

Наступает молчание.

— Вы правы, мистер Блаватский, нам следовало ее удержать,— с благодушным видом и самым нежным своим голоском говорит вдруг миссис Банистер.— Я не утверждаю, что надо было это сделать в ту минуту, когда она уходила. Нет. Раньше. Мы должны были по-другому реагировать на ее язвительные реплики.— И она сокрушенно вздыхает.

— That was difficult, my dear,— говорит миссис Бойд.— The woman was the limit! [1]

---

[1] Это было трудно, дорогая. Эта женщина была невыносима! *(англ.)*

— Это верно,— говорит миссис Банистер с ангельским видом, и нимб святости вокруг черных волос ей очень к лицу. Она снова вздыхает.— Но мы не должны были принимать ее правила игры и отвечать ей ударом на удар. Нам в самом деле надо признать: мы сами способствовали тому, что она так разбушевалась.

Эта исполненная чувствительности речь не может не удивить, но, принимая во внимание, что круг обуревают сейчас евангельские настроения, она производит некоторое впечатление. Думаю, я бы тоже попался на эту удочку, если бы сорочий взгляд миссис Банистер не скользнул сквозь щелку век в сторону Мандзони, подстерегая его реакцию.

То ли неумышленно, то ли намеренно (ибо она, пожалуй, вовсе не такая простушка, какою выглядит) миссис Бойд путает своей приятельнице все карты, неожиданно поднимаясь с места.

— Я полагаю,— говорит она с шаловливой улыбкой,— что мне пора пойти попудрить нос.

С видом маленькой девочки она хихикает, берет в правую руку сумочку крокодиловой кожи, мелкими шажками проходит через левую половину круга, приподнимает занавеску и входит в туристический класс.

Раздается испуганный крик. Я срываюсь с кресла, пересекаю круг, занавеска снова раздвигается. Появляется миссис Бойд, бледная, почти теряющая сознание, с прижатой к сердцу левой рукой. Она шатается, я едва успеваю ее подхватить. Она смотрит на меня округлившимися глазами и говорит прерывающимся голосом:

— Это ужасно. Я только что видела привидение.

— Да нет же, мадам,— твердо говорю я.— Привидений не бывает.

— Я видела его так же, как вижу вас,— лепечет миссис Бойд.

Миссис Банистер поднимается и подбегает к нам одновременно с бортпроводницей.

— Можете ее отпустить, мистер Серджиус, я ею займусь,— говорит миссис Банистер и хлопает ресницами.

— Спасибо,— говорю я.— А я пойду посмотрю, что ее так испугало.

Я приподнимаю занавеску и вхожу в туристический класс. Но не успеваю сделать еще шаг, как застываю на месте. В третьем ряду, справа от прохода, в ближайшем к иллюминатору кресле в профиль ко мне сидит мадам Мюрзек — руки на сумке, глаза закрыты, кости лица обтянуты кожей, точно у мумии.

— Мадам! — говорю я сдавленным голосом.

Никакого ответа. Она не шевелится. Значит, я тоже обманут призраком? Я подхожу поближе, протягиваю правую руку и кончиками пальцев дотрагиваюсь до ее плеча.

Реакция ошеломительная. Она поворачивается всем туловищем и изо всех сил ребром ладони бьет меня по руке. И разъяренно кричит:

— Что за манеры? Какая муха вас укусила? Что вам от меня нужно?

У меня за спиной раздается смех. Я оборачиваюсь. Это Блаватский.

— Ошибки быть не может,— говорит он, страшно растягивая слова.— Это она!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Все повскакали с мест и в полной растерянности сгрудились позади нас — все, кроме Пако, который не решается оставить Бушуа.

— Мадам,— начинает Блаватский, и его глаза блестят за стеклами очков,— вы должны объяснить нам...

— Прошу прощения, мистер Блаватский,— перебивает его бортпроводница.— Об этом не может быть и речи, пока мадам Мюрзек не возвратится в первый класс и не выпьет чего-нибудь горячего.

Мы все одобряем это предложение. Столпившись в центральном проходе и между креслами туристического класса, мы неподвижно и молча стоим перед Мюрзек, за ее спиной.

Удар по руке, который она мне нанесла, явился, должно быть, чисто

рефлекторной реакцией на неожиданность, а возможно, и следствием того отвращения, какое она испытала, когда впервые за многие годы к ней прикоснулся мужчина, ибо теперь, собравшись с последними силами, чтобы ответить бортпроводнице, Мюрзек просто сахар и мед.

— Я тысячу раз благодарю вас, мадемуазель, за вашу любезность,— говорит она сладким голосом,— но я совершенно не намерена подвергать пересмотру решение, принятое моими спутниками, которые постановили меня изгнать. Я это вполне заслужила. И буду твердо на том стоять. И я смиренно прошу всех простить меня за те злые слова, которые я наговорила. Впрочем, я ни за что бы не стала сюда возвращаться, даже в туристический класс, если бы с первых же шагов по земле,— здесь она вся содрогается и у нее расширяются глаза,— я не ощутила, как что-то отталкивает меня назад. Короче говоря,— продолжает она дрожащим и тусклым голосом, и на ее желтом лице отражается мучительное отчаяние,— я почувствовала, что я нигде не нужна, ни в самолете, ни на земле.— При последних словах она прячет лицо в ладони.

— Но вы не можете здесь оставаться, мадам,— говорит бортпроводница,— здесь слишком холодно.

— Когда я оказалась на земле,— продолжает Мюрзек, поднимая голову и дрожа всем телом,— а я и злейшему своему врагу не пожелаю того, что я там пережила,— я неожиданно вспомнила, что поначалу вы предложили выдворить меня в туристический класс. Это придало мне мужества, я рискнула снова подняться на борт. И я надеюсь, вы позволите мне отбывать наказание, которое вы на меня наложили, именно здесь, где я сейчас нахожусь.

Это сказано, пожалуй, слишком красиво и в слишком приподнятом стиле. Я смотрю на нее. Поначалу я просто не знаю, что думать. Или, вернее говоря, мне приходит в голову мысль, что Мюрзек с потрясающим мастерством разыгрывает перед нами роль лицемерки и, надев на себя эту новую маску, сохраняет под ней в неприкосновенности свое настоящее, злобно кривляющееся лицо. Но, поразмыслив, я так больше не считаю. Этот немного вычурный язык принадлежит только ей. Изысканное произношение, изящество оборотов, даже когда она говорит людям гадости,— это ее жанр. К тому же передо мной женщина, начисто лишенная юмора и такта. Кусок скалы эта Мюрзек. Цельная натура. Монолит. А теперь монолит внезапно качнулся в ангельскую сторону.

Сжав колени, положив симметрично обе руки на сумку, с квадратными плечами и напряженным затылком, она говорит тихим, приглушенным голосом, глядя на нас своими синими глазами, говорит не то чтобы с кротостью, но с каким-то непреклонным смирением. Должно быть, она очень замерзла, ибо я замечаю, что в паузах между фразами ее сухие, потрескавшиеся, бескровные губы начинают дрожать.

Ошеломленные, мы молчим. В туристическом классе проход между рядами очень узкий, и мы стоим, тесно прижавшись друг к другу. Когда мы наконец обретаем дар речи, поднимается невнятный гул, мы тихо, вполголоса обсуждаем услышанное, и наши реплики звучат особенно неразборчиво оттого, что трудно понять, кто именно это говорит, так плотно все обступили Мюрзек.

Я с удивлением обнаруживаю, что моя соседка справа — миссис Банистер. Она прижимается грудью к моей правой руке, и, когда до меня доходит, какого характера это давление, я поворачиваю голову и бросаю на нее взгляд через плечо, поскольку ее красивая темная головка едва достигает моей дельтовидной мышцы. В этот миг она выгибает шею назад, ее взгляд сквозь щелочки японских глаз быстро скользит по мне и тотчас же с насмешливым и презрительным выражением останавливается на Мюрзек. Меня вдруг охватывает ярость — может быть, из-за этого выражения, а возможно, также из-за того, что мягкое, зыбкое прикосновение ее груди волнует меня, и мне кажется, что это волнение чуть ли не оскверняет мои чувства к бортпроводнице. Я наклоняюсь — не к миссис Банистер, а над нею — и сквозь зубы тихо, с угрозой говорю:

— Если вы скажете хоть одно слово против этой женщины, я раздавлю вас, как...

— Но кто вам сказал, что мне это будет неприятно? — говорит она тоже тихо, с удивительным бесстыдством разглядывая меня своими узкими глазами, словно прикидывая, какова ширина моих плеч.

Одновременно, и на сей раз, по-моему, совершенно сознательно, она усиливает давление на мою руку. Я страшно смущен, ибо подсознание услужливо предлагает мне повод для угрызений совести: от меня не ускользает — как не ускользнуло и от нее,— что глагол «раздавить» звучит несколько двусмысленно. О, я не строю никаких иллюзий! Для нее я не выход из положения, даже не запасной вариант. Я интересую ее — и то между прочим, случайно — лишь потому, что я интересуюсь бортпроводницей. Обычная игра кошки, кусающей ковер.

Раздается голос Блаватского, перекрывающий, как всегда, гул других голосов:

— Но все же, мадам, вы нам, может быть, объясните...

Бортпроводница тотчас перебивает его.

— Нет, мистер Блаватский,— говорит она с вежливой твердостью.— Повторяю, что я не разрешу задавать никаких вопросов мадам Мюрзек, пока она не перейдет в первый класс и не выпьет чашку горячего кофе или чаю.

Хор голосов выражает живейшее одобрение, и все глаза с упреком устремляются на Блаватского.

— Я еще раз благодарю вас, мадемуазель, но я останусь здесь,— говорит Мюрзек, столь же несгибаемая теперь в добродетели, какой была прежде в злобе. И, опустив глаза, добавляет: — Среди вас я буду себя чувствовать не на своем месте.

Круг хором протестует. Впрочем, наш круг в самом деле превратился в хор античной трагедии, выражающий симпатию и поддержку злополучному протагонисту. Индивидуальные реакции тонут в этой коллективной стихии, даже миссис Банистер предстает в личине уже не львицы, а агнца и блеет вместе с нами. Словом, мы с тем же остервенением требуем от Мюрзек вернуться, с каким раньше изгоняли ее. Окружая ее, точно пчелы свою матку, теснясь в узких проходах между креслами и не без удовольствия прижимаясь друг к другу — ибо всякая давка и толкотня, даже когда мы против них протестуем, удовлетворяют нашу внутреннюю потребность в телесном контакте,— мы с наслаждением купаемся в струях прощения и доброты, которые, идя от сердца к сердцу, множатся, набирают силу и в конце концов изливаются на Мюрзек.

Мы единодушны: она не может оставаться там, где она сейчас сидит. Кресла тут неудобны, ногам тесно, освещение скудное, отопление слабое. К тому же, после перенесенных ею испытаний, она нуждается в моральной поддержке, и никто из нас не может без содрогания видеть, как она здесь томится, прикованная к скале раскаяния, где хищные птицы станут клевать ее и без того не слишком здоровую печень.

Под этим теплым братским дождем Мюрзек оттаивает. Однако она упорно цепляется за свою скалу, поочередно обращая к нам признательные взгляды и говоря каждому «спасибо», в особенности мадам Эдмонд, которая, сжимая своей могучей дланью тонкую талию Робби и безбожно грассируя, твердит, обращаясь к горемычной страдалице, что та «не может здесь оставаться и морозить себе зад, когда все просят ее вернуться вместе с нами к нашему общему очагу».

Но окончательную победу одерживает, надо признаться, казуистика Карамана. Корректный, лощеный, с непрерывно подергивающейся губой и полуприкрытыми веками (и, по всей видимости, равнодушный к тому, что к нему прижали Мишу́; правда и то, что у нее очень мало округлостей), Караман переключил свой голос на самые низкие и бархатные ноты, дабы прежде всего отметить, что он, со своей стороны, никогда не требовал выдворения мадам Мюрзек в туристический класс (взгляд на Блаватского) и что он считает маложелательным, чтобы она здесь оставалась далее. Если

мадам Мюрзек хочет покаяться и попросить прощения за свои, может быть, немного резкие замечания в наш адрес (мы пребываем сейчас в таком состоянии духа, что это упоминание, при всей его сдержанности, кажется нам бестактным), она с тем же успехом может это сделать и в первом классе, сидя бок о бок с себе подобными, и ее раскаяние будет тем более похвальным, что оно произойдет публично. И наконец, если предположить, что она останется здесь, уместно будет спросить, милосердно ли заставлять бортпроводницу всякий раз отдельно приносить мадам Мюрзек еду в туристический класс, тем самым осложняя ее, бортпроводницы, работу?

Когда слушаешь эти увещевания, понимаешь, что Караман — воистину опора Церкви, в которой Мюрзек всего лишь мелкая сошка. Для того чтобы человеческие существа могли друг друга понять, нужно (условие это необходимо, хотя и не всегда достаточно), чтобы они говорили на одном языке. Когда в конце своей речи, характеризуя ситуацию, сложившуюся в самолете из-за насильственного отделения одного из пассажиров, Караман применяет эпитет «прискорбная», я чувствую, что свою партию он, можно сказать, уже выиграл. Это слово, с его огромным эмоциональным зарядом и ароматом ризницы, прокладывает ему путь к медному сердцу Мюрзек, разваливая его, точно спелый плод, на две половинки. Ее черты смягчаются, губы разжимаются. Она уступает.

Для круга это миг торжества и любви. Заботливо поддерживаемая под руки, сопровождаемая почетным эскортом, Мюрзек преодолевает преграду — занавеску, отделяющую ее от первого класса,— и со вздохом садится на свое прежнее место. Гордые сознанием выполненного долга, мы рассаживаемся по своим креслам. Мы созерцаем Мюрзек. Мы не спускаем с нее глаз.

По кругу пробегает легкая дрожь. От соседа к соседу, как электрический ток, передается волнующее чувство, характер которого мы все понимаем, и для того, чтобы мы им сполна насладились, требуется тишина. Страница перевернута. Круг воссоздается заново — наш козел отпущения вернулся в наши стены.

Несколько минут проходит в атмосфере полного благолепия. Мюрзек получает из рук бортпроводницы поднос. Она сразу же принимается за горячий кофе, но поскольку у нее дрожат руки, ее соседка слева, миссис Бойд, поспешно встает и, с круглым ангельским лицом под старомодными буклями, начинает намазывать ей тосты маслом.

Она делает это с такими ужимками, словно смакуя, что начинаешь опасаться, как бы она вдруг не стала их тут же сама уплетать. Но я клевещу на нее. Вот она уже с приветливым видом передает их один за другим изголодавшейся Мюрзек, которая, поднимая на нее полные смирения голубые глаза, всякий раз ее благодарит. Никто, кроме меня, не склонен, я полагаю, со злопамятством вспоминать, что, когда самолет готовился сесть, Мюрзек обозвала миссис Бойд чревоугодницей, вся суть которой сводится «ко рту, кишечнику и анальному отверстию». Как определил бы Караман, это было, в конце концов, всего лишь «немного резкое замечание», и я ощущаю стыд, когда ловлю себя на этом воспоминании, которое так не соответствует общему настроению круга.

Впрочем, в эту же секунду я читаю в японских глазах миссис Банистер — в глазах сияющих и прекрасных, но явно не созданных для выражения нежности — похвальное усилие забыть все те колкости, которые Мюрзек отпускала по поводу ее аристократических юбок, подобных сетям, раскинутым для ловли поклонников.

Словом, в нас и вокруг нас бурлит настоящее половодье добрых чувств, и мы опьянены собственной добродетелью, каковая искупает в наших глазах ту низость, что мы выказали во время жеребьевки. Но меня гораздо больше поражает другое: нельзя сказать, что нам не терпится поскорее услышать, какие испытания выпали на долю Мюрзек, когда она вышла из самолета, и каким образом удалось ей снова подняться на борт. Чем больше я размышляю о нелюбопытстве, которое мы тогда проявили, тем все яснее открываются мне его причины.

В чем состоят они? Ну что ж, я об этом скажу, даже если дам повод для нападок. Во всех нас, мне кажется, живет некий инстинкт, дающий нам знание того, что́ нам предстоит пережить. На сей счет у меня нет никаких сомнений. В старину прорицатели *видели* будущее, потому что их прозорливость не была затуманена, как у нас, нежеланием заранее знать свою собственную судьбу. Повторю еще раз: я убежден, что в каждом из нас заключена способность предвидения ожидающей нас участи. Мы бы с удовольствием этим предвиденьем пользовались (правда, можно ли говорить здесь об удовольствии, когда наше предвиденье рано или поздно открывает нам неизбежность смерти?), если бы не воздвигли между ним и нами стену своего ослепления.

Во всяком случае, все это вполне очевидно, и сами наши излияния, я настаиваю на этом, нас выдают. Мы не торопимся слушать Мюрзек. Мы предчувствуем, что то, что она нам скажет, удвоит нашу тревогу. А нам после всех передряг хочется одного — чтобы эта тревога пребывала по-прежнему в спячке. Да, таково в этот миг наше самое сильное желание. Забыть о том суетном и лихорадочном деле, каким является жизнь, и погрузиться в блаженное оцепенение, к которому нас так манят свет, и тепло, и вернувшееся ощущение комфорта, и сытый желудок, и моторы самолета, мягко урчащие вокруг нас, словно укачивая.

На поверхности нашего сознания, забывая о зловещих предчувствиях, таящихся на дне, колышется мысль: раз уж самолет взлетел, он обязательно должен куда-нибудь прилететь. И почему бы не в Мадрапур? Захват самолета и изменение его курса, взятие заложников, угроза смерти, висевшая над Мишу, изгнание Мюрзек — все это не более чем «перипетии», как выразился бы Караман. Мишу жива и здорова, Мюрзек снова среди нас, самолет летит прежним курсом.

В конце концов, мы живем в цивилизованном — в нашем, западном — мире, который и в воздухе продолжает нас защищать. Зачем тревожиться понапрасну? Все в конечном счете уладится, если не считать, разумеется, убытков, которые мы понесли, но они из разряда тех неприятных случайностей, от которых не застрахован ни один турист. Что нам действительно нужно теперь, когда надвигается ночь и наша совесть умиротворена добрым приемом, который мы оказали Мюрзек,— это несколько часов хорошего сна. Когда рассветет, все покажется легче и проще.

Тишина продолжается, каждый замкнулся в себе, мы уже почти засыпаем. У меня слипаются веки, я смутно вижу сквозь них Мюрзек, которая своими длинными желтыми зубами перемалывает последнюю корку последнего тоста. Но моя дремота мгновенно улетучивается, когда с кресла встает бортпроводница. С радостью, которая, видно, у меня никогда не иссякнет, я слежу за всеми перемещениями ее прелестного тела.

Со строго профессиональной улыбкой, не принимая никакого участия в пароксизме дружеских чувств, которые круг проявляет к Мюрзек, бортпроводница берет у нее поднос и исчезает в galley, бросив тревожный взгляд на Блаватского, как будто опасается, как бы он, пользуясь ее отсутствием, не начал своего допроса. Но даже Блаватский — возможно, по тем же причинам, что и все остальные,— больше не торопится расспрашивать Мюрзек. Притворившись, что его оскорбил наш дружный отпор (это его-то, чью толстую шкуру и пулями не прошибешь), он опускается в кресло, вытягивает перед собой свои короткие толстые ноги и, выражая этой небрежной позой свое крайнее презрение к нам, закрывает глаза и делает вид, что заснул. Когда бортпроводница возвращается на свое место, она сразу оценивает ситуацию и жизнерадостным голосом, с интонацией заглянувшей в детскую гувернантки и, так же как она, употребляя местоимение «мы», гораздо более успокоительное, чем «вы», с мягкой властностью говорит:

— А теперь мы, быть может, немного убавим свет и поспим?

Конечно, я это чувствую — да и все остальные тоже,— она играет сейчас роль, которую с самого начала взяла на себя в самолете: она «ободряет» пассажиров. И если она не может сделать так, чтобы Мюрзек

вообще не выступала со своими откровениями, она по крайней мере откладывает их до утра. На нас наваливается тишина, и мы безропотно принимаем ее, потому что свою свинцовую тяжесть она обрела с нашего ведома и согласия. Я гляжу на Блаватского — уязвленный нашим отношением или просто-напросто заснувший, он не шевелится.

И в это мгновение берет слово Мюрзек. На ее широкие скулы отчасти вернулась обычная желтизна, губы больше не дрожат. Поначалу я было решил, что она учуяла стремление круга обо всем поскорее забыть и ей захотелось незамедлительно нам воспрепятствовать в этом, ибо к ней возвращается ее всегдашняя зловредность. Но нет, истина гораздо проще. Я совершенно ясно читаю в ее синих глазах: Мюрзек сочла своим долгом обо всем рассказать и неукоснительно следует этому долгу.

— Мсье Блаватский,— говорит она твердым и четким голосом,— теперь, когда я немного пришла в себя, я готова, насколько это будет в моих силах, ответить на ваши вопросы.

— Ну что ж,— вздрагивая, говорит Блаватский, удивительно напоминая заснувшую лошадь, которая, получив удар кнутом, тут же принимается снова бежать — в силу выработанной с годами привычки, но так до конца и не проснувшись.— Ну что ж,— повторяет он, выпрямляясь с усилием в кресле и моргая близорукими глазами за толстыми стеклами,— ну что ж, мадам, если вы в состоянии отвечать, может быть, мы могли бы...

— Да, мсье.

Пауза.

— Первый вопрос,— довольно вяло начинает Блаватский,— вы вышли из самолета до или после индусов?

— Насколько я могу об этом судить,— говорит Мюрзек,— ни до и ни после.

Блаватский окончательно просыпается.

— Мадам! — восклицает он резким тоном.— Вы хотите сказать, что индусы остались в самолете?

Круг замирает. Мы переглядываемся.

— Да нет же! — отвечает Мюрзек.— Немного позже я увидела, что они идут впереди меня, удаляясь от самолета. Но в то мгновение, когда я ступила на трап, я была одна. Я это категорически утверждаю.

— Как вы можете быть столь категоричной? — спрашивает Блаватский, снова обретая свой инквизиторский тон.— Была полная тьма.

— Да, но я бы услышала их шаги по металлическим ступенькам трапа. Свои собственные шаги я ведь слышала.

— Погодите,— говорит Блаватский,— вернемся немного назад. Самолет приземлился, свет погас, индус, который находится позади Серджиуса, направляет фонарь на Христопулоса, стоящего с ножом в руке. Где вы находитесь в этот момент, мадам Мюрзек?

— Я направляюсь к exit.

— Где находится индуска?

— Справа от занавески кухни, направив пистолет на Христопулоса.

— Что происходит потом?

— Кто-то — я думаю, бортпроводница — открывает exit.

— Да, это была я,— говорит бортпроводница.

— И как только exit открылся, вы, конечно, сразу же вышли?

— Честно говоря, нет,— отвечает Мюрзек.— Индус начал свою речь, и я хотела услышать, о чем он говорит.

— Да, в самом деле,— злобно подхватывает Блаватский.— Он говорил. Я помню эту смехотворную речь.

Робби вмешивается раздраженным тоном:

— Она не была смехотворной. У вас отсутствует воображение, Блаватский.

— Неважно,— говорит с презрительным жестом Блаватский.— Мадам Мюрзек, вы выслушали эту тираду — слово «тирада» он заключает в кавычки — до конца?

— Да, я даже помню его последние слова: «Сколь долгим ни казалось бы вам ваше существование, вечной остается только ваша смерть».

— Совершенно верно,— отзывается Робби.— Именно этим индус и закончил. Впрочем,— добавляет он с капелькой педантизма,— это цитата из Лукреция.

— Ну хорошо,— продолжает Блаватский,— и что же вы сделали в эту минуту?

— Я ступила на трап.

— А индусы за вами не шли?

— Нет. Я в этом уверена.

— Как вы можете быть так уверены в этом?

— Дойдя до нижней ступеньки трапа, я стала их ждать.

— Почему?

— Меня охватило чувство ужаса.

Мадам Мюрзек произнесла эти слова без всякой напыщенности, тихим голосом и не поднимая глаз. Их в салоне никто не поднимает, даже Блаватский.

— Ну хорошо,— почти сразу продолжает он, почти без паузы, и его глаза не видны за стеклами очков,— что происходит потом?

— Я внезапно увидела индусов в десяти метрах от хвоста самолета.

— Вы их увидели? — восклицает Блаватский с торжествующим видом, как будто уличил ее во лжи.— Ведь была же полная тьма!

— Индус включил электрический фонарь, освещая себе дорогу. Я увидела его со спины, так же как и его спутницу. Они шли не спеша. Их черные силуэты выделялись в световом ореоле. Я различала тюрбан на индусе и кожаную сумку, которую он нес в руке. Он на ходу размахивал ею.

— Но послушайте,— говорит Блаватский повелительным тоном и повышает голос,— индусы или спустились по трапу до вас, или сделали это вслед за вами.

— Существует и третья возможность,— мягко говорит бортпроводница.

Но Блаватский игнорирует ее вмешательство. Не спуская с Мюрзек глаз, он сердито требует:

— Отвечайте же, мадам!

— Да я только этим и занимаюсь,— говорит Мюрзек с жесткими нотками в голосе, заставляющими меня предположить, что прежняя Мюрзек, быть может, еще не окончательно умерла.— Я говорю вам совершенно точно, мсье: индусы не могли спуститься по трапу после меня. Я ждала их внизу. Я услышала бы их шаги по ступенькам. Дойдя до того места, где я стояла, они бы непременно меня коснулись, задели. А ступить на трап раньше меня было невозможно, мсье Блаватский... Когда индус произнес свою речь, которую вы так глупо назвали смехотворной...

Секунда общего изумления. Мадам Мюрзек застывает, опускает глаза, сглатывает слюну и, сложив руки на коленях, говорит со слезами на глазах и раскаяньем в голосе:

— Простите, мсье. Я не должна была говорить «глупо». Я беру это слово обратно. И прошу вас принять мои извинения.

Наступает молчание.

— Но, видите ли, мсье,— продолжает она дрожащим от волнения голосом,— я нахожу, что индус произнес *замечательные* слова, когда нам было ниспослано счастье видеть его среди нас.

— Счастье! — восклицает мадам Эдмонд, шлепая себя по ляжке.— Черт подери! Мы дорого заплатили за это счастье!

Она бы, наверно, продолжала и дальше в том же духе, если бы Робби не протянул с ласковой грацией свои тонкие пальцы и не закрыл ей ладонью рот.

Блаватский смотрит на Мюрзек.

— Вам не следует извиняться,— говорит он, пряча свое смущение за наигранной или искренней прямотой.— Я и сам, должно быть, немного пересолил. Во всяком случае,— добавляет он поспешно,— я уважаю ваши убеждения.

Мюрзек вынимает из сумочки носовой платок и вытирает глаза, синева которых стала от слез еще более яркой.

— Продолжайте...— просит Блаватский.

— Что ж, продолжим,— говорит Мюрзек нежным голосом, но с неколебимым упорством,— видите ли, я абсолютно уверена в том, что́ я говорю. Когда индус закончил свою речь, он стоял позади мсье Христопулоса. А я была возле двери, и меня пронизывал холод и ледяной ветер. При его последних словах я вышла. Таким образом, он никак не мог пройти раньше меня.

— Допустим,— говорит Блаватский, сверля ее глазами из-за очков. Он выдвигает подбородок вперед и разводит в стороны свои короткие руки.— Допустим, что дважды два не дают в результате четыре! Допустим, что индусы не спустились ни до, ни после вас! И, однако, они оказались снаружи! В конце концов, когда человек притязает на то, чтобы вырвать себя из «колеса времени»,— насмешливый хохоток,— можно пройти и сквозь стену фюзеляжа!

— Но есть и третья возможность,— говорит бортпроводница.

И снова Блаватский жестом отметает ее вмешательство.

— Продолжим, мадам Мюрзек. Вы стоите внизу у трапа. Что происходит дальше?

— Я уже вам говорила,— повторяет Мюрзек, вздрагивая и опуская глаза.— Я испытала чувство ужаса.

Новая пауза, и я уже начинаю думать, что Блаватский, помня о всеобщем добром согласии, вновь постарается обойти эту тему. Но, к моему великому удивлению, я ошибаюсь.

— В конце концов,— говорит он с какой-то снисходительной жизнерадостностью, звучащей достаточно фальшиво,— это вполне нормально! Кругом полная тьма, вы дрожите от холода и к тому же понятия не имеете, где вы находитесь!

Мюрзек поднимает голову и устремляет на Блаватского взгляд своих синих глаз, который даже в ее новом обличье не так просто выдержать.

— Нет, мсье,— говорит она четким голосом.— Это нельзя считать нормальным. Я не слабонервная женщина. Я не боюсь ни холода, ни темноты. И если бы я начала идти, я бы непременно куда-нибудь пришла.

Блаватский молчит, очевидно мало расположенный вступать на путь, на который приглашает его Мюрзек.

Робби спрашивает серьезным голосом:

— Чему приписываете вы это ощущение ужаса?

Мюрзек глядит на него с признательностью, которая у такой женщины, как она, выглядит душераздирающей. Должно быть, то, что она в одиночестве пережила, было слишком ужасно, и она испытывает теперь облегчение при мысли, что может эти переживания разделить с другими. И она уже открывает рот, когда Блаватский грубым голосом говорит:

— Бог с ними, с чувствами! Перейдем лучше к фактам!

— С вашего разрешения,— с холодным достоинством и не терпящим возражений тоном говорит Мюрзек,— я отвечу сначала на вопрос, который мне только что задали.

Блаватский молчит. Во всяком случае, Мюрзек он расспрашивает не так, как допрашивал бортпроводницу.

— Это трудно объяснить,— говорит Мюрзек, дружелюбно обращаясь к Робби (меня в этот миг царапает мысль, что совсем недавно она обозвала его «половинкой мужчины»).

Она прерывает себя и сжимает одной рукой другую — думаю, чтобы унять их дрожь.

— Ничего определенного. Я почувствовала, что меня отвергают.

— Вы хотите сказать — отвергают физически? — спрашивает Робби.

— Физически тоже. Когда я увидела в десятке метров от себя индусов, мне захотелось побежать, чтобы нагнать их. Это было страшно. Вы знаете, такое ощущение иногда бывает в ночных кошмарах: устремляешься вперед, поднимаешь ноги — и не двигаешься с места, хотя ты прилагаешь такие

усилия, что у тебя бешено колотится сердце. Вот что я испытала. Какая-то жуткая сила отталкивала меня.

— Ветер,— с сухим смешком говорит Блаватский.

— Нет, ветер дул мне в спину.

Мюрзек замолкает, расстроенная тем, что о своем ужасном переживании может рассказать только такими вот сумбурными, лишенными драматизма словами.

— Вы уже дважды употребили слово «ужас»,— говорит снова Робби.— Какая, по-вашему, разница между ужасом и страхом?

— Огромная,— говорит Мюрзек.— Против страха можно бороться, ужас вас полностью себе подчиняет.

— Он овладел вами сразу или постепенно?

— Он охватил меня, как только я поставила ногу на землю, но не сразу достиг своей высшей точки.

Робби качает головой и глядит на Мюрзек светло-карими глазами, сверкающими и яркими, как брызги воды в струе фонтана. Он, как всегда, возбужден, жеманится, ломается, но не теряет из виду главного — помочь Мюрзек выразить определенно и ясно то, что ей пришлось пережить.

— А не могли бы вы нам сказать,— говорит он,— в какую именно минуту ваш ужас достиг своей высшей точки?

— Когда индусы исчезли...

— Исчезли? — саркастически переспрашивает Блаватский.

— Погодите вы, Блаватский! — с нетерпением говорит Робби.— Дайте сказать мадам Мюрзек!

Но Мюрзек, опустив глаза и нахмурив брови, озадаченно молчит.

— Попробуйте вспомнить! — настаивает Робби.— Вы говорили о том, как вы безуспешно пытались бежать, стараясь догнать индусов. В это время вы отчетливо видели со спины их силуэты в световом луче электрического фонаря. Вы ясно различали, сказали вы, тюрбан на голове индуса, а в руке у него сумку из искусственной кожи, которой он размахивал. Это все, что вы увидели?

— Нет,— говорит Мюрзек.

Лицо у нее напряженное, губы сжаты, голова наклонена вперед, все тело выражает усилие сосредоточиться, вспомнить.

— В какое-то мгновение,— продолжает она,— индус повел фонарем вправо, и я увидела воду.

— Лужу?

— Нет, нет,— отвечает Мюрзек,— нечто гораздо более обширное. Озеро.

— Озеро на аэродроме! — говорит с насмешкой Блаватский.

— Да замолчите же вы, наконец, Блаватский! — восклицает пронзительным голосом Робби.— Вы все портите! Вы мешаете мадам Мюрзек вспомнить! И делаете это как будто нарочно!

Блаватский вцепляется обеими руками в подлокотники и говорит резким тоном:

— У мадам Мюрзек слишком короткая память, если она не может вспомнить, что произошло какой-нибудь час назад!

— Что же тут удивительного! — кричит в раздражении Робби.— Она находилась во власти безумного ужаса!

Блаватский разводит руками.

— Но помилуйте, озеро на аэродроме? Рядом с посадочной полосой! Можно ли этому поверить?

Следует пауза, после которой Мюрзек кротким голосом говорит:

— С посадочной полосой? Вы хотите сказать, с полосой из бетона? Но там не было никакой полосы, мсье Блаватский. Землю покрывал толстый слой пыли, под которой местами угадывались камни.

— Вот вам и объяснение жесткости посадки! — с торжествующим видом говорит Робби.

Никто в салоне не открывает рта, даже Блаватский. У меня странным образом перехватывает горло.

— Давайте продолжим,— говорит Робби.— Своим фонарем индус освещает справа от себя водное пространство — неважно, озеро или пруд,— и вслед за этим он со своей спутницей сразу же исчезает.

— Нет, нет,— говорит Мюрзек.— Между тем мгновением, когда индус осветил озеро, и мгновением, когда я перестала его видеть, произошло нечто весьма значительное и важное...

— Что же? — спрашивает Робби.

Мы все жадно ловим каждое слово Мюрзек, но ее ответ разочаровывает нас.

— Я не могла бы сказать, что́ это было,— наконец говорит она полным тревоги голосом и прикладывает ладони к щекам.— В этом месте у меня в памяти какой-то провал. Все поглотил неописуемый ужас, который охватил меня, когда индусы исчезли.

— Ах! Они, видите ли, «исчезли»! — говорит с сарказмом Блаватский.— Как черти! Как ангелы! Как привидения!

— Блаватский,— гневно восклицает Робби,— ваши полицейские манеры отвратительны!

— Они хоть по крайней мере мужские,— говорит Блаватский.

Глаза у Робби сверкают, но он молчит.

— Господа,— говорит Караман,— эти личные выпады совершенно неуместны.

Мюрзек поворачивается к Робби и говорит ровным голосом:

— Я говорю «исчезли», но это, конечно, мое субъективное впечатление. Может быть, индус просто погасил свой фонарь? Во всяком случае, я перестала их видеть.

И все мы, в том числе и Блаватский, понимаем: ничто не могло придать такой достоверности рассказу Мюрзек, как это замечание вкупе с рассудительным тоном, каким оно произнесено.

— И именно в эту минуту,— продолжает Робби,— ваш ужас достиг высшей степени?

— Да.

Губы у нее дрожат, но она больше ничего не добавляет.

— Могли бы вы описать нам эту высшую степень?

Блаватский вздымает вверх руки.

— Вся эта психология ничего нам не даст! Мы здесь не для того, чтобы анализировать состояние души! Перейдем к фактам!

— Но душевное состояние — тоже факты,— говорит Караман, который, возможно, считает себя обязанным защищать «душевное состояние», потому что это связано с «душой».

Мюрзек, кажется, не слышала этого обмена репликами.

— У меня было такое чувство,— продолжает она тихим голосом,— что мне угрожает что-то омерзительное. Сначала я лишилась голоса и меня парализовало, потом стала дико вопить и бросилась бежать.

— В каком направлении? — спрашивает Блаватский.— Поскольку вам не удавалось продвинуться вперед...

— Должно быть, я бежала по кругу. Я была в совершеннейшей панике. Не понимала, что делаю. Упала в пыль, поднялась, снова упала. В конце концов я наткнулась ногой на ступеньку, поняла, что самолет здесь, и поднялась в него, чтобы укрыться. Но это не было трапом, это была опускная лестница в хвосте самолета.

— Опускная лестница! — восклицает Блаватский.— Значит, люк был открыт?

— Да, он оказался открытым,— говорит бортпроводница.— И, вероятно, его открыл индус.

— Откуда вам это известно? — спрашивает, поворачиваясь к ней, Блаватский.

Бортпроводница смотрит на него зелеными глазами и говорит с обычной своей мягкостью:

— Да потому, что я сама его потом закрыла. Впрочем, я два раза пыталась вам об этом сказать, мсье Блаватский, но у вас не было терпения меня выслушать.

— Вы его снова закрыли? — говорит Блаватский.— Но, значит, тогда вы могли увидеть мадам Мюрзек, сидящую в туристическом классе?

— Нет, мсье,— спокойно отвечает бортпроводница.— Я не могла ничего увидеть. К тому времени света еще не дали.

Здесь круг достигает апогея — но ведь и я, изображающий сейчас из себя этакого провидца, тоже ни о чем своевременно не догадался,— апогея самообмана. Поскольку мы знаем теперь, через какую дверь индусы покинули самолет и через какую дверь мадам Мюрзек в него снова вошла, мы делаем вид, что все проблемы наконец решены, что все вернулось в нормальное русло и мы можем позволить себе погрузиться в объятия сна. И бортпроводница, теперь уже никого ни о чем не спрашивая, убавляет в салоне свет, происходит всеобщее движение, ибо все откидывают назад спинки кресел, слышится два-три покашливанья, Христопулос шумно сморкается, и каждый — кто сам по себе, кто в паре с соседом — словно бы исчезает из круга, освобождая его от той напряженной общественной жизни, которая до последней минуты наполняла его.

Тишина устанавливается не сразу. Она заявляет о себе постепенно утихающими перешептываниями между Пако и Мишу, миссис Бойд и миссис Банистер, мадам Эдмонд и Робби, бортпроводницей и мной.

— Тсс! — шепчет мне бортпроводница.— Теперь спать.

Чтобы смягчить этот приказ, она оставляет свои тонкие пальцы в моей большой лапе и смотрит на меня материнским взглядом, который мгновенно возвращает меня на сорок лет назад, и я ощущаю себя маленьким мальчиком, лежащим в своей кроватке с медными прутьями. Впрочем, я и есть этот мальчик, несмотря на свой возраст, на внешность, на высокий рост! Ребенок, которому достаточно ласковой руки и доброго взгляда, чтобы немедленно успокоиться. Я сворачиваюсь мысленно рядом с бортпроводницей клубочком, прижав ее к себе, как плюшевого медвежонка, и приготавливаюсь к тому, что вот-вот перестану осознавать окружающий мир. Странно, что половина всей нашей жизни состоит из сна, а в остающейся половине еще одна половина — это забвение прошлого или ослепление касательно будущего.

Так, постепенно и незаметно, приближаемся мы к смерти, бóльшую часть времени полагая, что находимся на пути к жизни. Очевидно, это весьма удобная уловка, поскольку все мы охотно ею пользуемся. Можно также найти способ, подобно мне, верить в потустороннюю жизнь. Но это тоже не слишком легко. Мысль о том, что в один прекрасный день ты останешься жить, а твое тело умрет, не очень, надо сказать, утешительна. Особенно когда засыпаешь.

В конце концов, быть может, и хорошо, что нам дарованы эти несколько часов сна,— хорошо даже для Бушуа, который в тот миг, когда я засыпаю, кажется мне в полумраке еще более бледным и похожим на мертвеца, чем всегда. Он дышит учащенно, со свистом, и на одеяле, которым укутаны его ноги, его скелетоподобные руки продолжают по инерции тасовать колоду карт, которую его шурин сунул ему, должно быть, в карман, когда бортпроводница убавила свет. Миссис Бойд уже спит, черты ее под пышными буклями расслабились, я никогда не видел ничего более расплывчатого и начисто лишенного всякой мысли, чем это лицо. Я говорю об этом с завистью, которую в этот миг ощущаю. Потому что, несмотря на руку бортпроводницы, лежащую в моей руке, и на то, что я уже начинаю засыпать, я стараюсь до последней минуты отогнать от себя тревожные мысли.

Наутро, проснувшись, я застаю эти мысли в том же уголке мозга, куда загнал их накануне. В ближнем иллюминаторе ничего не видно, кроме моря облаков, белых и пушистых, на которые так и тянет уютно улечься под ярким солнцем, как будто воздух имеет плотность воды и как будто «температура воздуха за бортом», как выражаются бортпроводницы, не «минус пятьдесят градусов Цельсия».

Что-то вдруг щелкнуло у меня в голове, и я словно опять слышу рассказ Мюрзек со всеми его странными подробностями: аэродром, который вовсе и не аэродром, озеро, которое почему-то не замерзло, земля, покрытая почему-то пылью, а не льдом и не снегом, как можно было ожидать при том свирепом сибирском морозе, который ворвался тогда в самолет. Правда, мы, сами того не ведая, сидели тогда на сквозняке, поскольку индус, оказывается, открыл люк с опускной лестницей в хвосте самолета, хотя трудно объяснить, по какой логике он предпочел этот выход другому.

Я замечаю, что бортпроводницы рядом со мной уже нет. Она, должно быть, пошла в galley приготовить утренний завтрак. Я колеблюсь, не пойти ли мне ей помочь, но, не желая представать перед нею с отросшей за ночь бородой, я беру свой дорожный несессер и как последний идиот направляюсь в туалет.

Я думаю, что иду туда первым. Но нет, в туристическом классе я сталкиваюсь с Караманом, который уже возвращается оттуда; он причесан, прилизан, выбрит, невероятно чопорен и официален. К моему великому удивлению, он, обычно столь сдержанный, теперь, не довольствуясь просто приветствием, останавливает меня, точно какой-нибудь Пако.

— В этом туристическом классе стоит дикий холод, который ничем нельзя объяснить,— говорит он, поднимая брови, как будто неприятно удивлен тем, что французский самолет может иметь какой-то изъян.— Если верить Блаватскому, люк в полу, ведущий в багажный отсек, скорее всего, неплотно закрыт. Он хочет попытаться вывести виновника на чистую воду. Впрочем,— добавляет он с тонкой улыбкой,— это его профессия — выводить всех на чистую воду...

Я в свою очередь тоже выдаю приличествующую случаю улыбку, но ничего не говорю. Я догадываюсь, что диалог с Караманом может быть только монологом Карамана. И в самом деле, он продолжает:

— Что вы обо всем этом думаете? Результаты допроса бедной женщины не назовешь блестящими. Я еще раз говорил об этом с Блаватским. Скажу откровенно, все эти доходящие до пароксизма приступы ужаса, эти «враждебные силы», которые «отвергают» ее... Я себя спрашиваю, можно ли принимать это за чистую монету. У бедной дамы, должно быть, помутился рассудок. В конце концов, когда человек покидает во время рейса самолет, оставляя в нем свои вещи, у любого может возникнуть вопрос о его психическом состоянии.

Это «у любого» означает, наверно, людей, которые в нашем огромном мире смотрят на вещи с картезианским здравомыслием Карамана, и, судя по его спокойной уверенности в себе, он убежден, что эти люди весьма многочисленны. Я снова отвечаю ему лишь неопределенной улыбкой, не желая затевать дискуссию на пустой желудок и с полным мочевым пузырем.

— Но я, кажется, вас задерживаю, прошу меня извинить,— приподнимая губу, говорит Караман с изысканной, хотя и чуть запоздалой учтивостью.

Нелегко размышлять на такие серьезные темы, когда скоблишь себе кожу электрической бритвой, да еще в самолете, в крохотном закутке, где и выпрямиться в полный рост невозможно. Тем не менее я делаю вывод, что Караман в чем-то прав. В конце концов, наше моральное давление на Мюрзек не было настолько сильным, чтобы сей козел отпущения не мог ему противостоять, и все же Мюрзек прервала путешествие и сошла в совершенно неизвестном ей месте, оставив в самолете свои чемоданы, и такое поведение действительно несколько странно.

Однако ее свидетельство о том, что произошло на земле, не было ни абсурдным, ни бессвязным, хотя Блаватский изо всех сил старался его дискредитировать. Наконец, когда Мюрзек сказала, что индусы не спускались по трапу ни до, ни после нее, она как раз и оказалась права. Она, а не Блаватский, который, я помню, расхохотался: «Дважды два теперь уже не четыре! Они просочились сквозь фюзеляж!» — и все такое прочее.

Существует чисто полицейский способ допрашивать людей, цель которого словно бы состоит в том, чтобы *не раскрывать* истины. О, я понимаю, все эти враждебные силы, напавшие на Мюрзек, когда она ступила с трапа на землю, этот ее неистовый бег, когда она ни на шаг не продвинулась вперед, этот панический ужас, объявший ее,— все это трудно признать достоверным, и в нормальном мире такие истории больше походили бы на сон, чем на пережитое въяве. Но ведь, если говорить честно, обстоятельства нашего полета вряд ли можно считать нормальными — надеюсь, эти слова не продиктованы одним лишь моим пессимизмом,— и когда женщина, про которую никак не скажешь, что она бредит, говорит вам неторопливо и взвешенно: «Я пережила этот кошмар наяву»,— что́ прикажете думать на сей счет? И тут словечко Карамана «у любого», как и все, что за этим словечком стоит, никак не может служить нам опорой.

Я возвращаюсь из туалета с несессером под мышкой, чувствуя себя значительно посвежевшим, хотя я и экономил там воду (не знаю почему, но в самолете я всегда повинуюсь этому рефлексу), и вдруг с величайшим изумлением вижу в центральном проходе возникшую из-под пола голову Блаватского. Говорю «возникшую из-под пола», но правильнее сказать «уходящую под пол», ибо именно этим Блаватский и занят, когда я к нему приближаюсь. И вот уже мне виден только верх шляпы, которую он почему-то на себя нахлобучил.

Я кричу:

— Блаватский!

Голова появляется снова, теперь вместе с плечами. На Блаватском надето пальто. Он говорит приглушенным голосом:

— Молчите, Серджиус. Не привлекайте внимания бортпроводницы. Я воспользуюсь тем, что она сейчас в galley, и загляну в багажный отсек. Мне нужно кое-что прояснить.

— Но вы не имеете права...

— Я беру на себя это право,— жестко говорит Блаватский.— К тому же люк в полу был плохо прикрыт. Оттуда и шел холод, выстудивший туристический класс.

В самом деле, я вижу, что ковровая дорожка в центральном проходе приподнята и квадратная крышка люка сдвинута в сторону.

— Но это очень опасно! — говорю я.— Кто-нибудь спросонья или по рассеянности может свалиться в эту дыру, когда пойдет в туалет! Она на самом ходу.

— Вот и постойте рядом во избежание несчастного случая. Ну, а я пошел.

Он щелкает зажигалкой и исчезает. У меня нет никакого желания спускаться за ним следом, особенно без пальто. Я стою с несессером под мышкой, возвышаясь над этим провалом, который напоминает канализационные люки на мостовой. С той только разницей, что здесь, если наклониться над ямой, в лицо тебе бьет ледяной воздух. Я отшатываюсь, дрожа от холода и совершенно не зная, что обо всем этом думать. Могу предположить, что Блаватскому не дает покоя воспоминание о «Боинге», который возле Руасси-ан-Франс грохнулся на землю вместе с несчастными пассажирами-японцами, потому что наружная дверь багажного отсека плохо закрывалась. Но если такое произошло и с нами, я не очень понимаю, что тут можно сейчас сделать. Этот Блаватский, при всем его уме, ставит меня в тупик. Он тревожится то с перехлестом, то недостаточно.

Вновь появляется шляпа Блаватского, потом его бесстрастная физиономия. Потом в узкое квадратное отверстие боком протискиваются плечи, потом, с еще бо́льшим трудом, бедра. После чего он тщательно укладывает на место крышку люка, выпрямляется и говорит с равнодушным видом:

— Все о'кей, кроме...

Он поворачивается ко мне спиной и, переступая короткими толстыми ногами, направляется к первому классу.

— Кроме?..— спрашиваю я, идя за ним следом.

— Кроме того,— говорит он, бросая на меня через плечо острый взгляд,— что в багажном отсеке багажом и не пахнет. Наши чемоданы остались в Руасси.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Я не в силах выговорить ни слова. У меня в чемодане лежат, а вернее сказать, лежали словари и справочники, необходимые мне для изучения... которым я собираюсь заняться (странно, но даже наедине с собой я не решаюсь больше произносить «Мадрапур», «мадрапурский»). Но меня волнует сейчас другая сторона проблемы.

— Блаватский,— говорю я, догоняя его и хватая за руку (он тотчас останавливается и, подняв брови, глядит на меня через плечо),— не говорите ничего нашим спутникам. Это явится для них еще одним потрясением. Все равно они довольно скоро узнают, что улетели без своего багажа.

Блаватский тяжело и одновременно с проворством оборачивается ко мне, словно огромная бочка, вращающаяся вокруг своей оси. Он сверлит меня буравчиками своих серых глаз. Не знаю, может быть, это впечатление вызвано толстыми очками, которые он носит, но его глаза действительно кажутся двумя точками, и эти точки придают его взгляду невероятную пронзительность и остроту. Он ничего не говорит, но по тому, с каким непререкаемым превосходством он на меня смотрит, я сразу понимаю, что мое предложение будет сейчас отвергнуто — с небольшой морализаторской проповедью. В конечном счете, я, пожалуй, могу еще кое-как вынести жаргонную пошлость Блаватского, хотя и она мне кажется деланной, вынести даже третий его регистр — игривость доброго малого,— но только не проповеднический тон в особо серьезных случаях. Тем более что за всей этой пустопорожней болтовней обычно скрывается самый примитивный эгоистический расчет. Сейчас он предельно ясен: обнаружив, что наши чемоданы остались в Руасси, Блаватский не упустит возможности побахвалиться перед спутниками этим открытием, закрепляя таким образом свое право на лидерство, которое он с самого начала присвоил себе в самолете.

В настоящее время он предоставляет мне возможность самому потомиться сознанием недостойности своего поведения. Ни единого слова. Молчание. Безмолвное неодобрение. Острие взгляда, вскрывающего меня, точно скальпель. Крупные белые зубы, обнажившиеся в презрительной полуулыбке. Квадратный подбородок, воинственно выдвинутый против меня, и разделяющая его надвое ямка, как бы подчеркивающая предельный драматизм. Даже густая его шевелюра выглядит настоящей броней, непроницаемой для всякой исходящей от меня мысли, каковая, мысль славянина, непостоянная и зыбкая, не идет ни в какое сравнение с его, Блаватского, прочной и солидной «саксонской» мыслью. Ибо он-то по крайней мере действует, оказывает сопротивление, борется, обнаруживает все новые обстоятельства, активно вмешивается в ход событий...

— Полноте, Серджиус, я надеюсь, вы не сказали это серьезно,— наконец говорит он с превеликой значительностью. (Ну разумеется, ведь я совершенно безответственная личность.) — И речи быть не может о том, чтобы я скрыл от наших попутчиков то, что я только что обнаружил. У меня другое представление о своей ответственности.— (Началось!).— Наши спутники имеют право во всех подробностях знать, что с ними происходит, и я отступлю от своего долга, если им этого не скажу.

— Мне не очень понятно, что это изменит,— говорю я.— По прибытии они будут так или иначе вынуждены узнать, что их вещи остались в Руасси! Зачем опережать события? Путешествие и без того было для них мучительным!

— Вольно же вам,— говорит Блаватский тоном нравственного негодования,— до такой степени не уважать своих спутников, чтобы лгать им или считать их малыми детьми, которых оберегают от горькой правды... Как, впрочем, упомяну мимоходом, с самого начала не переставала поступать

бортпроводница.— Это произносится вкрадчиво и недоброжелательно.— Я же, напротив, считаю своих попутчиков взрослыми людьми и не имею намерения скрывать от них факты.

— Хорошо,— говорю я, раздраженный его намеком на бортпроводницу. (Весь его вид достаточно красноречиво говорил следующее: «Мало того что ты глупейшим образом в нее влюбился, ты еще рабски ей подражаешь».) — Вы объявляете нашим спутникам,— я понижаю голос,— что их вещей нет в багажном отсеке. Ну и что? Что происходит дальше? Ничего! Абсолютно ничего!

— Как «ничего»? — с оскорбленным видом отвечает Блаватский.— Но если они будут знать, это уже нечто!

— А какую пользу они из этого знания извлекут? Вернутся искать свои чемоданы в Руасси? Подадут жалобу? Будут просить *Землю* послать их вещи в Мадрапур со следующим самолетом? Поставят прямо сейчас в известность свою страховую компанию? Это вы несерьезны, Блаватский! — И, не в силах совладать с раздражением, добавляю: — Вы держитесь так, будто считаете, что этот полет и впрямь не отличается от всех прочих полетов. Вы уверены в этом? И в самом деле полагаете, что коль скоро мы летим, значит, непременно куда-то прибудем?

Блаватский озадаченно глядит на меня, и я сам удивлен, что я все это ему высказал, ибо до сих пор я не осознавал, что мои размышления могут завести меня так далеко.

Взгляд Блаватского как будто ослабляет свою интенсивность, потом и вовсе исчезает за толстыми стеклами, и вся цилиндрическая глыба его тела (абсолютно лишенного талии, с животом таким же круглым и выпуклым, как и грудь), кажется, пошатнулась.

Но это всего лишь мгновенная слабость. Через секунду он уже снова здесь, крепко стоящий на своих толстых ногах, с агрессивным подбородком и пронзительными глазами.

— Вы бредите, Серджиус! — говорит он с горячностью. И добавляет, словно одно объясняет другое: — Кстати, вы сегодня плохо выглядите. Вы больны или еще что-то?

— Нет-нет,— поспешно говорю я.— Я очень хорошо себя чувствую, спасибо.

Но это неправда; заверяя Блаватского, что у меня все в порядке, я чувствую, как не терпится мне поскорее закончить разговор, настолько сильна у меня потребность опуститься наконец в кресло.

Блаватский продолжает — с напором, но и с некоторой поспешностью, словно не хочет давать моему скепсису время для захвата плацдарма:

— Ну конечно, мы прилетим, Серджиус! Не воображайте, что наш полет будет длиться сто семь лет! Это противоречило бы здравому смыслу!

Возможно, во мне просто говорит усталость, потому что мои ноги не переставая дрожат, но вера Блаватского в логику вещей вызывает у меня отвращение, и я восклицаю осипшим голосом:

— А наша жизнь на земле, она не противоречит здравому смыслу?

— Как? И это говорите мне вы, Серджиус? Вы, человек верующий? — парирует Блаватский, который, конечно, верующим не является, но ни за что на свете не решился бы признаться в своем атеизме — во всяком случае, у себя в стране — из боязни прослыть красным.

Он поворачивается ко мне спиной и устремляется в первый класс; пошатываясь, я бреду вслед за ним и с большим облегчением валюсь в кресло.

Я так и не выпустил из рук своего несессера и продолжаю прижимать его к себе, словно самое драгоценное достояние (по правде говоря, единственное, что осталось у меня на свете). И у меня даже хватает сил улыбнуться, когда бортпроводница наклоняется, внимательно всматривается в меня своими кроткими встревоженными глазами, освобождает меня от несессера и сама укладывает его в мою сумку. Выпив чаю и проглотив два тоста, которые она намазала мне маслом, я чувствую себя лучше. Но по-прежнему

ощущаю слабость и — как бы поточнее выразиться? — ощущаю, что все окружающее от меня несколько отдалилось.

А Блаватский тем временем повелительным тоном требует тишины и с большой важностью сообщает о своем открытии. Всеобщее оцепенение и глубочайшая подавленность, а старая миссис Бойд даже разражается, как маленькая девочка, плачем и сетованиями, вслух вспоминая о платьях, которых она уже никогда не наденет в четырехзвездном отеле Мадрапура.

Я тоже сражен этой вестью. Сражен, но не слишком удивлен. Я вспоминаю свои опасения, когда в Руасси по ошибке привез чемоданы на верхний уровень аэровокзала, а бортпроводница заставила меня погрузить их в лифт и нажала кнопку, которая, по ее словам, должна была известить приемщиков багажа, что следует заняться чемоданами, тогда как внизу, я это сам видел, никаких приемщиков не было и следа, она же настойчиво уверяла меня в обратном.

Обманывалась ли она сама на сей счет? Или обманывала меня? А если обманывала, то с какой целью? И как я могу подозревать ее в «заговоре», если она при мне поднялась на борт без всякой ручной клади? Если вот она, здесь, в самолете, если сидит рядом со мной и разделяет нашу общую участь, какой бы она ни была? Я смотрю на ее изящный профиль, на рисунок ее детского рта. Нет, я никогда не решусь задать ей об этом вопрос, хотя утрата багажа, при всем том, что я это предвидел, нанесла мне страшный удар.

А ведь, если полагаться, подобно Блаватскому, на логику вещей, эту утрату вряд ли можно считать непоправимой. Если мои чемоданы не покинули Руасси, я их найду там по возвращении. И если предположить, что мы и в самом деле летим в Мадрапур, мое путешествие даже не будет так уж испорчено. При изучении мадрапурского языка, которым я хочу там заняться, мне будет, конечно, не хватать моих справочников, словарей, магнитофона, но по крайней мере я смогу слушать и делать заметки и попытаюсь связать этот незнакомый язык с какой-нибудь знакомой мне семьей языков.

Однако ни о чем утешительном я сейчас не думаю. Усталый и слабый, я сижу в кресле и безраздельно предаюсь отчаянию. У меня ужасное ощущение, что свою специальность лингвиста, страстная любовь к которой всю жизнь заставляла меня собирать и копить языки, как капиталист копит прибыль, вместе со словарями я утратил навсегда.

Как будто я уже никогда не смогу их снова купить, когда окажусь на земле! Я знаю, это нелепо, но моя мысль не в состоянии выплыть на поверхность из мрачных пучин иррационального. Странное дело, я даже усматриваю определенную связь между тем мгновением, когда Блаватский сообщил мне, что багажный отсек пуст, и мгновением, когда я почувствовал, что меня охватила физическая слабость, которая с тех пор уже ни на миг не покидает меня.

Круг превратился в стену плача. В хор жалоб, над которым, целой октавой выше, поднимаются скорбные вопли наиболее безутешных и бурных плакальщиков — миссис Бойд, мадам Эдмонд, Христопулоса. На грека просто больно смотреть. Он истекает слезами и пóтом, источает страшное зловоние и как будто охвачен неистовством саморазрушения. Он колотит себя обеими руками по голове и самыми ужасными словами поносит себя самого и всех своих предков.

Мадам Эдмонд, с ходящей волнами грудью и пылающим взором, колеблется между гневом и горем. Но, пожалуй, ее все-таки не так жалко, как Христопулоса, ибо у нее под боком есть Робби, который способен ее утешить, тогда как грек, из-за источаемого им запаха, а также из-за своей, возможно ничем не оправданной, репутации торговца наркотиками пребывает в полной изоляции и не находит никого, кто бы его пожалел или с кем бы он мог хотя бы поговорить.

Что касается миссис Бойд, ее хорошие манеры добропорядочной бостонской дамы полностью улетучились. Она без удержу хнычет, в деталях описывая одно за другим все потерянные платья под ледяным презритель-

ным взором миссис Банистер, которая небрежно и раздраженно цедит слова утешения. Ибо нужно ли говорить, что дочь герцога Буательского, как ни огорчила и ее утрата нарядов, считает ниже своего достоинства обращать внимание на мелочи подобного рода. И, произнося вежливые фразы в адрес миссис Бойд, она бросает на сидящего слева от нее Мандзони понимающий, полный иронии взгляд, словно приглашая его в свидетели, что никакие туалеты не в силах исправить маленький рост, впалый живот и маленькие висячие груди его подружки. Но поскольку миссис Бойд продолжает упорствовать в громогласном выражении своей скорби, миссис Банистер наконец говорит ей любезным, но в то же время достаточно высокомерным тоном:

— Да полноте, Маргарет, перестаньте отчаиваться! Вы не одна остались без своих вещей! И ваша утрата вовсе не так уж невосполнима!

— Вы находите? — говорит миссис Бойд, беззастенчиво хлюпая носом.— Мои деньги! Мои драгоценности! Мои платья! Я обобрана до нитки!

— Да ну, перестаньте,— говорит миссис Банистер смеющимся голосом, скосив с видом сообщницы свои японские глаза в сторону Мандзони.— Вы не обобраны, как вы утверждаете, до нитки! Я знаю многих людей, которые были бы счастливы жить на средства, которые у вас остались! По прибытии в Мадрапур вы позвоните своему банкиру в Бостон, и самое позднее на следующее утро вы получите маленький телеграфный перевод.— Слово «маленький» она сопровождает маленькой гримасой.

— И что я на эти деньги куплю? В этой стране дикарей! — говорит миссис Бойд, по-прежнему хныча, но уже с нотками раздражения, словно начинает понимать, что за внешней любезностью подруги таится насмешка над ее персоной.

— Да то же самое, что и я! — говорит миссис Банистер.— Ку́пите себе много разных сари! Они совершенно очаровательны и так женственны! Я уверена,— продолжает она, улыбаясь Мандзони, который, входя в игру, улыбается ей в ответ,— что сари вам будут очень к лицу. Они подчеркивают сексуальность и придают в то же время величественность.— Тут она поворачивается к Мандзони, используя свою иронию в двух целях: выставить в смешном свете приятельницу и вызвать в сознании соседа образ своего прелестного, в полном расцвете женской зрелости тела, задрапированного складками индийского шелка.

Миссис Бойд бросает на нее острый взгляд, ее плач прекращается, и круглое личико становится жестким.

— Я полагаю,— говорит она злым голосом,— что сари будет для вас особенно удобным, когда вам надо будет его с себя снимать.

Она не так уж глупа, эта миссис Бойд, и, невзирая на вялость, способна при случае ловко управиться с томагавком. Я жду, что в ответ миссис Банистер выдаст уничтожающую реплику, но ничего такого не происходит, она молчит, то ли потому, что у нее есть особые причины щадить миссис Бойд, то ли она хочет сохранить свой скальп, поскольку он может понадобиться ей для продолжения атак на Мандзони, которому она по-прежнему улыбается самым откровенным образом, словно предлагая ему себя — в сари или без сари.

У французов обмен оценками нового поворота событий происходит между Пако и Караманом (Бушуа, вконец изнуренный и выглядящий точно мертвец, выбыл уже из игры), причем в тоне — он мне кажется таким типично французским! — *обвинений,* яростных у Пако, сдержанных у Карамана. Да и бьющих к тому же по разным мишеням. Караман, надутый и важный, считает «недопустимым», что Эр Франс, предоставляя все службы и все оборудование своего аэропорта в распоряжение компании чартерных перевозок, не обеспечивает сохранность багажа. Пако, с багровой лысиной и выпученными глазами, во всем обвиняет приемщиков багажа в Руасси-ан-Франс. Они, наверное, объявили по приказу красного профсоюза неожиданную забастовку, нарушая тем самым законодательство о труде, а также элементарные права пассажиров. Пессимист, какими оказываются все французы, как только их прибыли начинают падать ниже

определенного уровня, Пако делает из этого вывод, что во Франции «полная неразбериха» и что страна «летит в пропасть».

— Но вам их вернут, ваши чемоданы! — восклицает Блаватский, видя, в какое волнение пришли французы.— Или возместят их стоимость! Так что не надо из-за этого так себя изводить! Все это не столь уж важно!

— Это важно как симптом,— говорит Робби.— Ибо прекрасно согласуется со всем остальным.

Блаватский устремляет на него пронизывающий взгляд.

— Вы хотите сказать, что все это сделано намеренно?

— Это же очевидно,— говорит Робби.— Это же очевидно, что намеренно. Потеря нашего багажа — часть общего плана, цель которого — поставить нас в безвыходное положение.

Блаватский пожимает плечами, а Караман, полуприкрыв глаза и подергивая губой, говорит с недовольным видом, глядя на Робби:

— Это чистейший вымысел с вашей стороны. Ваша гипотеза ни на чем не основана.

Тут Мюрзек, желтая, худая, с гладко прилизанными волосами, встает, деревянным шагом идет через левую половину круга, наклоняется к бортпроводнице и с настойчивым видом шепчет ей на ухо несколько слов. Та с удивлением смотрит на нее и в конце концов не очень уверенно говорит:

— Да, но при условии ничего там не трогать.

— Я вам обещаю,— говорит Мюрзек.

Она выпрямляется и исчезает за занавеской.

— Куда это она пошла? — изумленно спрашиваю я.

Бортпроводница отвечает, поднимая бровь:

— Она попросила меня разрешить ей уединиться на несколько минут в пилотской кабине.

— И вы согласились! — восклицает Блаватский, сверкая глазами за стеклами очков.

— Конечно. Что в этом дурного? — кротким голосом говорит бортпроводница.— Она никому не помешает.

— Я пойду туда,— говорит Блаватский, вставая с грузной легкостью большого мяча, отскакивающего от пола.

— Да не трогайте вы мадам Мюрзек! — внезапно взрывается Робби.— Она достаточно натерпелась! Вы неисправимы, Блаватский! Опять вы лезете не в свое дело! У вас просто мания шпионить за людьми, вертеть ими так и сяк, обвинять их во всех смертных грехах, всячески на них давить! Оставьте их раз и навсегда в покое!

По кругу пробегает ропот одобрения, и Блаватский, великолепно изображая добродушие, говорит с притворной мягкостью, обнажая крупные зубы:

— Но я не собираюсь ее тревожить. Я только хочу посмотреть, что она замышляет. В конце концов, на карту поставлена наша безопасность.

Бесшумно ступая на толстых каучуковых подошвах, он в свою очередь исчезает за занавеской кухни.

Через несколько секунд он возвращается с непроницаемым видом и, ни слова не говоря, садится, соединяет кончики пальцев и закрывает глаза, как будто собираясь спать. Я нахожу, что для человека, который всегда охотно советует своим ближним «вести себя как взрослые люди», это представление выглядит довольно по-детски. Оно имеет целью наказать нас за наше несогласие, подразнить наше любопытство. Но надежды Блаватского не сбываются. Никто ему никаких вопросов не задает. И по прошествии некоторого времени, доведенный до крайности нашей сдержанностью, он заговаривает первым, этот шпик.

— Ну так вот,— говорит он, обводя круг своими полными иронии глазками,— теперь я совершенно спокоен. Действия такого рода не могут вызвать никаких проблем. Мадам Мюрзек стоит на коленях на ковровой дорожке в пилотской кабине. И не спускает глаз с красной лампочки на приборной доске...

Он замолкает, словно решив, что и так достаточно много сказал, и Караман нетерпеливо спрашивает:

— И что же она делает?

— Молится.

— А! — говорит Караман, и они обмениваются удовлетворенными взглядами.

Совершенно ясно, что, если мадам Мюрзек впала в мистический транс, достоверность ее рассказа о своем кратковременном пребывании на *Земле* становится сомнительной.

— Голосом тихим или громким? — с напряженным видом спрашивает Робби.

Глаза Блаватского за толстыми стеклами ядовито блестят, он выдвигает челюсть вперед и смотрит на Робби неприязненным взглядом: этот жалкий педик позволяет себе задавать ему вопросы после того, как имел наглость так грубо его оборвать. Но Блаватский все же отвечает, хотя и старается не глядеть при этом на Робби; непреодолимое стремление продолжить следствие берет верх над злопамятством.

— В полный голос,— говорит он, сверкая глазами.— Отнюдь не бормочет. Говорит неторопливо и внятно. Четко выговаривает каждое слово и тщательно их отделяет одно от другого.

Он явно подтрунивает над Робби, но Робби не улыбается. Он говорит:

— Какого рода молитву она произносит?

— О, она вам хорошо известна,— говорит Блаватский, с равнодушным и пренебрежительным видом взмахивая рукой. И поскольку мадам Мюрзек француженка, продолжает по-французски: — Отче наш, Иже еси на небесех... и так далее.

— Ах,— отзывается Робби,— лучше бы она говорила: «Отче наш, Иже еси на *Земле*...»

Я приготавливаюсь к тому, что вслед за этой ремаркой он, как всегда, разразится громким визгливым смехом. Но я ошибаюсь. Его лицо остается серьезным и напряженным. И так как никто в салоне не склонен больше высказываться на такую запретную тему, какой является религия, круг упорно молчит.

Я опускаю веки. У меня ничего не болит, я не ощущаю ни малейшего признака болезни, но чувствую себя таким слабым, как будто из меня выпустили половину всей моей крови. Я знаю также, что у меня нет жара, но чувствую, что мой рассудок лихорадочно возбужден, хотя мысли при этом на удивление ясны. Я без конца прокручиваю в голове фразу Робби: «Отче наш, Иже еси на *Земле*». Нет, это не было шуткой. За внешней легкостью тона я улавливаю беспокойство.

С того момента, как *Земля* заставила самолет сесть, меня не покидает уверенность в одной вещи: все, что мы говорим и делаем в салоне, тотчас становится ей известно. Неважно, каким образом, через микрофон или какую-нибудь техническую новинку. Этого я не знаю. Но наши слова, поступки, выражение наших физиономий, может быть, даже наши мысли — *Земля* знает всё. Следовательно, в крохотном пространстве нашего самолета, выполняющего рейс на Мадрапур (хотя только *Земле* одной известно, куда мы летим в самом деле), она осуществляет функцию незримого и всеведущего Господа Бога.

Меня, как верующего, эта мысль потрясает. Ибо Господь, к которому я с детства обращаю свои молитвы, не применяет технических средств — ни телевидения, ни дальней радиосвязи. Он не пользуется компьютером, дабы вложить в него информацию о четырех миллиардах человеческих существ, а потом воздать каждому из них по заслугам. Кроме того, Он ясно и четко дал нам знать о Себе устами Своих пророков и Своего Сына. Благодаря им мы знаем, что Он нас любит и нас спасет, при условии, что мы будем повиноваться Ему. Но мы, сидящие здесь, в круге, и, может быть, ставшие уже вечными пленниками этого самолета, летящего в Мадрапур,— что знаем мы о *Земле* и о намерениях ее относительно нас, если *Земля* не была нам ни разу *явлена?*

Конечно, можно предположить, что, позволив пиратам высадиться, *Земля* это сделала ради спасения жизни Мишу. Но индус сам предостерег нас от этого утешительного толкования. Покидая самолет, он недвусмысленно посоветовал нам не слишком полагаться на «доброжелательство» *Земли*. И вполне может статься, что *Земля* высадила индуса и его спутницу не ради того, чтобы спасти Мишу, а потому, что Она поняла, что присутствие индусской четы в самолете, как подчеркнул это сам индус, было «ошибкой».

Так или иначе, но самый важный и самый, я на этом настаиваю, внушающий ужас факт — это, на мой взгляд, то, что не было нам от *Земли откровения*.

Однако все начинается с откровения. Поначалу Господь являет себя человеку, а затем заключает с ним договор. Только так мы можем сообразовываться с Его желаниями, бояться Его и, разумеется, Его любить. *Земля* же после того, как Она под благовидным предлогом путешествия в Мадрапур (причем благовидность сия становится все более и более сомнительной) заманила нас в самолет, упрямо продолжает хранить молчание.

Ничего ровным счетом не зная о Ней — любит ли нас Она или ненавидит, определила ли нам Она уцелеть, или мы все приговорены Ею к смерти,— мы каждый миг ощущаем, как давит на нас тяжкий груз безмолвной Ее тирании.

Обращать к Ней мольбы, как Мюрзек? Но о чем нам Ее молить? Ибо не ведаем мы, какую судьбу Она уготовила нам. И можем ли мы в молитвах своих с полным смирением препоручить себя Ее воле, если не ведаем мы, чего Она хочет?

Я задаю себе также вопрос: должны ли мы, подобно Мюрзек, обожествлять *Землю* лишь на том основании, что Она невидима, всеведуща и всемогуща? Если *Земля* не блага желает, а зла, тогда, как мне кажется, все мы впали бы в мерзкую ересь, относясь к ней как к сопернице Господа, которого мы всегда почитали.

На этом месте моих размышлений бортпроводница наклоняется ко мне, берет мою руку и смотрит на меня зелеными глазами. Тут только я замечаю, что забыл сказать о них нечто очень существенное. В зависимости от того, что́ эти глаза выражают, они становятся то более светлыми, то более темными, словно чувства, которые она испытывает, обладают властью менять силу света, излучаемого глазами. В это мгновение, хотя во все иллюминаторы льется солнце, глаза ее кажутся мне почти черными.

— Вам лучше? — спрашивает она тихим тревожным голосом.— Где у вас болит?

— У меня нигде не болит. Я чувствую слабость. И ничего больше.

— Вы уже были больны перед тем, как сели в самолет?

— Да нет же. У меня отличное здоровье. За всю свою жизнь я ни разу ничем не болел, не считая, разумеется, гриппа.

Она улыбается мне с материнской нежностью, стараясь, я полагаю, скрыть за этой улыбкой свое беспокойство. Она продолжает с веселым видом:

— Мне нечего дать вам, кроме аспирина. Хотите принять?

— Нет,— говорю я, пытаясь улыбнуться.— Скоро мне станет лучше, спасибо.

Но я уже знаю, что лучше мне не станет. Бортпроводница отворачивается. Она почувствовала, что этот разговор, при всей его краткости, меня утомил.

Я прослеживаю направление ее взгляда — она смотрит на Бушуа, который, закрыв глаза, скорее лежит, чем сидит в своем кресле. Его чудовищно исхудавшее лицо приняло восковой, трупный оттенок, но самое страшное впечатление производят на меня его руки. Желтые и худые, они судорожно вцепились в одеяло, и не потому, что Бушуа страдает — лицо его выглядит спокойным,— но в силу рефлекса, который уже неподвластен сознанию.

Бортпроводница ловит мой взгляд и, наклонившись ко мне совсем близко, почти касаясь меня, полушепотом говорит:

— Меня очень тревожит этот несчастный. Мне кажется, он уже на пределе.

Я привычным движением приподнимаю рукав на левой руке и тут же вспоминаю, что часов у меня, как и у всех остальных, нет. Хотя бортпроводница выразилась деликатно, ибо фразу «Мне кажется, он уже на пределе» можно понимать как угодно, она явно боится, что Бушуа может умереть на борту.

— Не тревожьтесь,— говорю я.— Судя по высоте солнца, мы, пожалуй, уже недалеко от цели. В четырех-пяти часах лёта, не больше.

— Вы так считаете? — говорит она, поднимая брови.

Но тут же она, похоже, спохватывается, что так опрометчиво выдала свои затаенные мысли, потому что моргает, краснеет и, быстро поднявшись, исчезает в galley. Я поворачиваю — ценой большого усилия — голову и провожаю ее глазами, испытывая, как всегда, когда она удаляется от меня, мучительное ощущение холода.

Я обвожу взглядом круг. Хотя я чувствую, что меня теперь отделяет от моих спутников своего рода дистанция, жгучий интерес, с каким я наблюдаю за их жизнью, отнюдь не пропал. К нему даже примешивается сейчас какая-то жадность, как будто само зрелище их жизненной силы, их пререканий, их любовных коллизий — уже это одно наполняет мои жилы кровью, которую я потерял.

К некоторым из них я раньше испытывал враждебность. Теперь с этим покончено. И с моральными оценками тоже. Ах, мораль, мораль! Как ее следует остерегаться! Мораль — это лучший способ, придуманный для того, чтобы ничего не пытаться понять в человеческой натуре.

Взять, например, мадам Эдмонд. Вот она, справа от меня, это великолепное животное в образе человека; от ее могучих форм едва не лопается зеленое платье с черными разводами. Так вот, несмотря на ее ужасное ремесло, я нахожу ее все более симпатичной, а страсть к Робби — просто трогательной. Поначалу она не проявляла к нему интереса — возможно, потому, что после Мишу он более всех в самолете походит на юную девушку. Теперь же она ни на миг не отводит от него своего ярко-синего взгляда, и кажется, что она вот-вот потащит его в туристический класс, сорвет с него брюки и изнасилует. Но я уверен, что тут не только одно вожделение, она начинает его любить — грубо, яростно, бесповоротно. А он, наш чуткий, деликатный Робби, весь в изысках утонченной культуры, которыми он раньше пытался оправдать свой гомосексуализм,— он заворожен и, несмотря на самовлюбленность, будто втянут ею, этой примитивной и для него парадоксальным образом извращенной любовью, и мало-помалу начинает соскальзывать в ее объятья.

К моему величайшему удивлению, Бушуа поднимает веки. Его черный глаз, поначалу замутненный, постепенно оживляется, и правая рука, за минуту до этого лежавшая скорчившись на одеяле, пускается — нерешительно, ощупью — в долгое путешествие к карману куртки. Не без труда он вытаскивает оттуда колоду карт. По его изможденному лицу разливается довольное выражение, щеки слегка розовеют, и, повернувшись вправо, он говорит Пако невероятно слабым голосом:

— Не сыграть ли... нам... в покер?

— Тебе лучше, Эмиль? — говорит Пако, и его череп под воздействием нелепой надежды мгновенно становится красным, а круглые глаза вылезают из орбит.

— Достаточно для того... чтобы сыграть... в покер,— отвечает Бушуа едва слышным, прерывающимся голосом, который доносится словно откуда-то издалека.

Все разговоры в круге замирают. Мы даже дышим теперь с осторожностью, таким ненадежным, готовым в любой миг оборваться кажется нам этот голос.

— Но ты ведь знаешь, что я не люблю покер, Эмиль,— смущенно говорит Пако.— К тому же мне не везет. Я всегда проигрываю.

— Ты проигрываешь... потому что ты... плохо играешь,— говорит Бушуа.

— Я не умею блефовать и обманывать,— говорит Пако, все такой же пунцовый, пытаясь — что не слишком ему удается — изобразить жизнерадостность.

— Если не считать... твоей... частной жизни,— говорит Бушуа.

Молчание. Мы смотрим на Бушуа, ошеломленные такой злопамятностью, которую он, кажется, готов унести с собою в могилу. Пако стоически молчит, сжав в своей руке руку Мишу.

— Какая же вы дрянь,— говорит Мишу, не глядя на Бушуа и с таким видом, как будто ее замечание адресовано всем взрослым на свете.

Снова наступает молчание, и Бушуа говорит усталым голосом, в котором, однако, сквозит нетерпение:

— Ну так как же?

— Но у нас ведь нет денег! — восклицает Пако. Становясь от смущения словоохотливым, он продолжает: — Странно, у меня такое впечатление, будто я голый, когда я не чувствую своего бумажника во внутреннем кармане пиджака. Да, просто голый. И как бы поточнее сказать? — он ищет слово,— ущербный в своей мужской потенции.

— Как интересно! — говорит Робби.— Вы хотите сказать, что прикосновение бумажника к вашей груди дает вам ощущение, что вы мужчина?

— Совершенно точно,— говорит Пако с явным облегчением оттого, что он правильно понят.

Робби мелодично смеется.

— Как это странно! Ведь такое ощущение должно было бы, скорее, возникать, когда вы чувствуете тяжесть тестикул у себя в трусах!

— Котик! — восклицает мадам Эдмонд, которая, влюбившись, стала стыдливой.

— Мсье Пако,— говорит вдруг Христопулос, сверкая черным глазом и плотоядно облизывая под пышными усами губу,— нет никакой необходимости иметь при себе банкноты, чтобы играть в покер. Вы берете первый попавшийся клочок бумаги, пишете на нем «Чек на 1000 долларов» и ставите свою подпись.

— Мадемуазель, у вас есть бумага? — спрашивает Пако у бортпроводницы, которая в эту минуту возвращается из galley.

— Нет, мсье,— отзывается бортпроводница.

— У кого есть бумага? — говорит Пако, стараясь придать своему лицу веселое выражение и обводя круг глазами.

Никто, по-видимому, бумагой не запасся, за исключением разве что Карамана, у которого в портфеле среди всяких папок, я это видел, лежит чистый блокнот. Но Караман, полуприкрыв глаза и приподняв губу, даже не шелохнулся — то ли он вообще скуповат и не дает ничего взаймы, то ли не любит (как, впрочем, и я), когда играют на деньги.

— Но ведь тут годится любая бумага,— говорит с воодушевлением Христопулос, делая округлый восторженный жест своей короткой рукой.— Мадемуазель, нет ли среди ваших запасов туалетной бумаги? В пачках. Не в рулонах.

— Полагаю, что есть,— говорит бортпроводница и направляется в galley.

Пако начинает смеяться с веселым и вместе с тем смущенным видом, и даже Бушуа улыбается, но, так как у него на лице осталось совсем мало кожи, да и та воскового цвета, его улыбка только зловеще обозначает рисунок челюстных костей. Удовольствие, которое он испытывает, предвкушая карточную партию — вероятно, последнюю в его жизни,— вызывает у меня ужас.

Бортпроводница возвращается из galley и с бесстрастным лицом протягивает Пако пачку туалетной бумаги.

— Вы собираетесь на это играть? — цедит сквозь зубы миссис Банистер.

— My dear,— говорит миссис Бойд,— don't talk to these men! [1]

— Меня вынуждают к этому наши обстоятельства,— говорит Пако.— Ну, так что же я теперь должен делать? — спрашивает он и вынимает из кармана шариковую ручку.

— Мадемуазель,— с масляной вежливостью обращается Христопулос к Мишу,— не окажете ли вы любезность позволить мне сесть рядом с мсье Пако?

— Пожалуйста, Мишу,— просит Пако.

— «Пожалуйста, Мишу»,— передразнивает Мишу, сердито глядя на него из-под свисающей на глаза прядки и не скрывая своего недовольства.— Вообще-то,— добавляет она с чисто детской досадой, пересаживаясь в кресло, которое раньше занимал индус, и в гневе роняя свой полицейский роман (а заодно и фотографию Майка, уголок которой она во время чтения основательно изжевала),— мне было вовсе не плохо и возле того, с кем я сидела!

— Но это совсем ненадолго, мой ангелочек,— говорит Пако, тронутый и в то же время обеспокоенный мини-сценой, которую ему закатили.

— И вовсе я не ваш ангелочек, пузан вы этакий,— говорит Мишу, и по ее тону можно ожидать, что сейчас она покажет ему язык. Но она утыкается носом и свисающими на лоб волосами в книгу, сует в зубы уголок фотографии Майка и умолкает.

— Если позволите, мсье Пако,— говорит Христопулос, наклоняясь к нему, и Пако поспешно отшатывается, задерживая дыхание,— вы пишете на каждом листке «Чек на 1000 долларов», ставите дату и подпись.

— Нет,— говорит Пако, смеясь и бросая взгляд на Блаватского.— Не долларов! Это несолидно! Швейцарских франков или немецких марок! Сколько мне заготовить расписок?

— Для начала тридцать,— говорит Христопулос с услужливым смешком, но глаза у него бегают, и весь его вид невероятно фальшив. И добавляет словоохотливо и любезно: — Вы будете нашим банкиром, мсье Пако. Вы нам выдадите по десять билетов каждому, а по окончании партии мы их вам вернем соответственно с нашими выигрышами и проигрышами.

— «Чек на 1000 швейцарских франков»,— легкомысленным тоном произносит Пако, начиная писать округлым почерком.

Следует пауза, после чего Караман говорит весьма холодно, но голоса, однако, не повышает:

— На вашем месте, мсье Пако, я не стал бы расписываться на такого рода банкнотах.

— Но ведь это туалетная бумага! — говорит с легким смехом Пако.

— Сорт бумаги отношения к делу не имеет,— говорит Блаватский.

Круглые выпученные глаза Пако перебегают от Карамана к Блаватскому. Эти двое впервые друг с другом в чем-то согласны, что производит на него, кажется, сильное впечатление. Но в эту секунду Бушуа говорит слабым, полным упрека и дрожащим от нетерпения голосом:

— Ну... и чего же ты ждешь?..

Его тон достаточно ясно свидетельствует о том, что шурин из эгоизма лишает его последнего удовольствия в жизни.

— Да пишите же, мсье Пако! Чего вы боитесь? — внезапно говорит Робби голосом, в котором, как всегда, можно уловить второй смысл.— Пишите все, что вам захочется! Ставьте дату. Подписывайте! Это не имеет абсолютно никакого значения! Несмотря на то что мсье Христопулос, как, впрочем, и эти господа, убежден в обратном.

О том, что́ Робби хочет этим сказать, я полагаю, Пако не догадывается. Но, понукаемый Бушуа и приободренный репликой Робби (который с тех пор, как мадам Эдмонд объявила во всеуслышание о повадках Пако, ведет себя с ним очень по-дружески), Пако наконец решается, пишет наспех тридцать банкнотов, подписывает их, десять дает Бушуа, десять Христопулосу и берет остальные себе.

---

[1] Дорогая, не говорите с этими людьми! *(англ.)*

Я закрываю глаза. Я не собираюсь следить за этой карточной партией. Я нахожу ее нелепой, неуместной и в конечном счете для всех унизительной — включая и тех, кто вынужден быть ее зрителем. Мне бы хотелось, чтобы эти минуты нашего путешествия — путешествия Бушуа, моего собственного, да и всего нашего круга — поменьше омрачались подобными ничтожными пустяками. Кроме того, в этой партии в покер нет ничего, как говорят на скачках, «захватывающего»: ее результат известен заранее.

Внезапный отвлекающий маневр, произведенный Мандзони, заставляет меня снова открыть глаза. Он говорит бархатным сюсюкающим голосом:

— Между вами и мсье Христопулосом есть свободное кресло. Не разрешите ли вы мне его занять?

— Нет,— отвечает Мишу, бросая сквозь прядку волос суровый взгляд на Мандзони. И с жестокостью, ею, вероятно, лишь наполовину осознанной, добавляет: — Спасибо, я больше в вас не нуждаюсь.

— Мой ангелочек! — бросает с упреком Пако.

— Имя в эту минуту очень мало заслуженное! — отзывается Робби.

— Вы! — говорит Мишу, глядя на Пако с ребяческой злостью.— Занимайтесь своими погаными картами и оставьте меня в покое!

Лицо Мандзони, хотя и несколько бледное, сохраняет бесстрастное выражение, но его пальцы впиваются в подлокотники кресла. Он бы побледнел еще больше, если бы мог видеть, какой взгляд бросает на него в эту минуту соседка сквозь щелки своих век; сходство их с крепостными бойницами в который уж раз поражает меня. У них то же самое назначение: видеть, оставаясь невидимым, и стрелять, оставаясь неуязвимым.

Тут Робби протягивает свою длинную тонкую руку, кладет изящную длань на колено Мандзони и оставляет ее там словно по причине забывчивости. Этот жест, задуманный как утешающий, очень походит на ласку, и Мандзони снисходительно его терпит — может быть, в силу двойственности своей натуры, а может быть, потому, что, будучи добрым и чувствительным человеком — качества, которыми не меньше, чем красотой, объясняется его успех у женского пола,— он не хочет причинять своему другу боль. Но мадам Эдмонд реагирует незамедлительно. Она наклоняется к Робби и начинает выговаривать ему тихим сердитым голосом. Мне кажется, что я слышу, как она обещает влепить ему «пару увесистых плюх», и поскольку, ни на миг не переставая его ругать, она свирепо стискивает его левое запястье, Робби слегка кривится от боли и убирает с колена Мандзони провинившуюся руку. Получив хорошую взбучку, изруганный и побежденный, он, по всей видимости, не так уж этим и недоволен, однако вовсе не думает отказываться от сладостных планов относительно Мандзони, прочно засевших у него в голове.

В эту минуту, когда партия в покер в правой половине круга начинает оживляться и глаза Бушуа, хотя у него еле хватает сил удерживать в руке карты, радостно сияют на неподвижном лице, раздвигается оранжевая занавеска galley, и в салоне снова возникает мадам Мюрзек с опущенными долу глазами и с выражением умиротворенности на желтом лице, каковую она обрела в результате свершения религиозных обрядов. Она скромно устраивается в кресле, размещая в нем свое угловатое, жесткое тело, и, когда она наконец поднимает глаза, которые, даже смягчившись после молитвы, нестерпимо горят сине-стальным огнем, с изумлением замечает, что справа от нее развертывается партия в покер.

— Как! — говорит она тихим негодующим голосом.— Они заставили этого несчастного, несмотря на его состояние, с ними играть?

— Нет, нет,— говорит миссис Банистер,— вовсе наоборот.— И sotto voce добавляет со скрытой иронией: — Этот несчастный сам их заставил.

Немного помолчав, Мюрзек говорит, приглушая голос:

— На что же они играют, если у них нет денег? Что означают эти листки?

Ни миссис Банистер, ни миссис Бойд отвечать на этот вопрос не собираются, и тогда, чуточку выждав, Робби со вполне серьезной миной, но

со вспыхнувшими глазами наклоняется вперед, чтобы видеть Мюрзек, и говорит деловым тоном:

— Эти листки, благодаря сделанной от руки надписи, стоят по тысяче швейцарских франков каждый. Они взяты из пачки туалетной бумаги.

— Но это же отвратительно! — говорит Мюрзек, все так же не повышая голоса.

— О, вы знаете,— отзывается Робби,— деньги не пахнут.— И добавляет: — Это, пожалуй, самое сильное обвинение, которое можно предъявить капитализму.

При всей своей безобидности этот выпад против основных нравственных ценностей Запада не оставлен без внимания: Блаватский устремляет на Робби подозрительный взгляд. Самое приятное, когда имеешь дело с полицейским, даже если он очень умный, то, что ты чуть ли не воочию можешь видеть, как работают у него мозги. В эту минуту я почти наверняка знаю, что́ думает Блаватский о Робби. Однако он ошибается, ибо Робби слишком сосредоточен на своей персоне, чтобы примкнуть к какой-нибудь политической доктрине, разве что совсем ненадолго и совершенно пассивно.

Когда я сижу неподвижно, я почти не ощущаю своего болезненного состояния. Если не считать ног. Чувство, что они у меня ватные, мне уже доводилось испытывать прежде. Но есть и существенная разница: сейчас это не выздоровление после гриппа, когда есть надежда, что с каждым днем тебе будет становиться все лучше. С нарастающей тревогой я ощущаю, что все глубже погружаюсь в недуг, о котором я совершенно ничего не знаю и который не вызывает у меня ни жара, ни болей, ни даже просто недомогания — только ощущение сильнейшей астении и безмерной усталости. Думаю, что люди, страдающие острым малокровием, да еще глубокие старики должны все двадцать четыре часа в сутки испытывать это тягостное чувство, когда силы неотвратимо покидают тебя.

Одновременно — должно быть, из-за моего бессилия — у меня появляется повышенная возбудимость, с которой мне почти невозможно совладать. Меня все раздражает, все действует мне на нервы, и больше всего эта партия в покер в правой половине круга, которую разыгрывают между собой три человека — умирающий, торгаш и любитель «малолеток». Мне трудно вынести самый вид их физиономий, их задумчивое молчание, маниакальное манипулирование картами, трагические голоса, которыми они объявляют ставки, шуршанье бумажных листков, которые им служат деньгами. Я закрываю глаза, но продолжаю их видеть, пленников собственного ритуала, встревоженных, алчно тянущихся к приманке смехотворного выигрыша. И я чуть ли не ощущаю внезапное сердцебиение, когда кто-то из них торжественным тоном требует «раскрыться», и проходит не одна секунда, прежде чем партнер выкладывает свои карты. Хотя я человек по природе терпимый, меня охватывает отвращение. Мне кажется, что человеческое сердце, особенно в часы и минуты, которые выпали сейчас нам на долю, должно биться во имя чего-то другого, а не ради клочков бумаги, предназначенной для подтирки.

Чем дольше тянется эта партия, тем сильнее охватывает меня тошнота, когда я думаю о фальшивости этого идиотского культа, этого бесстыдного публичного поклонения случаю, деньгам и обману.

— Жаль, что у вас нет больше ваших перстней, мсье Христопулос,— неожиданно говорит Блаватский, в то время как Пако, у которого заметно поубавилось количество подписанных им листков, долго тасует карты.— Вы бы могли поставить их на кон.

— Я никогда не ставлю своих перстней на кон! — говорит Христопулос так, как будто они до сих пор украшают его пальцы.

— Да, разумеется,— говорит Блаватский,— в этом, должно быть, нет необходимости! Вряд ли вы часто проигрываете!

— Действительно,— со спокойным апломбом отвечает Христопулос,— я выигрываю. И выигрываю не потому, что мухлюю, мсье Блаватский. Вопреки вашим грязным инсинуациям, я выигрываю потому, что умею играть.— Он проводит рукой по лбу, чтобы вытереть пот, и не

без достоинства продолжает: — Как греческий гражданин, я должен выразить сожаление в связи с расистским характером ваших инсинуаций.

Блаватский молчит, не оправдываясь и не извиняясь. Он сидит как глыба, губы сжаты, глаз за очками не видно.

После чего Мюрзек вздыхает и меланхолически говорит:

— Индус вышел на большую дорогу, а мы вот пошли по малой.

Это загадочное заявление так могло и кануть на дно общего равнодушия, если бы не Робби, который вытаскивает его на поверхность.

— Что вы подразумеваете под «большой дорогой», мадам? — спрашивает он с напускной или искренней (этого я определить не могу) почтительностью.— И что вас заставило предположить, что индус вышел именно на нее?

— Но он сам ведь сказал,— отвечает Мюрзек.— «Я человек с большой дороги».

Ошибка так очевидна и так для меня, лингвиста, невыносима, что я считаю себя обязанным вмешаться.

— Простите, мадам,— говорю я по-французски.— Вы сделали небольшую ошибку при переводе. Индус действительно сказал «I am a highwayman», но это выражение имеет в английском языке совсем другой смысл, нежели тот, на котором вы остановили свой выбор. На самом деле эта фраза означает «Я бандит с большой дороги».

— И вы всерьез считаете, что индус был бандитом? — с негодованием уставившись на меня, спрашивает Мюрзек.

Я не успеваю ответить. Мадам Эдмонд опережает меня.

— А кем же еще его считать? — кричит она громко.— Он, жулик, обчистил нас до нитки, даже часы у меня снял! Да еще не забывайте, что он все время нас держал под прицелом и чуть не шлепнул малышку. Ведь правда, котик? — продолжает она, кладя свою мощную руку на тонкие пальцы Робби.

Но поддержки она с этой стороны не находит. Робби одаряет ее чарующей улыбкой, но качает головой.

— Да нет же, котик! — говорит мадам Эдмонд с раздражением, отчего у нее сильно колышется грудь.— Ты не можешь этого отрицать! Я как сейчас вижу, как этот тип уносит все наше добро в своей сумке!

Мюрзек издает крик, все глаза устремляются на нее.

— Ах, я вспомнила,— говорит она.

И поскольку она молча сидит с закрытыми глазами и с искаженным от волнения лицом, Робби мягко спрашивает:

— О чем вы вспомнили?

Она открывает глаза и говорит:

— Об индусах, идущих вдоль озера.

Она снова молчит.

— Ну конечно,— мягко говорит Робби.

Он глядит на Блаватского и поднимает руку ладонью в его сторону, как будто хочет предотвратить очередное его вмешательство. Затем продолжает голосом осторожным и тихим, словно боясь оборвать ту хрупкую нить, которая связывает Мюрзек с ее воспоминаниями:

— Они идут впереди вас. Вы ведь видите их со спины, правда? Их черные силуэты проступают в световом пятне, который образован их фонарем. Вы ясно различаете тюрбан на голове индуса и сумку из искусственной кожи, которая раскачивается у него в руке. Он идет вдоль берега озера.

— Но это не обычный берег,— говорит Мюрзек с неподвижно застывшим желтым лицом.— Это набережная.

— И в какое-то мгновение индус повел своим фонарем вправо и вы увидели воду?

— Воду и набережную,— говорит Мюрзек.— Вода была черная.

Она опять замолкает, и Робби тихонько спрашивает:

— И тогда?

— Он шел очень близко от воды.

— По самому краю?

— Да, по самому краю. Сумкой из искусственной кожи он размахивал над водой.

Снова пауза. Христопулос поднимает голову и замирает с картами в руке.

— И потом? — спрашивает Робби.

— Потом он вытянул руку. Разжал пальцы. Сумка упала.

— В воду?

— Да, в воду.

— Это ложь! Это ложь! — вопит, выпрямляясь с картами в руке, Христопулос.— Вы лжете. Вы это все сочинили!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Первым на этот вопль отреагировал не Блаватский, как можно было ожидать, а Караман. Подергивая уголком губы, он говорит тем чопорным тоном, из-за которого мне всегда кажется, что он самого себя пародирует:

— Это с вашей стороны неучтиво, мсье. Сядьте, прошу вас.

И Христопулос, видимо раз навсегда решив, что не в его интересах раздражать Карамана, не произносит больше ни слова, садится опять на место, утыкается носом в карты и полностью устраняется от участия в дискуссии, в которую вмешался с таким оглушительным шумом. Но пререкания продолжаются без него, следуя законам какой-то чисто поверхностной логики, тем более поразительной, что ее конечную цель совершенно невозможно определить. Ибо, если судить здраво, имеет ли этот спор вообще какой-нибудь смысл? Зачем он? Какой в нем прок? И об этом ли нужно нам сейчас спорить?

— Мадам,— говорит Караман, обращаясь к Мюрзек,— я отнюдь не разделяю тех обвинений, которые были вам только что брошены. Но ваше сообщение меня удивляет.

Мюрзек поворачивает голову в его сторону, но не отвечает. Конечно, она очень устала, это видно по ее лицу, худому и желтому. Ей пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы отыскать в глубине своей памяти маленькую деталь, которую ужас, охвативший ее в тот момент на земле, не дал ей отметить. Но как объяснить, почему она становится вдруг такой пассивной и миролюбивой и даже оставляет без ответа инсинуацию Карамана? Ибо, когда дипломат говорит вам: «Ваше сообщение меня удивляет», это всего лишь вежливая формула, которая означает, что он сомневается в достоверности ваших слов. Отсюда не так уж и далеко до «Вы лжете!» Христопулоса. Караман выразил это с бóльшим тактом, только и всего.

— Это сообщение вас удивляет? — вызывающим тоном вступает вдруг Робби. И добавляет с налетом театральности, словно вытаскивая с громким лязгом из ножен шпагу, чтобы броситься на защиту Мюрзек: — Почему же?

Караман моргает полуопущенными веками. Он не склонен вступать в полемику с Робби, в отношении которого он проявляет «некоторую сдержанность». Но, с другой стороны, он, по всей видимости, почему-то (почему именно — мне непонятно) считает для себя очень важным навязать нам свою точку зрения на вопрос о кожаной сумке. Глядя на Мюрзек, как будто это она бросила ему свое «Почему же?», он говорит:

— Да потому, мадам, что ваше сообщение, вы должны это сами признать, несколько запоздало.

Мадам Мюрзек не успевает ему ответить. С обнаженной шпагой ее защитник бросается в бой.

— Запоздало! — говорит Робби.— Но это еще не причина, чтобы ему не доверять. В конце концов, мадам Мюрзек пришлось во время посадки выдержать тяжелейшее испытание. Она сама нам поведала о том ужасе, который ее охватил. Вы только вспомните, прошу вас, с каким оскорбительным недоверием отнеслись некоторые из нас к ее словам, когда она впервые попыталась рассказать, как развивались тогда события возле самолета. Ее

сообщение постоянно перебивалось и было буквально изрублено на куски.— Это говорится, не глядя на Блаватского, но полным злопамятства тоном.— Словом, все было пущено в ход для того, чтобы отвергнуть истину, которая была сочтена нежелательной, и заставить мадам Мюрзек замолчать. Неудивительно, что в этих условиях какое-то воспоминание, даже очень важное, могло от нее ускользнуть.

Реплика Робби звучит резко и мстительно, и я жду, что Караман откажется от дальнейшего участия в споре, тем более что, упорствуя в своем скептицизме, он уже явно оскорбляет мадам Мюрзек. Но до меня, видимо, все еще не доходит, какова для Карамана подлинная ставка в этой игре, потому что он с крайней ожесточенностью продолжает цепляться за свою точку зрения. Во всей этой ситуации есть что-то странное, ибо Мюрзек довольствуется тем, что не спускает с Карамана своих синих глаз — их выражения я не могу различить, так как вижу ее только в профиль,— и, поскольку она по-прежнему молчит и в бой не вступает, Караману, чтобы подвергнуть сомнению ее рассказ, поневоле приходится скрестить шпаги с Робби. Он делает это довольно вяло, опасаясь, очевидно, ложного выпада или вероломного удара из-за угла: ведь можно всего ожидать от этого типа, несомненно привыкшего нарушать все моральные нормы, ибо те из них, которыми определяется у взрослых мужчин выбор сексуального партнера, он уже нарушает.

С подергивающейся губой и почти опущенными веками — что защищает его от неотступного взгляда синих глаз, который устремила на него Мюрзек,— сидя (именно сидя, а не развалясь) в своем кресле с высоко поднятой и безукоризненно причесанной головой и учтиво повернувшись к Мюрзек, но избегая глядеть ей в лицо — разве что косясь иногда на ее костлявые колени — и не адресуясь в то же время и к Робби, хотя в конечном счете он отвечает именно ему, Караман говорит:

— Само собой разумеется, что я ни на миг не подвергал сомнению искренность мадам Мюрзек. Но она могла ошибиться. Ночь была темная, она сама это отметила. Индусы шли от нее метрах в двадцати и были освещены слабым светом электрического фонаря; мадам Мюрзек видела лишь их силуэты. Ее могла обмануть игра теней, тем более что в ту минуту она пребывала в совершеннейшей панике.

Караман таким образом делает определенную уступку по вопросу о лжи, но зато вновь отвоевывает утраченные было позиции в вопросе об ошибке.

Робби хорошо понимает, что единственный достойный ответ на это коварное недоверие может дать только сама Мюрзек. Он взглядывает на нее, приглашая взять слово. Напрасная надежда. Мюрзек ничего этого не видит. Она по-прежнему не спускает глаз с лица Карамана.

— Ну, и что вы об этом думаете, мадам? — спрашивает Робби почтительно и вместе с тем нетерпеливо, словно его раздражает, что особа, которую он решил защитить, столь плохо в этом ему помогает.

— Ничего,— отзывается Мюрзек, не изменяя направления своего взгляда. И добавляет: — Если мсье Караман не хочет мне верить, это его личное дело.

Ни в тоне этого замечания, ни в его смысле не заключено ничего агрессивного, но при всем желании мадам Мюрзек не смогла бы задеть Карамана больнее.

— Мадам! — говорит он, с суровым видом выпрямляясь в кресле.— Дело вовсе не в том, что я *не хочу* вам верить! Дело в том, что ваша версия изложения фактов совершенно неправдоподобна. Как! Перед нами человек, который сам называет себя «бандитом с большой дороги», который забирает у нас наши паспорта, нашу денежную наличность, наши дорожные чеки, наши драгоценности и даже наши часы! Ему удается, угрожая казнью одной из пассажирок, вынудить самолет к посадке, он бежит со своей добычей, а вы нам рассказываете, что, едва успев выйти из самолета, он выбросил все награбленное в воду! Кто может в такое поверить?

Эта пылкая речь — во всяком случае, пылкая настолько, насколько

вообще может быть пылкой речь Карамана,— вызывает шумное одобрение у Христопулоса, на секунду оторвавшегося от своих карт, и у мадам Эдмонд, а также поддержку, правда менее шумную, большинства пассажиров, исключая Робби, бортпроводницу, Мюрзек и, конечно, меня; я крайне раздражен всей той риторикой, в которую облек свое выступление Караман и которая, однако, не может, на мой взгляд, скрыть явную логическую ошибку, лежащую в основе его рассуждений. Отнюдь не собираясь ее вскрывать и не желая подменять в продолжающейся дискуссии Робби, я хочу тем не менее бросить камешек в огород дипломата.

— Это верно,— говорю я севшим голосом, слабость которого меня удивляет, ибо рассудок мой сохраняет при этом полную ясность,— это верно, индус и вправду объявил: «I am a highwayman». Но на вашем месте, мсье Караман, я не стал бы рассматривать эту фразу как признание. Индус обладал весьма специфическим юмором, почти все его замечания были ироничны, и было бы грубой ошибкой принимать их за чистую монету.

— Даже если имел место грабеж? — говорит Караман.— Грабеж, в полной мере подтвердивший определение, которое индус сам себе дал! И тут уж неважно, говорил он это с юмором или всерьез,— сухо добавляет Караман, окидывая меня весьма нелюбезным взглядом.

Считая, видимо, что этой репликой он выбил меня из седла, Караман удобно устраивается в кресле и, очень довольный собой, поворачивается к Робби. И с удивлением видит, что тот улыбается.

— Мсье Караман,— говорит Робби своим мелодичным голосом и бесстыдно кокетничая,— вы допустили в своей маленькой речи очень большую логическую ошибку. Вы начали с того, что приняли как само собой разумеющееся предположение, которое сами же хотели доказать.

Караман отпрядывает назад, задетый за живое в своем картезианском самолюбии.

— Да, да! — говорит Робби.— Ваш ход рассуждений таков: индус забрал у нас деньги, драгоценности, часы,— следовательно, он грабитель и вор. И если он вор, он не мог бросить в воду кожаную сумку со своей добычей. Следовательно, утверждая, что он это сделал, мадам Мюрзек лжет.

— Или ошибается,— вставляет Караман.

— Или, если хотите, ошибается,— говорит, усмехаясь, Робби.— Это звучит более вежливо. Так или иначе, вы исходите из интерпретации, которую вы даете одному факту (ограбление нас индусом), и отрицаете на этом основании другой факт, несмотря на то что он подтвержден свидетельством очевидца. Но стоит вам допустить, что этот факт имел место, что индус, как утверждает мадам Мюрзек, действительно бросил кожаную сумку в озеро, и ваша интерпретация первого факта мгновенно рассыпается в прах. Индус нас, конечно, ограбил, но сделал он это не как грабитель и вор. Ибо все отнятые у нас вещи он до такой степени презирает, что швыряет их в воду, едва успев нас покинуть. И делает это, заметьте, без всякой необходимости, поскольку никто его не преследует.

Наступает молчание. Караман сидит неподвижно, наполовину прикрыв веки, и, если бы не движение большого пальца правой руки, которым он безостановочно растирает от ногтя до нижней фаланги большой палец на левой руке, можно было бы подумать, что он смирился со своим поражением.

Но то была бы явная недооценка моральных качеств этого блестящего выученика святых отцов. Не проходит и минуты, как он высокомерно фыркает носом и, вновь непоколебимо уверенный в себе, приподняв губу и не повышая голоса, говорит:

— В одном пункте я с вами согласен. Я действительно подверг интерпретации личность индуса. Но моя интерпретация является с точки зрения простого здравого смысла наиболее очевидной. Индус нас обокрал. Следовательно, он вор. Однако у мадам Мюрзек, я хотел бы это подчеркнуть, тоже имеется своя интерпретация личности индуса. Индус нас обокрал. Но обокрал не как вор. Отнюдь нет. Он мудрец, пророк, святой...

— Не пророк и не святой,— твердо говорит Мюрзек.— Но мудрец — да. Или, если предпочитаете, учитель.

— Прекрасно! — говорит Караман, и в его голосе слышатся нотки торжества.— И когда он покидает самолет, вы следуете за ним, как ученик за своим учителем. Ученик, для которого, конечно, неприемлема мысль о том, что его высокочтимый наставник — самый вульгарный воришка. Следовательно, нужно, чтобы индус... как бы получше это выразить... избавился от того, от чего он избавил нас,— и вам показалось, что именно это вы и увидели...

Короткая пауза, и мадам Мюрзек, которая по-прежнему не спускает с Карамана глаз, говорит четким голосом:

— К несчастью для вашей теории, мсье,— теории, очень для вас удобной,— мне *не показалось,* что я вижу, как индус бросает сумку в воду. Я это действительно видела.

В том, с какой интонацией произнесены эти слова, и в сопровождающем их неумолимом взгляде пылающих огнем синих глаз в самолет словно вдруг возвратилась прежняя Мюрзек, и у нас перехватывает дыхание.

— Удобной! — восклицает, выпрямляясь в кресле и краснея до корней волос, Караман.— В чем же эта теория так уж для меня удобна, вы можете мне сказать?

Один порог уже преодолен, порог свойственной дипломату невозмутимости. Но еще удивительнее трансформация, которая на наших глазах происходит с Мюрзек. Едва успел отзвучать негодующий вопрос Карамана, как она, охваченная раскаяньем, обмякает. Она кладет обе ладони на колени, опускает глаза, сутулится и говорит взволнованным голосом:

— Если мои слова вас обидели, мсье, я беру их обратно и от всего сердца прошу меня простить.— И поскольку Караман молчит, она добавляет со вздохом: — Надо сказать, что люди, которые были, подобно мне, всю жизнь исполнены злобы, не могут так быстро избавиться от некоторого автоматизма. Быть недоброжелательной очень легко. Видите ли,— добавляет она в неожиданном поэтическом порыве, удивляющем меня не меньше, чем проникновенная искренность ее тона,— яд находится у меня так близко к сердцу, а слова, которые могут ранить людей, так близко к устам...— И совсем уже тихо завершает: — Я еще раз смиренно прошу у вас прощения, мсье.

Наступает полная тишина — если оставить за скобками реплики, которыми обмениваются игроки в покер. Со смешанными чувствами гляжу я на эту французскую святошу, которая получает горькое наслаждение, прилюдно бичуя себя.

Что до Карамана, он усиленно подергивает губой. Когда ты на протяжении всей сознательной жизни — от монастырской школы ордена Иоанна Крестителя до Кэ-д'Орсе — являешься в своем выпуске самым блистательным учеником, очевидно, нельзя допустить, чтобы кто-либо в чем-либо тебя обошел. Даже в смирении.

— Мадам,— говорит он с тяжеловесной значительностью и великолепно имитируя сокрушение,— это я должен просить вас меня извинить, поскольку я позволил себе подвергнуть сомнению если даже не искренность, то, во всяком случае, точность вашего рассказа.

Я смотрю на него. «Если даже не искренность, то, во всяком случае, точность вашего рассказа»! Милый Караман! Милая старая риторика! А также добрая старая Франция, где нельзя надеяться дойти до высших ступеней административной или правительственной карьеры, если в лицее не получишь первой премии за перевод с латыни.

— Нет, нет,— говорит Мюрзек, решительно тряхнув головой и являя собой воплощенное угрызение совести.— У вас были все основания подвергнуть мой рассказ сомнению и считать меня старой дурой.

Караман с обеспокоенным видом бросает на меня быстрый взгляд, словно желая спросить, не пересказал ли я Мюрзек нашу с ним утреннюю беседу. Я отрицательно качаю головой, он успокаивается, с постным лицом

глядит на мадам Мюрзек и, по-прежнему полный решимости обойти соперницу на пути к высотам покаяния, говорит, еще больше понизив голос, проникновенно и важно:

— Я никогда не считал вас... тем, кем вы себя назвали, мадам, но я был очень и очень не прав, когда, возражая против вашего свидетельства, дошел в своих возражениях до того, что они могли вам показаться обидными.

Тут Робби прыскает и принимается хохотать, прикрывая, как маленькая девочка, ладошкой рот, производя круговые движения тазом и сплетая и расплетая свои длинные ноги. Все смотрят на него с осуждением, и он, постепенно обретая серьезность, говорит, подавив последнюю вспышку смеха:

— Если это маленькое состязание в милосердии между двумя добрыми христианами наконец завершилось, мы бы, пожалуй, могли вернуться к существу проблемы...

Но продолжить ему не дают. Опустив забрало, в битву с грохотом вступает Блаватский.

— Мадам Мюрзек,— говорит он по-французски, чрезмерно грассируя,— согласно вашей версии, индус шел, размахивая над водой своей черной сумкой из искусственной кожи. Потом он внезапно вытянул руку и разжал пальцы. Я правильно излагаю?

— Да,— отвечает Мюрзек.— Именно так все и было.

— Благодарю вас. Не могли бы вы мне сказать, какое выражение лица было у индуса, когда он произвел это движение?

— Я не могла этого видеть, поскольку он был обращен ко мне спиной,— простодушно отвечает Мюрзек.

Робби снова принимается гоготать.

— Помилуйте, Блаватский,— говорит он,— что за детская ловушка! Once a cop, always a cop! [1] Да и вообще, зачем расставлять ловушки мадам Мюрзек? Вам что, очень хочется, чтобы она солгала или ошиблась? Вы тоже цепляетесь за успокоительный и удобный тезис о том, что индус просто вор?

Приподняв губу, Караман говорит дрожащим от сдерживаемого раздражения голосом, бросив на Робби быстрый взгляд:

— Могли бы вы мне, наконец, сказать, что вы понимаете под этим термином «успокоительный и удобный»? Если только это не очередные магические словечки современного жаргона,— добавляет он с тонкой улыбкой.— В таком случае, разумеется, нет необходимости, чтобы они что-нибудь означали.

— Я готов их вам объяснить,— говорит с коварной кротостью Робби, и в его светло-карих глазах вспыхивает огонек.— Но для начала отметим следующее: вы, мсье Караман, исходите из того, что для пассажиров нет, по существу, никакой разницы, присвоил ли индус унесенную сумку или бросил ее в воду. В обоих случаях мы больше никогда не увидим ее содержимого. Тогда в чем же дело? — Изящное вопросительное движение длинной руки.— Откуда такие страсти? Почему столько усилий ради того, чтобы уличить мадам Мюрзек в заблуждении или обмане? Я вам это скажу: если индус в самом деле бросил сумку в воду, его образ обретает смущающие душу черты. Это уже не воздушный пират и не бандит. Это кто-то другой. Мудрец или учитель, как говорит мадам Мюрзек. И кто тогда может поручиться, что его противоборство с *Землей* не было всего только видимостью? И что он не был специально послан *Землей,* дабы преподать нам урок избавления от земных благ? — Последние слова он произносит с особым нажимом.

— Фу! — говорит Блаватский.

— Ну, это уж вовсе литературщина! — восклицает Караман.

Но Робби эти презрительные реплики не смущают. Он как будто их ждал. Он встряхивает длинными кудрями, изгибает шею, в его глазах вспыхивают лукавые искры, и он улыбается ангельской и ироничной улыбкой.

---

[1] Если ты шпик, ты останешься им на всю жизнь! *(англ.)*

Но меня он этим не обманет. Я уже успел понять, что его ужимки — остаток мальчишеской агрессивности, от которой ему не удалось до конца избавиться. Но за ними почти всегда таится нечто серьезное.

— Теперь предположим обратное,— продолжает он мелодичным и преисполненным сарказма голосом,— предположим, что мадам Мюрзек ошибается. О, тогда все идет как нельзя лучше! Тогда мы спасены! Мы оказались жертвами обыкновенного ограбления! Индус — заурядный бандюга! Всё в полном порядке! Наше путешествие, невзирая на мелкий инцидент, случившийся по дороге,— такое же путешествие, как все другие! Мы даже можем надеяться где-нибудь приземлиться! — Он повышает голос: — Как знать, может быть, даже в Мадрапуре! Возле четырехзвездного отеля на берегу озера!..— Он смеется.— Вот почему, мсье Караман, тезис о том, что индус просто вор, для вас успокоителен и удобен.

Караман чуть заметно передергивает плечами, он даже ими не пожимает, подчеркивая полное отсутствие интереса. Потом, глядя куда-то вниз, он тесно сближает колени и замыкает в себе — в позе полной отрешенности от мира, что снова заставляет меня вспомнить свернувшегося клубочком кота. Будучи высокопоставленным чиновником, он, должно быть, давно уже преуспел в искусстве прятать подальше от глаз папки с неприятными документами, для чего он просто располагается на них, обвив пушистым хвостом свои мягкие лапы.

— Balls! [1]— говорит Блаватский, который не получил столь изысканного воспитания.

Я жду продолжения, но он ничего больше не произносит. Он не принимает эстафеты. Он тоже уходит в кусты.

Я устал от напряженного внимания, с каким следил за всей этой сценой, и закрываю глаза. Я обнаруживаю в круге нечто новое: теперь в нем образовалось большинство и меньшинство. Принадлежность к тому или другому определяется оценкой личности индуса и, как следствие, оценкой того, что вообще означает наше путешествие.

К меньшинству, состоящему из Мюрзек, Робби и меня, я причисляю также и бортпроводницу, хотя на протяжении дискуссии она хранила молчание. Правда, она ни разу не говорила мне, какие чувства испытывает в отношении «пирата», но зато мне известно, что́ она думает о нашем чартерном рейсе. У меня в памяти это отложилось очень четко: когда я, проснувшись, сказал ей, что не стоит особенно тревожиться из-за Бушуа, потому что мы, по всей видимости, уже недалеки от цели нашего полета, она, подняв брови, сказала полным сомнения тоном: «Вы так считаете?»

Я, разумеется, могу ее расспросить, попытаться выяснить, что́ она имеет в виду, выражая такой скептицизм. Но делать этого я не буду. Мне слишком хорошо знакомы уклончивые фразы, которые я услышу в ответ. Не думаю, чтобы она знала об этом полете больше, чем мы. Но, исходя из своего профессионального опыта бортпроводницы, она, должно быть, заметила какие-то ускользнувшие от нас мелочи, которые могли привести ее к мрачным выводам.

В авангарде меньшинства, как мы уже видели, находится Робби. Я понимаю, откуда у него это мужество, которое позволяет ему здраво смотреть на вещи, отвергая иллюзии большинства. В больших военных коллективах, я полагаю, именно гомосексуалист, скрытый или явный, чаще всего добровольно берется за выполнение особо опасного задания, из которого живым ему уже не вернуться. Он скроен из материала, из которого обычно создаются герои. Самою природой изолированный от тех вечных циклов, посредством которых передается непрерывная эстафета жизни, он более других подвержен смерти.

В действиях человека, подобного Караману, непременно будет присутствовать забота о потомстве, о жене, детях. Они и заложники, которых он вручает грядущему, они и связи, которые он сам сплел, чтобы прочнее

---

[1] Хреновина! *(англ.)*

привязать себя к *колесу времени.* Этими связями земное существование прочно держит его, и вот уже он сам вынужден за него держаться и успокаивать себя, привлекая на помощь собственный оптимизм и стараясь не замечать опасностей, которые его окружают.

Хочу напомнить, что добровольцем для перехода в иной мир Робби вызвался сразу. Когда индус, захватив самолет, объявил о своем намерении, если его условия не будут приняты *Землей,* казнить заложника, Робби не колеблясь предложил себя.

Я удивлен той важной ролью, которую Робби стал теперь играть в круге. Поначалу он, в своих красных сандалиях, с покрытыми лаком ногтями на ногах, в светло-зеленых брюках, нежно-голубой рубашке и оранжевой шейной косынке, казался мне существом симпатичным, несколько непристойным и очень декоративным. Но при этом незначительным и мелковатым.

Я оказался не прав. Теперь, стоит Робби открыть рот, тут же устанавливается тишина и все внимательно его слушают — даже Караман, хотя он старается на него не глядеть и отпускает реплики куда-то в сторону, когда с ним спорит. Однако и это притворное небрежение вряд ли удержится особенно долго. Чтобы вы не подумали, будто я теперь слишком переоцениваю Робби, так же как раньше недооценивал его, я хотел бы отметить, что Робби занимает весьма крайнюю позицию, даже по сравнению с меньшинством, рупором которого он является. Ни я, ни, вероятно, бортпроводница не готовы разделить его полную безнадежность в отношении будущего, которое ожидает пассажиров нашего рейса. Что касается мадам Мюрзек, уже одно то, что она молится на коленях в пилотской кабине, доказывает, что она ожидает благополучного исхода, надеясь то ли на вмешательство Всевышнего, то ли на благорасположение *Земли.*

Вопрос, которым никто, даже Робби, еще не задавался,— вопрос горючего.

Невозможно назвать точное время, когда этой ночью самолет приземлялся, поскольку еще перед посадкой индус отобрал у нас все наши часы. Но даже если предположить, что это промежуточное погружение в жуткий сибирский мороз состоялось незадолго до рассвета, все равно сейчас солнце уже в зените, и, таким образом, продолжительность полета со времени вылета из Руасси намного превышает возможности дальних рейсов самолетов без дополнительной заправки. В крайнем случае можно представить себе, что *Земля,* воспользовавшись непредвиденной посадкой, пополнила баки, но это кажется маловероятным. Мы ничего не услышали и не увидели, даже фар автозаправщика.

Поскольку нам остается лишь строить догадки, самое простое — предположить, что самолет, в который мы сели и тип которого никому из нас не удалось определить, является летательным аппаратом на атомных двигателях. В этом случае он мог бы лететь долгие месяцы за счет первоначальной загрузки реактора ядерным топливом.

Я заговариваю об этом с Робби, когда он любезно присаживается со мной рядом, чтобы справиться о моем здоровье, пока бортпроводница занята на кухне подготовкой подносов для второго завтрака.

Робби иронически улыбается, встряхивает светлыми кудрями и говорит бодрым тоном, который совершенно не вяжется со смыслом его слов:

— Да, да, мистер Серджиус, все это не может не тревожить. Проблема дьявольски сложная. Но, поверьте, она не имеет никакого отношения к научной фантастике...

Я кое-как съедаю половину завтрака, который нам подает бортпроводница. Мое состояние повергает меня в смятение, прежде всего потому, что ничего похожего со мной никогда еще не случалось. Я никогда не испытывал этой чудовищной слабости, которая на меня навалилась без всяких симптомов, без болей, без повышения температуры. И что ужасней всего — у меня нет ощущения, что в глубины недуга я проваливался по нисходящей

кривой, это хотя бы давало надежду, что по такой же кривой, но уже восходящей, я когда-нибудь из этой пропасти выберусь. Нет, я сразу оказался у подножия лестницы, не спускаясь по ней. Эта внезапность необъяснима, она пугает меня. Теперь, когда мое внимание уже не отвлечено делами круга, меня охватывает панический страх, и я мгновенно обливаюсь холодным потом. Я испытываю отчаянное желание оказаться в другом месте, покинуть кресло, выбраться из самолета наружу и укрыться в этом море белых, озаренных солнцем облаков, которые сверкают справа в иллюминаторе. Но это, конечно, бред, и, что еще хуже, бред, который даже нельзя оправдать лихорадочным состоянием.

Эти мгновения ужаса коротки, но они совершенно меня изнуряют, ибо все мое тело напрягается в исступленном стремлении выбраться во что бы то ни стало из замкнутого пространства, которое держит меня в плену. Я знаю, это полнейшая нелепость. На самом же деле я стремлюсь избавиться от другого врага, того, что сидит у меня внутри и, точно червь, подтачивает мои силы.

Меня поочередно терзают два вида тоски: одна — смутная, изматывающая, горячечная, но в конце концов сносная, когда ожидание страшного события и отказ его принять поддерживают во мне биение жизни; и другая — тот спазм тоски и отчаянья, про который я только что говорил, короткий мучительный приступ, которому предшествует сильнейшая испарина, когда с меня ручьями течет пот. Я чувствую, как он струится по груди, под мышками, по шее, по ладоням, между лопатками. Все мое тело начинает тогда вибрировать от непреодолимого желания бежать, и я ощущаю, как во мне растет повергающая меня в дикий ужас, не поддающаяся никакому контролю разума абсолютная уверенность, что сейчас я умру.

Когда я в очередной раз всплываю на поверхность из пучин этого приступа и вытираю с лица пот платком, который с превеликим трудом (малейшее движение требует от меня огромного напряжения сил) вынимаю из кармана куртки, Христопулос, сам того не подозревая, помогает мне вернуться в нормальное состояние — если можно назвать «нормальным» смутное беспокойство, о котором я уже говорил и которое я разделяю со всеми «пассажирами», даже с теми, кто принадлежит к большинству.

Грек поедает свой завтрак довольно своеобразно. Я обращаю сейчас внимание на его table manners [1] потому, что во время завтрака он освободил Мишу ее место — повинуясь ее грубому ребячливому требованию («Послушайте, вы, усатый, уходите с моего места, чур не заматывать!») — и сел на краю правой половины круга в кресло, которое занимала спутница индуса до захвата самолета. Здесь его отделяет от меня только проход между двумя половинами круга и пустующее сейчас кресло бортпроводницы. Поэтому я вижу его совсем близко и, что существеннее, ощущаю его присутствие носом, ибо на меня волнами накатывается идущий от него сильный запах пачулей, пота и табака.

Он не съедает пищу — он пожирает ее. Он не жует — он заглатывает. На безвкусный ломоть холодной бараньей ноги он набрасывается, точно голодный волк на дымящиеся внутренности задранного зайца. Он почти не пользуется ножом и вилкой. Когда ему кажется, что он управляется с едой недостаточно быстро, он заталкивает ее в рот пальцами. Он ест с такой скоростью, что щеки у него растягиваются, как у хомяка, и мне все время чудится, что большой ком пищи, который он пытается, почти не жуя, проглотить, застрянет у него сейчас в глотке. Но нет, он присоединяет к нему внушительный глоток вина, для того, очевидно, чтобы немного его размягчить, и глотает, и пища проходит, проходит, раздувая по мере своего прохождения его шею, точно кролик, которого живьем заглотал удав. В то же время Христопулос, совсем как свинья, уткнувшаяся рылом в свою похлебку, шумно сопит, ворчит, вздыхает, тщетно пытаясь подавить рвущуюся наружу отрыжку, которая упорно поднимается из глубин его утробы к губам. А губы, мягкие, жадные и ухватливые, как у лошади, ловко

---

[1] Застольные манеры *(англ.)*.

подцепляют еду, что и вправду делает излишним обращение к вилке. Чудо еще, что ничего пока не упало на роскошный желтый галстук, который распластан по его жирной груди. Нет, нет, все разом проглатывается и подчищается. И все то время, что Христопулос ест, он восседает, удобно устроившись в кресле, развалившись в нем в полной эйфории, его брюки туго обтянули толстый живот и огромные гениталии и, кажется, вот-вот лопнут, что заставляет его сидеть, широко растопырив ноги. Его золотисто-желтые туфли, того же тона, что и галстук, отдыхают, упершись каблуками в ковровую дорожку, и время от времени поворачиваются то вправо, то влево, а широкие ступни то и дело подрагивают, отбивая ритм прохождения пищи.

Христопулос первым управился с завтраком, и, когда бортпроводница забирает у него поднос, он закуривает длинную, черноватую и на редкость вонючую сигару, потом с довольным видом вытаскивает из внутреннего кармана пиджака пачку листков туалетной бумаги, тщательно пересчитывает их, отделяет несколько листков и протягивает Пако.

— Мсье Пако,— говорит он, зажав под усами в углу рта свою длинную коричневую сигару,— я возвращаю вам те десять тысяч швейцарских франков, которые вы мне ссудили.

— Спасибо,— говорит Пако, машинально беря протянутые ему листки, и его круглые глаза от удивления еще больше выкатываются из орбит.— В этом, пожалуй, нет необходимости. Не думаю, что Эмиль захочет играть еще одну партию.— И так как Бушуа, еще более, чем всегда, похожий на труп, не открывает глаз, Пако добавляет, понизив голос и слегка улыбнувшись: — Знаете, он не любит проигрывать. А вы его здорово обчистили. Да и меня тоже. Мы, видимо, не в ударе.

— Ну что ж,— говорит Христопулос,— тогда подведем итоги.— И, разложив в руках, точно колоду карт, оставшиеся у него листки туалетной бумаги, он говорит: — Здесь у меня расписки на восемнадцать тысяч швейцарских франков, мсье Пако, по которым, когда вы прибудете в первое же удобное для вас место, мне причитается получить с вас эту сумму. В швейцарских или французских франках — по вашему усмотрению.

— Как! — восклицает Пако, его лысый череп сразу же багровеет, глаза и шея наливаются кровью.— Вы требуете у меня уплаты по этим липовым векселям? Чего-чего, а наглости у вас хватает!

После паузы Блаватский говорит мстительным тоном:

— I told you so, Mr. Pacaud! [1]

У Карамана удовлетворенный вид праведника, чья правота подтвердилась самим ходом событий, но он хранит молчание, ибо праведнику, особливо ежели он продолжатель доброй французской традиции, не пристало открыто торжествовать, когда обнаруживается его правота.

— Это не липовые векселя,— говорит Христопулос с возмущенным и добродетельным видом, с силой выталкивая изо рта дурно пахнущий дым,— это расписки, на которых проставлена дата и имеется ваша подпись...

— На бумаге, которой подтирают задницу! — кричит Пако.

— My dear! — говорит миссис Бойд, которая французским языком не владеет, но это слово, во всяком случае, знает.

— Бумага тут ни при чем! — возражает Христопулос с горячностью, от которой у него дрожат усы и сигара.— Мы взяли то, что смогли найти. Важно лишь то, что на ней написано, мсье Пако. Вы не можете отказаться от своей подписи!

— Но ведь это была шутка! — восклицает Пако, тяжело дыша и ворочая выпученными глазами. Отдышавшись, он продолжает: — Забавная шутка, и ничего больше! Помилуйте, мсье Христопулос, да одна только мысль изготовить банкнот из бумаги для подтирки лишает все это серьезности! И превращает в шутку и розыгрыш!

— Вовсе нет,— говорит Христопулос, не выпуская изо рта ввинченную

---

[1] Я вам об этом говорил, мистер Пако! *(англ.)*

в усы длинную черноватую сигару.— Впрочем,— добавляет он с лукавой находчивостью, которая у этого толстяка, надо сказать, меня поражает,— эти господа,— он указывает своей короткой рукой на Карамана и Блаватского,— вас предупреждали. И если, не думая о последствиях, вы поставили свою подпись, что у делового человека кажется мне просто удивительным, тем хуже для вас. Я же, со своей стороны, вправе требовать от вас уплаты карточного долга!

— Карточного долга! — восклицает Пако, окончательно выходя из себя.— А кто мне докажет, что вы не мухлевали?

— Мсье Пако! — вопит Христопулос, вынимая изо рта сигару и поднимаясь, словно собираясь броситься на своего обидчика.— Вы оскорбляете меня и мою страну! Я не желаю больше терпеть подобный расизм! Для вас всякий грек — обманщик и шулер! Это недопустимо! Вы должны сейчас же извиниться — или я дам вам по морде!

— Извиниться! — орет Пако, вцепляясь в подлокотник кресла и тоже готовый вскочить.— Извиниться за то, что вы пытаетесь выманить у меня восемнадцать тысяч швейцарских франков!

— Если вы его хоть пальцем тронете, мерзкий вы тип,— говорит вдруг Мишу, вскакивая на ноги и становясь перед греком,— я выцарапаю вам глаза!

Сказав это, она, вопреки всякой логике и против всякого ожидания, наносит ему удар ногой по большой берцовой кости. Христопулос взвывает от боли.

— Она совсем спятила, эта девчонка! Я влеплю ей пощечину! Ничего другого она не заслуживает!

Однако он не решается это сделать — может быть, просто из-за помехи — вонючей сигары, которую он держит в правой руке. Наступает минута замешательства, в течение которой ситуация, оставаясь неясной, колеблется между кулачной расправой и фарсом. Пако встает и тянет Мишу за руку, пытаясь усадить ее в кресло, Мишу отбивается от него и вызывающе смотрит на грека, а грек ошарашен тем, что вместо одного противника перед ним оказалось вдруг двое.

Тут, проявляя замечательное уменье выбрать нужный момент, в дело вступает Блаватский. Сверкая глазами за стеклами очков, он кричит:

— Всем сесть! Это приказ!

И — такова чудодейственная сила могучего голоса в обстановке растерянности и смуты — все трое незамедлительно подчиняются, даже не задумываясь о том, кто дал Блаватскому право ими командовать.

— А теперь объяснимся,— говорит Блаватский, выставив вперед подбородок и явно обрадованный тем, что он вновь берет в свои руки leadership.

Должен признаться, что его торжествующий вид вызывает сейчас у меня только иронию. Как может умный человек в столь драматичный момент нашего полета хоть на секунду вообразить, что он в состоянии всерьез контролировать ситуацию — именно нашу ситуацию — на борту самолета, а не служить арбитром в этом мелком и достаточно гнусном споре?

— Мсье Пако,— продолжает Блаватский,— вы обвиняете мсье Христопулоса в том, что он смухлевал?

— Я не могу этого доказать,— говорит Пако,— но это представляется мне возможным.

— Потому что я грек! — говорит Христопулос; в его голосе звучит нечто среднее между негодованием и жалобой, усы дрожат, глаза обращены к небесам. Но при всей своей актерской ловкости он, по-моему, хватил через край: чересчур уж бесстыдно он апеллирует ради собственной выгоды к нашим антирасистским чувствам.

Видимо, он собирается продолжить эту деликатную тему, но его прерывает Бушуа. Он поднимает свою исхудавшую руку, глубоко запавшие глаза открываются, и он говорит еле слышным, ежесекундно прерывающимся голосом:

— Он... не... плутовал. Я за ним... внимательно... следил. И это... моя собственная... колода... карт, а не колода... которая... неведомо откуда... взялась.

После чего он медленно поворачивает голову, глядит на Пако со злорадной улыбкой и снова закрывает глаза; улыбка застывает у него на губах, точно оскал мертвеца. Зрелище не из приятных. Над нами нависает тишина какого-то особого свойства, словно мы все ощутили у себя на лицах дуновение ада. Не то чтобы я считал, что ад существует вне человека. Нет, что касается Бушуа, я, наоборот, убежден, что ад проник в самое его нутро и что разрушительная ненависть к зятю разрушила в конечном счете его самого, постепенно подточив его жизненные силы.

— Если мсье Христопулос не плутовал, мсье Пако, вы должны перед ним извиниться,— говорит Блаватский, очевидно забыв, что в начале партии он и сам подвергал сомнению добропорядочность грека.

— Мне извиняться перед этим... этим...— говорит Пако; его глаза окончательно вылезли из орбит, череп сделался совершенно багровым, но он все же оставляет фразу неоконченной, при всем своем гневе боясь опять оказаться неправым.

— Я обойдусь без извинений со стороны мсье Пако,— говорит Христопулос, обращаясь не к Пако и не к Блаватскому, а ко всем нам.

Он говорит с достоинством, которого мы у него никогда прежде не замечали и которое проявилось в нем в ту самую минуту, когда Бушуа выдал ему свидетельство о честности.

— Но чего я тем не менее желаю,— продолжает он, собрав в одну руку листки туалетной бумаги и потрясая ими на уровне усов,— это чтобы мьсе Пако публично признал свой долг: десять тысяч швейцарских франков, которые я честно выиграл у него, и восемь тысяч франков, которые я выиграл у мсье Бушуа! Всего, как я уже говорил, восемнадцать тысяч.

— Но почему мсье Пако должен платить долги мсье Бушуа? — спрашивает миссис Банистер, с изяществом поворачивая длинную шею и как бы невзначай кладя свою руку на руку Мандзони.

Одновременно она смотрит на него с вопросительным и беспомощным видом, словно серьезные дела мужчин недоступны ее слабому женскому пониманию.

— Да потому, что именно мсье Пако подписал эти банкноты,— говорит Мандзони, улыбаясь покровительственно и самодовольно, что вызывает у меня к нему некоторую жалость, ибо я предвижу, что́ ждет его в будущем.

А он добавляет не слишком тактично:

— Само собой разумеется, мсье Пако всегда может взыскать с мсье Бушуа этот проигрыш.

Мы глядим на Бушуа и снова изумлены при виде того, как мертвая физиономия во второй раз оживает. На лице у него остается ровно столько кожи и мускулов, чтобы по нему могла зазмеиться злобная улыбка. Я говорил, что ненависть к зятю подкосила его, теперь же стало ясно, что на этой стадии она, наоборот, поддерживает в нем жизнь, поскольку этот труп еще находит в себе силы развеселиться при сладостной мысли о тех убытках, которые Пако понесет по его, Бушуа, вине. Ибо самое ужасное во всем этом инциденте заключается в том, что Пако карт не любит и согласился на эту дурацкую партию только по своей доброте.

— На это вы, мсье, не рассчитывайте! — говорит Пако, повышая голос и делая решительный жест, словно отметает прочь листки туалетной бумаги, которые протягивает ему противник.— Вы можете, мсье Христопулос, быть совершенно уверены: облапошить себя я не дам! Вы ничего с меня не получите! Ничего! Ни единого су! Ни единого цента! Ни единого пенни! А что касается этих листков, можете засунуть их себе в одно место!

— Это просто гениально! — говорит со смехом Мишу.

Но ее смеха никто не поддерживает.

— Вряд ли вам стоит переходить на грубости,— говорит Христопулос с видом оскорбленного достоинства, который чем дальше, тем все менее

убедителен.— Вы должны мне восемнадцать тысяч швейцарских франков, мсье Пако, и, если вы мне их не уплатите, я затаскаю вас по судам!

Говоря это, он аккуратно складывает листки и плавным, полным значения жестом опускает их во внутренний карман пиджака.

— По судам! — одновременно восклицают Робби и Блаватский.

Восклицания вроде бы совпали, но в каждое был вложен свой собственный смысл. У Робби оно сопровождается издевательским смехом, за которым следуют ритуальные телодвижения (ладошка перед ртом, содрогающийся стан, переплетающиеся ноги), и всё вместе призвано показать, что идея обращения за помощью к правосудию в высшей степени нелепа, когда речь идет о пассажирах нашего чартерного рейса. Блаватский, напротив, обращения в суд в принципе не исключает, но возможность того, что к этой процедуре прибегнет Христопулос, представляется ему сомнительной и маловероятной.

— И в какой же суд подадите вы жалобу, мсье Христопулос? — спрашивает Блаватский с холодным огоньком в глазах.— Во французский или греческий?

— Во французский, конечно,— отвечает Христопулос с заметным смущением.

— Почему же во французский?

— Потому что мсье Пако француз.

— А почему не в греческий, если вы грек? У вас есть какие-либо причины, мсье Христопулос, по которым вам не хотелось бы предстать перед греческим судом?

— Никаких,— говорит с честной миной Христопулос, но его выдает пот, который сразу же начинает проступать крупными каплями на лбу и бежать струйками вдоль носа.

Не знаю, может быть, тут действует секреция других каких-то желез, но идущий от него запах становится в этот миг совершенно невыносимым.

— Ну, ну, вспомните,— говорит Блаватский, выдвигая вперед квадратный подбородок.— Не было ли у вас неприятностей с правосудием вашей страны, мсье Христопулос, после падения режима полковников?

— Абсолютно никаких! — восклицает Христопулос, пытаясь без всякой необходимости погасить вонючую сигару в пепельнице своего кресла.

Вероятно, он это делает, чтобы сохранить самообладание и получить возможность опустить глаза. Но его уловка не приносит желаемого результата — взгляды круга устремляются на его пальцы, и все видят, что они дрожат. Он сам тоже это замечает, ибо оставляет сигару в пепельнице не до конца погашенной и сует руки в карманы, что дается ему с большим трудом, потому что брюки у него едва сходятся на животе.

Наступает молчание, и, поскольку оно затягивается, Христопулос отдувается в усы и с добродетельным видом добавляет:

— Я никогда политикой не занимался.

— Точно,— говорит Блаватский.

— И никогда не был ни в чем обвинен.

— Это тоже верно,— соглашается Блаватский.— Но ваше имя было названо на процессе над одним офицером, который во время режима полковников был начальником лагеря для политзаключенных. Этот офицер вступал с вами во взаимовыгодные сделки, связанные со снабжением лагеря продовольствием...

— Все было совершенно законным,— говорит Христопулос, который, кажется, не догадывается, что этот эпитет — уже признание.

— Весьма возможно,— резким тоном парирует Блаватский.— Если принимать во внимание законы того времени. Во всяком случае, вы предпочли покинуть Грецию, чтобы не выступать свидетелем на этом процессе. Что вряд ли говорит о вашей невиновности.

— Я покинул Грецию по причинам личного характера,— говорит Христопулос, и в его голосе вспыхивает негодование, но мы прекрасно понимаем, что это всего лишь минутная вспышка.

— Ну разумеется,— сухо отвечает Блаватский, и его глаза глядят

сурово и жестко.— Вы и в Мадрапур отправились по причинам личного характера?

— Я уже ответил на эти инсинуации, как они того заслуживали! — восклицает Христопулос с жаром, который никого не в состоянии обмануть.

Просто дымовая завеса, имеющая целью скрыть свое поражение, ибо поражение он потерпел сейчас полное, окончательно уронив себя в наших глазах, что оставляет у нас тягостное чувство, не ослабевающее и после того, как Мюрзек проникновенно вполголоса говорит:

— Я буду за вас молиться, мсье.

— На кой ляд мне ваши молитвы! — яростно вопит Христопулос и пожимает плечами, но руки при этом у него остаются в карманах, будто скованные невидимыми наручниками.

В этот миг, несмотря на все мое отвращение к его прошлому, мне его почти жаль, или, вернее, мне было бы его жаль, если бы его длинная черноватая сигара не продолжала дымить в пепельнице. Но я не решаюсь к нему обратиться даже с просьбой ее погасить. Видя так близко перед собой человека, который заставлял голодать политических заключенных, я испытываю чувство стыда и чуть ли не собственной вины, как будто из-за его преступления человечность запятнана не только в нем, в Христопулосе, но и во мне.

Мы думали, что со всем этим уже покончено во время злосчастного завтрака, где так бушевали страсти, и мы будем мирно вкушать пускай и посредственный, но все же подкрепляющий силы кофе, который наливает нам бортпроводница. Но мы забыли об исполненной благочестивого рвения натуре Мюрзек. Она наклоняется вперед и чуть вправо, чтобы видеть Блаватского, и говорит нежным голосом, глядя на него глазами, которым никакая в мире сила, даже божественная, не могла придать выражение евангельской кротости:

— Мсье, вам снова не хватило милосердия в отношении мсье Христопулоса. Вы учинили ему допрос по поводу его поездки в Мадрапур. Допрос тем более нелепый теперь, когда совершенно исключено, что мы вообще когда-нибудь попадем в Мадрапур.

— Исключено? — говорит Блаватский с тяжеловесной иронией, а также и с раздражением, которого он даже не дает себе труда скрыть.— Это совершенно исключено? Важная новость, мадам! Вы непременно должны нам сказать, откуда вам стало об этом известно.

— Путем размышления,— отвечает Мюрзек.

Она берет свою сумочку и, слегка в ней порывшись, но не с той бестолковостью, с какой это делала Мишу, а стараясь как можно меньше нарушать порядок, в каком там все уложено, достает маленькую записную книжку в замшевом переплете и, немного ее полистав (тоже не кое-как, а весьма аккуратно), говорит:

— Здесь у меня расписание регулярных рейсов на Нью-Дели. Имеется рейс, который отправляется из Парижа в одиннадцать тридцать. Первая посадка — Афины, пятнадцать тридцать. Отправление из Афин — шестнадцать тридцать. Вторая посадка — Абу-Даби. В Персидском заливе,— добавляет она после секундного размышления.

— Благодарю вас, мне это известно,— с важным видом говорит Караман.

Но Мюрзек не обращает внимания на посторонние реплики. Она целиком занята своим делом.

— Прибытие в Абу-Даби — двадцать два тридцать пять. Отправление из Абу-Даби — двадцать три пятьдесят. И, наконец, прибытие в Нью-Дели — в четыре двадцать, на следующее утро.

— И какой же вы из этого делаете вывод? — резким тоном спрашивает Блаватский.

— Подсчитайте сами,— говорит Мюрзек.— Четыре часа лёта от Парижа до Афин. Шесть часов лёта от Афин до Абу-Даби. И четыре с половиной от Абу-Даби до Нью-Дели.

— Ну и что? — нетерпеливо говорит Блаватский.

Мюрзек глядит на него ярко-синими глазами и с полным спокойствием отвечает:

— Мы не совершали посадки ни в Афинах, ни в Абу-Даби, и если наш самолет следует по тому же расписанию и тем же маршрутом, что и самолеты регулярной линии, что вполне возможно, мы должны были уже быть в Нью-Дели. Это верно, мадемуазель? — спрашивает она, внезапно поворачиваясь к бортпроводнице.— Вы, наверно, можете нам это сказать, поскольку вы летали на этой линии.

— Это верно,— говорит бортпроводница.

Спокойно сложив руки на коленях, она больше не добавляет ни слова. Но при этом тихо вздыхает и, остановив взгляд своих зеленых глаз на лице Мюрзек, с упреком глядит на нее.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мадам Мюрзек могла бы добавить, что если наш самолет минувшей ночью все же где-то садился, то на афинском аэродроме он наверняка не приземлялся; это была случайная посадочная площадка на берегу какого-то озера, к тому же в Греции никогда не бывает сибирского мороза, который буквально парализовал нас, как только был открыт exit. Но ничего из того, что она могла бы добавить, тоже не достигло бы цели. Все высказанные ею соображения, умные и точные, канули в пустоту. Никто из большинства просто их не заметил, никто даже не счел нужным сделать вид, что они ему интересны.

Мне удалось лишь уловить, как Блаватский и Караман обменялись взглядами, которые яснее ясного говорили: «Старуха окончательно сбрендила; чем поучать нас, пошла бы лучше в пилотскую кабину молиться». Словом, верное своей стратегии пуховой перины большинство предоставляет выпадам меньшинства увязнуть в толщах равнодушного молчания.

Эта система держится на хитроумной и весьма удобной уловке. Ничему из того, что мы можем сказать, не придается значения, поскольку замечания наши заранее опорочены самим обликом своих авторов: Робби — испорченный юнец, с накрашенными ногтями на пальцах ног и дурными наклонностями, приверженный педерастии и парадоксам (в конечном счете две стороны одного и того же извращения); Мюрзек — законченная невропатка, склонная ко всяким фантазиям и мистическим бредням; Серджиус — большой оригинал, влюбившийся в девицу на тридцать лет его моложе; что же касается самой бортпроводницы, то снимите с нее униформу, и перед вами окажется самая заурядная официантка из ресторана, которая и по умственному своему уровню не выше официантки, и если она сейчас молчит, это значит, что ей просто нечего сказать.

Это равнодушие большинства просто поразительно. Но особенно меня удивляет Блаватский. Ибо Караман с самого начала избрал страусову политику. Он никогда не сомневался в том, что мы рано или поздно прибудем в пункт назначения и что этим пунктом окажется Мадрапур. Для него, крупного чиновника, истина, признанная официально, даже если она претерпевает изменения, при любых обстоятельствах неукоснительно совпадает с истиной как таковой. Понадобилась сложная система воспитания, чтобы выработать в Карамане эту гибкость воззрений, но теперь она дается ему без всяких усилий. В настоящий момент он верит в то, во что считает приличным верить. Существуют необходимые формальности, наезженная колея, а все прочее — от лукавого.

Но Блаватский прошел другую школу. Он ничему не верит, пока в руках у него нет доказательств; он ищет, выведывает, вынюхивает, роется в сумке у грека, спускается в багажный отсек, учиняет бортпроводнице полицейский допрос, и к тому же именно он, еще до индуса, заронил в нас семена сомнения относительно существования Мадрапура.

И как же он изменился! Теперь Мюрзек бросает ему в лицо неопровержимые факты: маршрут, расписание, промежуточные посадки. Он даже

ухом не повел! Больше того, бортпроводница только что признала, пусть и не впрямую, что она с самого начала поняла: наш самолет летит не через Индию, а Блаватский и не подумал к ней по этому поводу прицепиться. Вместо того чтобы терзать ее своими вопросами, он замыкается в высокомерном молчании. Он как будто боится подробнее об этом узнать.

Молчание длится еще долго после того, как мадам Мюрзек кончила говорить, и, если бы она не пребывала в непреклонном евангелическом расположении духа, она бы, я думаю, приняла вызов и приступила к дальнейшему опровержению доводов большинства. Но вместо этого она безропотно смиряется с тем, что ее выкладки с презрением отметены, и замолкает, кротко опустив суровые глаза на свои костлявые колени.

Бортпроводница освобождает на кухне подносы, и, пользуясь ее отсутствием, Робби садится рядом со мной и любезно, с большим тактом справляется о моем здоровье. Тогда-то я и делюсь с ним своими соображениями по поводу горючего, на котором работает наш самолет, и слышу от него в ответ фразу, которую я выше уже приводил: «Эта проблема не имеет никакого отношения к научной фантастике».

Но наш с ним разговор на этом не кончается. И хотя я не убежден, что правильно уловил суть всего, что было им сказано, зато уверен, что он сказал все это, имея на то достаточные основания. Я в высшей степени доверяю его проницательности, тонкости его восприятия. И говорю ему, стараясь преодолеть слабость своего голоса:

— Всякий раз, как я пытаюсь понять ситуацию, я упираюсь в стену. Это очень тревожно. Я не могу ответить ни на один из вопросов, которые я себе задаю. Почему, например, наш самолет не имеет пилота?

Грациозно расположившись в кресле бортпроводницы и сплетя свои длинные ноги, как переплетаются стебли стоящих в вазе нарциссов, Робби смотрит на меня с глубокой серьезностью.

— Вы задаетесь вопросом о конечной цели этого полета без экипажа, Серджиус? Но быть может, у него вообще ее нет... Имеет ли конечную цель сама наша жизнь? Ах да, правда,— тотчас добавляет он с лукавым блеском в глазах,— вы полагаете, что имеет, поскольку вы христианин. Что ж, попытаемся обнаружить ее и здесь... Что вы сами об этом думаете? Каков, по-вашему, смысл этого автоматического полета?

— Да ведь я вам только что сказал, что не вижу в нем никакого смысла,— говорю я, подавляя в себе нервное возбуждение, вызванное моей слабостью.

— Да-да, конечно,— говорит Робби.— Можно было бы, например, предположить, что ни один экипаж не согласился бы на такого рода полет.

— На такого рода полет?

— Вы прекрасно понимаете, что я хочу этим сказать,— говорит Робби, понижая голос.— Полет столь... как бы поточнее выразиться... скажем, неопределенный...

Я признателен ему за его деликатность, ибо круг слушает нас с возрастающим неодобрением.

Через несколько секунд я снова заговариваю:

— Вы хотите сказать, что экипаж мог бы взбунтоваться против этого полета в никуда и решиться на самовольную посадку?

— Да,— говорит Робби,— именно это я и хотел сказать. Поручить такой полет людскому экипажу значило бы пойти на определенный риск, а при автоматическом управлении самолетом он полностью исключен.— И, выдержав паузу, добавляет: — Автоматическое пилотирование целиком подчиняет нас произволу *Земли*...

Мы замолкаем, и хотя беседа ведется нами вполголоса и носит сугубо приватный характер, она вызывает в круге две совершенно противоположные, но в равной мере живые и быстрые реакции.

— Очень прошу вас! — скорбным тоном восклицает Мюрзек, поднимая на Робби полный упрека взгляд.— Не говорите о «произволе» *Земли!* То, что вы называете произволом,— это высшая воля, которую мы просто не способны понять.

Это выступление явилось для меня неожиданным, оно показывает, что меньшинство, в которое наряду с нами входит Мюрзек, тоже расколото разным пониманием проблемы. Но у меня нет времени вникать в оттенки этого несходства. В разговор в свою очередь вступает Караман, который вещает официальным тоном.

— Господа! — говорит он, полуприкрыв веки и подергивая губой; при этом он не смотрит на Робби и обращается только ко мне.— Я не буду от вас скрывать, что я в высшей степени сдержанно отношусь к фантастическим гипотезам, которые я сейчас услышал. Вполне возможно, что наш чартерный рейс выполняется не по тому маршруту и не по тому расписанию, какими следуют самолеты регулярных рейсов, но я не вижу никаких серьезных оснований считать, что самолет не прибудет к месту назначения.

Он повторяется, этот Караман. Все это он уже говорил, если не считать крохотной вставки о «маршруте и расписании» — аргумента, который он только что с трудом отыскал, чтобы хоть что-то противопоставить рассуждениям Мюрзек. Находка запоздалая и не слишком удачная, ибо, если только не пытаться перекраивать географию, вряд ли существует большой выбор путей из Парижа в Индию.

Караман высказался в очень суровом тоне, и круг, включая Блаватского, выражает свое одобрение с жаром, которого он до сих пор еще не выказывал. А Робби внезапно начинает смеяться тем своим мелодичным пронзительным смехом, который, должен признаться, легко может вывести людей из себя. Да я и сам нахожу его манеры достаточно неприятными, особенно когда наблюдаю вблизи весь этот спектакль — эту мимику, подскоки и раскручиванья, которыми он сопровождает свой смех. Отсмеявшись, Робби окончательно приводит меня в замешательство, ибо он придвигает свое лицо к моему так близко, что мне кажется, будто он собирается меня поцеловать. Этого он, слава Богу, не делает, а тихо говорит мне в самое ухо насмешливым тоном:

— Как они все упорно держатся за эту старую добрую легенду о Мадрапуре!

Его фраза мне почему-то не нравится. У меня такое чувство, что она задевает также меня и мои убеждения, хотя теперь я почти уверен, что мы никогда в Мадрапуре не приземлимся.

Я хочу перевести разговор на менее опасные рельсы и говорю совсем уже тихо, чтобы не навлекать на себя новой вспышки враждебности со стороны круга:

— Но какой, по-вашему, смысл в том, что мы находимся здесь? Чему мы служим? Не являемся ли мы подопытными кроликами научного эксперимента?

— Ах, мсье Серджиус! — откликается Робби с состраданием в голосе.— Опять вы впадаете в научную фантастику!

Вероятно, из-за своего состояния я сделался более раздражительным, потому что отвечаю ему весьма ядовито:

— Послушайте, Робби, не говорите со мной таким тоном. Моя гипотеза не так уж нелепа. В конце концов, вы не можете отрицать, что мы находимся с *Землей* в определенных отношениях! Она нас слышит, наблюдает за нами, нами руководит.

— Да,— с невероятной живостью отзывается Робби, будто он с самого начала только и ждал этого замечания и теперь бросается на него, чтобы поскорей опровергнуть,— но это отнюдь не означает, что отношения между нами и *Землей* — человеческие! Не нужно антропоморфизма, Серджиус! Вовсе не обязательно, что *Земля* является каким-то недоброжелательным или доброжелательным, как считает наша с вами приятельница,— он кивает в сторону Мюрзек,— существом... Впрочем, индус уже предостерегал нас от такой трактовки.

— Но тогда,— в крайнем раздражении говорю я,— что мы здесь делаем?

Робби долго смотрит на меня задумчивым взглядом и говорит удивительным по своей мелодичности голосом:

— Вы хотите сказать: когда за плечами у нас так мало времени и так мало осталось его впереди?

Я ошеломлен тем, как он истолковал мой вопрос. И в то же время настолько парализован страхом, что у меня мгновенно пересыхает во рту. Разумеется, я хотел спросить его не об этом, и, однако, какая-то неведомая сила заставляет утвердительно кивнуть, словно я говорю: «Да, Робби, что же мы делаем здесь, когда за плечами у нас так мало времени и так мало осталось его впереди?» Но отчего смог я внезапно ощутить такую уверенность, что мгновения, приближающие нас к концу, истекают так быстро?

Робби глядит на меня иронично и вместе с тем приветливо, затем мягко говорит:

— Но этот вопрос, Серджиус, вы могли задать себе и на земле.

Меня поражает справедливость этого замечания, и поэтому я не сразу соображаю, что Робби мне не ответил. Но, честно говоря, что́ он мог бы мне ответить? Я тупо жду от него ответа, как будто он лучше, чем я, понимает смысл жизни. А он все это время с добротой и серьезностью смотрит на меня своими светло-карими глазами, ничего не говоря и ничего не делая, даже не производя никаких жеманных телодвижений (вроде встряхиванья кудрями, переплетения ног, паучьего шевеленья руками), которые так раздражают наше суровое большинство.

Потом его взгляд смягчается еще больше, словно из глубины его глаз на меня смотрит женщина, живущая в нем пленницей его мужской оболочки, которую ей, сидящей внутри, так и не удалось преобразовать. Я вижу перед собой существо, которому, очевидно, приходится постоянно страдать из-за своей расщепленной надвое натуры, поскольку мир в большей своей части состоит не из стрекоз, а из Караманов.

— Вы очень встревожены, Серджиус,— говорит он наконец, наклоняясь ко мне с ласковым видом.— Вам надо расслабиться, заставить себя думать о чем-то другом. Например,— добавляет он с трогательным великодушием,— о вашей милой соседке, когда она вернется из кухни. Или о каких-то утешительных вещах,— слово «утешительных» он заключает голосом в кавычки и сопровождает коротким смешком,— я, например, с того момента, когда понял, что все мы здесь,— он понижает голос,— пленники этого самолета, все время твержу одну немецкую пословицу. Хотите послушать?

Schön ist's vielleicht anderswo,
– Doch hier sind wir sowieso.

Вы, должно быть, заметили,— добавляет он,— что в ней, как почти во всех народных пословицах, заключено стоическое правило. И германская лаконичность придает ей дополнительную силу. Как вы перевели бы ее на французский, Серджиус, не слишком разжижая? Я вот придумал такое:

Где-то есть другие края, где, возможно, нам было бы лучше,
Но пока, ожидая того, пребываем мы именно здесь.

— Нет, нет,— говорю я, мгновенно почуяв властный зов своего ремесла,— с таким вариантом я решительно не согласен. «Другие края» — слишком современно. И не та интонация. А ваше «ожидая того» — уже комментарий. Я предложил бы что-нибудь попроще:

Место, где было бы нам хорошо, быть может, и существует,
Но все же, этому вопреки, мы пребываем здесь.

— «Другим краям» вы предпочитаете «место»? — с сомнением спрашивает Робби.

— Да, конечно,— говорю я,— абсолютно в этом уверен.

Я замолкаю, удивленный тем, что после всех тревожных вопросов, которые нас занимали, я оказался в состоянии с живым интересом обсуждать маленькую, совсем крохотную проблему литературного перевода. В этот миг мой взгляд падает на Бушуа, и, нагибаясь в свою очередь к Робби (не без труда, ибо любое, даже самое незначительное, движение требует от меня слишком больших усилий), я говорю ему на ухо:

— Как вы полагаете, этот человек скоро умрет?

Робби наклоняет голову и поднимает брови, словно удивляясь, что я могу в этом сомневаться. Не знаю, то ли по случайному совпадению, то ли срабатывает телепатический эффект, но в это мгновенье Бушуа открывает глаза и упирается в меня взглядом. В откинутом до предела назад кресле, в котором он не сидит, а скорее лежит, в одеяле, натянутом до самой шеи, которым его укутал Пако, со сложенными на груди костлявыми пальцами, он своей позой и неподвижностью поразительно напоминает лежащего в гробу покойника. Как обострились со вчерашнего дня его черты! Накануне вечером, когда я вошел в самолет, я мимоходом отметил, что этот мой будущий спутник разве что чуть более худощав, чем прочие пассажиры. Но ни жесты, ни голос не выдавали в нем больного. Теперь его тело обрело окоченелость трупа, и на смертной маске живут только глаза, угольно-черные и глядящие на меня с невероятной злобой. Я пытаюсь отвернуться, но не могу этого сделать. Я накрепко схвачен присосавшимся ко мне взглядом. И я читаю в нем ненависть, которую он питает ко мне за то, что я осмелился спросить у Робби — пусть шепотом, пусть на ухо,— полагает ли он, что этот человек скоро умрет. Я читаю его ответ. Он сверкает в его черных глазах. Эти глаза говорят, говорят непрерывно, с мерзкой, навязчивой повторяемостью: «И ты тоже».

Я не могу вынести этот взгляд. Я опускаю веки, и когда я снова их поднимаю, Робби рядом со мной уже нет. Должно быть, он решил, что наш разговор утомил меня, и вернулся на свое место, где своей мощной дланью его незамедлительно и цепко пришвартовала к себе его соседка; набросив абордажный крюк на его хрупкую руку и нависая над ним, как львица над газелью, которую она сейчас начнет рвать на куски, мадам Эдмонд заставляет его вполголоса пересказать ей всю нашу беседу.

Бортпроводница, вернувшись из кухни, опять садится рядом со мной и, словно это стало уже давней привычкой, снова вкладывает свою маленькую руку в мою. Вероятно, оттого, что, управившись с делами, она вымыла руки, ладонь у нее прохладная. Мне кажется, что эта свежесть делает ее руку еще нежнее и даже, как ни странно, еще миниатюрнее. Ее тонкие пальцы не лежат у меня в ладони неподвижно, подобно каким-нибудь изящным и хрупким, но совершенно безжизненным предметам. Нет, они, точно маленькие дружелюбные зверьки, находятся в непрерывном движении, сплетаются с моими пальцами, выбираются из их плена, мягко и нежно до них дотрагиваются, сжимают мой большой палец и легонько растирают его. Ни одна женщина никогда не доставляла мне такого наслаждения одним лишь поглаживанием моей руки и не вкладывала в этот жест такой нежности и такой чуткости.

В эти минуты, когда я так слаб, когда я чувствую, что жизнь уходит из меня через все поры, и когда я непрестанно задаю себе мучительные вопросы относительно конечной цели и смысла нашего путешествия, я преисполнен великой признательности, я тронут до слез тем вниманием, которое продолжает мне уделять бортпроводница. Когда другие вас любят, это, по существу, всегда в той или иной мере незаслуженно. Разумеется, я не знаю, любит ли меня бортпроводница,— такого рода сомнение и есть, возможно, сама субстанция, из которой рождается любовь. Впрочем, когда я думаю о ней, такой красивой и милой, и обо мне, который совсем уж не красавец, я отнюдь не уверен, что знаю, что вообще означает слово «любовь». С другой стороны, хочу повторить: какой смысл бортпроводнице ломать комедию и притворяться, что она влюблена в «пассажира»? (У меня сжимается горло, когда я произношу это слово.) Но факт остается фактом: она дарит мне много душевного тепла и делает это с полной естественностью, словно все происходит само собой и она воздает мне за какие-то исключительные мои достоинства, тогда как никаких достоинств у меня нет, кроме, быть может, обостренной восприимчивости, которая позволяет мне оценить всю огромность ее дара.

Я все время спрашиваю себя, достаточно ли точно я описал бортпроводницу. Мне бы не хотелось, чтобы ее увидели глазами какого-нибудь

Карамана или Блаватского или глазами миссис Банистер, тоже на редкость недоброжелательной, когда дело касается женщины. Бортпроводница в самом деле настоящая красотка, из породы девушек миниатюрных и славных, в которых есть что-то детское и трогательное. Но в ней нет ни капли слащавости и жеманства. От ее взгляда, от ее молчания веет достоинством. Притом что она прекрасно владеет собой, лицо у нее живет. Мне уже доводилось видеть, как темнеют ее зеленые глаза, как едва заметно трепещут ноздри. Поначалу мне казалось, что у нее слишком маленький рот. Но это впечатление вытесняется видом ее пышных, исполненных неги грудей. А дальше — тонкая талия, маленький зад, худощавые ноги. Ее движения всегда грациозны, миссис Банистер наверняка сказала бы, что бортпроводница «ломается», или употребила бы еще какой-нибудь уничижительный глагол того же сорта. Разумеется, это не так. Я бортпроводницу люблю и, следовательно, вижу ее такою, какова она есть, и поэтому я бы сказал, что всеми своими жестами и своими движениями она стремится каждую минуту оставаться в гармонии со своей красотой.

Поскольку никто в круге не разговаривает — большинство продолжает заваливать комьями молчания те мысли, которые высказала Мюрзек, и ту еретическую беседу, которая только что состоялась у нас с Робби,— я получаю возможность, повернувшись лицом к бортпроводнице, без помех наслаждаться ее присутствием, и, грезя наяву с полузакрытыми глазами, я в эти минуты почему-то вижу ее не сидящей рядом со мною во всей прелести изгибов ее тела, но идущей по парижской улице мне навстречу и неожиданно возникающей на углу бульвара, который отделяет ее от меня, самую маленькую и самую изящную из всех прохожих, и ее золотистые волосы, пушистые и тонкие, сверкают на солнце, когда она приближается ко мне, худенькая и округлая, слегка склонив голову набок.

Но пока, ожидая того, пребываем мы именно здесь, и именно здесь заточен я, и единственное утешение — ласковая рука бортпроводницы, сплетающаяся с моею, и пословица, которую подарил мне Робби. Я повторяю ее про себя на двух языках. В своей поистине детской простоте она подводит очень точный итог человеческой жизни. В ней все наши слезы, которые мы сдерживаем с таким великим трудом.

Я шире открываю глаза, выпрямляюсь в кресле и на какое-то время почти забываю о своем состоянии. Круг уже больше не инертен и не вял. В нем что-то происходит. Мандзони только что предпринял свою так давно ожидавшуюся и так долго откладывавшуюся атаку на миссис Банистер.

Если только это не плод чисто автоматического донжуанства, тут следует видеть начинание, исходящее из того радужного взгляда на будущее, которое можно теперь обнаружить лишь в рядах большинства.

Я не уловил начала диалога. Должно быть, в это время я задремал. Меня разбудили боевые приготовления миссис Банистер, когда противник, доверчиво и без должного прикрытия, подступил к ее стенам. Если он воображает, что ему немедленно откроют ворота и восторженно встретят цветами и развевающимися на ветру стягами, он ошибается. Миссис Банистер сидит в своем кресле очень прямо, плечи откинуты назад, грудь, точно нос корабля, выставлена вперед, руки лежат на подлокотниках, вся ее поза выражает герцогское достоинство, и японские глаза грозно взирают на все, как две узкие амбразуры в крепостной стене. Под ее маленьким, остреньким и весьма опасным носом, обнажая мелкие плотоядные зубы, с обманчивым обаянием змеится улыбка, голова повернута к соседу с выражением благосклонной снисходительности, что обеспечивает ей огромное военное преимущество, так как именно с этой высоты и обрушатся сейчас на красавчика итальянца ядовитые замечания, заготовленные ею впрок на ее бастионах. А он, широкоплечий, отлично сложённый, в своем почти белом костюме, с хорошо завязанным галстуком, гордый своими благородными чертами римского императора, мужественными и одновременно немного вялыми,— он, разумеется, ни о чем не подозревает. Да и как ему не быть уверенным в себе после всех тех авансов, которые были ему сделаны, после всех

завлекающих взглядов, легких прикосновений, пожатия рук и смущенных ужимок?

Не знаю, с чего начал Мандзони свою первую схватку, но вижу, чем она для него обернулась,— пожалуй, обернулась довольно плачевно. Контратака ведется на его родню; должно быть, это копье долго начищалось до блеска, прежде чем было пущено в ход.

— Происходите ли вы,— говорит миссис Банистер,— от знаменитого Алессандро Мандзони?

Вопрос задан свысока и небрежно, словно миссис Банистер заранее знает, что ее собеседник никак не может похвастаться столь поэтическим и, сверх того, благородным родством. Захваченный врасплох, Мандзони совершает первую ошибку: он не решается ни отстаивать свое право на честь, которой за ним вроде бы не признают, ни полностью от нее отказаться.

— Может быть, и происхожу,— говорит он неуверенным тоном.— Вполне возможно.

Ответ крайне неудачный, и мы все понимаем, что речь идет просто об однофамильцах. Это придает миссис Банистер сил для дальнейшего наступления.

— Ну как же,— говорит она с еще бóльшим высокомерием.— Тут нет ни «может быть», ни «вполне возможно»! Если бы вы происходили от прославленного Мандзони, который принадлежал к древнему дворянскому роду в Турине и писал такие дивные стихи,— (которых она не читала, я в этом уверен),— вы бы это знали! Сомнения здесь неуместны!

— Ну что ж, будем считать, что я от него не происхожу,— говорит Мандзони.

— Тогда,— не унимается миссис Банистер,— вы не должны были давать нам повод предполагать обратное.— Здесь она позволяет себе усмехнуться.— Вы ведь знаете,— продолжает она,— я далека от снобизма.— (Мандзони в растерянности глядит на нее.) — Вы можете быть вполне приличным человеком и не происходить от Мандзони. Только не нужно хвастаться.

— Но я не хвастался! — восклицает Мандзони, возмущенный такой несправедливостью.— Эту тему подняли вы, а не я.

— Да, подняла ее я, но своим двусмысленным ответом вы поддержали мою неуверенность,— говорит миссис Банистер с улыбкой, которая ухитряется быть насмешливой и кокетливой одновременно.

— Я сказал первое, что мне пришло в голову,— лепечет вконец смущенный Мандзони.— Я не придал значения вашему вопросу.

— Как, синьор Мандзони,— с деланным негодованием говорит миссис Банистер,— вы не придаете значения тому, что я говорю? Почему тогда вы вообще разговариваете со мной?

Несчастный Мандзони, покраснев до ушей, пытается в свое оправдание что-то сказать, но ему не удается закончить ни одну из фраз, которые он начинает. Тут на помощь ему приходит Робби. Он наклоняется и говорит самым благодушным тоном; обращаясь к миссис Банистер:

— Поскольку вам хорошо известна биография Алессандро Мандзони, вы, конечно, знаете, мадам, что он родился в Милане, а не в Турине, как вы изволили сказать.

В этом заявлении есть, конечно, налет педантизма, но оно тем не менее срабатывает: миссис Банистер прекращает свою атаку. Она размышляет. Перед ней довольно щекотливая проблема. После резкой отповеди, которую она дала осаждавшему ее противнику, ей нужно остаться «во взаимодействии» с ним. Речь идет о том, чтобы немножко его наказать и сделать более податливым, но вовсе не о том, чтобы его оттолкнуть.

Она поворачивается к нему и, выгнув с изяществом шею и произведя всем туловищем вращательное движение, благодаря которому ее груди еще больше выдаются вперед и в то же время сближаются друг с другом, адресует Мандзони самую открытую из имеющихся в ее арсенале улыбок, одновременно изливая на него черный и многообещающий свет своих глаз. Я отмечаю, что мадам Эдмонд с большим уважением наблюдает за этой

пантомимой. Она, наверно, думает сейчас о том, что, когда светской даме требуется выставить себя напоказ, она даст сто очков вперед профессионалке. Тем более что, с такой откровенностью предлагая себя, миссис Банистер ни на миг не теряет своей надменности.

Ощутив после недавнего ледяного душа это теплое дуновение, Мандзони немного приободряется, но сидит пока еще ни жив ни мертв. С большой осторожностью и с тошнотворной вежливостью хорошо воспитанного ребенка, которая производит странное впечатление у мужчины его роста и возраста, он говорит:

— Должен признаться, что вы приводите меня в замешательство.

— Я? — изумляется миссис Банистер.

При этом она прикладывает правую руку — которая, даже лишенная всех своих перстней и колец, очень красива — к своей левой груди и, давая таким образом возможность по достоинству оценить красоту и руки, и груди, выдерживает необходимую паузу, прежде чем продолжить своим музыкальным голосом:

— Вы хотите сказать, что находите меня загадочной?

Робби толкает Мандзони локтем в бок, но уже поздно, Мандзони попал в ловушку. Ему, бедолаге, кажется, что он знает женскую душу.

— Ну да, вы для меня загадка,— поспешно говорит он, опустив голову и в полной уверенности, что этот тезис ей должен понравиться.

Миссис Банистер легонько вздрагивает от удовольствия. Она выпрямляется и говорит голосом холодным и острым, как нож гильотины:

— А ведь вы повторяетесь.

— Я? — спрашивает Мандзони.

— Этот фокус с загадочностью вы уже проделали с Мишу.

— Но позвольте,— говорит Мандзони, чувствуя себя очень неловко.— Это совсем другое...

— Это совершенно то же самое,— говорит миссис Банистер, без всяких церемоний перебивая его.— Вы меня разочаровали, синьор Мандзони. Я думала, вы найдете для меня что-нибудь посвежее. Но нет, вы со всеми женщинами используете один и тот же прием. Честно говоря, я ожидала от вас большего.

— Не надо отвечать,— вполголоса говорит Робби, вновь толкая Мандзони, который, мы это чувствуем, желает во что бы то ни стало оправдаться, тогда как ему достаточно просто замолчать и он тут же вернет себе утраченное преимущество.

— Вы меня не поняли,— говорит Мандзони с учтивостью, начинающей вызывать у меня сострадание, потому что она только мешает ему в поединке с женщиной, которая скрывает циничность своего поведения под лоском хороших манер. Он продолжает: — В Мишу меня заинтриговало лишь то, что она читала и перечитывала один и тот же роман.

С противоположной стороны круга Мишу смотрит на него сквозь прядку волос с величайшим презрением, но ни слова не говорит.

— Вы ужасный лжец, синьор Мандзони,— говорит миссис Банистер с надменной улыбкой.— Мишу вам понравилась. Она была в вашем списке первой, и вы попытались ее подцепить. Без всякого, впрочем, успеха.

— Ну, «без всякого успеха»,— мягко и вкрадчиво говорит Робби,— это, скорее всего, сказано лишь для красного словца...

Очко в пользу Мандзони. Но, понимающий все буквально, Мандзони тут же снова теряет его.

— Первой в моем списке? — спрашивает он, поднимая брови.

— Ну конечно,— отвечает миссис Банистер с тем небрежным видом, который ничего хорошего не предвещает.— Когда вы вошли в самолет и уселись в свое кресло, вы огляделись вокруг и окинули Мишу́, бортпроводницу и меня, одну вслед за другой и именно в таком порядке, взглядом собственника. Это было очень забавно! — Она смеется.— Видите, я даже польщена. Вы могли меня вообще не заметить. Но, с другой стороны,— продолжает она с уничтожающим презрением,— могла ли я утешиться, оказавшись в этом списке не первой?

— Да я вовсе не ухаживаю за Мишу,— довольно тупо говорит Мандзони.— С Мишу у меня все кончено.

— Все кончено? — на какую-то долю секунды забыв свою роль, жадно спрашивает Банистер и глядит на Мандзони, хлопая ресницами и учащенно дыша.

Значит, в конечном счете она была не так уж уверена в себе.

Да и он, пожалуй, не так уж неловок.

Ах нет, конечно, неловок! Ибо он считает себя обязанным добавить:

— Я просто в ней ошибся. Мишу еще совершенно не созрела как женщина и втюрилась, точно девчонка, в какого-то замухрышку.

Пауза. Мы даже вздрогнули от этого мелкого и к тому же совершенно ненужного хамства.

— Ну и дерьмо же этот чувак,— спокойно говорит Мишу, которую ее сосед слева незамедлительно начинает отчитывать за грубость.

Мишу, со своей неизменно свисающей на лоб прядкой волос, удовлетворенно молчит. Она доставила себе двойное удовольствие: обругала Мандзони и получила нагоняй от Пако.

— Вы, конечно, опять лжете,— высокомерно говорит миссис Банистер.— Мишу двадцать лет. Вы предпочли ее мне.

— Вовсе нет,— ответствует Мандзони, который ощущает, как важно для него отвергать этот пункт обвинения, но не очень понимает, как сделать, чтобы его отпирательство выглядело достоверным.

Миссис Банистер глядит на него, и он чувствует, что его пригвоздили к стене эти черные зрачки, сверкающие в жестких щелях ее век. Он говорит чуть ли не заикаясь:

— У нее привлекательность совсем другого рода. В Мишу чересчур много терпкости. От нее оскомина на зубах.

— Тогда как мною можно спокойно набивать себе рот? — говорит миссис Банистер тоном, от которого мурашки бегут по спине. Но в то же время она высокомерно улыбается и замечательно владеет собой.— Что ж,— продолжает она,— поскольку мы все для вас только пища, может быть, вы пропустите мою очередь и, не откладывая дела в долгий ящик, поскорее отведаете бортпроводницы? Правда,— добавляет она с оскорбительной ухмылкой,— бортпроводницу уже прибрали к рукам, и она, кажется, неплохо защищена.

Робби опять тычет своим острым локтем в ребра Мандзони, и тот на сей раз понимает; он молчит, ожидая, что́ будет дальше, тем временем собирая разбросанные вокруг остатки своего самолюбия.

Пока шел разговор, он меня отвлек и даже немного позабавил. Но теперь, когда он завершился, меня охватывает недоверие, настолько крича-ще выбивается он из контекста, настолько не вяжется с ситуацией, в которой мы оказались на борту этого самолета.

О, я понимаю, эта сцена, возможно, является для миссис Банистер способом приободриться, убедить себя, что все обстоит нормально и что наше несколько затянувшееся приключение вскоре благополучно завершится в четырехзвездном отеле на берегу озера в Мадрапуре. Ибо обе viudas с самого начала не переставая вздыхают, томясь по гостиничным удобствам. Миссис Банистер все время толкует об услаждающей ванне, которую она примет сразу же по прибытии, а миссис Бойд — о завтраках в ресторане, на террасе с круговым обзором. Где-то в затаенных планах миссис Банистер есть и такая позиция: слышится тихий стук в дверь ее выходящего на озеро номера; дверь открывается, на пороге возникает Мандзони — еще одно дополнительное удобство. Он будет, мечтает она, проводить с нею все вечера, этот большой и смазливый простак, всегда готовый заняться любовью. Отсюда и необходимость загодя и постепенно, еще в самолете, его как следует выдрессировать.

Для viudas, и особенно для миссис Банистер, чьи владетельные права восходят к седой старине, благополучный исход представляется как нечто само собой разумеющееся. Мадрапур причитается ей, и она получит его сполна. Ни в каком месте земного шара, ни в какое мгновение ее жизни

ничего худого с миссис Банистер произойти не может. Покойные отец и муж определили ее в категорию туристов такого высокого ранга, что задеть ее всерьез просто невозможно. Ей нелегко воспринимать себя «пассажиркой», и я испытываю к ней какую-то жалость. Сам не знаю, отчего это происходит. Ибо вряд ли стоит ее особенно жалеть. Во всяком случае, не больше и не меньше, чем всех нас.

После жестоких салонных забав миссис Банистер и небольшого отдохновения, которые они нам доставили, круг снова погружается в неподвижность безмолвного ожидания; этот переход к пустоте тянется довольно долго, и выносить его даже труднее, чем те драматические моменты, которые нам пришлось пережить. У всех у нас есть основания, пусть и различные, не открывать рта. Суровость, с какой миссис Банистер прошлась против шерсти своего жеребца, обучая его хорошим манерам, предполагает настолько оптимистический прогноз на будущее, что даже лидеры большинства не решаются разделить эту точку зрения. Что же касается нас, the unhappy few [1] — Мюрзек, бортпроводницы, Робби и меня,— на нас уже и так все косятся, раздраженные тем, что мы раньше времени оказались правы, и у нас нет никакого желания вновь повергать наших спутников в растерянность и тревогу, лишний раз повторяя им то, что мы думаем о нашем положении.

И вот среди этой напряженной и мрачной тишины, когда в иллюминаторах закатное солнце опускается к морю облаков, дыхание Бушуа начинает меняться. До этой минуты его дыхания, как и нашего, не было слышно. Теперь оно неожиданно становится шумным, хриплым, прерывистым и сопровождается судорожным подергиваньем рук и постоянным движением шеи то вправо, то влево, как будто больной, когда ему не хватает воздуха на одной стороне, поворачивает голову в другую, надеясь — но надежда всякий раз оказывается тщетной — наполнить наконец свои легкие. Натужное хрипенье, которое, кажется, рвется из самой глубины его груди, словно Бушуа должен каждую секунду его оттуда выдирать, походит на верещанье трещотки, только на более низких нотах. В этом звуке так мало человеческого и столько чего-то механического, отвратительного, что мы леденеем от ужаса, и, однако, когда он временами прекращается, уступая место резкому свисту, сходному с тем, какой испускает продырявленная шина, впечатление от этого не менее омерзительно. Изможденное, желтое лицо Бушуа покрывается потом, и когда с его ссохшихся, бесцветных губ не срывается ни этот трещоточный скрип, ни это ужасающее свистящее выдыханье, с них слетает мучительный стон. Можно сколько угодно твердить себе, что Бушуа, скорее всего, уже впал в беспамятство и в его мозгу не отпечатываются те страдания, которыми исполнены его стоны, все равно самим своим повторением они с таким неистовством бьют по нервам, что вынести это почти невозможно. Пако, с глазами, вылезающими из орбит, и с мокрой от пота лысиной, наклонился над шурином и засыпает его тревожными вопросами, но они остаются без ответа, и даже в глазах Бушуа, черных, неподвижных, широко открытых, нет ни признака жизни.

— Вы же видите, что ваш шурин не в состоянии вам ответить,— говорит Блаватский воинственным тоном, который контрастирует с сострадательным выражением его близоруких глаз. Он продолжает по-английски, грубым, вульгарным голосом, пожимая плечами, словно происходящее его совершенно не трогает: — Этот тип загибается.

В то же время, будучи человеком, привыкшим к активным действиям, он с грузным проворством поднимается с кресла и несколько мгновений стоит, переминаясь с ноги на ногу, заложив большие пальцы за брючный ремень и выдвинув вперед подбородок.

— Нужно все же решиться и что-нибудь сделать для этого типа,— продолжает он гневно и обводит круг обвиняющим взглядом, как будто упрекает нас в нашем бессилии.

---

[1] Несчастливого меньшинства *(англ.)*

Упрек представляется нам настолько нелепым, что никто на него не отвечает, и Блаватский продолжает торчать перед своим креслом все с тем же решительным видом, но сам ничего не предлагает и не делает, лишь раскачивается, как медведь, из стороны в сторону с размеренностью, способной довести человека до тошноты.

— Если бы у меня был одеколон, я смочила бы ему лоб,— говорит бортпроводница, тревожно поднимая свои тонкие, почти бесцветные брови.

— Одеколон,— говорит с насмешкой Блаватский.— Вы собираетесь лечить его одеколоном?

— Не лечить, разумеется,— отвечает бортпроводница с сильным раздражением, какого я у нее прежде не видел.— Но облегчить его страдания это может.

Блаватский мгновенно меняет тактику, принимает, не моргнув глазом, на вооружение идею, которую он только что отвергал, и властным и решительным тоном, как будто вновь беря в свои руки контроль над ситуацией, продолжает:

— У кого в ручном багаже есть одеколон?

Он опять обводит круг глазами, и всякий раз, как он поворачивает голову, толстые стекла его очков ярко сверкают. Ответа по-прежнему нет, потом, после минутного молчания, Мюрзек взглядывает на миссис Бойд и с кротостью говорит:

— Извините мою нескромность, но разве у вас в сумочке нет флакона с одеколоном?

Круглое лицо миссис Бойд краснеет, и я впервые замечаю, что букли в ее сложной укладке нисколько не растрепались со вчерашнего дня, они по-прежнему плотные и тугие, будто сделаны не из волос, а из металла.

— Но это не одеколон! — восклицает она по-английски голосом девочки, в котором слышится страх, смешанный с возмущением.— Это туалетная вода от Герлена!

— Мадам,— сурово и твердо говорит Блаватский и начинает раскачиваться вперед и назад, словно собираясь катапультироваться на миссис Бойд,— надеюсь, вы не откажете в одеколоне умирающему!

— Что? Что? — пронзительно вскрикивает миссис Бойд и в крайнем волнении вздымает вверх свои пухлые ручки.— Этот человек умирает? Но я этого не знала! Мне никто об этом не сказал! Мадемуазель,— с оскорбленным видом продолжает она, поворачиваясь к бортпроводнице,— компания чартерных перевозок не должна обрекать пассажиров на подобное зрелище! Это неприлично! Надо немедленно перевести этого человека в туристический класс!

Ее предложение встречено изумленным молчанием. Пако, задыхаясь от ярости, открывает рот, но не может произнести ни звука, все взгляды останавливаются на миссис Бойд. Но она, свято веруя в свои права, ни на кого не глядит. Своими короткими руками она прижимает к животику сумку крокодиловой кожи.

Миссис Банистер кладет руку на предплечье своей приятельницы и, наклонившись, шепчет ей на ухо несколько слов по-английски; она это делает так тихо, что я не могу ничего разобрать, но мне кажется, что она обращается к миссис Бойд с увещеваниями. Так, во всяком случае, я думаю, ибо, шепча, миссис Банистер принимает тот ангельский вид, который мы уже наблюдали у нее, когда дружно занимались самобичеванием по поводу Мюрзек, еще до того, как та снова оказалась в самолете.

Мне довольно трудно решить, искренна сейчас миссис Банистер или нет, ибо обычно она заботится прежде всего о том, чтобы хорошо выглядеть, и сострадание к ближнему не принадлежит к числу ее главных достоинств. Тем не менее она как будто высказывает соседке здравые мысли. Но ее усилия тщетны. Ибо чем больше она настаивает, тем больше каменеет круглая, мягкая и добродушная физиономия миссис Бойд, и на ней, точно защитный слой лака, появляется выражение оскорбленной добродетели.

— Нет, моя дорогая,— говорит она наконец, почти не разжимая губ

и цедя сквозь зубы слова,— то, что мне принадлежит, принадлежит мне, и я буду распоряжаться им по своему усмотрению. Эта парочка гангстеров уже и так меня обчистила. С меня довольно.

Сказав это, она с решительным видом устремляет перед собой взгляд своих круглых глуповатых глаз, продолжая изо всех сил прижимать к себе сумочку крокодиловой кожи. Миссис Банистер говорит вежливо и несколько уязвленно:

— Я не настаиваю.

Она чуть заметно пожимает плечами, предназначая это движение для круга, и выгибает с изяществом шею в направлении Мандзони. Затем, словно устанавливая между ними взаимопонимание двух благородных сердец и приглашая Мандзони стать свидетелем ее поражения, она обращает к нему исполненную меланхолии улыбку.

— Миссис Бойд,— громовым голосом говорит Блаватский,— ваш эгоизм переходит все границы! Если вы сейчас же по своей собственной воле не отдадите бортпроводнице флакон с одеколоном...

— С туалетной водой,— говорит миссис Бойд.

— Не имеет значения! Если вы не отдадите бортпроводнице этот флакон, я возьму его у вас силой!

— О, мистер Блаватский! — говорит с обычным своим тиком Караман и в знак протеста выставляет в сторону Блаватского ладонь правой руки.— Я не согласен с таким методом. Вы заходите слишком далеко! Этот предмет принадлежит миссис Бойд! И вы не можете его у нее отнять.

— И кто же мне помешает это сделать? — воинственно спрашивает Блаватский, становясь на своих толстых ногах в фехтовальную позицию.

— Да хотя бы и я! — говорит Христопулос, поднимаясь в свою очередь с места и глядя Блаватскому прямо в глаза.

Он побагровел, тяжело дышит и весь в поту, но в его маленьких глазках сверкает радость реванша. Этот вызов приводит большинство круга в шоковое состояние, даже не самый вызов, а то, что за ним кроется. Ибо совершенно ясно: если Христопулос больше не боится Блаватского, если он даже осмеливается выступить против него и вызвать на поединок, значит, что-то нарушилось в нормальном порядке вещей.

Все это не ускользает от внимания Блаватского. Для него это двойной шок, ибо под вопрос снова ставится его положение в самолете и та иерархия среди пассажиров, которую он установил. До этой минуты он испытывал к греку бесконечное презрение, куда входило не только презрение полицейского к торговцу наркотиками, но одновременно презрение к его физическому облику, к его одежде, манерам, запаху и, может быть, менее осознанное, но все же презрение к его расе, к его нищей стране. А теперь вот этот ублюдок, этот чужак позволяет себе ему угрожать. Выдвинув подбородок вперед, выпятив грудь, расставив ноги, Блаватский, в силу инерции завоеванного ранее превосходства, пока еще держится как хозяин положения. Но мы чувствуем, что его представлениям о важности собственной персоны и о той роли, какую играет он в круге, нанесен тяжелейший удар. Думаю, что в это мгновение, в те несколько секунд, которые последовали за наглой выходкой грека, он испытывает такое невыносимое унижение, что наверняка убил бы противника, если бы индус, уходя, не позаботился конфисковать его револьвер. Я думаю так потому, что вижу, как его рука тянется к левой подмышке. Но это даже нельзя назвать движением, это лишь порыв к нему, и рука тут же падает вдоль туловища. Затем, через секунду, она опять поднимается и упирается в бедро. Другая рука занимает симметричное положение, и Блаватский застывает в этой героической позе; у него по-прежнему очень решительный вид, но он не в состоянии отважиться на какой-нибудь шаг, даже на то, чтобы принять брошенный ему вызов.

Помощь приходит к нему неожиданно с той единственной стороны, с которой он никак не мог ее ожидать. Миссис Бойд своим круглым куриным глазом глядит на Христопулоса. Остолбенело взирает она на эту сомнительную личность, собравшуюся ее защищать. То, что Христопулос имел дерзость принять ее сторону, оскорбляет ее сильнее, чем угрозы Блаватского.

— Я не просила вашей помощи,— наконец говорит она ядовитым тоном.— И вообще я ни в ком не нуждаюсь.

— Но... но...— заикается Христопулос, возмущенный такой черной неблагодарностью и в своей ярости забывая, что он вскочил с кресла именно для того, чтобы защитить миссис Бойд.— А я не спрашиваю вашего мнения, старая вы карга!

— Мсье, мсье! — негодует Караман, вздымая руки в жреческом жесте.

— Замолчите вы все! — почти одновременно с ним кричит Пако с покрасневшими от слез глазами. И добавляет: — Дайте человеку хотя бы умереть спокойно, раз уж вы не можете ничего для него сделать!

Инцидент завершается так же глупо, как и возник. Блаватский без единого слова усаживается в свое кресло, а секундою позже весь красный, потный и тяжело пахнущий Христопулос делает то же самое.

Хотя стычка была тягостной и наполнила всех стыдом, тишина, которая ее сменила, в тысячу раз хуже. Ибо мы снова слышим трещоточный скрежет, стенанья и свисты, испускаемые Бушуа. Пререкания заглушили их своим шумом; наступившая тишина возвращает их снова. Они не стали сильнее, но кажутся нам теперь еще более жуткими, чем прежде.

В этой агонии ужасно то, что отождествляешь себя с умирающим,— ко мне эта связь имеет самое непосредственное отношение, так как я с каждым часом чувствую себя все слабее. Но думаю, что это отождествление ощущается в разной степени всеми, кроме, может быть, миссис Бойд, которая, закрыв глаза, так и сидит, прижимая к себе сумочку крокодиловой кожи, словно щит, который может заслонить ее от смерти. Миссис Банистер глаз не закрывает, но она расположилась в своем кресле так, чтобы Бушуа не попадал в ее поле зрения, и держит голову обращенной только к Мандзони.

Само собой разумеется, она и собственное смятение использует для того, чтобы продвинуть свои дела. Она предоставила одну свою руку в распоряжение Мандзони, всем своим видом выражая ему за это признательность, словно в такой позиции она чувствует себя совсем маленькой и более защищенной. Но испытываемый ею страх слишком очевиден. Она побледнела, и у нее дрожат губы. Что касается Мишу, она, мне кажется, ощущает кошмар ситуации вдвойне, прежде всего потому, что недавно сама испытала муки приговоренного к смерти, а также и потому, что она не получает от Пако никакой поддержки именно тогда, когда она так в ней нуждается.

Он не может сейчас пригреть ее под своим крылышком, ее лысый ангел. Он повернулся к ней спиной. Склонившись над шурином, он безостановочно вытирает ему лоб и губы платком, в то время как Бушуа продолжает мотать головой из стороны в сторону по спинке кресла, и временами у него изо рта вырывается ужасный хлюпающий звук, создающий впечатление, что глоток воздуха, который он вдохнул, будет сейчас последним.

Миссис Бойд ставит сумочку крокодиловой кожи себе на колени, решительным жестом открывает ее, вынимает пластмассовую коробочку и, прежде чем открыть, протягивает ее миссис Банистер.

— Что это такое?

— Тампоны для ушей,— говорит миссис Бойд.

Поначалу миссис Банистер колеблется, но потом, видимо боясь, что это будет ей не к лицу, а может быть не желая выглядеть в глазах Мандзони смешной, вполголоса говорит: .

— Нет, спасибо, я ими не пользуюсь.

— Как вам угодно,— сухо говорит миссис Бойд, по-видимому весьма раздраженная тем, что ее щедрость отвергнута.

Она берет из коробочки два тампона, тщательно освобождает их от ваты, в которую они завернуты, потом, зажав их между большим и указательным пальцами, разминает, придает им продолговатую форму и вставляет себе в уши. После чего опять складывает свои короткие ручки на сумке и, прижимая ее к животу, закрывает глаза.

Я глаз не закрываю и довольствуюсь тем, что, повернувшись к расположенному справа от меня иллюминатору, стараюсь не смотреть на

Бушуа. Для меня тоже стало невыносимо его видеть. Мне нетрудно представить себя на его месте. Чтобы быть точнее, скажу, что мучительнее всего для меня видеть даже не столько печать, которую уже наложила на него смерть, не этот остановившийся взгляд, глубоко запавшие глаза, трупный цвет кожи, сколько то, что́ еще в нем осталось от жизни, или, может быть, то, что уже не более чем карикатура на жизнь: конвульсивное подергиванье рук и безостановочное перекатывание головы из стороны в сторону. Даже отвернувшись, я продолжаю все это видеть. И все время задаю себе один и тот же вопрос: «Зачем, Господи, зачем было родиться, чтобы все кончилось этим?»

Я смотрю в иллюминатор на море белых, плотных, пушистых облаков без единого разрыва, в который можно было бы разглядеть *Землю,* ту самую *Землю,* где находятся наши повелители, безраздельно распоряжающиеся нашей судьбой. Сами же облака в эти минуты исполнены потрясающей красоты; солнце, опускающееся за горизонт, придает им розовый оттенок, который, не знаю почему, полнит душу восхитительным чувством доверия и надежности. Тут и там светятся по прихоти клубящихся облачных волн нежно-сиреневые клинья. И виднеются также места, где шелковинки облаков кудрявятся белоснежным цыплячьим пухом. Во мне снова возникает сумасшедшее желание выйти из самолета и погрузиться в облачную массу, плавать в ней и по ней, как в теплых водах Средиземного моря. Но, разумеется, этому морю и его таким мягким тонам доверяться не стоит. За иллюминатором та же самая смерть, что и здесь.

Я прекрасно это знаю, что не мешает мне всей душою стремиться выйти из самолета, стремиться с тою же пылкостью, с какою жаждал индус «вырваться из колеса времени». О, я ведь не Караман, я хорошо понимаю, что это значит. Я понимаю также, что это не решает ничего. *Вырваться из колеса времени?* Да! Но чтобы сделаться кем? Жизнь — это, конечно, пустяк, но, как бы пустячна она ни была, она все-таки лучше, чем та форма небытия, которой так жаждал индус.

По-моему, это такая же несбыточная мечта, как и желание искупаться в облаках на высоте в десять тысяч метров и при пятидесяти пяти градусах мороза. Бегство, ничего больше. Страус, уткнувшийся головою в песок,— или, что то же самое, взгляд, которым уставился я в иллюминатор, чтобы не присутствовать при агонии Бушуа, при моей собственной агонии.

А пока что мы находимся здесь, и если мои глаза избегают смотреть, мое большое ослабевшее тело по-прежнему здесь, в этом кресле, и мои ноздри, хотят они того или нет, улавливают тошнотворный, сладковатый, всепроникающий запах — запах смерти. Я даже не знаю, в самом ли деле исходит он от этого полутрупа, что еще дергается перед нами с хрипом, который всего лишь карикатура на дыхание, и с конвульсиями, которые всего лишь карикатура на жесты, словно жизнь, уходя, сама себя пародирует. Но он здесь, этот запах, едва уловимый и вместе с тем такой сильный, что без труда вытесняет жирные благоуханья Христопулоса или аромат той самой туалетной воды от Герлена, в которой миссис Бойд отказала Бушуа и которой она, закрыв глаза и заткнув уши, сама только что надушилась. Ах, миссис Бойд, вам надо было заткнуть себе также и нос! Невзирая на всю эту сложную арматуру буклей, оснащающих вашу голову, невзирая на сумку крокодиловой кожи и на забранное в кольчугу сердце, всегда отыщется щель, через которую может просочиться смерть.

Когда солнце закатывается в чистом небе за горизонт облаков, картина эта столь же тревожна, как и тогда, когда на земле оно прячется за холмом. И когда оно совсем исчезает, у меня сжимается сердце, как не раз сжималось оно на земле, когда я думал об ограниченном числе закатов, которые суждено нам увидеть, нам, пассажирам на этой земле.

Вот оно и ушло, не оставив следа. Оно исчезло очень быстро, наступает ночь, еще более мрачная оттого, что мы хорошо помним обо всех ночных ужасах, пережитых накануне. Да, накануне, хотя кажется, что все это было очень давно! Ожидающая казни Мишу, которая

укрывается в туристическом классе для последних лихорадочных игр с Мандзони,— здесь со зловещей лаконичностью проявляется торопливость, присущая всякой жизни. Быстрее! Быстрее! Мгновенная судорога стрекозы! Секунда счастья! И все кончено.

Внезапная тишина. И звучащий на фоне тишины очень громко, тусклый и слабый голос:

— Мне кажется, он умер.

Я не узнал бы голоса Пако, но эти слова произнес именно он. Он повернулся к нам, словно умоляет о помощи, блестя голым черепом, с круглыми и добрыми глазами навыкате, с непристойных размеров носом и со ртом, выражающим похотливость и доброту. Он еще держит в руке мятый платок, которым он вытирал губы и лоб Бушуа. А от Бушуа больше не исходит никаких звуков. Он как будто уснул, костлявые руки вниз ладонями покоятся на одеяле, и голова повернута в сторону, которую он в конце концов выбрал, после того как столь долго колебался между правой и левой стороной.

— Умер? — говорит Блаватский громким, резким, агрессивным голосом.— Откуда вы знаете, что он умер? Вы что, врач?

— Но он больше не шевелится и не дышит,— отвечает Пако, и в его выпученных глазах вопреки всему светится робкая надежда.

— Откуда вы знаете, что он больше не дышит? — не унимается Блаватский, выдвигая с воинственным видом квадратный подбородок.— Впрочем,— добавляет он с поразительной злобой,— даже и дыхание не является достаточным свидетельством того, что человек жив. В реанимационных центрах лежат люди, подключенные к специальным аппаратам, и, хотя они дышат, они абсолютно мертвы, так как их мозг больше не функционирует.

— Мы здесь все-таки не в больнице,— чопорным тоном замечает Караман.— И у нас нет возможности сделать энцефалограмму.— И он продолжает в своей неподражаемой манере любителя всех поучать: — В крайнем случае, мы могли бы послушать его сердце.

Все с робостью переглядываются, и через несколько секунд никто ни на кого больше не смотрит. Послушать сердце у Бушуа не вызвался никто, даже Караман. Даже Пако. Правда, Пако не хочет, чтобы терзающее его беспокойство сменилось твердой уверенностью.

Хотя миссис Бойд лишила себя и глаз, и ушей, все же она, должно быть, заметила, что в ситуации что-то изменилось, ибо она поднимает веки, смотрит на Бушуа, потом осторожно, обеими руками вынимает из ушей затычки, готовая в случае опасности немедленно засунуть их обратно.

— Что происходит? — говорит она, поворачивая резкими толчками голову и глядя на соседку круглым куриным глазом, нахальным и глупым.

— Вы сами прекрасно видите, что происходит,— отвечает с раздражением миссис Банистер, словно она боится назвать происшедшее своим именем.

— Боже мой! — восклицает миссис Бойд с явным волнением.

Но прежде, чем дать этому похвальному чувству достойный выход, она снова укладывает обе затычки в пластмассовую коробочку, а коробочку в сумку.

— Боже мой! — продолжает она, защелкнув наконец позолоченный замок своей сумки.— Ведь это ужасно! Бедняга! Умереть так далеко от семьи! — И тут же осведомляется: — Где его поместят?

Миссис Банистер, не вынимая своей руки из теплых и сильных рук Мандзони, поворачивается головой к миссис Бойд и говорит ей шепотом, который всем нам отлично слышен:

— Прошу вас, Маргарет, ничего больше не добавляйте. Вы становитесь отвратительны.

— My dear! — говорит миссис Бойд.— Я! Отвратительна!

— Послушайте, Маргарет, умоляю вас, успокойтесь. К тому же мы еще не уверены, что он...— Ужасного слова она все-таки не произносит.

— Как? — восклицает миссис Бойд, с упреком оглядывая всех своими круглыми глазами.— Вы даже не уверены?

— Нет, мадам! — кричит Блаватский так громко и таким презрительным тоном, что миссис Бойд съеживается в своем кресле.

За этой вспышкой следует пауза, потом мадам Мюрзек опускает глаза и, глядя на свои колени, с кротостью говорит:

— Поскольку никто не выражает желания послушать его сердце, можно было бы по крайней мере поднести к его губам зеркало. Если оно помутнеет, значит, он еще жив.

— Кумушкины рецепты! — пренебрежительно говорит Блаватский.— Метод совершенно неубедительный.

— За отсутствием другого можно попробовать и этот,— говорит Робби.

До сих пор он проявлял полное спокойствие в отношении случившегося, теперь же внезапно впадает в крайнее возбуждение, со всеми гримасами и ужимками, которыми у него обычно сопровождается это состояние.

— Миссис Банистер,— продолжает он, наклоняясь вперед и влево, чтобы видеть ее,— быть может, у вас в сумке есть маленькое зеркальце и вы могли бы его нам одолжить?

Он говорит это, грациозно наклонив шею, его лицо почти скрыто волной золотистых кудрей, но мне видно, что его светло-карие глаза лукаво сверкают, и я понимаю, каким чисто женским коварством вызван этот демарш. О, Робби, разумеется, знает, что у миссис Банистер зеркало есть, знает также и то, что, предоставив его для такой мрачной процедуры, она никогда больше не сможет им пользоваться. Значит, ему нужен ее отказ, благодаря которому, он надеется, что образ его, Робби, соперницы потускнеет в глазах Мандзони.

— У меня в сумке зеркала нет,— со спокойной уверенностью отвечает миссис Банистер.— Я весьма об этом сожалею. Я бы охотно вам его предоставила.

— Да нет же, оно у вас есть,— с медлительной улыбкой говорит Робби.— Я сам его там видел.

Миссис Банистер упирается в Мандзони своими самурайскими глазами и говорит легким тоном, не глядя на Робби:

— Вы ошиблись, Робби. Вы точно Нарцисс: вам всюду мерещатся зеркала...

Робби меняется в лице, и мадам Эдмонд чувствует, что ее газель обидели, хотя и не очень понимает — чем. Голосом, которому она придает нарочитую вульгарность, она говорит:

— Столько разговоров из-за какого-то паршивого зеркала? На, толстячок, бери мое! — И, вынув из своей сумки зеркало, она протягивает его Пако.

Пако пересекает круг, хватает зеркало и, наклонившись над Бушуа, держит его в нескольких сантиметрах от губ шурина.

— Ближе! Но к губам не прикасайтесь! — командует Блаватский.

Пако подчиняется. Проходят четыре-пять секунд, и он говорит тоном робкого мальчугана:

— Этого достаточно?

— Разумеется,— говорит, повышая голос, Блаватский, будто стыдя бестолкового ученика.

Пако отодвигает зеркало от губ Бушуа и, наклонившись к иллюминатору, ибо уже стемнело, а свет в самолете еще не включен, вглядывается в маленький прямоугольник, который он держит тремя толстыми пальцами правой руки.

— Да не подносите его так близко к себе,— нетерпеливо говорит Блаватский.— Оно помутнеет от вашего дыхания.

— Но я близорукий,— говорит Пако. И через несколько секунд продолжает: — Ничего не вижу. Здесь слишком темно. Мадемуазель, не могли бы вы включить освещение?

— В этом самолете освещением распоряжаюсь не я,— говорит бортпроводница.

Она едва успевает завершить фразу, как Блаватский вскакивает на ноги и показывает рукой на дверь кухни.

— Смотрите! — кричит он.

Я оборачиваюсь. По обе стороны дверей включились световые табло, предупреждающие о посадке. Блаватский, словно он в самолете единственный, кто умеет читать, вопит по-французски:

— Пристегните ремни! — Затем повторяет ту же фразу на своем родном языке, и в его металлическом голосе слышны фанфары победы: — Fasten your belts!

Он стоит очень прямо, грудь колесом, толстые ноги расставлены, правая рука все еще вытянута вперед. На его тяжелом лице торжествующее выражение. Видя, как он преобразился, можно подумать, что именно ему, его силе, его мудрости, его leadership принадлежит заслуга нашего возвращения на *Землю*.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда загораются световые табло, это значит, что мы приземляемся, из чего, однако, вовсе не следует, что мы высаживаемся. Тем не менее Блаватский своим торжествующим тоном навязывает нам именно эту оптимистическую версию, мы, как бараны, следом за ним тоже решаем, что так оно и есть, и апатия мгновенно сменяется в круге веселой возней.

Мишу, viudas и мадам Эдмонд начинают осаждать туалет, а мужчины — за исключением Пако, погруженного в глубокую скорбь,— наводят порядок в своей одежде и в ручной клади. У Карамана эти жесты носят чисто символический характер, ибо узел его галстука по-прежнему безупречен, и я совершенно уверен, что ни один документ в его папке не сдвинулся с места. Для него речь идет скорее о некоем магическом обряде, имеющем своей более или менее осознанной целью ускорить высадку с помощью приготовления к ней.

Мандзони весьма активен в наведении марафета, в вылизывании своей шерстки. Кроме того, он единственный среди мужчин, кто на глазах у почтеннейшей публики с превеликим тщанием поправляет свою прическу. После чего он вынимает из своей ручной клади тряпочку и, с большой ловкостью перегнувшись пополам, удаляет пыль со своих туфель. Затем, поскольку последнее упражнение привело его волосы в беспорядок, он снова причесывается.

В отличие от своего соседа Робби сохраняет полнейшую неподвижность, отстраненно и свысока наблюдая охватившее круг возбуждение. Несколько раз он пытается поймать мой взгляд, дабы я стал свидетелем его ироничного отношения ко всей этой суете. Но, угадав это намерение, я стараюсь на него не смотреть.

Меня охватывает совершенно новое для меня чувство: мне хочется, чтобы за мной заботливо ухаживали. Я уже вижу себя в больничной палате, меня дотошно обследуют, устанавливают благоприятный диагноз и принимаются активно лечить. Ах, это вряд ли будет так просто! Едва успел я добраться до утешительной мысли о своем выздоровлении, как под мышками у меня начинают бежать струйки пота. В счастливый исход я верю лишь наполовину. А мне так было бы нужно в него верить! Или я высаживаюсь из самолета, и тогда меня будут лечить, или полет продолжится, и тогда очень скоро, я это знаю, наступит конец. Закрыв глаза, чтобы не видеть Бушуа, чье неподвижное тело так убедительно предвещает, куда меня влекут мелькающие торопливо секунды, я, точно щепка, болтаюсь на волне, то и дело швыряющей меня от надежды к отчаянью. Но и среди этой смертной тоски мой рассудок сохраняет полную ясность и функционирует по-прежнему четко. Как будто что-то еще может мне быть полезным в том коротеньком будущем, которое отпущено мне судьбой, я беру на заметку, что сейчас я открыл, какова истинная природа сомнения. Сомневаться — не означает, как я раньше считал, пребывать в неуверенности; это — попеременно ощущать в себе две противоположные друг другу уверенности.

Кроме Пако, который, уткнувшись в ладони лицом, безуспешно пытается подавить рыдания, никто уже больше не интересуется Бушуа. Никто не задается больше вопросом, умер он или нет. Он уже остался для нас где-то там, позади, стал незадачливым пассажиром, чье путешествие по этой жизни оказалось более кратким, чем наше. И хотя он по-прежнему здесь, рядом с нами, по-прежнему лежит в своем кресле с натянутым до горла одеялом, с полузакрытыми глазами и едва заметной тенью улыбки на исхудавшем лице, мы уже забыли его. Он просто предмет, ничего больше. Мы оставим его в самолете, когда будем высаживаться. Впрочем, кем был для нас Бушуа? Худощавым господином, который очень любил карты и ненавидел своего зятя. Прощай, Бушуа. Прощай, Серджиус, тебе тоже недолго осталось. Нам не придется слишком много думать о вас. Нас тоже торопит время.

Возвратившаяся из туалета Мишу просовывает руку под локоть Пако и ласковым, утешающим движением, которое все во мне переворачивает, приникает головою к плечу этого большого и грузного человека; отбросив нависающую на глаза прядку волос, она смотрит на него, хотя видит только его руки, которыми он закрыл лицо. При этом она очень тихо что-то ему говорит. О, вряд ли что-нибудь слишком сложное! Она ведь почти неграмотная, эта Мишу, хоть и вышла из «хорошей среды». Но по ее лицу и глазам я вижу, что ее бесхитростные слова несут в себе огромный заряд нежности и любви. Ибо Пако убирает ладони с лица, глядит на нее своими круглыми выпученными глазами, гладит ее левой рукой по щеке и волосам, и весь его вид свидетельствует о признательности и обожании.

— Вытри щеки, толстяк,— говорит Мишу с нежностью, которая плохо вяжется с ее словарем.

Он повинуется, и, пока он вытирает свою красную физиономию свернутым в комок огромным белоснежным платком, она тихим голосом выплескивает на него целый поток ласковой брани, в которой я улавливаю «пухленького бутузика», «толстого уродца», «лысую черепушку» и, конечно же, опять «толстяка». И все это время она трется щекой о жесткий твид его пиджака и с невыразимой нежностью глядит на него из-под челки.

Я бросаю взгляд на Мандзони. Пока миссис Банистер отсутствует, наш жеребец считает, что ему все дозволено. С совершенно дурацким видом он уставился на Мишу́. Чтобы ему, Мандзони, могли предпочесть этого плешивого пятидесятилетнего старца, о чьих тайных пороках столь недвусмысленно объявила мадам Эдмонд,— это явно превосходит его разумение. По его растерянному лицу я вижу, что он задает себе целую кучу тревожных вопросов, не понимая, что к этому единению двух сердец порок не имеет никакого, просто ни малейшего отношения! Сомнительно, чтобы Мишу и Пако когда-нибудь стали спать друг с другом, разве что она сама этого захочет, и опять-таки из нежности. Для Мишу важно другое: она обрела свою гавань, вошла в спокойные воды, куда она может бросить якорь, эта шхуна без парусов, пришвартовавшаяся к пузатому трехмачтовику. Мандзони, вероятно, думает сейчас, какую «красивую пару» составили бы они, Мандзони и Мишу. Но «красивая пара» — всего лишь витрина, предназначенная для чужих глаз. Он упускает из виду главное, ему еще многому надо научиться, нашему Мандзони. Надеюсь, у него еще будет для этого время.

Миссис Банистер возвращается из туалета; перед нею шествует миссис Бойд со своей сумкой крокодиловой кожи, которая как-то нелепо болтается в ее руке, и это меня почему-то бесит; возможно, потому, что у нее вообще все болтается и свисает — груди, живот, сумка. Уж сумку-то она могла бы держать элегантно под мышкой, как миссис Банистер, которая садится на свое место, хлопая свежеподкрашенными ресницами; она пытается сделать вид, что не слишком интересуется своим чичисбеем, который вовремя, я бы даже сказал, очень вовремя успел обратить к ней свои покорные очи.

— Ах, Элизабет,— говорит миссис Банистер, устраиваясь в кресле и грациозно колыхнув бедрами и бюстом,— вы не можете себе вообразить, как я мечтаю об этой ванне. Надеюсь, ванная комната в моем номере

окажется достойной четырехзвездного отеля. Я так привередлива, когда речь идет о ванных.— И так как миссис Бойд уставилась на нее с непонимающим видом, миссис Банистер переводит: — I am very fastidious about bathrooms, you know.

— Я тоже,— говорит миссис Бойд.

— Ах, я помню,— говорит миссис Банистер с легким смехом и с молодой, задорной, великолепно сыгранной непосредственностью,— в отеле «Риц», в Лисабоне, я потребовала дать мне другой номер! Бедняга управляющий не мог ничего понять! Но, мадам, твердил он со своим шепелявым акцентом, чем вас не устраивает эта ванная? Она ведь вся мраморная! — Она смеется, поворачиваясь к Мандзони.— Словом, в Мадрапуре я первым делом приму ванну! Буду отмокать в душистых шампунях! Буду отмываться от грязи! И попрошу кого-нибудь потереть мне спину.

— My dear! — восклицает миссис Бойд.

— Вас, вас, Элизабет, если вы согласитесь,— говорит миссис Банистер, косясь на Мандзони.

Я смотрю, слушаю, и эта нелепая комедия безумно утомляет меня. Неужто миссис Банистер действительно верит, что теперь уже считанные часы и минуты отделяют ее от этой насыщенной благовониями ванны? И, главное, что́ это значит — *верить*? Особенно если этот глагол ставится после наречия *действительно*. Целая вселенная отделяет это безупречное сочетание *действительно верить* от сомнительного *хотеть верить* и от более чем сомнительного *делать вид, что веришь*. На эти три категории могли бы делить себя люди, которые молятся Богу, если бы они решились на такую классификацию, пусть даже тайную, пусть маловероятную, ибо те, кто хочет верить,— не являются ли они одновременно теми, кто верит, что они верят? Поистине бездонна эта проблема! И я, верящий в Бога или желающий в Него верить — что на практике сводится, должно быть, к одному и тому же, но в глубине души никак к одному и тому же не сводится,— я в эту минуту действительно верю только в одно — в собственную смерть.

Бортпроводница по-прежнему держит мою руку и гладит ее своими тонкими пальцами, и сейчас, когда моя жизнь безвозвратно уходит, я всеми силами верю, я хочу верить, что она меня любит. Но главное для меня — что она здесь. Я смотрю на нее, на мою немногословную бортпроводницу, и в то же время слушаю, как Мишу пытается в своей незамысловатой манере утешить Пако:

— Не будешь же ты сто лет оплакивать этого мужика! Особенно если он тебя терпеть не мог! Ты просто чокнутый, брюханчик ты мой!

Он в самом деле чокнутый, этот брюханчик, но не больше, чем миссис Банистер, мечтающая о великолепной ванне, которую она вскорости примет. Пако вполголоса говорит:

— Ты не понимаешь, Мишу. Моя жена его мне доверила! И что я теперь ей скажу?

— Да ничего! — вдруг выкрикивает свистящим голосом Робби, раздраженно выпрямляясь в кресле.— Вы ничего ей не скажете! По той простой причине, что вам никогда уже не представится случай вообще что-нибудь ей говорить!

Эта вспышка потрясает нас, и круг смотрит на Робби изумленно и негодующе. Но он сидит с высоко поднятой головой и сузившимися зрачками, положив руки на подлокотники, и с вызовом, твердо встречает направленные на него взгляды. И никто, даже Пако, не решается принять его дерзкий вызов или потребовать от него уточнить, что он имеет в виду. Круг словно только теперь осознал всю хрупкость своих надежд и боится, что полемика с Робби может снова поставить их под вопрос. Оживление сборов сменяется напряженным молчанием, оцепенением, неподвижностью. Все, точно улитки, боязливо скрываются в своих раковинах. Ни один рожок не высовывается наружу. Уста замкнулись, взгляды погасли.

Такая внезапная скованность тем более разительна, что она наступает вслед за бодрым хождением взад и вперед, давкой у туалетов, деловитой

суетой приготовлений. Напряженность так велика, что я почти благодарен бортпроводнице за ее неожиданное вмешательство. Я говорю «почти», потому что, встав с кресла, она отпустила мою руку, и, когда ее теплые пальцы отрываются от моих, мною овладевает мучительное ощущение беспомощности.

Самым нейтральным тоном она говорит:

— Пристегните, пожалуйста, ремни.

А ведь верно, никто до сих пор об этом не подумал. Пассажиры подчиняются, бортпроводница обходит круг и взглядом проверяет, хорошо ли защелкнуты пряжки. Это профессиональное тщание устраивает нас. Оно словно подразумевает, что все возвращается в привычную колею: мы приземляемся, и следует выполнять правила безопасности. Бортпроводница за этим следит. В конце концов, речь идет о таком же самолете, как все остальные, даже если в кабине пилотов никого нет, и о таком же рейсе, как все остальные, даже если, по нашему мнению, он слегка затянулся.

Тишина стала менее напряженной, но круг продолжает молчать. Время движется с неумолимой размеренностью часов, на которых нет циферблата и где бег минут и секунд суммируется на двух световых строчках сменой регулярно вспыхивающих цифр. Каждую секунду цифра исчезает и на ее месте возникает другая, исчезающая в свою очередь тоже. Если задержаться на них взглядом, следя за тем, как они появляются и пропадают, леденеешь от ужаса: ничто не дает более верной картины неизбежности нашего собственного исчезновения. Достаточно сидеть, смотреть на эти мерцающие строки и ждать — ждать достаточно долго.

Ждать... Этим мы сейчас и занимаемся в круге — ждем, не имея вообще никаких часов и лишенные даже возможности как-то отвлечься, чем-то заняться, как мы это обычно делаем на земле.

Внутри самолета сгущаются сумерки. Бортпроводница ничего не может с этим поделать: электричество на борту, она нам уже говорила, не в ее власти, освещением ведает *Земля*, а *Земле*, Бог весть почему, захотелось, чтобы мы сидели в потемках. Таким образом, во вчерашнюю программу внесено маленькое изменение: вчера вечером лампы горели до самой посадки и погасли только в момент открытия дверей. Уверен, я не единственный, кто заметил это нововведение, но никто, даже Блаватский, не говорит об этом вслух. Может быть, деталь сама по себе незначительна, но мы как будто боимся, что, обратив на нее внимание, мы можем вызвать новые нападки Робби на столь лелеемые нами надежды.

В салоне уже так темно, что мы едва различаем лица сидящих напротив. Я жду, что с минуты на минуту свечение в иллюминаторах совсем потускнеет и мы окажемся в полной тьме. Но этого не происходит. Наружный свет, кажется, стабилизировался на теперешнем уровне; мы сидим в тусклых потемках, черты моих попутчиков стерлись, остались только широкие бледные пятна с расплывчатыми краями.

Из всех наших лиц яснее всего проступает поодаль изможденное лицо Бушуа. Возможно, оттого, что оно находится в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной, как наши, оно дольше притягивает к себе скудные остатки света. К тому же оно и само намного бледнее, да и вылеплено гораздо рельефней и резче. Я смотрю на него. Мне кажется, его губы пошевелились. Я содрогаюсь, меня охватывает панический ужас, который, впрочем, тут же проходит. Мне знаком обманчивый эффект, которым это вызвано. Когда долго глядишь на покойника, в конце концов всегда начинает казаться, что улавливаешь едва заметное движение у него на лице. Эта иллюзия связана, должно быть, с тем, что мы не можем примириться с его окончательной неподвижностью.

У меня закладывает уши — мы круто снижаемся. Я глотаю, чтобы освободить их, и по усилию, которого мне это стоит, лишний раз убеждаюсь, насколько я ослабел.

Сумрак лишает всякой возможности определить расстояние, отделяющее нас от земной поверхности, и, когда самолет так же немыслимо

жестко, как накануне, соприкасается с почвой, я чувствую не облегчение, оттого что оказался на твердой земле, а недоверие, смешанное с тревогой.

Никто не произносит ни слова. Самолет начинает резко тормозить, отчего у нас перехватывает дыхание, и, несмотря на торможение, бесконечно долго катится по ухабистой почве, вытрясая из нас душу. Со стянутыми на животах ремнями, судорожно вцепившись руками в подлокотники, съежившись в своих креслах, мы ждем. После серии резких толчков самолет замирает. Двигатели останавливаются, и в тишине слышен скрежет металлического трапа, который выдвигается из фюзеляжа и встает на свое место перед exit.

В динамике раздается потрескиванье, и самолет внезапно заполняется гнусавым голосом немыслимой силы, как будто регулятор громкости поставлен на максимум; уровень шума таков, что никакой человеческий слух его долго не выдержит. Голос буквально взрывается в наших мозгах, и не знаешь, какое принять положение, чтобы спастись от него. Он завладевает салоном, полностью заполняет его и, отражаясь от стен, гулко прокатывается из конца в конец самолета. Кажется, что все переборки, изнемогая так же, как мы, начинают вибрировать под его ударом. К счастью, он произносит всего одну фразу. Без малейшего намека на вежливость, без ритуального обращения «Дамы и господа» и без какой бы то ни было информации относительно «местного времени» и «температуры воздуха» он говорит тоном человека, отдающего приказ:

— Не отстегивайте ремней.

Я не вижу в этом предписании смысла, поскольку самолет остановился. По движениям, которые производят в сумраке Христопулос и Блаватский, я догадываюсь, что они снова пристегиваются. Голос, который командует нами, находится в полном взаимодействии с глазами, от которых ничто не укроется, даже в полутьме.

— Мадемуазель,— снова говорит голос,— откройте exit.

Бортпроводница отстегивает ремень и встает. Я поворачиваю голову. Я едва различаю ее, но слышу, как она возится с задвижкой дверей. И когда в самолет врывается ледяной ветер, понимаю, что дверь открыта.

У меня захватывает дух, мороз обжигает легкие, я задыхаюсь, меня колотит озноб. Слабость не позволяет мне даже напрячь мускулы, чтобы хоть как-то противостоять холоду, пронизавшему тело. Мне представляется невероятным, чтобы человеческое существо нашло в себе мужество выйти из самолета, шагнуть в поистине сибирскую стужу, как накануне это сделала Мюрзек. Справа от себя я слышу клацанье зубов. Наверно, это Робби. Я соображаю, что он довольно легко одет. Прислушиваюсь еще. Я никогда не предполагал, что зубы, стуча друг о друга, могут производить такой шум.

В круге со всех сторон звучат теперь стоны и оханья, но, странная вещь, не слышно ни одной четко выраженной протестующей фразы, чего можно было ожидать, например, от Блаватского или Карамана. Как будто полярный холод, который навалился на нас и душит под своим ледяным одеялом, парализовал одновременно и наши рефлексы. Продолжая трястись в жестоком ознобе, я чувствую при этом, что ко мне коварно подкрадывается сонливость. Я с нею борюсь. И ощущаю, что эти усилия вконец изнуряют меня.

— Внимание! — ревет гнусавый голос.

Он гремит все с той же невыносимой мощностью, вибрируя и отдаваясь в голове, словно решил свести нас с ума. Даже когда он молчит, это не приносит облегчения. Подобно тем несчастным, которых подвергают пытке, мы все время ждем нового приступа мучений, и хотя в словах голоса не прозвучало еще в наш адрес никакой угрозы, но, когда он грохочет в ушах, все равно сжимаешься от страха.

Ах, дело не только в уровне шума. Тут еще и гнусавость этого голоса, и самый его тон, абсолютно,— как бы это выразиться? — абсолютно равнодушный, механический, бесчеловечный.

— Внимание! — опять вопит голос.

Следует небольшая пауза, совершенно нелепая и дурацки жестокая, ибо, прикованные к своим креслам, парализованные холодом, обезумевшие от страха, что́ мы еще можем делать, кроме как с напряженным «вниманием» ждать его дальнейших распоряжений?

— Бушуа Эмиль! — орет гнусавый голос.

Ответа, разумеется, нет, и голос, как будто он заранее был готов к этому молчанию, продолжает на максимальной мощности звука, но не обнаруживая в своих интонациях ни малейшего беспокойства:

— Вас ждут на земле!

Круг застывает в полном безмолвии, я чувствую, как все ошарашены и какие вопросы мечутся у всех в голове. Возможно ли, чтобы *Земля* не знала о состоянии Бушуа,— она, которая все видит, слышит все наши слова и, может быть, даже читает все наши мысли?

— Бушуа Эмиль! — взывает голос все с той же одуряющей громкостью, но без всякой нетерпеливости, как будто повторение является частью некоего традиционного ритуала.

— Но он умер,— произносит робким голосом кто-то — быть может, Пако.

Пауза. На эту реплику Пако голос отвечать не будет. Я это почему-то чувствую.

— Бушуа Эмиль! — не унимается голос, мощность которого буквально расплющивает нас. И добавляет с механическим педантизмом, ни на йоту не меняя интонации и не ослабляя интенсивности: — Вас ждут на земле!

Следует новая пауза, и тогда бортпроводница, от которой я, признаться, не ожидал такой смелости, задает вопрос, и, что еще более поразительно, вопрос, на который она получает ответ. Значит, вопреки моим предположениям, не всякий диалог с порога отвергается голосом.

По контрасту с децибелами, от которых лопаются барабанные перепонки, голос бортпроводницы звучит удивительно мягко, тихо и музыкально.

— У нас здесь имеется больной, это мсье Серджиус,— говорит она вежливо, но твердо.— Нельзя ли его тоже эвакуировать?

Меня трогает эта забота, но в то же время я чувствую на бортпроводницу обиду, поскольку она считает возможным расстаться со мной, даже если это делается ради моего спасения.

Вслед за ее вопросом наступает длительное молчание. И как раз в ту секунду, когда я уже решил, что и этим вопросом пренебрегут, гнусавый голос ей отвечает. Сила звука теперь намного убавилась, словно это реплика a parte, и главное — совершенно переменился тон. Он уже не нейтральный, он недовольный. В нем слышится раздражение чиновника, которому указали на допущенный им промах в работе.

— Мсье Серджиус больным быть не должен,— заявляет гнусавый голос.

Эта реплика, как и манера, в которой она произнесена, повергает меня в крайнее изумление. Мог ли я предположить, что болезнь, так неожиданно свалившаяся на меня, явилась результатом чьей-то ошибки?

Еще немного убавив громкость, гнусавый голос продолжает с явной сухостью в тоне:

— Мадемуазель, вы дадите мсье Серджиусу две таблетки онирила, одну утром, другую вечером.

Это скорее приказ, чем медицинский рецепт. Сам же рецепт должен был бы привести круг в отчаяние, если бы круг сохранил еще способность размышлять: длительность курса лечения в нем не указана.

— Хорошо, мсье,— отвечает голосу бортпроводница.

Я никогда не слышал о лекарстве под названием «онирил», но бортпроводница, по всей видимости, знает, где его найти. После чего, как будто решив, что лирическое отступление закончилось и пора возвращаться к делам, гнусавый голос снова выпускает на волю все свои децибелы и говорит с прежней своей интонацией, механической и нейтральной:

— Бушуа Эмиль! Вас ждут на земле!

Оттого ли, что я парализован потоком ледяного ветра, врывающегося в самолет, или просто не могу прийти в себя, узнав, что моя смертельная болезнь всего лишь «ошибка», или, наконец, оттого, что из-за неистовой силы, с какой ревет в динамике гнусавый голос, с моими умственными способностями что-то произошло, но я не верю своим глазам, ибо вижу, как тело Бушуа оживает и его костлявые руки откидывают одеяло.

— Эмиль! — кричит Пако, и благодаря этому крику, а также еще потому, что кто-то из женщин, скорее всего миссис Банистер, испускает пронзительный вопль, я отдаю себе отчет в том, что я не единственный в самолете, кто видит, что Бушуа медленно выпрямляется в своем кресле.

— My God! [1] — говорит Блаватский (его голос я узнаю́).

Но он больше ничего пока не добавляет.

— Эмиль! — опять кричит Пако, и в его голосе борются между собой облегчение и страх.— Но мы считали, что ты...— Он запинается, не в силах завершить фразу, и начинает снова: — Разве ты...

Но и эту фразу он не заканчивает. На сей раз ему не удается выговорить слово «жив». Женщина снова кричит, и по кругу пробегают невнятные, отрывочные, приглушенные восклицания, будто никто не решается довести до конца свою мысль.

— А ведь я говорил! — внезапно кричит Блаватский резким, вызывающим голосом.— Я ведь говорил, что он не умер! Никто не захотел меня слушать! И провести необходимую проверку!

Это невероятно! Блаватский извлекает пользу из нашей растерянности, чтобы опять, in extremis [2], попробовать взять над нами верх. Больше не в состоянии властвовать реально, он делает вид, что все еще властвует! Дрожа всем телом от холода и, быть может, от страха, он только выставляет свое leadership в смешном свете. Это грубо, это несерьезно, однако в эту минуту мы признательны ему за то, что он дал нам пусть нелепое, но зато единственное объяснение, которое нам бы хотелось принять.

Потому что Бушуа не только выпрямляется, но и, не довольствуясь этим, встает на ноги, встает механически и скованно, но без видимого усилия, без посторонней помощи, не ухватившись за руку, протянутую ему Пако, который, вопреки приказанию, отстегивает ремень и тоже встает. Насколько я могу судить — ибо я стучу зубами от холода, перед глазами у меня туман, в самолете царит сумрак пещеры, и я различаю лишь пятна и силуэты,— Бушуа движется в направлении exit, рядом с которым стоит бортпроводница. Он движется медленно, мелкими неровными шагами, но не шатаясь; его нагоняет Пако, обходит его справа и сует ему в руку саквояж, лепеча глухим, изменившимся от страха и холода голосом:

— Эмиль, саквояж! Возьми свой саквояж!

Бушуа останавливается, с силой, которая изумляет меня, вытягивает руку и на целую секунду оставляет ее в горизонтальном положении, держа за ручку свой саквояж. Как разжимаются его пальцы, я не вижу, для этого слишком темно, но вижу, как саквояж падает, и слышу глухой, мягкий звук, с которым он шлепается на ковровую дорожку.

— Твой саквояж, Эмиль! — говорит Пако.

Ответа нет. В проеме двери виден прямоугольник ночной темноты, менее густой, чем внутри самолета, почти серой, и в этом прямоугольнике — черный силуэт Бушуа с пустыми, свисающими вдоль туловища руками. Он пошатывается под порывами холодного ветра, врывающегося в самолет. Силуэт замирает. Бортпроводница говорит профессиональным голосом, лишенным всякого выражения:

— До свидания, мсье.

Бушуа поворачивает голову в ее сторону, на мгновенье его страшный профиль вырисовывается на сером ночном фоне, но он ни слова не говорит, выходит наружу и исчезает; мы слышим, как его тяжелые шаги грохочут по железным ступеням трапа. Когда я потом спрошу бортпроводницу, почему,

[1] Боже мой! *(англ.)*

[2] В последний момент *(лат.)*.

по ее мнению, Бушуа ей не ответил, она мне скажет: «Он меня не видел. Сомневаюсь даже, что он меня слышал».— «Но ведь он на вас посмотрел».— «Нет. По-настоящему — нет. Он повернул лицо в мою сторону, но глаза его были мертвые. Во всяком случае, так мне показалось. Ночь была светлая, но, наверно, недостаточно для того, чтобы различить выражение его глаз».— «Не могу поверить, чтобы он вас не видел! Он спустился потом по трапу и не упал!» — «Это ни о чем не говорит. Он довольно долго шарил вокруг себя, пока не нащупал поручень, а как только он за него ухватился, глаза ему больше были не нужны». Я круто меняю тему и говорю: «Ждал ли его кто-нибудь внизу у трапа?» Ее лицо замыкается, она опускает глаза и безжизненным голосом говорит: «Я туда не смотрела».— «Почему?» — «Не могла».

После того как бортпроводница захлопнула exit, я испытываю огромное облегчение. Даже, можно сказать, два облегчения сразу: меня перестает мучить сибирский мороз и я больше не увижу Бушуа. Когда человек становится только *телом*, как спешим мы его поскорее куда-нибудь сплавить! При жизни он мог быть нам очень дорог. Умерев, он делается нам ненавистен. Быстрее! Быстрее! Пусть его уберут! Пусть его закопают в яму! Пусть сожгут! Пусть останется от него только самое-самое легкое — память о нем и самое-самое чистое — образ того человека, каким он, в сущности, был. В том, что касается Бушуа, я тороплюсь положиться во всем на Пако. Пусть он хранит его в своей памяти и проливает над ним, как положено, слезы! Хотя, если подумать, это ведь очень скверно. Плакать должно все человечество, даже когда умирает всего лишь один человек и даже если этот человек — Бушуа.

Бортпроводница ощупью протягивает мне стакан воды, кладет мне в левую ладонь маленькую таблетку и закрывает ладонь своими холодными пальцами.

— Что это?

— Онирил.

— Где вы его нашли?

— В одном из ящиков в galley, еще при посадке.

— И вы не знаете его действия?

— Нет.

Я пытаюсь улыбнуться.

— Вы могли заглянуть в инструкцию — она должна быть в коробке.

— Ее там не было.

Какую-то долю секунды я колеблюсь, потом проглатываю таблетку, запиваю водой и сижу в полумраке, дрожа от холода и от слабости, и только тут до меня доходит, что первой мыслью бортпроводницы, после того как она набросила на дверь задвижку, было пойти для меня в кухню за онирилом. Я смотрю на нее и в который уж раз чувствую, как меня затопляет волна нежности.

В эту минуту, продолжая трястись в жестоком ознобе, я надеюсь, что поправлюсь. Я думаю о будущем, о том, что оно станет для меня снова возможным, мое будущее с бортпроводницей. Даже если ему не суждено быть долговечным. Казалось бы, я не способен сейчас думать ни о чем другом, и, однако, через недолгое время начинаю ощущать удрученное безмолвие круга. Я понимаю, в какие бездны отчаянья ввергнуты все его помыслы: с уходом Бушуа рухнули последние надежды добраться до Мадрапура.

При этом гнусавый голос впрямую не запрещал ведь нам выходить из самолета. Был лишь приказ не отстегивать ремней. И, однако, никто, абсолютно никто не направился к exit. Никто не выразил своего протеста. Никто, кроме бортпроводницы, не задал ни одного вопроса. Да и ее вопрос относился только к эвакуации одного заболевшего пассажира, а не к общей высадке пассажиров на землю. Никак не реагировал круг и на то, что бортпроводница снова заперла exit. *Земля* ей такого приказа не отдавала. Но бортпроводница это сделала, и мы ей это позволили, словно так и надо. Она закрыла за нами тяжелую дверь нашей воздушной тюрьмы, где нам

опять предстоит жить и где наши стражи не полицейские, а десять тысяч метров ледяной пустоты, что пролегла меж землею и нами.

Время снова течет вхолостую. Ибо самолет очень долго стоит на земле. Может быть, час. Но часов у нас нет. Время теперь измеряется только нашим терпением — или нетерпением.

Не знаю, может быть, эта задержка вызвана необходимостью дозаправить самолет топливом, а также пополнить запас воды для galley и туалетов. Но мы не улавливаем никакого шума и не видим в иллюминаторах никаких автоцистерн, хотя мы непременно бы их заметили, так как после высадки Бушуа ночь стала намного светлее. Единственным звуком, который донесся до нас после закрытия exit, было скрежетание трапа, возвращаемого под фюзеляж. И ничего больше. Двигатели по-прежнему молчат, и, хотя эта пауза приводит нас в исступление, все будто в рот воды набрали. Мы словно боимся, что, если начнем говорить, гнусавый голос призовет нас к порядку. Теперь, после его вмешательства, мы уже больше не знаем, признаёт ли он еще за нами какие-нибудь права.

И, что самое поразительное, пассажиры молча смирились с этим произволом! Все как один! Даже властолюбивый Блаватский, даже законник Караман, даже анархиствующий Робби. Лютый холод, чудовищная громкость голоса, уход Бушуа, отчаянье, охватившее нас, когда мы поняли, что из самолета нас не выпустят,— все эти потрясения, нагромоздившиеся друг на друга, вконец обессилили нас, лишили достоинства и даже потребности возмущаться и упрекать. Но нет, справа от меня кто-то тихонько плачет. Должно быть, миссис Банистер. Рассыпаются в прах ее золотые мечты о роскошном гостиничном номере в Мадрапуре.

После высадки Бушуа ночь все больше и больше светлеет, внутри самолета разливается зыбкое мерцание, еще более мрачное, чем полная темнота. Поскольку до рассвета, как мне кажется, еще далеко, я могу объяснить это только светом луны, которая хотя и не видна, но все же находится достаточно близко, чтобы осветить облачный слой, отделяющий ее от земли. В какой-то миг ее свет сделался внутри самолета таким сильным, что кажется, она сейчас пробьет наконец облака. Это ей, правда, не удается, но ночь из серой становится белой.

Тогда мадам Мюрзек проявляет поразительную инициативу: она отстегивает ремень своего кресла, точно подброшенная пружиной, встает и прилипает лицом к иллюминатору, что слева от нее. Потом поворачивается к нам, и ее синие глаза ярко светятся на желтоватом лице, как будто вобрав в себя весь свет в самолете. И мягким, теперь уже обычным для нее голосом, в котором, однако, при всей его мягкости слышна напряженность, говорит:

— Я узнаю это озеро! И набережную! Именно здесь мы вчера вечером вышли с индусом из самолета!

Все оторопело молчат, и через несколько секунд Блаватский, собрав последние остатки былого неистовства, буквально взрывается:

— Вы совсем спятили! Как вы можете сейчас вообще что-то узнать! Когда почти ничего не видно! К тому же иллюминатор, в который вы только что посмотрели, выходит на крыло самолета!

— Вовсе нет!

— Вовсе да! Смутное поблескиванье крыла — вот что вы приняли за воду!.. У вас слишком богатое воображение!..

— Вовсе нет! — повторяет Мюрзек.— Пойдите посмотрите сами, если вы мне не верите!

— Мне нет никакой необходимости пересаживаться,— наглым тоном парирует Блаватский.— Мне и с моего места очень хорошо все видно вот в эти иллюминаторы! Во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы убедиться, что ни озера, ни набережной здесь нет и в помине!

В это мгновенье, как будто нарочно для того, чтобы он мог взять верх над Мюрзек, лунный свет исчезает, что делает невозможным всякое разглядыванье наружных пейзажей. Мюрзек возвращается на свое место и с несгибаемой кротостью говорит:

— Я сожалею, что мне приходится вам противоречить, мсье Блаватский. Теперь в самом деле ничего больше не видно. Но минуту назад я увидела озеро и набережную, которая тянется вдоль него. И я их узнала! Как раз на этой набережной и стоял индус, когда он уронил в воду свою кожаную сумку.

— Вы увидели именно то, что вам очень хотелось увидеть! — рычит Блаватский.— Истина в том, что вы воистину одержимы воспоминаниями об индусе! Я убежден, что, когда вы в очередной раз отправитесь молиться в кабину пилотов, вы увидите в ветровое стекло, что он парит в небесах при помощи собственных летательных средств!

И он позволяет себе рассмеяться. Мюрзек хранит достойное всяческих похвал молчание, и Робби голосом, которому негодование придает некоторую крикливость, говорит:

— Вам было бы лучше обойтись без этих соображений, Блаватский. Вам вовсе не нужно было знать, чем занимается мадам Мюрзек в пилотской кабине, и вам совершенно незачем приписывать ей какие-то видения!

— Я не причинил мадам Мюрзек никакого вреда, приписав ей это видение,— говорит с тяжеловесной иронией Блаватский, не глядя на Робби.— Да и зачем я буду что-то приписывать. У мадам Мюрзек и без меня хватает видений. Она весьма склонна к мистике и многое видит за пределами нашего мира!

Можно было бы ждать, что Мюрзек ответит ему. Но нет. Ни слова в ответ. Молчание. Подставила левую щеку. И Робби с раздражением восклицает:

— Не понимаю, что заставляет вас так грубо нападать на женщину, которая даже не защищается! Хотя нет, все-таки понимаю. Вы ни за что не хотите признать, что самолет летел со вчерашнего вечера по кругу, летел, чтобы опять прилететь туда, откуда он вылетел.

В рядах большинства слышатся восклицания ужаса, но на весьма тихих нотах. Ничего, что походило бы на вопль возмущения, настолько все подавлены и удручены.

— Я не желаю этого признавать, опираясь лишь на такое шаткое свидетельство! — с едва сдерживаемой яростью восклицает Блаватский.— То, что мадам Мюрзек смогла, как ей показалось, увидеть — увидеть за какую-то долю секунды, в неверном свете луны, в стекло иллюминатора, искажающее все предметы,— является для меня совершенно неубедительным! Ничего, кроме этого, я не говорю! Мои соображения продиктованы здравым смыслом, и я на этом стою!

— Прошу прощения, я увидела озеро,— говорит Мюрзек, черты которой уже невозможно различить, настолько теперь в самолете темно. Она говорит с полной безмятежностью, как будто ни одной стреле Блаватского не удалось пробить ее броню.— Еще раз повторяю,— продолжает она,— я увидела озеро, вода в котором показалась мне очень черной, несмотря на луну. Увидела набережную. И даже пришвартованную к набережной лодку. Увидела так же ясно, как вижу вас. И не только увидела, но и узнала.

— Как вы можете утверждать, что это было озеро? — внезапно спрашивает голос, в котором по манере и произношению я тотчас узнаю голос Карамана.— Было ли для этого достаточно светло? — продолжает он с присущей ему речевой элегантностью.— И позволяет ли вам ваше зрение видеть так далеко, чтобы можно было разглядеть другой берег?

— По правде говоря, нет,— отвечает Мюрзек.

— Тогда это могла быть река,— говорит Караман тоном учителя, поймавшего ученика на ошибке.

— Нет. У реки есть течение.

— Если вода была черной, течения разглядеть вы не могли.

— Это возможно.

— И размеры иллюминатора так малы,— с вежливой настойчивостью продолжает Караман,— что вы не могли отдать себе отчет в реальных размерах этого водного пространства.

— Пожалуй, так,— говорит Мюрзек.

— При этих условиях,— заключает Караман с торжествующей нотой в голосе,— вы не можете нам с уверенностью сказать, видели вы озеро, реку, пруд или просто лужу...

По кругу пробегают довольно противные смешки и ухмылки, как будто большинство торопится сделать вывод, что Караман, ко всеобщему удовольствию, заткнул наконец рот этой несносной Мюрзек.

— Но ведь это чистейший идиотизм! — говорит Робби, и его протестующий голос поднимается до пронзительных нот.— Совершенно неважно, увидела ли мадам Мюрзек озеро, или это была река или пруд! Важно то, что она узнала место нашей первой посадки!

— Да как она могла его узнать,— с уничтожающей вежливостью откликается Караман,— если она описывает его так неточно?

Мстительные смешки возобновляются. Благодарение Богу, решительно отвергнув лжепророков, большинство снова внимает добрым пастырям — Блаватскому и Караману. Здравому смыслу и софистике. Яростному скептицизму и педантичной рассудительности.

Надежда явно возрождается. Надежда очень скромная, поскольку она довольствуется мыслью, что самолет после суток полета, может быть, и не возвратился туда, где он приземлялся накануне.

Но круг потерял одного из своих членов. Круг дрожит в холодном ознобе. Когда самолет снова поднимется в воздух, круг не будет знать ни куда самолет летит, ни кто им управляет. Круг не знает абсолютно ничего. И все-таки худо-бедно он начинает чуточку успокаиваться. Ах, для этого ему так мало надо! Крохотная, совсем крохотная надежда хотя бы не летать по замкнутому кольцу...

Я вовсе не выставляю себя этаким провидцем. И не собираюсь обвинять большинство. Ведь и сам я... Стоило гнусавому голосу дать мне понять, что моя болезнь всего лишь «ошибка», и прописать мне какое-то неведомое снадобье,— и я, полагавший, что не позднее чем через сутки отправлюсь по стопам Бушуа, уже считаю себя исцеленным.

В эту минуту в разговор вступает бортпроводница, совершенно ошеломив и большинство, и меньшинство круга, настолько ее заявление противоречит той роли успокоительницы, в которой она до сих пор перед нами выступала.

Она говорит мягким голосом:

— Мадам Мюрзек сказала правду: она в самом деле увидела озеро.

Я поворачиваю голову в ее сторону, но не могу разглядеть ее лица, для этого в самолете слишком темно. Я различаю во мраке какие-то движения, слышу два-три приглушенных восклицания. А Блаватский довольно нелюбезно говорит:

— Откуда вы знаете?

— Я сама его видела,— спокойно отвечает бортпроводница.

— Вы его видели! — восклицает Блаватский.— И когда же? — добавляет он, и в его голосе звучит почти что угроза.— Могу ли я вас об этом спросить? — И формула вежливости весьма мало вяжется с его тоном.

— В тот самый момент, когда я открыла exit.— И она продолжает с полнейшей невозмутимостью: — Я видела все, что описала мадам Мюрзек: озеро, набережную, лодку.

После довольно длительной паузы Караман говорит с интонацией человека, обладающего монополией на способность логически рассуждать:

— Но из этого вовсе не следует, что место, где самолет вчера высадил индусскую чету, было тем же самым.

— Этого я не знаю,— все так же спокойно говорит бортпроводница.— Когда высадились индусы, было темно хоть глаз коли.

— А мадам Мюрзек кое-что видела,— насмешливо вставляет Блаватский.

— Естественно,— отзывается Мюрзек,— поскольку индус освещал себе путь электрическим фонарем, который он забрал у бортпроводницы.

— Я хотел бы напомнить, что при этом сама бортпроводница ничего не видела! — восклицает Блаватский, и его тон звучит почти оскорбительно.

— Но это нисколько не противоречит тому, что говорит мадам Мюрзек! — с горячностью восклицает бортпроводница.— Я ничего не видела потому, что в ту секунду, когда я захлопнула exit, индус еще не зажег фонаря.

— Никто и ничто не подтверждает, что он вообще его с собой взял, этот ваш пресловутый фонарь! — говорит Блаватский.

— Я это подтверждаю! — говорит бортпроводница.— Когда индус перешагнул порог exit, он держал его в левой руке, а в правой у него была сумка искусственной кожи.

— Прошу прощения,— вступает опять Караман, явно радуясь тому, что поймал ее на ошибке.— Сумка искусственной кожи находилась у женщины!

— Да, но индус взял сумку у нее из рук после инцидента с мсье Христопулосом.

— Я ничего такого не заметил,— говорит Караман.

— А я это заметила,— говорит бортпроводница.— Я не спускала глаз с его рук из-за моего фонаря. До последней секунды я надеялась, что он мне его вернет. К тому же я его об этом сама попросила, когда он проходил мимо меня, собираясь выйти из самолета.

— Вы попросили его вернуть вам электрический фонарь? — спрашивает Караман.— Лично я этого не слышал,— добавляет он с вежливым недоверием, как будто достаточно ему, Караману, «не заметить» или «не услышать» чего-то, как существование этой вещи тут же становится недействительным.— Ну хорошо,— продолжает он с некоторым холодком и со скрытой иронией, словно соглашаясь поиграть в предложенную ему игру,— что же он вам ответил?

— Он произнес английскую фразу, которой я не поняла.

— Зато я ее понял! — восклицает Робби.— Когда бортпроводница потребовала у него свой фонарь, индус засмеялся и сказал: «Они не нуждаются в свете, те, кто по своей собственной воле коснеет во мраке».

После этой цитаты, столь для всех нас обидной, круг замолкает, и спор, не получив завершения, сам собою угас, ничего, как всегда, не прояснив.

Бортпроводница подтвердила, что Мюрзек правильно описала местность, на которой мы приземлились сегодня, но относительно того, где наш самолет садился накануне, она ничего сказать не смогла, поскольку вчера она ничего не увидела. Значит, вопрос о том, действительно ли мы вернулись сегодня в то же самое место, откуда вылетали вчера, со всеми самыми зловещими последствиями, которые может в себе заключать этот факт, так и не решен, поскольку мы располагаем на сей счет только одним свидетельством.

Что касается бортпроводницы, то, когда я чуть позже спрашиваю ее, почему, рискуя еще больше усилить общую тревогу, она все же вмешалась, она не без волнения отвечает: «Мне надоело слушать, как эти господа третируют мадам Мюрзек, тогда как она говорит про это озеро чистейшую правду».

Мне не удается продолжить свои расспросы: с невероятно далеким и глухим гулом, поразившим меня еще в самом начале нашего путешествия, включаются двигатели, и почти сразу по обе стороны занавески, отделяющей салон от galley, загораются световые табло, рекомендующие нам пристегнуть ремни. В этом совете есть что-то нелепое: повинуясь гнусавому голосу, никто из пассажиров, если не считать Пако, когда он бросился на помощь Бушуа, и мадам Мюрзек, когда она подбежала к иллюминатору, так и не отстегнул ремней.

Самолет, сильно раскачиваясь, начинает катиться по неровной почве, набирает скорость и отрывается от земли. Если быть точным, к заключению, что он уже оторвался, я, за отсутствием в полной тьме каких-либо ориентиров, которые помогли бы мне в этом убедиться, прихожу только

тогда, когда прекращаются толчки. В самолете загорается свет, и мы какое-то время с оторопелым видом глядим друг на друга, беспрерывно моргая. Стоит жуткий холод, и озноб пробирает не меня одного.

Бортпроводница встает и говорит с материнski заботливым видом:

— Пойду приготовлю поесть и чего-нибудь горячего выпить.

И я чувствую, как во мне, да и во всех пассажирах, мгновенно спадает напряженность. Я знаю, умалишенный может привыкнуть к своей лечебнице, узник — к своей камере, маленький страдалец, которого истязают родители,— к своему шкафу. И сожалеют, когда приходится их покидать.

Но все же я никогда бы не решился вообразить то огромное облегчение, которое я читаю на лицах моих спутников, когда наконец прекращается мучительное ожидание на земле — в полном мраке и лютом холоде.

Слава Богу, все это позади. Самолет снова в воздухе, мягко и мощно мурлычут моторы. Нас опять омывает благодатный свет, скоро включится и отопление, расслабятся сведенные холодом мышцы. Бортпроводница, наша верная опекунша, неустанно о нас заботится. Сейчас мы выпьем горячего чаю или кофе. И поедим. Да, поедим! Вот что самое главное! Разве в деревне не едят всегда после похорон? Чтобы быть уверенными, что жизнь продолжается. Продолжается она и в нашем самолете, выполняющем чартерный рейс в Мадрапур. Свет опять загорелся, мы «все» снова здесь. Можно снова друг на друга смотреть, друг друга любить, ненавидеть друг друга, снова завязывать между собой весьма сложные отношения. Есть во всем этом что-то успокаивающее, что-то возвращающее нас к милой сердцу рутине, и, если не слишком задумываться о будущем, все как будто бы входит в нормальную колею.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Бортпроводница разносит еду, и хотя мне трудно сказать, съел я что-нибудь или нет, но я чувствую себя теперь гораздо лучше, может быть, просто оттого, что начинает сказываться действие онирила. Не буду утверждать, что моя слабость совсем исчезла, но... как мне получше это объяснить... но, скажем, при условии, что я не совершаю усилий, не поворачиваю, например, головы или не отрываю спины от спинки кресла, я про нее забываю и даже испытываю приятное, освежающее чувство легкости и свободы. У меня появляется ощущение, что я уже в силах бежать по морскому пляжу, весело прыгать в теплом вечернем воздухе и даже могу, если захочу, оттолкнуться ногой от песка и взлететь в воздух. Это чувство воздушной легкости сопровождается новым для меня, пьянящим сознанием, что бортпроводница принадлежит мне, мне одному, как если бы наша давняя, очень давняя связь (начала которой я уже не помню) ежеминутно вручала бы мне ее в полное распоряжение.

Эта ночь, во всяком случае ее начало, была «самой счастливой в моей жизни» — утверждение достаточно абсурдное, которое, исходя из нормальной логики, можно употребить лишь в миг последней агонии, если, конечно, у вас отыщется тогда время для подведения подобных итогов.

Впрочем, я не могу считать абсолютно достоверным то, о чем я собираюсь сейчас рассказать. Учитывая состояние эйфории, в которое ввергнул меня онирил — принеся мне *до* неожиданного эпизода (о нем речь впереди) величайшее блаженство, которому следовало стать результатом этого эпизода, а не предшествовать ему,— можно полагать, что я не покидал своего кресла и все происшедшее лишь плод воображения, перевозбужденного лекарством.

Дабы увериться в обратном, нужно, чтобы это событие повторилось. К сожалению, я уверен, что оно больше не повторится. В этих условиях вопрос, который я все время себе задаю, формулируется так: чем *странное* воспоминание отличается от сна?

Решить его я не могу, поскольку некоторые сны благодаря своей связности, яркости, внутренней логичности, богатству деталей создают впечатление полной реальности, которое не исчезает даже после того, как

человек проснулся. И наоборот, разве в горькие минуты одиночества и неудач у вас не возникает чувство, что воспоминания, одолевающие вас,— например, о «большой любви», которую вы долгие месяцы и, может быть, годы полагали взаимной,— что вам это привиделось скорее во сне, чем случилось на самом деле?

Вскоре после еды (точнее не скажу, ибо вместе со своими часами я во многом утратил и представление о времени) я вижу склонившееся надо мной прелестное лицо бортпроводницы и ее зеленые глаза, которые неотрывно глядят на меня с выражением таким нежным и ласковым, что у меня вновь возникает — но только стократно усиленное — ощущение полета, которое я испытал перед тем, как заснул. Она передо мною, должно быть, стоит, но ее тела я не вижу, вижу лишь над собою лицо, точно крупный план в кинофильме, с удивительным контрастом света и тени,— вижу только ее ярко освещенное нежное лицо и золотистые волосы; все остальное утопает в тени. Я вижу ее очень близко, точно она лежит на мне во весь рост, в позе, которую такая женщина, как бортпроводница, должна особенно любить, поскольку она знает, что ее тело покажется партнеру легким и хрупким и он будет умилен и растроган.

На самом же деле бортпроводница такую позу принять не могла. Кресло, в котором я полулежу, делает это невозможным, и к тому же я не ощущаю ее тяжести. Она до меня не дотрагивается, даже не берет мою руку — ее лицо словно парит в нескольких сантиметрах от моего, и оно было бы неподвижным, если бы не глаза, которые многое мне говорят.

Рот ее тоже живет. Он, конечно, вовсе не «слишком мал», как я имел раньше глупость сказать, ибо кажущаяся малость его размеров с лихвой восполняется извилистым детским рисунком губ и прелестной особенностью улыбки, чуть приоткрывающей мелкие зубы. При всей нежности, которая светится на этом лице, в его выражении заметна сейчас некая двойственность. Взгляд у нее серьезен, а рот шаловлив.

Голова бортпроводницы — одна только голова, поскольку тела ее я не вижу,— довольно долго остается будто подвешенной надо мной, и при этом я чувствую, как по мне концентрическими кругами разбегаются волны тепла, добираясь до самых кончиков пальцев моих рук и ног. Ее глаза, почти не мигая, неотступно смотрят мне прямо в зрачки, а губы чуть заметно подрагивают, точно мордочка у котенка, когда он, играя, царапает и легонько покусывает вас.

Мгновенье, которого я так жду, наконец наступает, но его предваряет фраза, совершенно неожиданная для меня. Тихим голосом, в котором слышится некоторая торжественность, бортпроводница говорит:

— Сегодня пятнадцатое ноября.

И, словно все между нами давно решено и условлено, она приникает своими детскими губами к моим.

И вот что при этом меня удивляет: хотя свет в самолете ночью не гасится, а пассажиры еще не успели заснуть и, разумеется, прекрасно видят наш поцелуй, но круг совершенно никак и ничем, даже неодобрительными комментариями вполголоса, не реагирует на то, что для него, и особенно для viudas, не может не представлять собой вопиющего нарушения общепринятого этикета.

Однако сейчас я никакого удивления по этому поводу не испытываю, ибо сам я круга, так же как и тела бортпроводницы, не вижу. Все, кроме ее лица, кажется мне утонувшим в тумане. Да и лицо исчезает, как только ее губы, горячие и в то же время прохладные, сливаются с моими.

Органы чувств меня снова подводят. Я не могу сейчас пользоваться зрением и осязанием одновременно. В ту самую секунду, когда рот бортпроводницы прячется в моем, я чувствую укол досады и боли: я оказался слишком к ней близко, я ее больше не вижу.

Я все думаю — разумеется, уже после того, что́ между нами произошло,— почему бортпроводница упомянула о пятнадцатом ноября с таким видом, будто просила меня эту дату запомнить, чтобы в будущем можно было ее отмечать; ведь нам всем «так мало осталось времени

жить», как сформулировал Робби. Но мне сейчас некогда задавать себе такие вопросы.

— Идемте,— шепчет бортпроводница, сжимая мои пальцы и заставляя меня подняться.

Я встаю на ноги. И даже не пошатываюсь. У меня совершенно пропало ощущение слабости.

Не выпуская моей руки, бортпроводница проворно увлекает меня за собой по проходу между рядами туристического класса, я следую за ней почти бегом, чувствуя себя невероятно легким, и ноги мои едва касаются пола. Дойдя до конца туристического класса, бортпроводница останавливается, вынимает из кармана маленькую отмычку и отпирает расположенную напротив туалетов низкую и узкую дверь, протиснуться в которую я могу лишь пригнувшись.

Это каюта. Поначалу она не поражает меня своими размерами, хотя первое, что должно было прийти мне в голову,— недоумение, как удалось поместить такую просторную каюту в хвосте самолета.

Ни с чем не сообразный характер обстановки тоже должен был привлечь мое внимание, в частности, широкое и приземистое, обитое золотистым бархатом кресло, которое, в отличие от всех остальных кресел в самолете, не прикреплено к полу, поскольку, прежде чем меня усадить в него, бортпроводница отодвигает его от кровати, освобождая для себя проход. Но что больше всего поражает — это когда вдруг видишь в самолете кровать, двуспальную величественную кровать, и в некоторой растерянности я размышляю о том, как же умудрились ее сюда втащить — в дверь или через выдвижной трап. Но, уж во всяком случае, не в окно. Окно здесь — обычный иллюминатор, на котором бортпроводница задергивает маленькую шторку, тоже золотистого цвета. Эту операцию она проделывает с такой тщательностью, как будто глубокой ночью, средь моря облаков кто-нибудь может к нам сюда заглянуть.

— Так нам будет уютней,— говорит она, взглянув на меня с легкой улыбкой.

Она еще раз проходит передо мной, чуть прикоснувшись пальцами к моей шее, и запирает дверь на позолоченный засов; дверь теперь кажется мне такой маленькой, что снова пройти в нее я мог бы разве только на четвереньках.

В каюте все, кроме перегородки позади кровати, обито золотистым бархатом, даже потолок, даже стенной шкаф, дверцу которого открывает сейчас бортпроводница. Это гардероб, в низу которого в правом углу я вижу маленький холодильник. Бортпроводница вешает на плечики свой форменный жакет, затем оборачивается ко мне и говорит с дружелюбной улыбкой:

— Здесь тепло. Вы можете снять свой пиджак.

Но она не дает мне времени сделать это самому. Секунду спустя, опираясь обоими коленями о мои, она наклоняется, хватает один из рукавов моего пиджака и поднимает его у меня над головой, чтобы помочь мне вытащить руку. Завладев моим пиджаком, она заботливо вешает его на свободные плечики в гардероб. Я смотрю на нее. После того как она сбросила с себя жакет, ее талия кажется мне еще более тонкой, а груди еще более пышными.

Она открывает маленький холодильник в низу гардероба, достает небольшой флакон виски, отвинчивает крышку и, вылив содержимое в стакан, протягивает его мне.

— Но я спиртного не пью,— говорю я.

— Выпейте,— отвечает она с улыбкой.— Вам станет удивительно хорошо.

Я подчиняюсь. Широкий граненый стакан приятно холодит мне руку, и когда я делаю два-три глотка, мне сразу начинает казаться, что тело мое воспаряет. Я удивлен. Алкоголь никогда не оказывал на меня такого действия. У меня возникает нелепая и романтическая мысль, что бортпроводница дала мне любовный напиток, и я полушутя-полусерьезно говорю:

— Что ты дала мне выпить, Цирцея?

Она не отвечает. С удивлением я обнаруживаю, что она опустилась между моих ног на колени и развязывает мне галстук. Я говорю «с удивлением», потому что я полагал, что она, закрыв холодильник, стоит еще возле гардероба и расправляет на плечиках свою собственную блузку.

В этот миг я вдруг ощущаю, что кто-то чужой смотрит на нас — на меня, сидящего в широком приземистом кресле, с толстым граненым, наполовину опорожненным стаканом в руках, и на нее, стоящую на коленях между моими ногами, набросив себе на шею мой галстук, который она с меня уже сняла, и расстегивающую своими нежными пальцами, прикосновение которых доставляет мне неизъяснимое наслаждение, верхние пуговицы моей рубашки.

Я поворачиваю вправо голову и обнаруживаю, что это я сам гляжу на нас в зеркале, которое занимает всю панель позади кровати, делая ее вдвое длиннее, как, впрочем, и всю остальную каюту. Да, убеждаюсь я снова, глаза у меня очень, очень ласковые, и их взгляд, который удивительно похож на собачий, вполне может растрогать женское сердце. Но чудес не бывает, и я, как всегда, испытываю удивление и даже боль. Нижняя часть лица как была, так и осталась у меня обезьяньей. К счастью, бортпроводница не глядит на меня. Ее тонкая рука скользнула в распахнутый ворот моей рубашки и ласково поглаживает шерсть у меня на груди.

В несколько глотков я допиваю напиток, который она налила мне, и выпускаю из рук опорожненный стакан, который мягко скатывается к моим ногам. Я делаюсь полностью невесомым. Я уже не сижу в приземистом кресле, а лежу на величественной кровати и сжимаю в объятьях голую бортпроводницу; ее голова находится на уровне моей груди, и она, точно к медвежьей шкуре, прижимается к ней своим ясным и милым лицом. В это мгновение она поднимает на меня зеленые глаза. Я знаю, о чем они меня просят: быть с ней и после таким же нежным, как до. У меня все переворачивается в душе при мысли, что такая чудесная девушка может опасаться, что я буду с ней холоден. Я вижу в зеркале, как мои горящие собачьей преданностью глаза обещают ей то, о чем она просит. И почему-то мне кажется, что эта безмолвная клятва открывает пред нами безбрежное будущее.

Я полон такого благоговения перед ее красотой и проникнут такой к ней признательностью за ее невероятную щедрость, что не осмеливаюсь ни на какое движение, хотя мое тело от головы до пят пронизано дрожью. Думаю, она это чувствует. Ее легкие пальцы скользят по моей мохнатой груди. Да, Красавица, я твое Чудовище, твой навеки. Я лежу, глаза мои упираются в потолок, и у меня такое чувство, что вместе с тобою, вдали от злых, недоброжелательных взглядов, я запрятан в обитую бархатом шкатулку, которая внезапно уменьшилась до размеров двух наших тел.

Конец отвратителен. Бортпроводница исчезает. Обитая бархатом шкатулка смыкается надо мной, и теперь я один. Я в гробу. Обеими руками, совершенно лишенными сил, я делаю жалкие попытки сбросить с себя его крышку.

Весь в поту, я открываю глаза. В самолете уже светло. Я поворачиваю голову к иллюминатору, в который потоками вливается солнце. Это простое движение обессиливает меня. Я пытаюсь пошевелиться в своем кресле и обнаруживаю, что ослабел еще больше, чем накануне. По лбу, по лопаткам, под мышками обильно струится пот, и тревога, от которой я уже, казалось, избавился, снова накатывает на меня мощной волной. Я охвачен безумной паникой. Подобно тем, кто отбрасывает в агонии одеяло и ищет глазами одежду, я обвожу взглядом круг в поисках щели, через которую я мог бы отсюда бежать. Мне кажется, что бездонная черная бездна разверзается у меня под ногами и она сейчас поглотит меня. Мое сердце колотится. Живот мучат колики. Ноги дрожат. Я не могу ни о чем думать и без конца повторяю фразу, которая бьется во мне, заполняя собою все поле сознания: «На этот раз всё. На этот раз всё. На этот раз всё».

Я истекаю по́том, язык прилипает к нёбу. Я не могу выговорить ни слова. Ощущение обессиленности ужасно, и с каждой минутой оно возрастает. Такое впечатление, что вся моя сила не переставая вытекает из меня через отверстую рану, которую невозможно ничем закрыть. Голова пуста. Я уже не осознаю, что я — это я. Я превратился в комок сотрясающего меня мерзкого ужаса.

— Вот ваш онирил,— говорит бортпроводница и, так как я не в состоянии пошевелить рукой, кладет таблетку мне в рот и, приложив к губам край стакана, дает мне запить.

Я вижу ее совсем близко, мои глаза не отрываясь глядят на нее, она стоит со мной рядом, ее образ является мне так же, как накануне, при том же свете, но выражение сегодня совсем другое.

Я смотрю на нее и испытываю ужасное потрясение. Я просто не верю своим глазам: в ее глазах нет и следа былой нежности. Все еще продолжая пить, ибо даже этот процесс теперь требует от меня усилий, я снова взглядываю на нее. Она не отвечает на мой призыв. Что произошло? Даже если учесть, что на публике она должна проявлять особую сдержанность, все равно поведение ее необъяснимо, ибо как раз о сдержанности она до сих пор меньше всего заботилась: после ухода индусов она позволила мне пойти за нею на кухню, позволила помогать ей разносить пассажирам еду, позволила сесть с нею рядом, взять ее руку.

Я пью, я смотрю на нее, я больше не могу ничего прочитать в ее зеленых глазах. Ее губы, которые мне со вчерашнего дня так знакомы, застыли в отстраненной, безликой улыбке. Я испытываю ощущение покинутости, которое представляется мне в тысячу раз страшнее, чем тот ужас, который я только что испытал, когда обнаружил, проснувшись, что моя слабость еще возросла.

Она удаляется. Ушла, наверное, в galley, поставить на место стакан, из которого я пил. Такое ощущение, что на рассвете кто-то похитил нежную и ласковую душу бортпроводницы и оставил в самолете ее оболочку.

Из кухни возвращается и садится рядом со мной в свое кресло совершенно чужая мне женщина, не имеющая ко мне никакого отношения. Ценой огромного усилия — ибо мне уже угрожает неподвижность суставов — мне удается повернуть к ней глаза. Я узнаю золотистые волосы, нежное лицо, детский рисунок рта. Но это не она, теперь я в этом уверен. Ибо в ответ на безмолвный призыв моих глаз она бы сразу повернулась ко мне. Но веки у нее все так же опущены, руки все так же спокойно лежат на коленях, а на лице написано выражение профессиональной скуки, как у многих стюардесс на дальних линиях, работа которых чуть ли не наполовину состоит из бесконечного ожидания.

Она сидит так близко ко мне, что, протянув руку, я мог бы дотронуться до нее, но я чувствую, что не буду этого делать: я начинаю бояться ее реакций. Ее тело, хрупкость и бархатистую мягкость которого я так обожал, как будто внезапно застыло и затвердело рядом со мной, а руки уже просто не способны обвивать мою шею. Я смотрю на нее, и у меня сжимается сердце. Если, как полагает Робби, мне так мало осталось времени жить, даже и эта малость чересчур велика, чтобы вынести страшную боль, причиненную этой утратой.

— Мадемуазель,— говорит мадам Мюрзек,— мне кажется, мистер Серджиус о чем-то хочет вас попросить.

Бортпроводница поворачивает ко мне голову. И я снова испытываю потрясение. У нее пустые глаза. Вежливые, но пустые.

— Вам что-нибудь нужно, мистер Серджиус? — говорит она с притворной заботливостью.

Я открываю рот и чувствую, что у меня нет сил говорить. Еле ворочая языком, я кое-как выговариваю:

— Вас видеть.

— Выпить? — переспрашивает бортпроводница.

— Вас видеть.

Она бросает быстрый взгляд на круг и выдавливает из себя смущенную улыбку, которая сопровождается снисходительной гримаской.

— Вот и хорошо,— говорит она с шутливостью, которая звучит крайне фальшиво,— вот вы меня и видите, мистер Серджиус.

Ее мимика, в которой за напускной внимательностью сквозит полное безразличие, пронзает меня как удар кинжала. Это невозможно, она не могла настолько ко мне измениться за такое короткое время. И я снова в отчаянии задаю себе тот же вопрос: она ли сейчас со мной говорит?

Я делаю последнюю попытку.

— Мадемуазель,— говорю я все тем же слабым, совершенно не мужским голосом, который мне самому стыдно слышать,— не могли бы вы взять мою руку?

С новой, смущенной улыбкой, адресованной больше кругу, нежели мне, она чуть заметно пожимает плечами и говорит любезным и снисходительным тоном:

— Конечно, мсье Серджиус, если это доставит вам удовольствие.

Тон означает, что, когда человек тяжко болен, ему можно простить его маленькие причуды. Проходит секунда, и бортпроводница с непринужденным видом берет мою руку в свою. На мгновенье у меня вспыхивает надежда. Но тотчас же исчезает. Я не узнаю ее пальцев. Эти пальцы — сухие, вялые, равнодушные. Они держат мою руку, как держали бы неодушевленный предмет, к которому не питаешь никаких чувств и который можешь положить на стол и тут же про него забыть. Прикосновение начисто лишено человеческого тепла и так же далеко от ласки, как жест врача, щупающего у вас пульс.

Эта минута ужасна. Я погружаюсь на самое дно отчаянья, я в недоверии замер перед ситуацией, которой не понимаю. Ибо, если даже в конце концов допустить, что сцена в каюте была всего лишь галлюцинацией, спровоцированной онирилом, как мне тогда понимать то нежное согласие, которое установилось между бортпроводницей и мной с первых же минут моего пребывания в самолете? Я себя прекрасно в то время чувствовал, был в нормальном состоянии и не принимал никаких лекарств.

Я отпускаю руку, которая больше не любит моей руки, закрываю глаза и пытаюсь над всем этим поразмыслить, а это довольно трудно, ибо на меня теперь навалилась боязнь умереть. И все же, несмотря на то что я изнурен и охвачен паникой, рассудок мой сохраняет ясность.

Я допускаю такую возможность: бортпроводница действительно ощутила ко мне некоторую нежность, но *Земля,* не знаю, каким способом, дала ей понять, что я недостоин ее внимания. Тогда бортпроводница лишила меня своих милостей, и я стал для нее обыкновенным «пассажиром», как все остальные. В конце концов, даже на земле, когда девушка, которая начинает вами интересоваться, рассказывает об этом своей «лучшей подруге» и та вас высмеивает и низвергает в ее глазах с пьедестала, это может на корню уничтожить зарождающуюся привязанность.

Но существует и другая вероятность, которую я, хотя она повергает меня в ужас, тоже не могу полностью исключить. Быть может, я с самого начала и без всякого лекарства, одурманенный лишь собственной страстью, вообразил и придумал все эти взгляды, улыбки, интонации, все эти милые пальцы, которые, «точно маленькие дружелюбные зверьки», резвятся в моей руке?

Если мне в самом деле все это только приснилось, если бортпроводница от начала до конца была для меня тем, кем является и сейчас,— совершенно чужим человеком,— если эта огромная любовь была лишь плодом моего воображения, тогда все рушится. Тогда нет в мире ничего, в чем я был бы уверен. Тогда ничему из того, что я здесь наплел, нельзя верить. Тогда я единственный и ненадежный свидетель истории, правду о которой никогда и никто не сможет узнать.

Мой страх и оцепенение понемногу утихают. Я чувствую себя лучше. На сей раз наверняка действует онирил. Впрочем, это неважно. Важно

другое: от всего, что здесь происходит, и от моей собственной участи меня теперь отделяет восхитительная даль. Словно это больше меня не касается. Я гляжу на все издали, из очень далекой дали, и это зрелище меня почти забавляет. Все рассеивается, как туман. Я перестаю быть дурачком, обманутым историей, которая произошла с ним самим. Мне наконец открывается то, чего я прежде не видел: все, что связано с этим рейсом, фальшиво до ужаса. Самолет не летит в Мадрапур, онирил не лекарство, которое лечит. Моя болезнь не ошибка. И бортпроводница не любит меня.

Ну и пусть, наплевать! Я очень быстро, с ощущением невероятной легкости, отрываюсь от *колеса времени*. Я окидываю пассажиров сторонним взглядом, словно я уже не с ними. Они, эти ложные братья, подбадривают меня улыбками, будто им тоже хотелось бы заставить меня поверить, что моя смертельная болезнь — это «ошибка», которая с минуты на минуту будет исправлена. Мне остается лишь участвовать в этой маленькой комедии. Я даже не возмущаюсь. Мне все безразлично. В том числе и яростный спор, который вспыхивает сейчас в самолете. Я безмятежно слушаю абсолютно, на мой взгляд, пустые речи пассажиров.

После утреннего завтрака — к которому я не притронулся, лишь выпил несколько глотков тепловатого чая,— Мюрзек направляется в пилотскую кабину, и в спину ей ухмыляется Блаватский, переглядываются viudas, а Караман, полузакрыв глаза, напускает на себя страшно важный и чопорный вид, который должен означать, что единственным местом, где следует молиться, является для него католическая церковь, а единственный Бог, к коему пристало обращаться,— Бог Нового Завета.

Когда Мюрзек возвращается, ее желтоватое лицо и синие глаза лучатся надеждой на «другие края, где, возможно, нам было бы лучше», как об этом говорит Робби. В то же время она вся исполнена новехоньких добрых намерений касательно своих страждущих братьев, томящихся в самолете, и, прежде чем сесть, она останавливается у моего кресла и с елейным видом спрашивает:

— Ну что, мистер Серджиус, как вы себя сегодня чувствуете?

Я отвечаю слабым голосом, но довольно непринужденно, что меня самого удивляет:

— Гораздо лучше, спасибо.

Выставив напоказ свои желтые зубы, Мюрзек одаряет меня серией поощрительных улыбок.

— Вот увидите, вы скоро поправитесь...

— Конечно, конечно,— говорю я бодрым тоном.

— К тому же,— продолжает она,— *Земля* дала нам понять, что ваша болезнь явилась результатом ошибки. *Земля* обманываться не может.

— Так же как обманывать других.

— Несомненно,— с уверенностью говорит Мюрзек.— Это совершенно исключено.

Несмотря на полное ко всему безразличие, овладевшее мной, я улавливаю в ее словах некий привкус, который мне явно не нравится. Я закрываю глаза в знак того, что разговор меня утомляет.

— А тем временем,— добавляет Мюрзек, приобщая весь круг к своему порыву великодушия,— мы все здесь горячо желаем вашего скорейшего выздоровления.

— Я весьма вам обязан,— говорю я, не поднимая век.

Пауза. Я чувствую, Мюрзек явно считает, что она еще не до конца выполнила в отношении меня свой словесный долг. Что ж, пусть выполняет! Но без меня! Я не открываю глаз.

— Во всяком случае, если я могу для вас что-нибудь сделать, скажите.

Да, можете, например, оставить меня в покое. Но меня подводит привычка быть вежливым, и вместо того, чтобы так и сказать, я бормочу, упорно не поднимая век:

— Спасибо, мадам, но бортпроводница выполняет свой долг до конца. Как вы, наверно, заметили, она даже подержала мою руку.

Последнюю фразу я произнес помимо своей воли; сквозь мою незамут-

ненную безмятежность будто вдруг проступило пятнышко прежней горечи.

— Бортпроводница,— говорит Мюрзек, чья доброжелательность, словно ясное солнышко, льет свои лучи абсолютно на всех,— бортпроводница вообще выше всяких похвал.

Пауза.

— Ну что ж,— запоздало спохватываясь, говорит Мюрзек,— я вас на время покину, отдыхайте.

Робби возвращается из туалета со своим несессером в руке. От карминовых пальцев ног до оранжевой шейной косынки (не забудем также светло-зеленых брюк и небесно-голубой рубашки) весь он так ярко и артистично расцвечен, что ни одно его перемещение по самолету не может пройти незамеченным. В довершение картины над плечами его развеваются золотые кудри и он выбрит так гладко, будто он совсем еще юн и безбород. Когда он пересекает круг, мы всегда глядим на него, глядим с самыми разными чувствами, но сегодня они уступают место удивлению и беспокойству.

Ибо эта лучезарная молодость теперь только видимость. В лице у Робби не осталось ни кровинки, черты заострились, глаза запали, и кажется, что всего за одну ночь он утратил обычную округлость щек. Цвет его лица больше не назовешь абрикосовым. Теперь он пепельный. И в его походке, обычно такой легкой, такой окрыленной, появилась какая-то неуверенность и неловкость — приметы, которые со вчерашнего утра, увы, мне слишком знакомы. Я могу совершенно точно сказать, что испытывает Робби в эту минуту. Такую слабость в ногах, что они у него подкашиваются, словно больше не в силах его нести. И в самом деле, не доходя до кресла, он споткнулся и наверняка бы упал, если бы мадам Эдмонд не вскочила и не удержала его своей могучей рукой.

— В чем дело? — говорит она с ласковой суровостью.— Что-то не так? Ты еще не проснулся?

— Спасибо,— говорит Робби и, всегда такой грациозный, всегда даже не садившийся в кресло, а изящно себя опускавший в него, тяжело валится на сиденье.

Круг смотрит на Робби, потом все взгляды отворачиваются от него. Круг не произносит ни слова. Не задавать себе лишних вопросов! Сделаем вид, как будто Робби здесь нет! Но круг не учитывает великого рвения Мюрзек, которая вся сейчас — сплошная любовь и неукротимое стремленье помочь.

— Мсье Робби,— тотчас вступает она, очевидно не зная, что это не фамилия, а имя, притом уменьшительное (правда, и бортпроводница совершит вскоре ту же ошибку),— извините, что я вам это говорю, но у вас сегодня очень бледное лицо. Вы заболели?

Никакого ответа. Робби даже не поворачивает к ней головы.

— А ведь верно, мой маленький,— восклицает с испуганными глазами и ходящей ходуном грудью мадам Эдмонд,— вид у тебя сегодня неважный! Что у тебя болит, мой котеночек?

Но Робби, который отдал ей во владение свою левую руку, по-прежнему не отвечает. Держа очень прямо шею и вперив в одну точку глаза, он неподвижно застыл в кресле.

— Мсье Робби,— говорит Мюрзек,— я позволю себе повторить свой вопрос. Вы заболели?

— Да нет, я вовсе не болен,— говорит Робби, не меняя своей деревянной позы, и я впервые слышу, как он, чей французский выговор всегда безупречен, произносит на немецкий манер согласные «д», «в» и «б».

Я смотрю на него, удивленный такой оплошностью. Он возвращает мне взгляд, и его глаза, опровергая его собственное утверждение, говорят мне красноречивее всяких слов: «Да, как видишь, я тоже. Вслед за тобой. В свою очередь». И одновременно он улыбается мне обескровленными губами.

Круг прекрасно понимает этот обмен взглядами, я чувствую это по прервавшимся разговорам, по наступившей вдруг тяжелой тишине. А я столь же прекрасно понимаю, что молчание круга имеет целью не подчеркнуть, а похоронить грозную правду, которая только что обнаружилась таким для всех очевидным и пугающим образом.

— Мадемуазель,— гнет свое, не унимаясь, Мюрзек,— я полагаю, что вам следовало бы проявить инициативу и дать мсье Робби тоже одну таблетку онирила.

— Да нет, я вовсе не болен,— повторяет Робби, снова делая ту же ошибку в произношении тех же слов.— Я не хочу принимать это лекарство.— И слабым голосом добавляет, обводя круг дерзким взглядом: — К тому же, как все могут убедиться, я нахожусь в полном здравии.

— Да нет же, мсье Робби,— говорит Мюрзек.— Не нужно нас обманывать. Вы больны.

— Ну хорошо, мадам,— говорит Робби по-прежнему слабым голосом, но с искрами в глазах.— Допустим, я в самом деле болен, но что вы можете для меня сделать?

— Молиться,— без малейшего колебания отвечает Мюрзек.

— Но это невозможно,— говорит Робби,— вы ведь уже совершили сегодня свои утренние молитвы.

— Я готова начать их снова.

— Сейчас? — вполне серьезным тоном спрашивает Робби.

— Сейчас, если хотите.

— Я был бы вам за это в высшей степени благодарен,— говорит Робби и на последнем слове вновь запинается, произнося «б» и «д» на немецкий манер.

Мюрзек встает и строевым шагом направляется к кухонной занавеске. Отдернув ее, она оборачивается и устремляет на Робби взгляд своих синих глаз.

— Мсье Робби, не хотите ли вы, оставаясь в своем кресле, мысленно сопровождать мои молитвы?

— Охотно, мадам,— говорит Робби.

Мюрзек исчезает за занавеской, и Робби говорит совсем уже ослабевшим голосом, и на губах у него мелькает бледное подобие улыбки:

— Я буду молиться, чтобы ваши молитвы были услышаны.

— Робби,— тоже слабым голосом говорю я,— вам нужно принять онирил. Его моральное действие бесподобно.

— Нет,— говорит он,— я обойдусь без него.

Тут Караман принимается покашливать.

— К тому же,— вмешивается он в разговор с тем неподражаемым видом, с каким он по любому поводу призывает нас прислушиваться к голосу разума,— не следует думать, что онирил панацея от всех недугов. Он не может применяться во всех без исключения случаях.

— В этом я с вами не могу согласиться,— говорит насмешливо Робби.— Онирил полностью применим ко всем случаям, какие могут возникнуть у нас на борту.

Новая пауза, и бортпроводница с мягкой решительностью говорит:

— Даже если мсье Робби согласится принимать таблетки онирила...

— Но Робби не соглашается,— вставляет Робби.

— ...для меня было бы затруднительно их ему дать. Кроме той упаковки, которую я вскрыла для мистера Серджиуса и специально отложила для него,— (я благодарен ей за эту фразу, а также — но не новая ли это иллюзия? — за взгляд, которым она сопровождает ее),— онирила у меня больше нет! Все остальные упаковки исчезли!

— Исчезли? — восклицает Блаватский, наклоняясь вперед, и его живые пронзительные глаза сверкают за толстыми стеклами очков.— И когда же вы обнаружили это исчезновение?

— В ту минуту, когда я давала таблетку мистеру Серджиусу. У меня было девять упаковок. А осталась только одна — та, которую я открыла для мистера Серджиуса.

Она вынимает ее из кармана своего форменного жакета. Мы ошеломленно глядим на коробочку и друг на друга.

— Если восемь упаковок онирила исчезли,— резким тоном говорит вдруг миссис Банистер,— значит, их кто-то украл.

Эта чисто феодальная бесцеремонность в подходе к проблеме, мне кажется, ошарашивает Блаватского (хотя я пока еще не улавливаю — почему). Но Робби не дает ему времени определить свою позицию. Слабым голосом, старательно выговаривая слова, он с очень заметным немецким акцентом обращается к бортпроводнице:

— Сколько таблеток в одной упаковке?

Бортпроводница открывает коробочку — гладкую серую коробочку без всякой надписи или аптечного ярлыка — и, высыпав содержимое себе на ладонь, вслух пересчитывает таблетки. Их восемнадцать, и, так как она дала мне одну вчера вечером и одну сегодня утром, баланс подвести несложно.

— Двадцать,— говорит она.

— Девять упаковок по двадцать штук в каждой — это составляет сто восемьдесят таблеток,— говорит Робби и углубляется в какие-то подсчеты, смысла которых, по-моему, никто не понимает.

Все это время Блаватский молчит. Он внезапно стал очень пассивным и очень скромным, наш суперсыщик. У него из-под носа крадут восемь коробок с лекарством, вне всякого сомнения сильнодействующим, а он себе в ус не дует, не предпринимает никаких шагов для расследования. Никого не допрашивает. Никого не подозревает. Даже самого подозрительного из всех, того, кого несомненно следует считать преступником...

Раздается сухой щелчок. Миссис Бойд, которая опрыскала себя туалетной водой, захлопывает сумку крокодиловой кожи, кладет ее себе на колени и, раздраженно уставив свой круглый глаз на Христопулоса, говорит с бостонским акцентом:

— Мистер Блаватский, почему вы не спросите у мистера Христопулоса, что ему понадобилось в galley в два часа ночи, именно тогда, когда бортпроводница уволокла мистера Серджиуса в хвост самолета?

Я гляжу на нее во все глаза. Я потрясен. Но не тем, что она обвиняет грека, а тем, что таким образом подтверждается реальность случившегося со мной в эту ночь. Я бросаю взгляд на бортпроводницу. Она хранит полную невозмутимость. Лицо — точно маска. Но, с другой стороны, возможно ли себе представить, чтобы каюта располагалась в самом хвосте самолета и чтобы у меня хватило сил добраться туда даже с помощью бортпроводницы?

Реакция Христопулоса оказывается хоть и запоздалой, но весьма бурной.

— Замолчите, вы, старая дура! — кричит он, весь дергаясь и сочась потом, и от него незамедлительно начинает исходить тяжелый запах.— Я и с кресла не вставал этой ночью!

Его жирные, толстые руки мечутся во все стороны, щупают желтый галстук, ширинку, следы перстней у основания пальцев.

— Вы лжете, мсье,— резко обрывает его миссис Банистер.— Я тоже вас видела. Я решила, что вы проголодались и, пользуясь затянувшимся отсутствием бортпроводницы, решили отправиться в galley в поисках съестного. Но, как я вижу, истина оказалась в другом! Вы завладели онирилом! Единственным лекарством, которое имеется у нас на борту! И которое было заготовлено в количестве, достаточном для того, чтобы его можно было раздать в случае надобности всем пассажирам!

— Здесь вы несколько поспешили с выводами, мадам,— говорит Караман, в то время как Блаватский, чего я никак не могу объяснить, молча и безучастно сидит в своем кресле, сложив на коленях руки. Караман продолжает: — Нет ничего необычного в том, что на борту самолета имеются на случай чрезвычайных обстоятельств какие-то медикаменты. Это вовсе не означает, что их будут всем раздавать.

Наступает пауза; для всех очевидно, что своей репликой Караман

уводит дискуссию в сторону. Впрочем, его тезис тут же опровергается человеком, от которого мы меньше всего могли это ожидать.

— Прошу прощения,— говорит бортпроводница.— Онирил был как раз предназначен исключительно для того, чтобы в случае надобности раздать его всем пассажирам.

— Откуда вам это известно? — спрашивает Блаватский, вдруг обретя в отношении бортпроводницы изрядную долю былой агрессивности.

Бортпроводница ничуть не смущается. Она отвечает ровным тоном:

— Это было частью моих инструкций.

— Записанных на том клочке бумаги, который вы потеряли,— констатирует, ухмыляясь, Блаватский.

— Да,— спокойно подтверждает бортпроводница.

Лжет она или нет? Этого я не знаю. У меня в памяти всплывают некоторые детали, и я спрашиваю себя, не поддерживала ли бортпроводница с самого начала контакт с *Землей* — может быть, с помощью передатчика, спрятанного в galley.

— Но в таком случае,— говорит, обращаясь к бортпроводнице, миссис Банистер,— вы должны были нам об этом сказать.

— Вовсе нет,— чуть дрогнувшим голосом говорит бортпроводница.— Мне были даны совершенно точные инструкции; чтобы сказать вам об онириле, мне нужно было разрешение *Земли*.

После чего круг погружается в молчание. Караман хранит полную невозмутимость. Блаватский неподвижно застыл, и глаза его за толстыми стеклами очков абсолютно не видны. На Христопулоса он даже не смотрит и выглядит хмурым и удрученным.

— Мерзавец! — неожиданно кричит Пако, поворачиваясь в сторону грека.— Вам было мало выманивать у своих спутников деньги под фальшивым предлогом так называемого карточного долга! Теперь вы крадете лекарства! Так вот, вы сейчас же вернете бортпроводнице эти коробки, или я разобью вашу поганую морду!

— Это ложь! У меня их нет! — кричит Христопулос, и его руки негодующе мечутся во всех направлениях.— А что касается морды, это я вам ее разобью!

— Господа, господа,— без особой убежденности говорит Караман.

— Мандзони,— говорит миссис Банистер тоном, каким сюзерен обращается к своему вассалу, когда дает ему рыцарское поручение,— помогите мсье Пако отобрать у этого проходимца то, что он украл.

— Хорошо, мадам,— говорит, слегка бледнея, Мандзони.

Это трогательно или, если хотите, комично: Мандзони встает, расправляет плечи и в своем белоснежном одеянии, точно карающий ангел, идет на Христопулоса. Не знаю, умеет ли и любит ли Мандзони драться, но его рост, ширина плеч и решительная походка оказывают чудотворное действие.

Христопулос встает, затравленно озирается и, сделав крутой вираж вокруг собственной оси, поворачивается к Пако и к Мандзони спиной, бежит, быстро семеня толстыми ногами, к кухне, отдергивает занавеску и исчезает.

Пако и Мандзони растерянно застывают. Мандзони, подняв бровь, делает полуоборот в сторону миссис Банистер и вопросительно на нее смотрит, ожидая дальнейших инструкций.

— Обыщите его сумку,— командует миссис Банистер.

Блаватский ни слова не говорит и не делает ни единого жеста. Он наблюдает за происходящим как посторонний. Можно подумать, что это его не касается.

Мандзони не без отвращения открывает саквояж Христопулоса.

— Это она, мадемуазель? — спрашивает он у бортпроводницы, показывая ей издали маленькую серую коробку, но вместо того, чтобы прямо ей и отдать ее, он передает коробочку Пако, а тот протягивает ее бортпроводнице. Должно быть, Мандзони опасается, что миссис Банистер заподозрит его в желании дотронуться до руки бортпроводницы. Дрессировка, я вижу, идет успешно.

— Это она,— говорит бортпроводница.— Там должны быть еще семь таких упаковок.

Мандзони извлекает их одну за другой из саквояжа Христопулоса, и Пако передает их бортпроводнице.

Пассажиры молча и с некоторым уважением следят за этой операцией. Бог весть почему эти коробочки стали вдруг для них величайшей драгоценностью. А ведь им достаточно посмотреть на меня, чтобы понять: терапевтический эффект таблеток онирила ничтожен — даже если они делают менее мучительными остающиеся нам минуты.

Чья-то рука отодвигает занавеску кухни, появляется Мюрзек, за ней плетется Христопулос; он на целую голову выше ее, но сгорбился весь и съежился, прячась за ней. Его черные усы дрожат, по искаженному страхом лицу ручьями течет пот.

— Мсье Христопулос мне все рассказал,— говорит нам Мюрзек.— Я прошу вас не причинять ему зла.

— Паршивая овца под защитой козла отпущения,— говорит Робби так тихо, что, думаю, только я один его слышу.

— Скажите мне,— продолжает Мюрзек, бросая нам евангельский вызов,— как собираетесь вы с ним поступить?

Круг раздраженно молчит.

— Да, разумеется, никак,— говорит миссис Банистер, удивленная тем, что Блаватский все так же безучастен и предоставляет ей одной все решать.

Мандзони возвращается на свое место, Христопулос — на свое.

— Мадемуазель,— продолжает миссис Банистер, обращаясь с высокомерным видом к бортпроводнице,— заприте эти коробки на ключ. И доверьте ключ мсье Мандзони.

Бортпроводница не отвечает. Усевшись в кресло, Мандзони пытается туже затянуть узел своего галстука, хотя он нисколько не ослаб, а Христопулос рухнул на сиденье, опустил глаза вниз и, спасая жалкие крохи своего достоинства, бормочет в усы какие-то слова, о которых я затрудняюсь сказать, извинения это или угрозы.

— Недостаточно просто снова допустить мсье Христопулоса в наши ряды,— говорит Мюрзек, оглядывая круг неумолимыми синими глазами.— Нам нужно его простить.

— Мы его уже простили, простили,— едва слышным голосом отзывается Робби с сильным немецким акцентом.— Мадам,— говорит он, произнося «д» как «т»,— вы за меня помолились?

— Нет,— говорит Мюрзек.

— В таком случае вы можете оставить Христопулоса на мое попечение,— говорит Робби.— Я позабочусь о его интересах.

Я жду, что за полной серьезностью тона, с какой Робби отсылает ее за него помолиться, Мюрзек сумеет все-таки распознать его дерзкий умысел. Но я ошибаюсь. Должно быть, вместе со злостью она утратила и свою проницательность, потому что с простодушием, которое меня поражает, она говорит:

— Я вам весьма благодарна, мсье Робби.

И, с военной выправкой развернувшись на каблуках, она опять исчезает за кухонной занавеской.

Едва она успевает выйти, Робби обводит круг глазами и, с видом крайней усталости опираясь головой о спинку кресла, говорит чуть слышным голосом:

— Для мсье Христопулоса это тем более простительно, что он поддался иллюзии, в которой все мы грешны. Он предположил, как и каждый из нас, что он будет единственным, кто останется в живых.

— Да что вы такое говорите! — восклицает Караман, на сей раз не в силах обуздать свой гнев.— Это нелепо! Вы бредите, мсье! И не надо навязывать нам свой бред!

Губы у него дрожат, и он с такой силой стискивает руки, что я вижу, как у него побелели суставы. Он продолжает раздраженным тоном:

— Это недопустимо! Вы хотите вызвать панику среди пассажиров!

— Я этого совершенно не хочу,— говорит Робби; его голос очень слаб, но он ни на йоту не отступает со своих позиций. Он добавляет: — Я высказываю свое мнение.

— Но его не нужно высказывать! — в гневе кричит Караман.

— А вот об этом позвольте мне судить самому,— говорит Робби совсем уже шепотом, но с огромным достоинством, которое, видимо, внушает Караману уважение, потому что он замолкает, опускает глаза и делает над собой большое усилие, чтобы взять себя в руки.

Эта сцена для всех чрезвычайно мучительна. Никто не мог ожидать такого всплеска ярости от Карамана, да еще по отношению к больному, у которого почти не осталось голоса, чтобы защищаться.

— Я буду держать онирил под замком,— спустя несколько секунд говорит бортпроводница, желая, вероятно, разрядить обстановку.

Но ее отвлекающий маневр оказывается не очень удачным, ибо тем самым она снова толкает Робби на путь высказываний, которые Караман именует бредовыми.

— Теперь это уже бесполезно,— говорит Робби и неуверенным жестом поднимает правую руку, требуя внимания.— Надо сейчас же раздать по таблетке онирила всем пассажирам, которые этого пожелают.

Он говорит голосом таким слабым, таким прерывистым, что все мы, даже Караман, даже Блаватский (по-прежнему подавленный и молчаливый), напрягаем как можем слух, чтобы его услышать, и при этом никто — такова его странная власть над нами — не помышляет о том, чтобы его прервать или заглушить своим голосом его слова.

— Но мы не больны,— говорит миссис Банистер.

— А что же тогда такое... наша тревога? — отзывается Робби и смотрит на нее с бледной улыбкой.

Воцаряется тишина, и, к моему удивлению, мадам Эдмонд принимается плакать. Не выпуская левой руки Робби, она плачет совершенно беззвучно, слезы струятся у нее по щекам, размывая и размазывая макияж.

Пако, с багровым черепом и вылезающими из орбит глазами, говорит сдавленным голосом, сжимая в своей волосатой лапе тоненькую ручку Мишу:

— И все-таки мы не больны в том смысле, в каком болен, к примеру, мсье Серджиус или... вы сами,— добавляет он после секундного колебания.— В этих условиях было бы расточительством расходовать онирил, раздавая его поголовно всем пассажирам.

— Это не будет расточительством,— говорит угасающим голосом Робби со слабой тенью улыбки на пепельно-сером лице.— Я только что произвел необходимый подсчет. Онирил был отпущен для нашего рейса именно в том количестве, какое необходимо для того, чтобы каждый пассажир мог получать по две таблетки в день на протяжении тринадцати дней, если предположить — и эта гипотеза мне представляется правдоподобной,— что каждую ночь из самолета будут высаживать по одному пассажиру.

Минута оцепенения и ужаса. Караман, уже совершенно вне себя, восклицает:

— Но это чистое безумие! Ничто, абсолютно ничто не дает вам оснований для столь бессмысленной гипотезы! У вас нет никаких доказательств, которыми вы могли бы ее подтвердить!

Неподвижно застыв в кресле с безжизненно лежащими на подлокотниках руками, Робби глядит на него в упор своими светло-карими глазами, и, хотя в них нет и намека на злость, его взгляд буквально ударяет по Караману, заставляя его замолчать.

— Доказательств нет,— еле слышно говорит Робби,— есть только признаки, но они достаточно впечатляют. Поверите ли, мсье Караман, *Земля* предусмотрела даже, что один из пассажиров откажется от своей доли лекарства. Поэтому на борту сто восемьдесят таблеток, а не сто восемьдесят две, как того требовал бы точный расчет.

— Вы, мсье, бредите,— говорит Караман, запоздало вздрогнув.— Я не верю ни одному вашему слову.

Следует новая пауза, и Робби, голосом, который с трудом преодолевает разделяющее нас пространство, говорит, улыбаясь:

— Полноте, мсье Караман! Почему бы вам, человеку столь рассудительному, не внять наконец голосу рассудка? Теперь ведь все уже ясно. Есть лишь единственная возможность выйти из этого самолета — способом Бушуа.

В конце концов все пассажиры, кроме Робби, приняли онирил, громко заявляя при этом, что они не больны. Этот «транквилизатор», говорит Караман, заранее преуменьшая его возможное действие, поможет ему немного ослабить то нетерпение, которое вызвано у него «нашим несколько затянувшимся путешествием». После чего он, как и все, проглатывает таблетку и, демонстрируя свою неколебимую веру в благополучный исход полета, достает из портфеля свои документы и с золотым карандашом в руках погружается в их изучение. Блаватский довольствуется жизнерадостным замечанием насчет того, что теперь он сам принимает наркотики, он, чья задача — неустанно с ними бороться. Его жизнерадостность звучит, на мой слух, фальшиво. Это тот сорт юмора, которым в американских фильмах наделен бесстрашный герой, отпускающий свои шуточки в двух шагах от смерти.

Однако это доброе расположение духа задает тон всей процедуре раздачи таблеток, которая могла бы выглядеть довольно мрачно, если бы пассажиры не отнеслись к ней как к чему-то пустяковому и забавному.

Пако тоже не без удовольствия включается в эту игру. Он со смехом спрашивает у бортпроводницы, уверена ли она, что таблетка не содержит в себе ингредиентов, возбуждающих чувственность. После чего мадам Эдмонд, которая уже успела вытереть слезы и освежить макияж, обменивается с ним остротами сомнительного свойства.

Слишком благовоспитанные, чтобы принимать участие в этом общем веселье, viudas проглатывают онирил с некоторым безразличием, как будто они из любезности подчиняются ничтожной формальности, от которой даже высокое положение в обществе не может их избавить.

Я думаю, что, если бы я сам не находился уже под воздействием онирила и не был уверен, что к вечеру получу еще одну дозу, вся эта сцена, насквозь лицемерная и фальшивая, оставила бы у меня самое жалкое и неприятное впечатление. Возможно также, что ввиду своего состояния я не следил за ней достаточно внимательно и не подметил всех ее деталей и оттенков. Ибо все то время, пока она развертывалась, меня преследовала одна-единственная мысль — почему Робби отказался принимать это снадобье.

Я жду, когда онирил достаточно подействует на моих спутников, чтобы мой вопрос их заново не встревожил, и спрашиваю у Робби, какова же причина его отказа. Разговор вести нам очень трудно, оба мы говорим таким слабым голосом, что еле слышим друг друга. Тронуться с места, подойти друг к другу — для меня это совершенно исключено, и Робби, полагаю, тоже боится, что, если он встанет, круг увидит, насколько он слаб.

К моему большому удивлению, Робби, который неоднократно доказывал решительность своего характера, ясного ответа мне не дает. Обращаясь ко мне по-французски, но со все более явственным немецким акцентом, он начинает с того, что говорит:

— Я не знаю. Не уверен, что я сам понимаю свои побуждения. Вполне возможно, что я хочу без посторонней помощи справиться с собственной тоской и тревогой.

— Но не является ли этот героизм,— говорю я,— в нашей ситуации совершенно излишним? Особенно для вас? Ведь исход всего этого предприятия вам давно уже ясен.

— Именно это я себе и говорю.

— Так в чем же дело?

— Я очень склонен к самолюбованию, вы это знаете. Быть может, мой отказ — своего рода кокетство.

— Это означало бы, что вас слишком заботит, какое впечатление вы производите на окружающих.

— Да, вы правы.— Немного подумав, он добавляет: — А может быть, я не хочу никаких подарков от *Земли.*

Слово «подарков» он произносит с насмешливой улыбкой.

Здесь Мюрзек, которая вернулась из пилотской кабины, чтобы послушно принять таблетку, поднимает на нас глаза с таким негодующим видом, что, желая избежать очередной нудной проповеди, я прекращаю этот разговор. К тому же он меня окончательно обессилил. Если моя мысль еще сохраняет ясность, это вовсе не значит, что речь дается мне столь же легко.

Затрудняюсь сказать, в какое точно время второй половины дня происходит то, о чем я сейчас расскажу. Ибо часов ни у кого нет и мы постепенно утрачиваем ощущение времени. Я говорю «второй половины дня», потому что солнце вскоре после рассвета исчезло и прошло уже «какое-то время» после того, как бортпроводница нас накормила и убрала подносы после еды.

Откуда сама бортпроводница узнаёт час, когда ей следует нас кормить, мне невдомек. Разве только *Земля,* как я и раньше предполагал, отдает ей на этот счет приказания. Как бы то ни было, единственным средством, при помощи которого мы можем хоть как-то членить на отрезки продолжительность времени, являются завтраки, обеды и ужины, которыми потчует нас бортпроводница. Возможно, эти ориентиры обманчивы; будь у меня аппетит, я, должно быть, мог бы об этом судить более верно. Но аппетита у меня нет. Я не в силах ничего проглотить. Это порочный круг: я чувствую себя слишком слабым, чтобы есть, и чем меньше я ем, тем больше я слабею.

Я знаю, что я слабею, но благодаря онирилу этого не чувствую. А ведь главное для нас, конечно, не сами несчастья и беды, от которых мы страдаем, главное то, как мы их представляем себе. С этой точки зрения действие онирила поразительно. Он погружает вас в состояние блаженной беспечности, где вы живете только текущим мгновением и всякая мысль о грядущем вам абсолютно чужда.

В обычное время *колесо времени* не довольствуется тем, что оно вращается и увлекает вас в свой круговорот. Оно ко всему еще зубчатое, и вас одна за другой беспрерывно цепляют заботы. Ты не живешь. Без передышки ты крутишься все в тех же неизбывных страхах, все в тех же неизбывных наваждениях. Всю жизнь, за исключением ранней молодости, над чудовищным грузом нашего настоящего висит грядущее, хватает его и топит в своем водовороте.

Вот почему от онирила нам становится так легко. Благодаря ему у нас возникает ощущение — и ощущение это истинно, поскольку мы именно так и переживаем его,— что *колесо* остановилось и позволяет нам жить в настоящем, освободившись от этого вечного кружения, сводящего нас с ума.

Итак, отныне нам нет больше дела до часов и минут и нас не заботит, приближают ли они нас к тому исходу, который предрек всем нам Робби. Неумолимо лишь *колесо.* Избавившись от него, мы не чувствуем бега времени. Не чувствуем, как, зубец за зубцом чудовищной шестерни, надвигается на нас конец, которого мы так страшимся.

Время я измеряю теперь только мгновеньями, когда чувства мои проясняются. Может быть, множественное число, которое я употребил, звучит здесь слишком самонадеянно и тщеславно; может быть, миг, в котором сейчас я живу, будет в моей жизни последним — не знаю. Точно подростку, когда в нем бурлят жизненные силы, мне представляется, что у меня еще есть огромный запас неиспользованных возможностей. Мне безразлично, иллюзорно ли это чувство. Важно, что я испытываю его.

Сама, по собственному почину, без моих умоляющих взоров и безмолвных призывов, бортпроводница берет мою руку, и, к величайшей своей радости, я чувствую исходящее от нее тепло. Ее пальцы живут, они сплетаются с моими и, как раньше, приносят мне нежность и понимание. Я пово-

рачиваю к ней голову. Я вновь узнаю ее зеленые, потемневшие от волнения глаза. Это как внезапно нахлынувшая волна. Я чувствую себя счастливым, счастливым сверх всяких пределов.

Зная, чего мне стоит любое усилие, она наклоняет ко мне голову, очень близко, почти касаясь меня, и я на одном дыхании говорю:

— Миссис Бойд видела, как вы под утро вели меня в хвост самолета. Значит, все это правда?

— Тсс,— шепчет она.— Не надо об этом. Нас слушают.

Я не знаю, кого она имеет в виду. Круг? Или *Землю?* Но эта подробность мне кажется мелочью по сравнению с терзающей меня неизвестностью. Я продолжаю:

— Скажите откровенно, вы меня любите?

Зеленые глаза снова темнеют, и она отвечает серьезно и смело, как будто заранее обдумала этот ответ:

— Мне кажется, что люблю.

— Когда вы будете уверены в этом?

— Когда мы расстанемся.

Новый материал для раздумий. И для новых сомнений. Но и то и другое я сейчас от себя отстраняю. Я спешу перейти к тому, что не терпит отлагательств.

— Этим утром вы были со мной как чужая. Почему?

Она еще больше приближает ко мне свою голову и тоже на одном дыхании говорит:

— Я находилась под влиянием *Земли.*

Я спрашиваю так же тихо:

— Она выбранила вас за эту ночь?

— Нет. У нее другая метода. Она дала мне понять, что мое чувство к вам не имеет будущего.

— Потому что остается так мало времени до моей высадки?

— Да.

— Но ведь в один прекрасный день вы и сами...

Я останавливаюсь. Как ни целомудрен эвфемизм, который я собирался употребить, у меня нет никакого желания прибегать даже к нему.

— Это несравнимые вещи,— говорит она, словно рассчитывает пережить меня не на несколько дней, а на многие годы.

Я слишком удивлен и, главное, слишком ее люблю, чтобы ей об этом сказать. Я предпочитаю, чтобы она прояснила еще один пункт, который мне непонятен.

— Что же в конечном счете представляет собою *Земля,* чтобы до такой степени влиять на ваши чувства? Кто это — Бог?

— О нет!

Она размышляет — с трепещущими ноздрями, серьезным выражением лица и детским ртом. Я обожаю ее такой. Мне безумно хочется стиснуть ее в объятиях. Но даже если предположить, что у меня хватит на это сил,— что скажет круг? И надо ли мне давать *Земле* лишний повод ее бранить, даже если это делается не впрямую?

Бортпроводница всплывает наконец из глубин своих мыслей на поверхность и с робостью, которая не очень, по-моему, вяжется с другими свойствами ее натуры, говорит:

— Я боюсь того суждения, которое *Земля* может обо мне составить.

Вот и все. Она ничего мне больше не скажет, я это чувствую. И я должен удовлетвориться ее ответами, как ни мало они удовлетворяют меня. Я обнаружил в ней сейчас целую зону, которая повергает меня в изумление. Испытывать такое трепетное уважение к мнению *Земли!* Это не укладывается у меня в голове! Почему, если речь идет о ней самой, не отстаивает она независимость собственных чувств?

Чтобы немного себя утешить, я говорю себе, что никогда невозможно до конца понять существо, которое любишь. Не то чтобы оно было для тебя более непроницаемо, чем другие. Просто о нем тебе хочется знать больше, чем о других.

Эта беседа утомила меня еще сильнее, чем разговор с Робби. Я знаю, что она была последней и что я не открою больше рта до самого конца. Но не следует думать, будто ощущение, что я навсегда онемел, огорчает меня. Вовсе нет.

С наступлением темноты бортпроводница дала мне вторую таблетку онирила. Как ни мала она, мне не сразу удалось ее проглотить. После чего бортпроводница приложила свои прохладные губы к моим, и я вступил в область сна, где все удивительно легко и приятно. Мое кресло откинуто до предела назад. Так как я жаловался на холод, бортпроводница положила мне на ноги одеяло Бушуа. И теперь мне хорошо. Мне кажется, что я плыву по теплому морю на надувном плоту спиною к движению. Небольшие волны, проходя под плотом, приподнимают меня, и я всем своим телом чувствую двойную ласку солнца и ветра. Хотя я на долгие минуты закрываю глаза — что позволяет окружающим думать, будто я сплю,— я отлично осознаю все, что происходит вокруг, и прекрасно все слышу. Среди прочих подробностей я замечаю, что круг не делает по поводу моего состояния тех комментариев, которые накануне он делал в связи с состоянием Бушуа. Должно быть, под воздействием онирила круг научился не верить словам. Он совершенно прав.

В моей нынешней эйфории особенное удовольствие доставляет мне чувство, что я очень дружески отношусь к кругу. Да, я их всех люблю, даже Христопулоса, несмотря на его ужасное прошлое. Я думаю о том, что ему придется много страдать и много потеть, этому бедному Христопулосу, когда настанет его черед. Он из тех примитивных людей, которые, когда их ведут на виселицу, громко протестуют, заверяя, что их нельзя вешать, поскольку они совершенно здоровы. Я смотрю на него. Ему слишком жарко. Он мечется. Он просто изжарился. Он уже сбросил с себя пиджак и жилетку, расстегнул воротник, но все не может решиться снять с себя желтый шелковый галстук, единственный предмет роскоши, оставшийся у него, после того как уплыли все его красивые кольца.

Под воздействием онирила и последних остатков тревоги, которых пока не удается развеять, пассажиры заметно расслабились. Пако тоже снял пиджак. Блаватский сидит в одной сорочке, без стеснения выставив напоказ сиреневые подтяжки. Мадам Эдмонд расстегнулась. Даже углубившийся в размышления Караман, прикрывая рукою глаза, исподтишка расстегнул под жилетом верхнюю пуговицу брюк. Одни только viudas по-прежнему соблюдают приличия. По крайней мере в одежде. Ибо миссис Бойд, с ее безупречными металлическими буклями на круглом маленьком черепе и с сумкой крокодиловой кожи, уютно примостившейся у нее на коленях, и неподвижно глядящая своим круглым глазом куда-то вперед (пустота глядит в пустоту), позволяет себе потихоньку пускать ветры — правда, совершенно без запаха,— которые она даже уже не пытается заглушать легким покашливаньем.

Что касается миссис Банистер, которая через полчаса после приема онирила сделалась очень словоохотливой, то сначала она вновь, чтобы доставить удовольствие миссис Бойд, воскресила радостную сцену своего прибытия в четырехзвездный мадрапурский отель. (Ибо мы все, кроме миссис Бойд и Мандзони, забыли, что она прибывает туда одна.) Затем, приступив к главе о первой горячей ванне, в которой она отмывает от дорожной грязи свое прелестное тело, она меняет собеседника, поворачивается к Мандзони, берет его руки, глядит ему пристально в глаза и отнюдь не целомудренно и не украдкой, как только что сделала бортпроводница, а со спокойной самоуверенностью наклоняется к итальянцу и впивается ему в губы.

Ах, разумеется, я ее не виню! Пусть поспешит! У меня для моей великой любви был один только день, пятнадцатое ноября. В те двадцать четыре часа, которые мне были отпущены и которые теперь близятся к своему концу, мне еще можно вместить столько десятилетий, сколько я сумею и успею за это время прожить. Часы, дни, пятилетия — какая, в сущности, разница по сравнению с миллионами лет, когда нас здесь

больше не будет! Одного за другим всех нас высадят из самолета, всех, включая и бортпроводницу, хотя в наивности своей она полагает, что будущего у нее осталось намного больше, чем у меня. А меж тем у нее под глазами я заметил сеточку мелких морщин, как будто за двое суток этой двадцатилетней девочке уже исполнилось тридцать. Время, насколько я понимаю, сжимается в двух направлениях.

Я только что снова открыл глаза. Я вижу в иллюминаторе солнце, оно спустилось совсем уже низко над морем тех облаков, в которых я мечтал искупаться. В сущности, с той самой минуты, когда я вошел в самолет, я уже знал, что все закончится именно этим. И мне еще повезло. Благодаря бортпроводнице я с самого начала своего пребывания на борту выделял себе в кровь свой собственный онирил. Тревога любви больше чем наполовину заслонила от меня другую тревогу.

Я чувствую сплетенные с моими пальцами теплые пальцы бортпроводницы. По правде говоря, я чувствую их немного меньше. Но все та же глубокая нежность бьет во мне, как родник. Взаимность теперь для меня не так уж и важна. Уж это дела бортпроводницы, а не мои. Что же касается самой бортпроводницы, мне немного все-таки жаль, что из-за своего чрезмерного уважения к тому, что́ подумает о ней *Земля,* она должна будет дожидаться минуты, когда меня здесь больше не будет, чтобы узнать всю правду о собственных чувствах.

Сейчас я закрою глаза и из страха, что ничего уже не увижу, больше их не открою. Взгляд, который, прежде чем позволить моим векам упасть, я бросаю на бортпроводницу, уже немного затуманен,— это последний мой взгляд. Но я знаю ее черты наизусть. Я унесу с собою ее лицо как чудесный итог красоты этого мира.

Я прекрасно знаю, как все произойдет. Я не увижу, поскольку глаза у меня будут закрыты, как зажгутся световые табло по обе стороны входа в galley. Но я услышу — ибо слух у меня еще сохранится — суету пассажиров, пристегивающих ремни, уменьшение скорости, угрожающий свист тормозной системы. Я почувствую — поскольку я еще чувствую, хотя словно где-то вдали и как будто нечто уже едва уловимое, руку бортпроводницы,— почувствую тряску на посадочной полосе.

Я больше ничего не боюсь. Я уже нахожусь по другую сторону страха. Я навсегда излечился от тревоги. Гнусавый оглушительный голос, ничуть не пугая меня, произнесет со своей механической интонацией:

— Серджиус Владимир, вас ждут на земле.

Тогда бортпроводница отопрет exit и снова вернется ко мне, чтобы помочь подняться. Никто, я надеюсь, не решится на этот смехотворный жест — не будет совать мне в руку мою дорожную сумку. Я двинусь вперед, сначала поддерживаемый бортпроводницей, а потом, на пороге, сжав последний раз мою руку, она отпустит меня.

Я уже знаю, что холода я не почувствую.

3 ноября 1975 года

ГУННАР ЭКЕЛЁФ

Из книги «Диван о князе Эмгиона»

Перевод со шведского и вступление ***АЛЕКСЕЯ ПАРИНА***

Византийский триптих шведского поэта Гуннара Экелёфа (1907—1968), классика европейской лирики XX века, включающий в себя книги «Диван о князе Эмгиона» (1965), «Сказ о Фатуме» (1966) и «Путеводитель по подземному миру» (1967), принадлежит к бесспорным шедеврам нашего столетия. Соединение подробно обжитого культурно-исторического пространства (Византия XI века) и предельно индивидуализированной эмоции делает книги этого цикла — и в первую очередь «Диван...» — по существу, уникальными в поэтической практике.

Входя в этот мир, изберем метод последовательных приближений, как говорят математики.

Входя в этот текст, попробуем использовать разные двери и разные ключи к ним.

Во-первых, вглядимся в личность Экелёфа, в его творческую биографию, увенчавшуюся, по свидетельству Артура Лундквиста, византийским триптихом. «Это испытание силы, вершинное произведение, собирающее воедино и доводящее до конца наиболее существенные линии в поэзии Экелёфа... В этих сюитах Экелёф оказывается посредине между наготой и травестией, исповедью лирического «я» и отгораживающей от мира маской. Это одновременно и выходящая на передний план внутриличностная борьба, и наполовину мифологизирующе-мистифицирующее объективирование через отстраненные образы»,— пишет Лундквист.

Экелёф начинал свое филологическое образование с ориенталистских штудий в Упсале и Лондоне, свое поэтическое восхождение — с увлечения французскими сюрреалистами и их духовными предшественниками. Напряженность духовного существования лирического «я» выразилась уже в первом сборнике поэта — его «книге о самоубийстве», как он сам ее называл, «Запоздалый на земле» (1932). Полюсами, между которыми систематически, вне зависимости от сиюминутных увлечений, оказывалась «распята» муза Экелёфа, были всегда интеллектуализм, выражавшийся, помимо всего, в сознательном поиске новой словесной формы, и мистицизм, овевавший этот поиск аурой суггестивности. Герой византийского цикла — мифический князь Эмгиона — появляется в стихах Экелёфа уже в 1945 году. Его возникновение тоже весьма примечательно: на одном из спиритических сеансов в Стокгольме в 30-е годы в ответ на вопрос о нахождении мистического «я» оракул, в роли которого выступал перевернутый вверх дном стакан, изрек: «В Персии, имя его — князь Эмгиона». Позднее Экелёф уверовал в то, что этот князь был армяно-курдского происхождения и по вероисповеданию — наполовину христианин, наполовину гностик. Обратим внимание на эту «двустворчатость» лирического героя.

Обращаясь к герою цикла — князю Эмгиона,— попытаемся постичь культурно-исторический фон, атмосферу, которая, по всеобщему признанию, воспроизведена, «вчувствована» до неправдоподобности точно. В пояснениях к «Дивану...» Экелёф пишет, что сюжетная основа стихотворений — события в жизни главного героя, происходившие в Византии XI века в узкий период от битвы при Манцикерте в 1073 году, когда сельджуки одержали победу над византийским войском и император Роман Диоген был взят в плен султаном Алп-Арсланом, а впоследствии ослеплен, до 1081 года, когда свергли с престола императора Никифора III Вотаниата. По свидетельству историков, это было время смуты, политического кризиса Византии как государства. С другой стороны, культурологи, в частности С. С. Аверинцев, по традиции, начатой Освальдом Шпенглером, отмечают, что «единство культуры, создавшейся под знаком христианства... отчасти гностицизма и манихейства в землях на восток от Босфора, можно буквально пощупать руками». Это единство находит полное отражение в герое Экелёфа — духовном двойнике поэта. Однако и это мифологизированное лирическое «я» отчетливо двоится. Кроме мифического князя Эмгиона, вслед за императором Романом претерпевающего ослепление, в героя как бы составной частью (или вторым планом) входит протагонист самого знаменитого византийского эпоса «Дигенис Акрит». Воин, давший название эпосу, также «двоероден» (о чем свидетельствует само его имя-прозвище Дигенис): отец его был арабом, а мать — византийкой.

Тюрьма, пытки, ослепление, блуждание по дорогам объятой смутой страны — вот сюжетная основа «Дивана...». В первом блоке стихотворений дается непосредственное изложение событий от первого лица. Второй раздел (отдельные стихи которого даны в нашей подборке) называется «Легенды и миролойи» (второе слово означает «песни судьбы» — это жанр народной песни, которой плакальщицы оказывали честь погребаемому герою); в нем стихи даны как осколки мифологизированной биографии героя. Сквозным образом обеих частей является Дева, которая по сумме признаков скорее отождествляется с Матерью Землей, Великой Богиней, известной из жизнеописания Святого Павла как Артемида Эфесская, чем с Богоматерью. Она двоится в реальной женщине, дочери (или сестре) героя, ведущей его по дорогам странствий.

Князь Эмгиона по своим религиозным взглядам, как уже было сказано,— наполовину христианин, наполовину гностик. Сам Экелёф пишет: «Греческие, арабские и иранские представления уживались в его уме». Под иранскими представлениями имеется в виду прежде всего манихейство. Без нескольких общих слов о манихействе нам не обойтись. «Второе время», обнимающее нынешний момент жизни на Земле, характеризуется смешением зла (материи) и добра, вторжением тьмы в царство света. Благой отец, владыка света, порождает Матерь жизни, а та в свою очередь — первочеловека, который вступает в борьбу с сыновьями мрака, терпит поражение и попадает в плен. Для его спасения Благой отец порождает Духа живого, который, победив сынов мрака, создает космос для очищения света, поглощенного ими. Такова, вкратце, дуалистическая концепция мира согласно учению манихейцев. Очевидно, что в странствиях князя Эмгиона воплощается путь манихейского первочеловека. Смешение родственных отношений (см. стихотворение «Сие вам ведомо...») лишь обнажает мистичность восприятия героя, подчеркивает в очередной раз перемешанность религиозных и экзистенциальных точек зрения в его сознании. В конечном счете бессистемность взгляда на мир оборачивается высшей интуитивной силой, наводит на мысль об истинном «божественном вдохновении».

Напомню, что это имеет прямое отношение к Экелёфу и к истории создания «Дивана...». В 1965 году Экелёф попадает в Константинополь и возвращается к своему духовному «я», проявленному впервые на упоминавшемся спиритическом сеансе. Он пишет около 60 стихотворений «Дивана...» в едином порыве за 4 недели. Впоследствии поэт признáется: «Диван» — самое важное мое произведение о любви и страсти. Я не могу дотрагиваться до него, видеть его, потому что я заболеваю, обнаруживая перед собой этого слепого и изувеченного пытками человека... Насколько я сам могу понять, кто-то другой писал эти стихи, используя меня лишь как медиума... На самом деле, раньше я ничего подобного не испытывал...»

При перевоссоздании «Дивана...» на русском языке хочется прежде всего очертить поле поэтических ассоциаций, вызываемых образами Экелёфа в русской стихотворной культуре. Как бы ни был Экелёф своими корнями связан с обожаемым им шведским поэтом-фосфористом Эриком Стагнелиусом и через него с романтизмом в целом, он является поэтом XX века по самому своему существу. Несмотря на различия во времени, ассоциативное поле Экелёфа внутри русской поэзии видится мне в серебряном веке прежде всего.

Наибольшие связи, как мне кажется, обнаруживаются у «Дивана...» с «Александрийскими песнями» и некоторыми другими вещами Михаила Кузмина, с одной стороны, и со стихами Марины Цветаевой, связанными через лексику и интонацию с библейскими мотивами,— с другой.

Связи с поэзией Марины Цветаевой основываются не на интонации конкретных циклов или групп стихов русской поэтессы, а на экстатической напряженности, страстной, «юродивой» надсадности тона, которая свойственна цветаевской музе. Поэтесса не играет роль, а отождествляет себя с выбранным персонажем, как Экелёф.

Есть и тематическое родство стихов Цветаевой с «Диваном...»: постоянно звучащая мелодия загнанности, бегства, мучительных странствий. «Бездомным, бессонным и сирым» героям Цветаевой духовно близок лишившийся всего князь Эмгиона. «Лохмотья, бывшие некогда нежной плотью», «бедные истлевшие отрепья», «рдяный и рваный плащ» Цветаевой как нельзя лучше подошли бы и герою Экелёфа. В этом мире — «лепрозории лжи и зла» — Поэт у Цветаевой говорит, может быть, и слишком риторично для Экелёфа, но по сути удивительно близко:

Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч?

Стихи Экелёфа о князе Эмгиона — прорыв визионера в прошлое и будущее: мы не можем не прочитать в них и многих ужасов нашего настоящего. Перед нами не результат спиритического сеанса, а плод высочайшего поэтического озарения.

*

Дьявол есть бог
Бог есть дьявол
Меня учили
поклоняться обоим
Одному эти обряды
те обряды другому
только обряды-то оказались одинаковыми
поскольку оба держали власть

Покуда я не постиг
Любовь, узкую щель
между враждующими сторонами
Любовь, узкую полоску
света между устами окровавле́нными
Ущелье через которое
избранный может проникнуть
в мир безучастных
Безучастны те кто молится Богу
Безучастны те кто молится Дьяволу

*

Усоп Дигенис, величайший акрит
и вопит Евдокия
преданная исполненная благородства
на груди усопшего
Кто днесь даст евнухам отпор
и ратям их
на этом берегу Евфрата?

Лучше отвергнуть
бога которого попросту нет
и тайно поклоняться
Деве которая явственно есть
Лучше рукопожатье араба,
в дар жеребец
чем посулы Логофета

Дева, она тебе еще явится
переодетая девушкой юной
Разве не чуешь как руки ее вкруг тебя обвились?

*

Сердце мое непокой терзает
он добирается до дланей моих
до напрягающегося уда
до висков заполняя их стуком
О Богиня моя
Моя Матерь
и единовременно Дочерь моя
Поцелуй мои очи слепые
Поцелуй их грезою смутной
как вошло у тебя в обиход

Мне на сердце руку свою положи
что легка словно крыл касанье
и тем принеси покой
Пусть сердце всего лишь бьется
в трепете пред тобою
Пусть сердце бьется
встав во весь рост с подъятыми дланями
ради служенья тебе

В переводе воспроизводится нерегулярная пунктуация оригинала. *(Прим. перев.)*

*

Палач меня окровавил
я не испытал ничего
он обесчестил меня
детородные части щипцами тянул
втрое их длину увеличив
и закрутил
в трехверевочный жгут
кожи и крика

Но детородство мое, палач,
не между ног обретается
мое разуменье, палач,
назвавшее вымышленные имена
оно не в моем разуменье, палач
Оно в моем сердце, палач

Режь поглубже, палач
рану разворотн
и ты обнаружишь
что оно улетело прочь
от всех своих мук и предательств
Сердце мое
было даже не в сердце.

*

Агиасма [1]

О дай мне воды
не для питья
для омовенья
Я не требую масла
Дай мне чистой воды

Видишь, черви плодятся у меня под мышками
в ранах меж левым бедром и правым
Прободаются гнойники
Кожа сходит слоями с подошв
Дай мне воды твоей для омовенья
масла не надо мне твоего
я его отвергаю
Дай мне воды

*

По дороге в Сарды
она рассказывает мне о том что видит
пещеры, развалины стен крепостных на горах
лик высеченный в скале
Чей он не знаю
не знаю кем он изваян
Она говорит что снег лежит на горах
как будто я и сам не почуял
Она говорит что на крестьянах пестрое платье
как будто и сам я не знаю
Это ведь Царская Дорога
которая ведет через зиму
к Плодоносному Полумесяцу
и от него поднимается вверх
в мои края, к Звезде на изгибе
внутрь новой зимы
Там я желаю внимать безмолвье ручьев
горных потоков
чтобы когда-нибудь вновь услышать их рокот

---

[1] Hagiasma *(греч.)* — очищение, омовение святой водой; древний языческий обряд, позднее перенесенный в христианство. *(Из пояснений Г. Экелёфа к «Дивану...».)*

*

Идти в лохмотьях
с покрытыми коростою руками
ногами грязь меся
Я ослеплен
и ятра детородные отсечены
обрезана желвь у́да
шрам по сердцу прошел
И все же не решились в спину нож всадить
Я неизменно к ним стоял лицом
Меня увечного
дочь по дороге ведет
она быть может мне приходится сестрою
по направлению к горам
Я чувствую их ароматы
Я ощущаю их подъем

*

Сие вам ведомо и ведомо должно быть:
Дочь может быть отцом своего мужа
отцом своего отца
Муж может матерью быть дочери своей
Он может быть
неверным или же слепым

Но если одарен благою дочерью
то береги ее из рук не выпускай
коль ты ее утратишь
приобретя хороший выкуп
состаришься тотчас
останешься ни с чем
с ненужными деньгами
с самим собой наедине

Не льстись на выкуп за нее
Пусть прочь идет
к тому кого ты любишь
к кому в ней отвращенья нет.

*

О маленькая щель
между добром и злом
Ты кто не знает ни о каком стыде
Ты кому ведома лишь отстраненность
так же отроковица̀ четырнадцати лет
в венце из бирюзы
на собственной помолвке
постигла отдаленье

К тебе бог не явится никакой
ни человек ни Дух
и демон не приблизится
ты ибо свята в себе самой

Станут груди твои расти
их станет много
чтоб дать нам млека
Непостижимая ты встанешь
там в высоте [1]
Глаза твои как звезды
над нашими засветятся стадами
Мужи младые
пустятся в пляс гуськом
младые девушки
завесят лица покрывалами
Их станет страстно влечь друг к другу
Но ты останешься недостижимой
останешься единственною ты.

*

Дай мне воды
пусть даже каплю за каплей
с пальцев твоих
Я буду сосать их одну за одной
как козленок сосет у жены пастуха
Многогрудая!
О дай мне воды
Я стану сцеловывать капли
палец за пальцем
не предаваясь забвенью
Также и десять нежных пальцев ног
которыми вброд ты шла ко мне
через воды холодные, через ила заносы
от последних дождей
В городе пыль клубится
облака пыли облака трухи
улетают с Мельтемином [2]
и проникают даже досюда
Дай мне воды с пальцев рук твоих
Да, и с пальцев ног твоих тоже
Очи златые, невеста моя, мне заблистали
когда покрывало с лица твоего откинули
Очи твои черные, чернее всех
но когда покрывало с лица твоего откинули
в черноте этой золото засияло
Вспышку узнавания
мне не забыть никогда
хоть ныне я зренья лишен
У тебя черные очи, друг мой
Самые черные, самые чудные очи
со вспышкой огня
который мне зрим и доныне.

[1] Образ Богини восходит к Диане Эфесской. *(Из пояснений Г. Экелёфа к «Дивану...».)*
[2] Топоним, не разъясненный Г. Экелёфом. *(Прим. перев.)*

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ

Рассказы

С польского

Воспоминание о Стахе

Шоссе бежало вдоль железнодорожного полотна. Из окна проходящего поезда можно было прочесть дорожные указатели.

— Это дорога в М.,— сказала одна из сидевших у окна старушек.

— Помнишь Стаха? — спросила другая.

Сорок, а может, и больше лет назад — этого они точно не могли припомнить — Стах, сирота, поступил на учительские курсы в Варшаве. Снимал угол у чужих людей. Жилось ему плохо, он скучал по воспитавшей его тетке, жившей в М. Когда наступили рождественские каникулы, Стах взял у кого-то велосипед, потому что на поезд у него не было денег, и отправился в М. День стоял морозный, ветер дул в лицо, он ехал по снегу, по которому на велосипеде ехать труднее, чем по песку; проведя в пути весь день накануне Рождества, он к вечеру сумел добраться до М. Но праздничного ужина уже не отведал — поднялась температура. Умер он от чахотки, не дожив до весны. Тетка жила еще долго, умерла недавно. «Только мы еще его и помним»,— в этом обе женщины были единодушны.

Шоссе скользнуло в сторону от железнодорожной линии, и женщины сменили тему. О Стахе они, наверное, вспомнили впервые за сорок лет и никогда больше не вспомнят. Впрочем, и им, вероятно, жить осталось недолго.

А теперь вы иногда вспоминайте о Стахе.

Тетя Иоанна

Он был слишком послушным ребенком, и за это его не любили. Взрослым казалось, что он поменялся с ними ролями, что он держит их на расстоянии, а может быть, и посмеивается над ними. В начале лета, после которого ему предстояло идти в школу, мать заявила, что не поедет с ним на море. С ним поехала туда тетя Иоанна. Она была намного моложе матери и рассчитывала прекрасно провести бесплатный для нее отпуск.

Они поселились в пансионате. Целые дни проводили на пляже. Ее немного раздражало присутствие мальчика. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь подумал, что это ее ребенок. Однажды мальчик заявил, что будет собирать янтарь. Через какое-то время тетя посмотрела его коллекцию и разделила ее на две кучки:

— Вот желтые камешки, а вот осколки бутылок, которые долго обтачивало море. Янтаря здесь нет.

Мальчик погрустнел, но не возразил. Он-то знал, что это был янтарь, пока тетя не взяла его находку в руки. Но ему пришлось признать, что это

© K. Kąkolewski, 1978

простые камешки и стекляшки, когда она стала сбрасывать их по одному на песок. Он принялся собирать янтарь тайком от нее, прятать собранное в ямке, выкопанной под тентом, который они сняли на все лето. Когда, передвигая тент, тетя обнаружила опять коллекцию, она рассердилась:

— Ты что, решил собрать все желтые камешки на свете? Это уже неинтересно. Пожалуйста, выброс все это.

Он поступил так, как она просила. На следующий день он ничего не стал искать. Сел рядом с ней и так провел весь день. Тетя Иоанна не знала, то ли мальчик хочет досадить ей, то ли с ним творится что-то неладное. Она прошлась по пляжу в надежде найти янтарь. Но в этой части побережья янтаря не было. Назавтра мальчику не захотелось вставать, голова у него горела. Она велела ему оставаться в постели, а сама отправилась в сувенирную лавку. Выбрала бусы из крупного янтаря, примерила их и купила, с сомнением думая о том, как отнесется к этим расходам сестра.

Вечером, когда мальчик уснул, она вышла на кухню пансионата. Прислуги уже не было. Она взяла молоток для отбивки мяса и стала дробить бусины. Она раскалывала их на кусочки, похожие на те, что можно найти на берегу. Появилась обеспокоенная шумом хозяйка пансионата. Тетя Иоанна не стала ничего объяснять. Рано утром она разбросала кусочки янтаря недалеко от того места, где стоял их тент.

— Ночью были большие волны, они могли выбросить на берег янтарь,— сказала она мальчику.

Однако мальчика перестало интересовать то, что приносило море. Она предложила ему пройтись по пляжу и поискать вместе. Мальчик согласился, и они пошли. На глаза им попались две пожилые дамы в скупо прикрывавших их купальных костюмах. Они склонились над тем местом, где она разбросала осколки янтаря.

— Смотри, они нашли янтарь! Взгляни же, вот он,— показала тетя.— Да подними же,— крикнула она, теряя терпение.

Мальчик послушно наклонился и подал тете камешек. Она показывала ему другие камешки, и он собирал их. Они опередили пожилых дам, ужасно их этим рассердив. Собрали целую горсть, и тетя сказала:

— Посмотри, сколько янтаря.

Мальчик ответил:

— Тетя, ты ведь знаешь, что это не янтарь,— и бросил камешки в море.

Она не видела моря

«Моя жизнь была воплощением ее идей»,— часто думал он. А у нее их была масса. Она как-то обратила его внимание на красоту какой-то девчушки, и через много лет он на ней женился. Во время войны перед артобстрелом она выставила в окно икону в металлическом окладе, и Богоматерь преградила путь мелким осколкам снаряда. Иконка была пробита там, где должно было быть сердце, но осколок утратил смертоносную силу.

Матери было уже за семьдесят. «Тебе не приходило в голову, что твоя мать никогда не видела моря? Не свозил бы ты меня туда на денек?» — как-то сказала она. Она жила далеко от моря. Поездка с двумя пересадками была исключена. Наконец появился повод купить машину. Снять все с книжки, подзанять, подъехать к маминому дому на длинном сером лимузине. Не останавливаясь, на большой скорости, нарушая правила, они поедут в Сопот. Лучше всего, чтобы стояла ранняя осень. Гостиница будет пустая. Последние проститутки с презрением взглянут на него — сорокалетний маменькин сынок со старушкой матерью под ручку. Он снимет роскошный номер с видом на море, но шторы задернет. Они сойдут вниз на холодный блеклый песок пляжа перед отелем, и тогда мама увидит море. Не разочаруется ли она? Его пугало, что настанет минута, когда мать

скажет: «Пора, домой». Одевшись, остановится на секунду в дверях балкона и, глядя на волны, окончательно осознает: она больше никогда не увидит моря.

Ему стало страшно. Поездка к морю была бы равнозначна признанию, что они ощутили приближение ее смерти.

И они откладывали эту поездку до тех пор, пока мать не умерла, так и не увидев моря.

Сцена времен войны

В 1944 году в одном польском селе в доме, где жила вдова с сыном, стоял на квартире немецкий офицер, которого звали Рудольф Бергер. Он привязался к ним, потому что спас их от облавы.

Однажды Бергер получил письмо из Германии не по полевой почте, а через неизвестного солдата, который, бросив ему письмо, сразу уехал на забрызганной грязью амфибии. Об этом Бергер не мог никому рассказать. И доверился им. Вдова научилась делать вид, что не знает немецкого; они объяснялись с помощью латыни, условившись, что самолет будет называться «авис ферра». Странно им было видеть рядом с собой в свете лампы его мундир, зеленый с голубоватым отливом. Бергер начал переводить письмо, но ему не хватало слов, и они признались, что понимают по-немецки.

«Прилетают тысячами,— читал Бергер.— Сначала слышны сирены, затем — нарастающий гул моторов, становится невероятно светло, светлей, чем в солнечный день, и уже негде укрыться, некуда бежать, нельзя вымолить у судьбы пощады. От взрыва бьются стекла окон и грохаются на пол вещи и мебель, дома раскачиваются, как корабли, а потом подступает стена огня. Одновременно загорается целый квартал, горит камень, железо, асфальт, люди вязнут в нем и, прикованные к земле, пылают стоя. Потом тысяча самолетов улетает и появляется новая тысяча, деловито ткущая свой ковер пожаров, чтобы утром фотограф союзнической авиации мог запечатлеть этот новый узор».

Голос Бергера сорвался. Долго сдерживаемые слезы покатились на бархатный воротник. Внезапно он заметил, что они тоже плачут. Он вскочил, обнял их и прижал к себе. Все трое разрыдались. Стыдясь своих слез, мать с сыном всхлипывали, прижавшись к сукну незнакомой фактуры и запаха. С этой минуты они могли помочь многим людям.

Бергер не знал, что их слезы были слезами торжества и счастья: значит, была сила, безгранично могущественная, которая вступилась за них. Защитники вдов и сирот летят в тысячах самолетов, застилая небо над Гамбургом. Они плакали от восторга, от ощущения, что эта сила приближается, чтобы отомстить за них и освободить их.

Перевод Н. ВЕРТЯЧИХ

Двое из Гамбурга

В 1942 году в лодзинское гетто прибыл эшелон с немецкими евреями, бывшими офицерами и кавалерами Железного креста времен первой мировой войны. Среди них оказался богатый коммерсант из Гамбурга — Бухбиндер, майор в отставке, с женой Ханнелорой Бухбиндер, урожденной фон Кройцбергер. Она приехала сюда — если можно так выразиться — добровольно, чтобы до конца быть вместе с мужем. Ради этого ей пришлось переступить через отчаяние сестры, запрет брата и три вызова в гестапо, однако здесь вскоре после высадки из эшелона она поняла, что мужа ей придется покинуть. Она выдержала всего два дня и то лишь потому, что ей

стало казаться, будто на все здесь происходящее она смотрит со стороны. На третий день, чувствуя, что это ощущение все усиливается и ей уже начинает мерещиться, что Ханнелора Бухбиндер — это ее знакомая из Гамбурга, которая с помощью своих связей может ей во многом помочь, она направилась к ограде гетто. Выбрала верзилу с подчеркнуто холодным, пренебрежительным выражением лица, в тесноватом шлеме, со снайперским значком, вооруженного винтовкой. Когда она подошла ближе, чем дозволялось, он снял винтовку с плеча. Она произнесла тоном приказа:

— Прошу вас застрелить меня.

В первый момент солдат не понял ее, он просто не мог поверить, что кто-то посмел с ним заговорить. Затем, спохватившись, замахнулся прикладом. Она не отступила, и он отпихнул ее.

— Нечего тут командовать. Тебя прикончат, когда придет время.

— Я арийка.

— Не ври, пархатая. Здесь одни евреи.

— Моя девичья фамилия — фон Кройцбергер.

— А за такое наглое вранье тебе следует дать пинка под зад. Кройцбергеры из Гамбурга, как и я.

— Так вы гамбуржец? Тогда мне легко будет доказать. Мы живем в Бланкенезе [1]. Там парк, в глубине его — трехэтажный дом. Полукруглая подъездная аллея, туда на лето выставляли пальмы. Трое взрослых детей. Фирма находится в порту, после смерти отца ее возглавил мой старший брат.

— В Гамбурге это известно любому.

— У меня есть и сестра. Она слегка прихрамывает после аварии на мотоцикле. Ее муж был спортсменом. Он погиб в Норвегии.

— Двэе из Гамбурга в Лодзи! — воскликнул солдат.— Где нас нынче только не встретишь. Вот теперь другое дело. По знакомству могу исполнить твою просьбу.

Он опустил винтовку, щелкнул затвором, пуля, выпущенная в упор, ударила с огромной силой и опрокинула ее навзничь.

Как вам живется?

I

— Тридцать лет назад, та же летняя пора. Жатва в Освенциме. Можно съесть несколько зерен пшеницы. На вечерней перекличке выясняется, что нет одного заключенного из блока 14А. Он укрылся в хлебах и безлюдными окрестностями лагеря ушел так далеко, что его уже не смогли догнать. Ночь, день и ночь стояли мы в ожидании селекции, ждали, кого отправят в бункер голодной смерти [2], что было наказанием за бегство заключенного для оставшихся.

Несколько эсэсовцев провели ночь в бараке, избивая нас. Потерявших сознание сваливали в кучу. Началась селекция. Мы подсчитывали, на кого падет выбор. Взгляд Фрича остановился на мне, потом он сделал знак рукой, я понял, что мне конец, и действительно произнес эти слова: «У меня жена и дети, жалко, что они останутся сиротами».

Вдруг движение: какой-то заключенный вышел из строя, встал впереди меня и снял шапку перед Фричем, а тот спрашивает, что ему нужно, заключенный отвечает: «У него жена и дети, ему есть для кого жить, а я одинок и хочу умереть вместо него». «Вместо кого из них ты хочешь пойти?» — спросил Фрич. «Вместо этого»,— ответил заключенный

---

[1] Пригород Гамбурга. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

[2] Так называлась камера, находившаяся в подвале административного корпуса концлагеря Освенцим. Помещенных в нее заключенных умерщвляли, лишая их пищи.

и обернулся. Он смотрел на меня. Я узнал его — то был отец Кольбе [1]. Мне приказали встать в строй на его место, а ему — на мое. Как случилось, что Фрич послушался заключенного,— эта загадка никогда не будет разгадана. Я сам не верил, что опять буду жить.

— Вы сказали «опять». И как же вам с тех пор живется?

— В этой новой жизни для меня снова наступили страшные дни... Я чуть не умер от тифа.

— Вы не сожалели, что остались в живых?

— Что вы, нет! Я еще сильнее хотел жить, чтобы жертва отца Кольбе не оказалась напрасной, старался беречь себя. Так он спас мне жизнь во второй раз. Он придавал мне силы, наверное, уже с неба. Мог ли я допустить, чтобы его жизнь пропала зря? Он отдал ее за то, чтобы я жил с моей женой, радовался сыновьям. К ним я шел через леса под Шверином, когда лагерь эвакуировали: двенадцать дней нам не давали ни еды, ни питья. Мы ели траву и крапиву. Стояла жара, и все высохло. Потом сквозь нашу колонну прошли американские войска. Нам приказали подняться и идти. Я пошел. Отыскал место в эшелоне, идущем в Польшу, и вернулся.

— И потом миновало двадцать пять лет жизни?

— Без потрясений, долгие годы покоя, никаких событий.

— Никаких?

— Нет, совершенно ничего не произошло. Началась наша жизнь здесь, в Бжеге [2], нам не хотелось возвращаться в Варшаву, к воспоминаниям. А тут нас ожидала двоюродная сестра. «Ты привезла меня в город мертвецов. В этом городе живут одни мертвые»,— сказал я жене. Тогда здесь было, может быть, тысячи три людей, вместе с немцами, которые собирались уезжать в Германию. Город был весь в развалинах. Я поступил в городскую управу, жена в торговлю. Мы не получили ни высоких должностей, ни званий, ни наград. Не совершили ничего выдающегося. Я работал в службе социального обеспечения. Когда мы только что приехали, немцы к нам тянулись, был там маленький мальчик, Манфред, его отец погиб на фронте. Мы давали ему хлеб, перед отъездом он принес нам подарок — рюмки с подносом, обещал писать, но мы-то знали, что он никогда не напишет и мы больше не увидимся. Дали нам второй этаж этого дома, срок выплаты за него наступит, когда нас давно уже не будет. Это город пенсионеров. Сады, сады, один переходит в другой, скверы и парки. И у нас сад возле дома, мы разводим любимые в Польше цветы, самые простонародные: мальвы, флоксы, циннии. Есть и розы, но мы их меньше любим, яблони, груши, кур завели — летом всегда свежие яйца. Тут же и кролики, на жаркое, корму здесь — только собирай. И пес есть, по кличке Ворон, весь черный, и еще поблизости свила гнездо горлинка, все зовет: «Я тут, я тут». Сейчас птенцов высиживает. А наш сад переходит в парк Свободы, редкой красоты, в нем есть и платаны, и ели, и японские клены — те, что на лето сбрасывают кору. Просто не верится, что двадцать пять лет живем в такой тиши. Как один год. Никаких потрясений. Я пью много молока, теперь, когда мы уже не работаем, встаем когда захочется: я позже, жена раньше. У меня много крестников. ходим в костел, на прогулки, в кино. Иногда доходим до Одера, он течет быстро, бесшумно. Смотрим на женщин в скверах, которые вяжут и вышивают с обеда до самых сумерек, но главная наша радость — этот парк. Там мы говорим о сыновьях.

— Да, да, расскажите, пожалуйста.

— Как вы знаете,— включается в разговор пани Гайовничек,— нас с мужем разлучили. Когда муж по заданию подпольной организации переходил венгерскую границу, его арестовали и увезли в Освенцим, я осталась с мальчиками. Главной моей заботой было сберечь их для будущего. Старший, Богдан, учился в средней школе, существовавшей под видом

---

[1] Раймунд Кольбе (отец Максимилиан; 1894—1941) — член ордена францисканцев, основатель нескольких католических изданий, организатор католической миссии в Японии. Канонизирован Ватиканом. В рассказе описываются подлинные события, которые произошли в 1941 г. в Освенциме.

[2] Город в Силезии, до конца второй мировой войны входил в состав Германии.

технического училища; когда в начале учебного года он получал учебники по математике, то в тот же вечер решал все задачи. На конкурсном экзамене, еще не написав на доске задание, он уже дал его решение. Его освободили от платы за учебу. Первого августа я спросила младшего сына: «Что это у нас такая странная тишина?» Тогда старший сказал: «Мама, я ухожу, начинается восстание [1]». Я не знала, что он был с ними. «Я тебя не пущу».— «Тогда я спрыгну с балкона». Забежал еще раз шестого августа. Пришел поспать, тяжело было смотреть, так крепко он спал. Я подумала: не стану его будить, да он сам проснулся, секунда в секунду, и ушел. Я никуда не хотела уходить из нашего дома, а вокруг был сущий ад. «Тут мы и погибнем, близкие будут хотя бы знать, где наша могила». Я думала о муже и сыне. Но уйти все же пришлось. Место встречи для всех наших было у моей сестры в Раве Мазовецкой — для меня и младшего сына, для старшего, для мужа, что бы ни случилось, встречаемся там. Надежда была так мала, ничтожно мала. Первым пришел Богдан, выбравшись через каналы на Бемово [2]. О муже мне ничего не было известно, я знала только, что ему можно отправлять посылки. В середине января я поехала с посылкой в Томашув Мазовецкий. Поезд остановили. Во время обыска в нашем вагоне немцы обнаружили женщину, которая везла огромную сумму денег. Они решили, что мы не случайные попутчики, а группа подпольщиков, и всех нас посадили в тюрьму. Через несколько дней, посмотрев в окно, мы не поверили своим глазам: охраны нет, ворота распахнуты. Когда я приехала в Раву, сыновей дома не было. Не прошло и пятнадцати минут, как я нашла их в поле возле леса, они лежали рядом, я сразу же увидела их среди множества убитых. Они сбежали из города и попали под обстрел, который вела на этом участке фронта наступающая армия.

— Когда я, чудом выживший, добрался до места встречи нашей семьи, мы с женой, поговорив всего пять минут, пошли на кладбище в Раве. Там, в семейной могиле, лежали мои сыновья, ради которых была спасена моя жизнь. Если б меня не было в живых, жене не пришлось бы везти мне посылку. Лучше б уж погиб я, а они жили, да, видно, такова воля Божья — меня воскресили ради них, а они погибли. Мы с женой постоянно говорим о том, что было бы, если б они уцелели, а я погиб. Старший сын стал бы инженером, наверняка известным, и мое имя прославилось бы на всю Польшу, мне думается, что он стал бы автомобильным конструктором, изобрел бы автомобиль, которого нет, потому что сына не стало. А младший сын пошел бы по линии внешней торговли, работал бы где-нибудь в Париже или на Кубе. И как все было бы просто — жили бы они в Варшаве и вспоминали иногда, сидя в парке, обо мне, давно умершем, погибшем при невыясненных обстоятельствах, в лагере. В связи с моей работой в социальной службе нам с женой пришлось помогать женщине, судьба которой сложилась так, что она осталась одна с тремя внучатами. Жена хотела взять на воспитание самую младшую, Терезу. «Отдайте ее мне, мы ее удочерим»,— просила она. Но бабушка ответила, что сама вырастит девочку. Лет через десять она приехала с девочкой к нам, сказала, что согласна, но время ушло, у девочки уже было собственное прошлое, своя жизнь. Недавно она навестила нас, очень красивая девушка, ничего не знает о наших намерениях, о том, что гостит у своих несостоявшихся приемных родителей.

— Я бы рассказала ей обо всем только перед свадьбой,— перебивает пани Гайовничек.— Мальчика я не взяла бы, это было бы предательством по отношению к моим сыновьям.

Гайовничек провожает нас, когда мы уходим, привычный запах квартиры — молока, газа, чая, нафталина, обжитого помещения — не вяжется с алтарем в спальне: посередине отец Кольбе, по бокам сыновья; как бы оправдываясь, что он не умеет рассказывать о своей жизни, Гайовничек продолжает говорить об отце Кольбе. По мере того как

[1] Варшавское восстание, начавшееся 1 августа 1944 г.
[2] Западный пригород Варшавы.

Алтарь в доме Гайовничка: вверху отец Максимилиан Кольбе, ниже — сыновья Гайовничка, в первом ряду — Гайовничек с женой.

все шире распространяется культ отца Кольбе как мученика, а пепел Освенцима, в котором содержится и его прах, становится реликвией — жизнь самого Гайовничка как бы стирается, он остается всего лишь поводом для жертвы отца Кольбе. Он так и не получил ответа на свой вопрос, почему он никогда не увидит своих сыновей, ради которых ему сохранили жизнь. А что, если — я не смею ему этого сказать — дело было не в нем, а в стремлении уподобить свою жизнь жизни Христа, в жажде мученичества? Или, может, цель отца Кольбе была иной: лишить немцев уверенности, что жизнь — это наивысшая ценность и что власть над ней — наивысшая власть?

II

Через четыре года после моей поездки в Бжег Гайовничек — у меня в гостях.

— Та сцена из моей жизни вновь и вновь возникает у меня в памяти. Временами это повторяется ежедневно. Сколько она могла длиться?

— По моим подсчетам, секунд сорок,— отвечаю я.— Было произнесено двадцать слов. Пять сказали вы, пять — Фрич и десять — отец Кольбе.

— Годы потрачены, чтобы ее воссоздать. Написаны тома. Меняется и сама сцена, и события. Некоторые очевидцы спустя годы припоминают все новые и новые подробности. Я бессилен против них. Обо мне говорят и пишут, будто меня уже нет в живых.

— В известной мере это так.

— Вот они и творят со мной что хотят.

— Мне очень жаль, но необходимо еще раз прочитать этот фрагмент, чтобы проанализировать его.

— Для меня каждый раз это — трагедия.

— ...«Обреченный умолял сохранить ему жизнь, говорил, что хочет вернуться к жене, к сыновьям, что не хочет умирать. Скорчившись у ног Фрича, заключенный повторял свои мольбы».

— Значит, по вашим подсчетам здесь всего слов двадцать,— говорит Гайовничек.— В Освенциме не молили о пощаде. Это приводило эсэсовцев в дикое бешенство, было посягательством на их власть. Если кто-то и делал это (подобные случаи были необычайно редки), то разве лишь для того, чтобы тут же погибнуть. Если бы в Освенциме было место мольбам, Освенцим не был бы Освенцимом. Я признаю, что произнес про себя эти слова, но это был как бы стон, обращенный в пустоту. В такой чудовищной тишине мои слова могли услышать. Но я не думал, что кто-нибудь услышит. То, что я их произнес, мне рассказали потом. Заключенный не мог приблизиться к своему палачу и уж тем более — припасть к его ногам, «скорчиться» и так замереть. Чтобы Фрич терпеливо выслушивал заключенного, повторяющего свои мольбы?

— «Скорчившись» — что это означает?

— Что я стоял на коленях.

— Что вы стояли на коленях.

— «Вернуться к жене и детям» — можно подумать, что избежать голодной смерти в бункере означало счастливое возвращение домой. Оно означало смерть в другой форме.

— Вы, однако, выжили.

— Я не имел права умереть. Мне одному запрещалось совершить самоубийство, броситься на проволоку, только я не мог бежать из Освенцима. Заключенные заставляли меня жить, много раз спасали мне жизнь — продолжая подвиг отца Кольбе. Моим долгом было жить, чтобы его жертва не оказалась напрасной. Отец Кольбе не знал, кто я такой, я даже не уверен, рассмотрел ли он меня, обмениваясь со мною судьбами.

— В бункере голодной смерти он, конечно, думал о вас. Возможно, размышлял и над тем, как могло случиться, что он сумел навязать свою волю Фричу: впервые эсэсовец послушался заключенного. Радовался тому, что вы не оказались там вместе с ним, могло ведь и так случиться. Но вообще-то вы стали лишь завершением, венцом пути к обретению святости, по которому шел отец Кольбе.

— Вам кажется, что отец Кольбе думал обо мне? Я не тщеславен, но, наверное, так и было, он молился, чтобы я смог вынести ту жизнь, которую он мне даровал.

— Думаю, что он представлял вашу жизнь лишь до определенного момента: освобождения из лагеря.

— Еще в Освенциме, помимо мучений, которые я терпел от палачей, в моей жизни появилось новое мучительное переживание. Некоторые упрекали, как я мог допустить, чтобы великий человек пожертвовал собой ради меня. Это я должен был пойти вместо отца Кольбе. Как будто я виновник его смерти, его убийца. Просто Фрич не стал ему возражать, а я не воспротивился.

— Иначе жертва не свершилась бы.

— Тут была и обида на отца Кольбе, что отдал жизнь за такого заурядного человека, как я. «Гайовничек — простой человек,— говорят некоторые,— незачем его так превозносить».

— А это не зависть? Не мертвых, которым не было дано спастись, а живых? Мало того, могут они думать, что его избавили от смерти, он еще благодаря этому прославился на весь мир.

— Может, вы и правильно ставите вопрос. Мне-то все равно, я уже переболел этим. И думаю, что отец Кольбе должен был отдать жизнь именно за простого человека — я не о себе говорю, на моем месте мог оказаться любой. Я и был «любым». Но с момента «второго рождения» от меня ждали, что я начну новую жизнь, стану кем-то другим.

— Кем должны вы были стать в сорок лет? Художником? Государственным деятелем? Маршалом? Святым? Философом?

— Я должен был стать кем-то равноценным, заменить его в этом мире, восполнить утрату.

— Вы остались сержантом в отставке. Всякая попытка возвыситься до его уровня, любой широкий жест — например, уход в монастырь,— всякая попытка «компенсации», «искупления» выглядели бы бестактно, бессмысленно. Жертва отца Кольбе не обязывала вас ни к чему, даже к тому, чтобы вы жили честно.

— Поговаривали и о том, что я начал пить, утратил веру, бросил жену. А защищаться мне нельзя. Тогда начинают говорить, что у меня мания величия, что я считаю себя исторической личностью. А я лишь одно хотел сберечь: честь солдата, младшего командира, награжденного боевыми крестами в тридцать девятом [1]. Теперь у меня и это отняли. Меня опозорили. Когда Вальтер и Вайда снимали фильм для телевидения, меня допрашивали: «Ну скажи, признайся, что умолял, что упал на колени». «Да мне такое даже во сне присниться не могло»,— ответил я. «Нам это не подходит»,— сказал один из них. Жена плакала. Мы оба очень переживали. Я слег. Был полный упадок сил, чуть инфаркт не случился. Чем я смогу вернуть ему свой Долг? Снести все муки, которые пошлет жизнь, дарованная мне. Смысл моей жизни в том, что она продолжается благодаря отцу Кольбе.

— Теперь вы отдали жизнь за отца Кольбе.

— Нельзя так говорить.

— Жертва оказалась взаимной. Вы были необходимы для подвига отца Кольбе, явившего миру свою святость. И вот вы страдаете. Трудно понять все это до конца. Но вы связаны, прикованы друг к другу, вы близнецы по мученичеству. Вы становитесь его отражением, образом, портретом, живым памятником. И потому многие люди относятся к вам не как к живому человеку.

Перевод Л. БУХОВА

---

[1] Награды за участие в боях во время захвата Польши войсками Германии в сентябре 1939 года.

ДЭВИД МЭНИКОМ

С английского

Неразлучные

Не думал я, что ты вернешься так:
проложишь путь сквозь гекатомбы палых листьев,
в дверь постучишь замерзшим побелевшим кулачком —
и мне захочется согреть его дыханьем.

О дни осенние, парад поблекших красок!
Вхожу я в комнату, где стул небрежно отодвинут
от твоего рабочего стола (там вечный кавардак),—
и мне мерещится: ты здесь, ты никуда не уходила.

Желания — вот бич для одиноких.
Что ж, примирись. И знай: так в нас рождается жестокость.
У водостока во дворе разбросано тряпье, луна над головой
белеет как осколок кости.

Порою из окна гляжу я в сад,
и боязно мне оглянуться.

Смерть Мандельштама

Бросив на произвол судьбы
детей своих,
в ларце, задвинутом в дальний
ящик комода,
в доме с закрытыми ставнями,
мать оставила там
инкрустированное жемчугом зеркало,
вглядывающееся во тьму.

Чайки осенью

В сорока милях к северу от озера Эри
оксфордская осень: хрупкие желто-коричневые колосья
клонятся тяжелой бахромой к земле.
Подняв воротник теплой куртки,
в последний раз перед зимой чиню ограду.
Глухие удары по кольям, тембр серого неба.

© 1991 by David Manicom

На изгороди маленькие птички — взволнованно чирикают,
живой лентой мелькают перед моими глазами.

Последний кленовый лист снижается бумажным голубем,
трепещет, как флажок под крышей опустевшего шапито,
порхает по безлюдному городу,
возвещая воцарение в душе нового времени года.
Отец разбрасывает сено по лугу,
возвращает ему покров,
испещренный тенями укорачивающихся дней,
надевает сухую кожуру на черный плод весны.

Только теперь могут они появиться
с дымного неба, снизиться, покачиваясь,—
белые чайки, вслед за острыми лезвиями плугов припадающие
к полосе пахучей земли. Странные создания,
похожие на белые голыши у моря,
одетые в лохмотья облаков,
безмятежно обменивающиеся возгласами.
Выпадают из зеркала небес и озер,
выхватывают червей из борозды.

Когда отец запирает на зиму
калитку забора вокруг поля
в сорока милях к северу от озера Эри,
волшебницы чайки кружат в танце первых снежинок
над темными бороздами и комьями земли,

затем исчезают там же, откуда появились,—
в белых пятнах на карте,— оставляя по себе
аромат сна. На вечереющем лоне природы
моя голова, забывшая к середине жизненного пути,
откуда все начиналось.

Перевод А. КУДРЯВИЦКОГО

Поспи еще, помедли пробуждаться

Вот — света больше, чем вчера, чем прежде.
Проснулись птицы, разбуженные жаждой
неутолимых горл: петь о любви.
Светает, и образ смятой простыни
постели поперек — изделие, измыслие рассвета.
Насущность зримости содеяна тобой.
Моя любовь к тебе — не собственность моя,
я не копил любви и никогда я не держал любовь
наизготове. Но прошлой ночью ты шептала мне:
«Благодарю, ты любишь». Я не мог
благодарить тебя за этот дар взаимный,
любовь к тебе, я знаю, это — не...
не соответствие растрате чувств и мук,
и даже музыка, пришедшая извне,— моя потеря,
и приобретенье, что сам я расточил, я сам обрел,
что ж, простыня, привет. О птицы, с добрым утром!

Перевод БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

Ю. КАГРАМАНОВ

ЕВРОПА И МЫ

И опять: Европа и мы. Этот вечный вопрос приходится ставить заново по двум причинам. Во-первых, потому, что «мы» сегодня совсем не те, какими были вчера. Во-вторых, потому, что совершенно другой становится Европа.

Крах коммунистической империи произошел, по историческим меркам, в одночасье, и трудно сказать, кого он больше поразил — мир или нас самих, вдруг ощутивших незнакомый вкус свободы. Западная часть континента менялась в ином ритме — осторожной разборки межгосударственных, межнациональных барьеров, изживания взаимных предубеждений, кропотливого созидания общего дома. Но близится момент, когда количественные, так сказать, накопления перейдут в новое качество и объединенная Европа из мечты станет реальностью. Да и нынешняя, она уже совершенно не похожа на ту, какой была, скажем, в начале «холодной» войны.

С бóльшим правом, чем Мандельштам в 1914 году, мы можем сказать, обращаясь к западной части нашего континента: меняется твоя таинственная карта!

Оставаясь на прежнем месте, границы делаются не только прозрачными, но и все более призрачными; одна береговая линия сохраняет незыблемую четкость — вечный контур, внутри которого складывается какая-то новая, незнакомая Европа.

Это Европа, охладевшая к национальной идее, без которой ее еще совсем недавно трудно было помыслить.

Два столетия без малого национализм (употребляю здесь это слово в нейтральном смысле) был воздухом, которым все дышали. Настолько он казался естественным, что трудно было даже представить, как его раньше могло не быть. Поэтому и прошлое видели в соответствующем освещении. Что, например, в средних веках, особенно в позднем средневековье, представлялось самым существенным? Процесс становления национального государства, понятого как цель истории.

На самом-то деле национальная идея обрела «суверенность» лишь в конце XVIII века. Историки Французской революции 1789—1794 годов знают, что культ нации возник спонтанно уже в ходе революции. Просветители, которые подготавливали ее идеологически, менее всего думали о нации, для них на первом месте были права человека. Скорее уж за Рейном, в тихой Германии, взрыв национальных чувств был предвосхищен в теории, главным образом, И. Гердером, «открывшим» нацию как некую фундаментальную целостность, единое «тело», со своим особенным «духом» (Volksgeist). Практика не замедлила оправдать теорию, притом не только во Франции, но и в самой Германии, народ которой поднялся на борьбу с Наполеоном под национальным знаменем (в отличие, например, от Испании). Пламень французского национализма породил пламень национализма немецкого, а глядя на лидеров, зажглись и другие европейские народы: национальная идея осветила им «путь в будущее» — у каждого из них, как оказалось, свой, особенный.

Расцвет национализма был «выявлением невыявленного», как выражается в иных случаях М. Хайдеггер, и, несомненно, имел свою позитивную сторону. Вместе с тем, разойдясь по «национальным квартирам», европейцы испытали незнаемое ими прежде взаимное отчуждение по национальному признаку, в отдельных случаях переходящее во взаимную ненависть. Гуманный XIX век в этом смысле сильно проигрывает в сравнении с гораздо более терпимым XVIII. Между прочим, в России появившийся у европейца косой взгляд на «иноплеменных» весьма часто относили почему-то только на свой счет. Перечитывая не так давно «Россию и Европу» Н. Я. Данилевского (1868), я обратил внимание на то, сколь сильно в нем убеждение, что «они» «нас» не любят. Были у него основания так считать? Кое-какие основания, конечно, были (да и, правду сказать, было за что нас не любить — хотя бы за Польшу). Но вот что любопытно: Данилевский совершенно не замечает, что «они», западные европейцы, друг друга зачастую не любят еще больше. В самом деле, если бы тогдашнего немца спросили, кого он больше не любит, он скорее всего ответил бы: француза. И тем более француз (особенно после 1870 года) своим «любимым врагом» назвал бы немца, а отнюдь не русского.

Я взял для примера немца и француза не только потому, что это два ведущих народа континентальной Европы, но и потому, что их отношения стали, та́к сказать, парадигмой национальной розни, надолго определившей атмосферу межнациональных и межгосударственных отношений в Европе.

Естественно, что строительство объединенной Европы началось с этих двух стран — Франции и Германии. Люди, возглавившие дело франко-немецкого примирения, шли на подвиг, без преувеличения, равный подвигам Геракла. Что их усилия не пропали даром, лучше всего говорит следующий факт: по данным периодически проводимых опросов, молодые французы и молодые немцы больше доверяют теперь друг другу, чем своим соотечественникам, принадлежащим к старшим поколениям. Вещь, совершенно невозможная еще каких-то лет тридцать назад!

Это, конечно, не значит, что барабаны старого национализма умолкли раз и навсегда.

Взаимные подозрения и страхи меж европейскими народами еще дают о себе знать. Подтверждение тому мы получили совсем недавно: едва прошли первые радости по поводу воссоединения Германии, как в соседних с нею странах многие задумались над вопросом: не становится ли она слишком сильной и слишком свободной в действиях? Что может стукнуть в голову сытому и довольному немцу «после третьей кружки пива»? Не пробудится ли в нем прежняя темная воля к самовозвеличиванию и господству над другими народами?

То, что именно немец с его «темной душой» принимает на себя косые взгляды, по-своему вполне логично. Во-первых, воссоединившаяся Германия демографически и экономически — самое сильное из европейских государств [1]. Во-вторых, немцы «любят и умеют воевать». В-третьих, именно немецкий национализм принял наиболее одиозные формы под скипетром Гитлера, и, как ни много воды утекло с тех пор, можно понять беспокойство соседей: слишком тяжелые воспоминания оставил по себе третий рейх.

Но я думаю, что, опасливо косясь на немецкую душу, путают «вечное» и временное. Душа народа, сколь она ни противоречива и разнообразна, отличается все-таки некоторым постоянством; между тем образ агрессивного националиста и жестоковыйного воителя, «слуги фатерланда» — сравнительно недавнего происхождения. «Невелика слава для русского сразиться с миролюбивым немцем, когда знаешь вперед, что он побежит»,— писал Гоголь в 1846 году, выражая не только свое, но и общее мнение, что достойного противника надо искать где угодно, но только не в Германии. Репутацию «первых солдат Европы» немцы завоевали лишь во франко-прусской войне 1870 года и подтверждали ее в продолжение следующих трех четвертей столетия (переняв эту репутацию у французов, которые ровно столько же удерживали ее до того). Нынешние немцы, судя по всему,— совершенно другие. Именно потому, что воинствующий национализм принял в Германии наиболее уродливые формы, он там и дискредитирован, пожалуй, как ни в какой другой европейской стране. Я не говорю уж о том, что дискредитированы любые силовые методы решения политических вопросов — в Европе, во всяком случае.

Конечно, история в принципе непредсказуема, и все же чрезвычайно трудно представить, чтобы националистическая волна могла вновь захлестнуть Германию или какое-то другое западноевропейское государство. Только бывшая коммунистическая Европа — восемнадцать государств (не считая России), от Эстонии до Македонии,— отчасти еще живет вчерашним днем: здесь национализм служит клином, посредством которого вышибают клин коммунизма. Но большинство из этих государств (за исключением разве что бывшей Югославии, где национальные конфликты могут принять затяжной характер), очевидно, просто отстают по фазе от своих западных соседей, на которых они равняются по мере своих возможностей в культурном отношении. Частью волна еще накрывает их, но, в основном, она давно уже ушла дальше — на восток и на юг, где сейчас «ревут народы, как ревут сильные воды» (Книга пророка Исаии, 17, 13). А там, где она возникла, на западе Европы, осталась лишь рябь на поверхности, и очень мала вероятность, что она может перейти в сколько-нибудь серьезное волнение. То есть, конечно, волнения иного рода еще очень возможны и даже, наверное, неизбежны, но — не этого.

Общий рынок оправдал надежды, которые возлагали на него его инициаторы: не только оздоровил экономику, но и срастил отдельные части старой Европы в единый организм с общей кровеносной системой, так что если бы они и захотели теперь вновь отделиться друг от друга, прежний уровень самостоятельности был бы для них просто невозможен. Одновременно (и это уже не во исполнение чьих-то надежд, а скорее в виде сюрприза) возникло новое качество культурной общности, отчасти напоминающей ту, что существовала в средние века, когда во всех европейских храмах, от Лапландии до Сицилии, звучала одна и та же церковная латынь; только объединяют сейчас вместо «Te Deum» [1], какие-нибудь «Strangers in the night» (или что там еще такого, что нынче внятно «всем-всем»?), какой-нибудь популярный телесериал («новый визуальный язык») и т. д., и т. п. Я сейчас ухожу от оценки этого явления, я просто констатирую его.

Мощным стимулом, побудившим западных европейцев, «распри позабыв», сбиться в единую семью, была угроза с востока. Сейчас она практически отпала, но сохраняются некоторые другие внешние факторы, способствующие делу объединения. Сравнительно с 1914 годом (апогей националистической истерии в общеевропейском масштабе) положение Европы в мире очень существенно изменилось. В канун первой мировой войны, с которой, собственно, и начался относительный «закат Европы», она была средоточием богатств и сил, а весь остальной мир (за исключением Соединенных Штатов, которые тогда держались особняком) служил как бы приложением к ней. Естественно, что стрелы, обозначающие основные геополитические антагонизмы, практически все размещались на карте Европы. Другое дело теперь: шутка о том, что Европа — бывшее орлиное гнездо, в котором завелись кукушата, оставаясь шуткой, все же содержит долю истины. Никуда не уйдешь от факта: все европейские державы лишь купно представляют собою мировую силу; да и в этом случае остаются, по крайней мере, два «центра силы», Соединенные Штаты и Япония, которые, уступая им по одним показателям, по другим (например, по уровню развития некоторых наукоемких производств) существенно их превосходят.

А есть еще «третий мир», как многие считают в Европе, представляющий для нее новую и постоянно растущую угрозу. Особенно в исламской своей части. Тоже, между прочим, наднациональная величина — ислам.

* * *

Откуда явилась национальная идея и что сейчас идет ей на смену?

На первый вопрос ответить легко: выдвижение нации на верхнюю ступеньку «лестни-

[1] Вот, впрочем, нелишнее уточнение: в сравнении с 1939 годом (последний мирный год, когда Германия была единой) соотношение сил между традиционными соперниками, Францией и Германией, как в демографическом, так и в экономическом отношении, существенно изменилось в пользу первой.

[1] «Тебя, Бога» (хвалим) *(лат.)* — католическая молитва.

цы приоритетов» есть следствие секуляризации. Вплоть до конца XVIII века национальное особо не фокусировалось в европейском сознании и уж тем более не претендовало на то, чтобы считаться началом всех начал. Француз или немец помнил, что он прежде всего христианин, а потом уж француз или немец, а также подданный такого-то и такого-то королевского или императорского величества; кроме того, немец чувствовал себя не только немцем, но и конкретно саксонцем, скажем, или баварцем, а француз — беарнцем или пикардийцем и т. д. Лишь после того как смешалось представление — завязанное на христианстве — об Уровнях бытия, национальное вышло вперед; сакральное было десакрализовано (хотя бы отчасти), а так как «свято место пусто не бывает», было сакрализовано то, что прежде считалось профанным,— нация.

Еще у наших славянофилов все оставалось «на своем месте» (чего нельзя сказать об эпигонском славянофильстве второй половины XIX века): религиозное чувство, если позволительно такое сравнение, было у них за коренника, а национальное и государственное чувства выполняли роль пристяжных (хотя они все-таки несколько переоценили национальное начало и недооценили государственное). Другое дело, что славянофилы не поняли необходимости и неизбежности увеличения объема свобод и правового их регулирования (вытекающего из трезвого учета греховной природы человека).

Зато на Западе увеличение объема свобод стихийно переплелось с «освобождением» национального начала — родился бином, столь характерный для XIX века: национализм — борьба за свободу. В свою очередь, государство замкнулось на принцип нации — родилось национальное государство, ставшее предметом культа, который Огюст Конт назвал матри-патриотическим. Нация предстает как мать (mater) — кормилица, государство — как строгий отец (pater), граждане — «дети родины» (первая строка «Марсельезы»: «Вперед, о дети родины...»), чья обязанность защищать мать и повиноваться отцу. Никакой иной, более высокой инстанции фактически (а в атеистическом государстве и формально) не видно. Выше всех критериев — интересы отечества (матери-родины). Right or wrong, my country (права она или нет, но это моя страна).

Должно было этому культу принять крайние и усугубленные формы, должны были произойти две катастрофические мировые войны, чтобы в европейском сознании зародилось и окрепло сомнение в том, что национальная идея есть «конечный вывод мудрости земной». Сегодня понятие «нация» утратило прежнюю свою магическую притягательность, в нем, наоборот, подчеркивают элемент случайного, исторически преходящего, указывают на неопределенность его содержания и т. д. [1] Все это, конечно, не означает, что национальное «пройдет»; просто ему придется удовольствоваться более скромным местом на «лестнице приоритетов».

На второй вопрос тоже как будто не так сложно ответить: очевидно, что на смену национальной идее приходит идея европейская. Но такой ответ влечет новый вопрос: а что такое европейская идея?

В те, уже далекие, годы, когда в здание объединенной Европы закладывались первые камни, многие склонны были видеть в нем воплощение мечты философов, от аббата Сен-Пьера и Руссо до Куденхове-Калерги (автора книги «Пан-Европа», вышедшей в 1923 году), о братском единении всех народов континента, отряхнувших от ног своих прах истории, столь насыщенной взаимной враждой и ненавистью. Сегодня такое не лишенное утопических красок ви́дение, похоже, не вызывает большого доверия; нынешние европейцы скорее апеллируют к своей истории, чем отрекаются от нее. Они, например, охотно «вспоминают», что на протяжении большей части средневековья Европа фактически уже была единой как в духовном смысле, так и, отчасти, в политическом — если иметь в виду мощную традицию сверхнационального государства, доставшуюся в наследство от древнего Рима.

Можно сказать, что призрак Империи бродит по Европе. Недаром французский журнал «Commentaire» в одном из последних своих номеров дал целую подборку статей на тему «Империя возвращается». В Римской империи, частично восстановленной сначала Карлом Великим в 800 году, а затем Оттоном I в 962-м, видят отдаленный прообраз будущего Европейского Союза, выделяя в имперской традиции те именно черты, которые кажутся сегодня привлекательными. Это прежде всего ее наднациональный характер: в Священной Римской империи, например, более восьми столетий жили бок о бок немцы, голландцы, итальянцы, французы, чехи и другие «язы́ки». Это относительная слабость «центра», позволявшая провинциям, в основном, сохранять свои местные порядки и традиции. Это система управления, основанная на праве (римское право, как известно, положено в основу Наполеонова кодекса, по которому и сегодня живет Европа) и ставящая мудрую осторожность во главу угла. Это, наконец, стремление избегать вооруженных конфликтов, покуда возможно.

Конечно, прочного мира в средневековой Европе не было, но войны, которые вели между собою европейцы, были тогда, как правило, «домашними» войнами, «выяснением отношений» между «своими». Мы знаем, что и «разборки» между близкими людьми порою бывают небескровными. В средневековой Европе трудно найти что-то похожее на ту устойчивую антипатию, которая целое столетие продержалась между французами и немцами. Ключ к объяснению большинства тогдашних войн (если исключить религиозные войны, впрочем, крайне редкие до начала Нового времени, то есть до Реформации) дает не столько политика, сколько нравы: европейцы были драчливы, но и отходчивы. Рабле в своем «Гаргантюа» не слишком погрешил против реальности, сочинив историю о том, как лернейские пекари повздорили с синейскими виноградарями, в результате чего король лернейцев Пикрохол, развернув свою орифламму, попер войной на свояка, короля

[1] Некоторые государства-нации появились на свет лишь в результате стечения обстоятельств, которого могло бы и не быть. Так, Португалии не существовало бы, если бы объединение Пиренейского полуострова было доведено до конца. Есть и примеры противоположного рода: скажем, Бургундия, одно из трех королевств, из которых состояла Священная Римская империя (два других были Германия и Италия), могла бы сложиться в нацию, но не сложилась и была поделена между соседними государствами.

Грангузье. Нынешние европейцы, гораздо менее религиозные, чем их предки, в то же время несравненно лучше умеют себя обуздывать: и сейчас бывает, что пекари и виноградари (молочники, колбасники, рыбаки и т. д.) конфликтуют друг с другом, однако никому при этом не приходит в голову хвататься за оружие. Правда, и оружие нынче такое, что лучше держаться от него подальше.

Но я вспоминаю, что выдающийся поэт нашего века (который был также дипломатом) Поль Клодель на вопрос о том, что такое Европа, ответил одним словом: «Каносса». Каносса — это Империя, смирившаяся пред римским первосвященником, а если отвлечься от исторической конкретики события, имевшего место в XI веке, то вообще (так, я полагаю, можно истолковать ответ Клоделя) — первенство духа.

Ясно, что европейская идея не может ограничиться сферой правового и хозяйственного строительства, что она должна иметь также духовное измерение. Между тем «кризис европейского духа» давно уже стал притчей во языцех. Данилевский, тот категорически утверждал, что Европа «гниет». Мысль эта передавалась у нас по цепочке, из поколения в поколение, пока, уже в нынешнее время, не попала в руки юмористов. Гниение — органический процесс, предшествующий неизбежной гибели. Но Европа что-то не очень торопится прийти к финалу. Более того, если судить о ней с точки зрения органической теории, то по некоторым признакам она еще находится в стадии развития, роста.

Однажды — это было после второй мировой войны, когда она лежала в развалинах,— ее поторопились «списать» как мировую силу. Новому «Риму» (Соединенным Штатам) европейцы представлялись новыми graeculi [1], у которых «все в прошлом». Но Европа проявила неожиданную витальность и за последующее «славное тридцатилетие» почти догнала Соединенные Штаты в технико-экономическом отношении, а кое в чем и перегнала их (правда, за то же время она пропустила вперед Японию). Что это — манифестация последних ресурсов некогда мощного духа (его «овнешнение», в концепции О. Шпенглера, выстроенной им в знаменитой книге «Закат Европы»)? Или только начало какого-то нового и удивительного витка истории?

В духовном плане нынешняя Европа представляет собою загадку даже для самих европейцев. Ее можно описать только через противоречащие друг другу утверждения, через «да» и «нет» одновременно. Налицо признаки упадка и признаки роста, извечное дерзание и окостенение, что дает основания в одних случаях видеть в ней «кладбище» (злое словечко Достоевского не забыто нашими западными соседями), а в других — прежнюю «духовную водительницу и сердце мира», ибо не угас еще в Европе творческий поиск и, как всегда, напряженным остается ее нескончаемый внутренний диалог (диалогизм — свойство любой культуры, но нигде он не был таким напряженным, как в Европе), включающий обязательную самокритику, доходящую до «самоедства».

Вот, между прочим, в чем отличаются Соединенные Штаты от Европы: там не сложилось устойчивой критической традиции, способности все подвергать сомнению и испытанию. Несмотря на внешний динамизм, американское общество, как это не раз было подмечено европейцами (сошлюсь хотя бы на Симону де Бовуар и на Томаса Манна), в метафизическом смысле отличает некоторая негибкость, некоторое избыточное самодовольство. Эта негибкость имеет свои преимущества: так, американцы проявили почти стопроцентный иммунитет в отношении коммунизма и фашизма, которыми «переболели» столь многие европейцы, включая интеллектуальную элиту. Но ошибки — плата за духовный поиск; без них не было бы «драмы идей» (а значит, не появились бы на свет и сами Соединенные Штаты). В нетерпеливом ритме вопросов и ответов — одновременно и сила Европы, и ее слабость.

Раз уж я пустился в сравнения (а как иначе увидеть то особенное, что отличает Европу?), затрону в двух словах проблему «японского вызова». Если европейскому духу свойственна некая порывистость, то японцы, судя по всему, как раз избегают резких движений. В их национальной метафизике огромную роль играет эстетика, свидетельствующая о хорошо развитом чувстве меры,— не здесь ли корень японских успехов? В Европе правилом является скорее нарушение меры. Зато европейцы «хватают звезды с неба», а японцы, как принято считать (наверное, справедливо), в области интеллектуального творчества — больше подражатели.

Но те же Соединенные Штаты выигрывают при сравнении с Европой в духовном плане, если в понятии «дух» мы выделим не интеллектуальную, а другую — «низлежащую» (но от этого не менее, если не более важную) «компоненту», которую по-русски точнее назвать «душой» и которая, как ни крути, связана с верой. В американцах, как более молодом народе, больше «наивной» веры, больше «души», европейцы — скептичней и материалистичней [1].

Когда итальянский философ Сабино Палумбьери пишет, что объединенная Европа лишь в том случае станет объединенной Европой, «если ее разрозненная, анестезированная и текучая человеческая масса обретет общую душу», то ему, как я полагаю, трудно что-то возразить по существу дела. Национальная идея уравновешивала растущий объем индивидуальных свобод, делая возможным сохранение общества как целого (хотя зачастую и нарушая необходимое равновесие в пользу целого). Европейская идея пока не может заменить ее в этом качестве — она еще представляется слишком отвлеченной, безликой. Строительством «общеевропейского дома» заняты преимущественно экономисты, юристы, вообще «эксперты», их же дело — структуры и процедуры, то есть вещи, «недо-

[1] Уничижительное от «греки» *(лат.)*.

[1] Ключевым для выявления душевного строя надо считать не вопрос о Боге, на который мало кто отвечает отрицательно, а вопрос о вечной жизни. По данным анкет, в вечную жизнь (или, как формулируется вопрос, в «жизнь после смерти») верит не менее трех четвертей американцев (цифра, остающаяся практически неизменной на протяжении полувека). В Европе только Ирландия задержалась на этой отметке. В некогда религиозных Италии и Испании в «жизнь после смерти» верит лишь около половины взрослых людей, в Англии и бывшей ФРГ — две пятых, во Франции — треть, в Дании (низшая отметка) — одна четверть. (A. Greeley. Religious change in America. Cambridge (Mass.)1989, p. 15 16).

ходящие до сердца». Это немножко похоже на брак по расчету, когда брачующиеся стороны договариваются в деталях о практической стороне предстоящей жизни, в уверенности, что «любовь придет потом».

Не случайно Дания отказалась присоединиться к Маастрихтским соглашениям, а Франция едва не провалила их (хотя даже отрицательный вотум ничего принципиально не изменил бы: поезд набрал скорость, и его уже не остановить; можно лишь несколько замедлить движение). Национальная идея, даже померкнув, еще задевает за живое, и в этом ее преимущество перед слишком рассудочным европеизмом, который «простые люди» часто считают детищем технократов («федерастов», как их именует Жан-Мари Ле Пен). Не хватает *образа* единой Европы (наподобие образа Франции или образа Германии, каковые были созданы в первой половине XIX века соответственно Ж. Мишле и Л. Ранке). Бетховен с Шиллером не спасают положения своей одой «К радости» (взятой в качестве общего гимна) — все-таки это «классика», то есть музыка (в буквальном и фигуральном смыслах) совершенно другой эпохи.

И в стане занятых технократов с беспокойством оглядываются на отстающее от бытия сознание. Сам председатель Комиссии европейских сообществ Жак Делор не так давно сетовал на то, что культурный и этический аспекты европеизма «преданы забвению». Если это преувеличение, то небольшое: культура сейчас ориентирована, главным образом, на «праздно-хаотическую» (Достоевский) личность, а технократия нуждается не в «гуляках праздных», а в работниках и гражданах (притом именно гражданах Европы). Известный ее идеолог Жан Фурастье, например, пишет, что одним из столпов европейской демократии изначально была добродетель (французское vertu восходит к латинскому virtus, звучащему более «мужественно», чем русское «добродетель», и переводимому также как «доблесть»), которая сегодня отнюдь не «устарела», совсем напротив.

Участившиеся апелляции к virtus подогреваются «исламским вызовом», вторым серьезным вызовом, с которым сталкивается современная Европа (и Запад вообще). Его можно назвать этическим. «Простая религия для простых людей», по выражению Честертона, ислам сковывает творчество, зато более эффективно обеспечивает нравственный порядок (производный от метафизического миропорядка). В то время как европейский Фауст, «в движенье находя свой ад и рай» (Гёте), неустанно раздвигал метафизические горизонты, исламское «стояние в вере» позволило не путать ад с раем и, следовательно, сохранить несгибаемыми нравственные критерии. Отсюда и некоторое чувство превосходства над Западом, обозначившееся на исламском Востоке (рядом с неизжитыми прежними комплексами), и симметричное полупризнание Западом (или хотя бы какой-то частью западного общества) своей уязвимости с этой стороны.

Антитеза свободы и порядка и производная от нее антитеза индивидуальности и социальности — не такого рода, чтобы ее можно было однажды решить в пользу того или иного члена и на этом, так сказать, успокоиться. Напротив, она требует постоянного пере-осмысления и периодического пере-решения — особенно в условиях движения, развития, роста, когда ее члены «мешают» друг другу, хотя, как и всегда, не могут друг без друга обойтись. Весьма трудно, однако, добиться даже частичного их созвучия, игнорируя вопрос о том, где *источник* свободы и порядка. «Секуляризация ценностей, укорененных в гумусе христианства,— пишет уже цитировавшийся Палумбьери,— исторически оборачивается нарушением тонкого равновесия, прежде существовавшего между ними, и, тем самым, предательством души, каковая есть гармония всех ценностей, проистекающих из высшей персонифицированной Ценности». Все правильно, от первого до последнего слова.

Чем взял роман Умберто Эко «Имя розы», ставший едва ли не самым заметным литературным событием 80-х годов? Может быть, не в последнюю очередь тем, что в его треснувшем зеркале (Эко — скорее буддист, чем христианин) европейцы все-таки «узнали» образы своего исторического «детства»: Европу, не разделенную на «национальные квартиры», аббатство Имярек (расположенное где-то «на границах Пьемонта, Лигурии и Франции») с его величественной Храминой (библиотекой), призванное быть «убежищем добродетели», «ковчегом мудрости», «кладезью здравомыслия», «оплотом твердости» и «кадилом святости».

* * *

До сих пор, говоря о Европе, я, по возможности, избегал эпитета «Западная», по той причине, что сейчас трудно провести границу между западной и восточной ее частями. Когда-то с этим было все ясно: Западной называли сначала католическую, а потом католическо-протестантскую Европу; это был более или менее четко очерченный историко-культурный ареал, восточными окраинами которого служили Швеция (включая Финляндию, Эстонию и Латвию), Польша (с Литвой) и Венгрия (с Хорватией и Словакией). Сейчас традиционные границы в значительной степени размыты: во-первых, восток Европы более или менее вестернизирован в культурном плане, во-вторых, многолетнее разделение континента на два блока оставило свой отпечаток, наложившийся на прежние реалии. В результате Греция, никогда не относившаяся к Западной Европе, вошла в новую «европейскую семью», а Чехия еще только мечтает туда попасть. На какое родство с нею могут рассчитывать, скажем, Болгария и Румыния? И наконец: где нынче место России?

«Царский путь» русской мысли, пройденный за минувшие два столетия, позволяет нам с уверенностью заключить, что Россия исторически сложилась как *другая Европа*. Здесь и субъект, и предикат одинаково важны. Неоспорима принадлежность Киевской Руси Европе; общим фундаментом для них послужили христианство и античная культура (хотя последняя была «задействована» на Руси в меньшем объеме, чем у западных соседей). Татаро-монгольское иго многое изменило на Руси, но не сделало ее Азией, ни даже Евразией, то есть чем-то средним между Европой и Азией. Фундамент остался прежним.

Заметим, что термин «Евразия», недавно вошедший в широкий обиход, употребляется в двух разных смыслах. Россия простерлась

на двух континентах и включает в себя, помимо русского этноса, другие этносы, большинство из которых являются азиатскими в расовом, культурном и религиозном отношениях,— в этом смысле она действительно Евразия, особое, единственное в своем роде государственно-политическое образование. Но когда утверждают, что и собственно русская часть России должна считаться Евразией в культурно-историческом смысле, то это результат затмения, начавшегося в роковом 17-м году (или даже несколько раньше) и отразившегося также и в русской культуре, в частности, в евразийском движении 20-х — 30-х годов.

В истории это не первый случай, когда поэтические цветы предшествуют появлению ядовитых плодов — идеологических и социально-политических эквивалентов дурман-травы или волчьих ягод. Удивительно, как своевременно угадали некоторые русские поэты и философы «поворот к Азии», но удивительно и другое — с каким восторгом они его приветствовали! Что-то им такое привиделось: яркое, дикое, избыточно витальное, превозмогающее «старушку Европу» с ее «худосочной» культурой (впрочем, схожие, в некоторых аспектах, антиевропейские настроения проклюнулись тогда и в самой Европе). Сегодня мы вправе констатировать, что «отречение от Европы» (Г. П. Федотов) стало основным смыслом превращений, начатых революцией,— современникам, замороченным интернационалистской трескотней большевиков, понять это было нелегко.

Увы, проза реальностей, в сравнении с поэзией предчувствий, оказалась куда как бесцветнее, и угрюмей, и жесточе. Возвратное движение «в сторону орды» приняло форму «построения социализма» с железным, как у гоголевского Вия, лицом; конечно, не последнюю роль тут сыграла и европейская методика, так что это был действительно евразийский «социализм», сочетавший худшее, что можно было взять и в Азии, и в Европе. Расхлебывать его последствия нам еще придется долго-долго. Во многом пошла насмарку работа предшествующих революции столетий русской истории (в особенности двух «петербургских» столетий) по преодолению наследия, оставленного ордой,— как бы затемнения, искажающего изначально европейскую природу России.

И все же теперешнее наше повинное возвращение в Европу мне представляется достаточно прочным. Опыт царя Петра, однажды попавшего на Кукуй и на всю жизнь этим визитом впечатленного, повторен миллионами, и вряд ли они захотят забыть все, что видели и слышали. Тем более что на сей раз «уходящая натура» — это не прежняя, хоть и отставшая в культурном и технико-экономическом отношении, но глубоко христолюбивая Московия, а казенный СССР, подлинная «тюрьма народов» и «мерзость запустения на месте святом».

Каким будет место России в Европе? Хотя геополитика не является предметом настоящих заметок, совсем обойти ее нельзя, ибо от нее слишком многое зависит. Впервые со времен Екатерины на западе континента складывается федерация, далеко превосходящая Россию по своим ресурсам. Опасения «германской гегемонии» в Европе мне кажутся малообоснователь-ными, а точнее, лишенными смысла: скорее всего немцы полурастворятся в сообществе, то есть перестанут чувствовать себя немцами par excellence (по преимуществу); само понятие «Германия» может стать таким же полуархаичным, каким стала «Пруссия». Но сообщество в целом, естественно, будет чувствовать себя гегемоном, отдавая себе отчет в своих силах и возможностях. Здесь, конечно, возникает много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответы. И все же осмелюсь предположить, что ничего драматического в этой ситуации нет. Новая федерация «открыта» в сторону востока, не в том смысле, что она намерена все расширяться да расширяться (вероятно, и в западной части континента останутся страны, которые в нее не войдут), а в том смысле, что она хотела бы связать себя *со всеми* европейскими странами *разными* узами интеграции. И уж во всяком случае, очень трудно представить, чтобы она могла стать источником военной угрозы (если бы такое произошло, России пришлось бы вернуться к старой, хоть и недоброй Realpolitik, то есть блокироваться — раз уж она вновь стала союзоспособной — с какими-то иными «центрами силы»; но, повторяю, такая возможность пока остается непредставимой). А если еще учесть, что в ближнем западном зарубежье (которое еще может стать источником беспокойств) у России нет реальных соперников, можно прийти к выводу, что ее западная граница обещает стать, впервые в истории, по-настоящему мирной границей.

Если уж будет беспокойная граница, то это, очевидно, южная, где проснувшийся лермонтовский Казбек вновь

Видит странное движенье,
Слышит звон и шум,

только на сей раз не с северной, а с южной и юго-восточной стороны. Я не думаю, чтобы был опасен исламский фундаментализм (почему бы тогда не пантюркизм?); другое дело, что его, как и любую религию, используют в политических целях. Реальная опасность в ином. Юг грозит Северу, сам того не желая, избытком своего постоянно увеличивающегося населения. Напор людей, устремляющихся в более обеспеченные страны со стабильным населением, растет и будет расти дальше. Это очень болезненная проблема, одна из самых болезненных, с которыми сталкивается современный мир: естественные, эгоистические интересы более обеспеченных приходят в противоречие с человеколюбием. Западные европейцы, испытывающие чувство вины перед народами «третьего мира» (вот еще противоречие, характерное для современной Европы: менее религиозные потомки по-христиански краснеют за предков, которым вера не мешала «разделять и властвовать» порою с чисто языческой жестокостью), до сих пор, в общем, благоволили к иммигрантам, но сейчас, похоже, ужесточают свою политику в отношении последних. Вероятно, и России, особенно если экономические реформы окажутся успешными, в недалеком будущем придется как-то защищаться от этого человеческого половодья. В конце концов, ограничение рождаемости — дело самих народов Юга; никто тут ничего за них не сможет решить.

Во многих странах Юга рост населения создает или усиливает нестабильность, что способствует возникновению режимов, кото-

рые уже прямо грозят Северу — если не войной, так терроризмом. С точки зрения людей, стоящих во главе этих режимов, чувство вины, которое испытывают европейцы, есть признак слабости, и только.

Неизбежная демаркация по принципу Север — Юг, вероятно, явится еще одним фактором, который побудит россиян в большей мере, чем до сих пор, чувствовать себя европейцами. Что касается бывших «союзных республик», расположенных вдоль южных границ России, то можно сожалеть об их отпадении, но поскольку оно уже стало свершившимся фактом, отметим его положительную сторону: оно облегчает ее вхождение в европейский дом. (Аналогичным образом и Британия по мере ослабления ее имперских связей все больше проникалась «европейскими» настроениями.)

В то же время вхождение в Европу способно приостановить распад самой России — постольку поскольку новый европейский климат, действие которого не замедлит распространиться на нашу страну, приглушает национализм и отделяет его от государственности. Отступает соблазн, одолевающий малые и слабые народности, тянуться «за всеми», играть в большую политику, что зачастую не отвечает их интересам, а просто служит средством успокоения раздраженного национального чувства.

Попробуем теперь встать на точку зрения той Европы, которая начинается в Маастрихте. Конечно, такие, каковы мы сейчас, мы не выглядим желанным партнером. Но если отвлечься от реальностей сего дня и заглянуть в будущее? Возвращение России, как и других бывших коммунистических стран, в европейское лоно означает восстановление Европы в ее культурно-исторических границах, о которых ныне живущие поколения успели уже несколько подзабыть. Вместо «обрубка Европы», как назвал территории к западу от «железного занавеса» покойный Раймон Арон, будет полноценная Европа, протянувшаяся до Урала, а фактически, учитывая очевидную неразрывность русского этноса, даже до Тихого океана.

Возникает, следовательно, новое духовное и культурное пространство, как никогда прежде однородное и в то же время создающее условия для интенсификации внутреннего диалога. Последнее естественно увязать с возможным обновлением «русской антитезы», как ее назвал в прошлом веке известный переводчик Тургенева на французский язык Мельхиор де Вогюэ.

* * *

Известно, что своей «инаковостью» *внутри* Европы — Россия более всего обязана православию, глубоко перепахавшему ее душу. Да и соседство с Азией (воспоминания об орде — это еще далеко не вся Азия, присутствующая в русском сознании, спектр азиатских влияний сложнее и тоньше) тоже кое-что значит, хотя, повторяю, оно не делает Россию Евразией в культурно-историческом смысле. (Никому, кажется, не приходит в голову называть Испанию Еврафрикой, хотя восемь веков присутствия мавров на полуострове наложили очень сильный отпечаток на характер испанского народа и его культуру.)

То, что делало Россию *другой* — острое чувство вечности,— имело, как это тоже хорошо известно, свою оборотную сторону: недостаток внимания к временному, относительное пренебрежение устроением «здешней» жизни, включая быт. Подчеркиваю: относительное. «Нагота», в которой нечто «сквозит и тайно светит»,— это все-таки метафорическая нагота, бедность, воспринимаемая как бедность лишь *в сравнении* с «иноплеменным» богатством. И русская интеллигенция, которая жадно впитывала европейскую культуру и в то же время свысока смотрела на европейское «мещанство», сама была еще более или менее устроенной в бытовом отношении. Имея «под ногами» *сравнительно* (теперь уже с нынешним) прочный быт, можно было позволить себе быть выше быта и удивляться западной «мелочности». Не смешно ли: Прометей похитил огонь с неба, чтобы сварить себе кофе или закурить трубку! Ведь и вправду смешно.

Должен был наступить полный развал старого общества, должно было пережить хроническую неустроенность, бивуачность, по сути, всей жизни (притом что и чувство вечного едва ли не совершенно захлебнулось в волнах временного), доведенной, в конечном счете, до нынешнего бескультурья и дикости, чтобы увидеть западное «мещанство» другими глазами. Как ни смешон Прометей, опустившийся до кофе, еще смешнее давиться в очередях не то что за кофе — за бутылкой молока или даже не иметь на что ее купить.

Неудача русской истории не должна, однако, бросать тень на русскую религиозно-философскую традицию критики (изнутри европейской, христианской культуры) Запада, которая во многом остается действенной и сегодня. Обе «позиции» в споре, русская и западная, имели свои сильные и слабые стороны. Если Россия верила лишь «в нагого, не облаченного Бога»,-то в Европе энергия христианства воплощалась именно в «облачениях», «ризах Божества» — науках и искусствах, нравственности и правовой культуре, за которыми, однако, чем дальше, тем больше скрывалось, исчезало само Божество. Быт, ставший предметом особых забот, мало-помалу подменял собою бытие. В итоге всевозможные «техники» жизни, в которых Запад достиг подлинной виртуозности, слишком заслонили простой, но никуда не исчезнувший вопрос о ее смысле и бессмыслии.

Даже с чисто практической стороны, которая всегда была сильной стороной Запада, «оборудование» планеты для более или менее безбедного житья-бытья (и, конечно, для веселья тоже) оказывается делом амбивалентным: не могут ли его «побочные» (негативные) следствия перевесить прямой (позитивный) результат? Паче того, экспансия науки и техники не ставит ли под вопрос само существование человеческого рода? Быть может, от слишком панических суждений на сей счет лучше воздержаться, но ясно, во всяком случае, что процесс технического овладения миром должен быть всесторонне осмыслен и введен в определенное русло. В это чертовское (как сказал бы Томас Манн) время гедонистическая расслабленность, в которую впал Запад, представляется, мягко говоря, неуместной; и совсем уж опасной — бестиальность, разыгравшаяся в сфере воображаемого, которую лишь тонкая стенка отделяет от реального (еще противоречие: терпимость, культурная «отшлифованность» сочетается

у нынешних европейцев с пристрастием к лютости и лютому сексу в кинематографических, литературных и иных «снах»).

Читатель, наверное, ждет, что свои сопоставления я закончу примерно таким выводом: именно благодаря «взаимной разноте» восток и запад нашего континента имеют что поведать друг другу. Я хотел бы так сказать, да только не уверен, что *у нас* будет что́ поведать *им*. Не укатали ли сивку крутые горки? Когда я слышу, как привычно говорят, что у них-де техника, а у нас — дух, я спрашиваю себя, не безмысленное ли это клише, стоит ли за ним что-то сегодня. То чувство духовного превосходства, какое было свойственно людям старших поколений, от эмигрантов первой волны до Солженицына [1], не передается автоматически по наследству, и вполне может случиться, что новым поколениям оно представится «загадкой смутною непонятых отцов» (хотя, с другой стороны, может ли такая великая и могучая культура, как русская, не иметь некоторое достойное продолжение?)

Прибегнем поэтому к условной форме: *если* совершится обновление «русской антитезы», тогда действительно оживится европейский внутренний диалог, тогда Европа опять будет дышать «двумя легкими» (образ Иоанна-Павла II, употребленный, надо полагать, не только из вежливости). Н. А. Бердяев, которого считают одним из духовных отцов объединенной Европы (наряду с Жаком Маритеном, Дени де Ружмоном и некоторыми другими), писал более шестидесяти лет назад: «Мы живем в эпоху, когда необходимо не только большее духовное единение внутри Европы (Западной.— *Ю. К.*), но и христианское духовное единение Востока и Запада. И Восток и Запад, подобно тому как это уже было в эллинистическую эпоху, не могут оставаться замкнутыми, изолированными и самодовольными» [2]. Притом Бердяев считал само собой разумеющимся, что Россия, несмотря ни на что, сохраняет и сохранит в будущем свой духовный тип, свою «инаковость» по отношению к Западу; в наши дни это уже не представляется бесспорным.

Уходит в прошлое положение, когда «инаковость» России была закреплена в некоторых общественных и культурных институтах, некоторых традициях. Сейчас от этих институтов и традиций кое-что осталось, но сколько это «кое-что» реально весит в жизни страны, пока сказать трудно; «культура кризиса» затемняет картину. Иногда представляется, что последние резервы российского целомудрия, отчасти сохранившиеся в силу инерции, отчасти сознательно консервировавшиеся коммунистическим режимом (который без них задохнулся бы в собственных миазмах), слизывает волной бестиальности, изливаемой на нас западным массовым искусством и литературой. Как она скажется на уже полуразрушенных душах наших соотечественников, в особенности подрастающего поколения, это мы узнаем спустя еще сколько-то лет (покамест установлено, что, например, из западных фильмов, выбрасываемых на рынок, наша аудитория явно предпочитает «крутые» — не симптом ли?). Но, очевидно, Провидением суждено было протащить Россию и через это тоже — чтобы окончательно втянуть ее в мировой вихрь.

Это как бы проверка на внутреннюю прочность, на гибкость (в хорошем смысле слова) и выживаемость. Только так еще можно быть *другой Европой* (повторю, что здесь субъект и предикат одинаково важны), только так еще можно сохранить традиционные ценности — проведя их через наличную культуру, со всем тем, что есть в ней лукаво-утонченного и вульгарного, сомнительного и просто отталкивающего. Иначе говоря, надо принять «вызов» и суметь на него ответить.

Более чем когда-либо духовная сила России «не в бревнах, а в ребрах», то есть в груди, а не в каких-то внешних постройках (структурах). Достанет ли ее?

---

[1] С. Л. Франк писал в 1924 году в «Крушении кумиров»: «Когда теперь мы, русские, материально и духовно обнищавшие, все потерявшие в жизни, ищем поучения и осмысления у вождей европейской мысли, у которых большинство из нас привыкло раньше учиться, мы, заранее склонные к смирению, всегда чуждые национального самомнения и менее всего способные на него в эту несчастную для нас эпоху, с изумлением узнаем, что, собственно, учиться нам не у кого и нечему и что даже, наученные более горьким опытом наших несчастий, испив до конца чашу страданий, мы, пожалуй, сами можем научить кое-чему полезному человечество». (С. Л. Франк. Сочинения. М., 1990, с. 136).

[2] «Путь», 1927, № 8, с. 148.

Вера и мораль

ИМАМ АЛИ ИБН-АБИ-ТАЛИБ

ЗАВЕТ ИМАМА АЛИ ЕГО СЫНУ АЛЬ-ХАСАНУ

Вступительная статья и перевод с арабского АЛЕКСАНДРА ИГНАТЕНКО

Вечные истины бренного бытия

«Нужность ненужного» — такой оксюморон выбрал в качестве названия для своей книги философской поэзии знаменитый арабский пиит-слепец XI века Абу-ль-Аля аль-Маарри. Этими словами он сформулировал парадигму исламской морали и, пожалуй, всей исламской культуры.

Бытие верующего мусульманина проходит в мире, который, говоря строго, недостоин того, чтобы в нем существовал человек. Мир этот бренен и преходящ, низок и грязен. Средневековые этические трактаты о морали мир («жизнь дольнюю») на разные лады порицают и унижают.

Жизнь в этом мире — летние облака над пустыней; обещают они дождь, но его никогда не бывает. Жизнь в этом мире — тень от пробегающей тучи; соблазнит прохладой, а потом унесется дальше, оставив человека на убийственной жаре. Мир — это уродливая старуха под паранджой; прячет она свое уродливое лицо под покрывалом, и велико разочарование человека, который обнаруживает под ярким платьем иссохшее тело. Дольний мир — это ведьма; она губит того, кто ею соблазнится. Жизнь в дольнем мире — весенний цветок; ярок цветок и свеж, но увядает очень быстро. Жизнь в человеческом мире — сновидение; испытывает человек радость во сне, но пробуждается, видит, что то был сон, и охватывает его томление и тоска. Жизнь — это мед, смешанный со смертельным ядом; сладок он, но губителен. Мир — рыбак; он наживку на крючок насаживает не для того, чтобы рыб пищей снабдить, а чтобы их поймать. Мирская жизнь — мясник; взращивает он скотину и лелеет, чтобы потом зарезать на мясо. Жизнь человеческая — кокон шелковичного червя; наматывает на себя червь все новые и новые нити, и чем больше их, тем меньше шансов освободиться. Мир человеческой жизни —свинья; она пребывает в грязи, жрет все подряд, превращая съеденное в экскременты. Последнее сравнение должно вызывать особое отвращение у мусульманина, считающего свинью нечистым животным. И дольний мир, в котором мы живем, до сих пор в арабском языке называется идиоматическим выражением «мать вони» или «вонючка».

Однако наиболее часто встречающаяся метафора жизни в этом мире — дорога, по которой идет человек — путник, путешественник, странник. Человек совершает путешествие между двумя пунктами — от материнского чрева к могиле. Говорили моралисты и о перемещении из одного куска ткани — младенческих пеленок в другой — похоронный саван. Метафоризация жизни настолько распространена в исламском наследии, что сама жизнь человека становится своего рода метафорой. Жизнь — метафора. Это утверждение пришлось бы по душе парадоксальному Хорхе Луису Борхесу, большому поклоннику исламской культуры, под влиянием которой он находился («Алеф», «Абенхакан эль Бохари, погибший в своем лабиринте», «Поиски Аверроэса» и др.). Жизнь становится как бы необязательной.

Мир истинных ценностей — «мир иной», где «жизнь иная», то есть то существование, которое гарантировано человеку (вернее, человеческой душе) после телесной смерти. Только в посмертном существовании души возможно лицезрение Бога и Его ангелов, ощущение истинного блаженства в Раю. Такой ракурс рассмотрения человеческой судьбы еще больше уничижает жизнь в дольнем мире. Если земная жизнь преходяща, то посмертное существование вечно. Если здесь, на земле, приходится переносить тяготы и страдания, то у Божественного Трона душа испытывает только блаженство, не сравнимое ни с чем. Противопоставление дольнего мира и горнего мира, этой жизни и жизни иной подчеркивается парными сравнениями. Знаменитый средневековый исламский теолог Абу-Хамид-аль-Газали, прозванный «Доводом Ислама», приводит в одном из назидательных трактатов такую двойную метафору: «Представь, что есть у кого-то возлюбленная, и сказали ему: «Если ты встретишься с ней этой ночью, то больше никогда не увидишь ее. А если потерпишь одну ночь, то будешь с ней тысячу ночей, не зная усталости и скуки». И пусть велика его страсть и мучительно ожидание, он ведь потерпит вдали от нее одну ночь, чтобы насладиться близостью с ней тысячу ночей. А ведь жизнь дольняя не составляет и тысячной части от времени жизни иной, она — ничто по сравнению с той жизнью, и нет меж ними никакого сходства; мир иной бесконечен, и воображение не может охватить его протяженность.

Если человеческая земная жизнь — ничто, то существует великая опасность пренебрежения жизнью и, что из этого с необходимостью следует, асоциальности и аморальности. Ни одна социоорганизующая система представлений (а ислам с самого начала

возник в качестве таковой) не могла этого допустить. На протяжении всей истории ислама не прекращалась борьба против «материалистов», как их часто называют — дахрийюн, от слова дахр — «преходящее время», «век»; последние как раз абсолютизировали бренность жизни со всеми вытекающими последствиями. И тут-то и возникала уравновешивающая формула: нужность ненужного.

Две жизни существуют в сознании мусульманина в связке: одна определяется через другую, одна другой обусловливается. Дольняя жизнь приобретает осмысленность и наполняется содержанием благодаря тому, что становится предуготовлением к жизни иной. Окончательный итог всем деяниям человека будет подведен на Страшном суде. Но Бог в любой момент может призвать человека к себе и спросить у него отчет о поступках.

Бытие человека как бы разрывается между двумя полюсами. Это состояние прекрасно выражено в максиме, приписываемой имаму Али: «Трудись для дольнего мира, как будто ты вечен, и трудись для иного мира, как будто ты умрешь завтра!» Жизнь обретает религиозно-нравственную ценность. Для человека попроще мораль зиждется на своего рода договоре между Богом и верующим: творил добрые дела — попадешь после смерти в Рай, творил злые — попадешь в Ад. В первом — наслаждения, во втором — страдания. Более рафинированные адепты Ислама (среди них и мистики) стремились к очищению души воздержанием от мирских благ, совершением добрых поступков. Императив здесь был следующий: душа должна быть чистой в каждый момент, ибо Бог может призвать ее тогда, когда пожелает.

В любом случае происходит организация жизненного процесса, он подчиняется определенным правилам, ритуалам, обрядам. Свод этих правил, ритуалов, обрядов — Шариат, или Божественное Законоустановление. Шариат призван охватить все области жизни, и в нем наряду, скажем, с теми аспектами, которые являются, по нашей классификации, правовыми, есть и экономические, и гигиенические, и диетические, и иные. Есть и те, которые мы выделяем как моральные, этические.

Напряженность между противоположными ориентациями снимается в исламской морали через представление о мере, середине, равновесии. Крайности отбрасываются: недопустимо замыкаться только на жизни души, игнорируя тело; не пристало отказываться от материального достатка, но и богатство не может считаться достойной целью в себе; любая добродетель, при неспособности ее ограничить, превращается в порок, смелость — в безрассудство, щедрость — в расточительность, ум — в коварство... Правда, для менталитета мусульманина, в чьем сознании присутствуют противоположные полюса, присуще и стремление к оксюморону. Достаточно вспомнить «нужность ненужного». И еще пример из многих: «Велики в своей малости три вещи — огонь, болезнь и предательство».

Естественно, мусульманская мораль теоцентрична: Аллах является и источником нравственных норм (через Свою Книгу, Коран), и гарантом их исполнения (через Свой ежемгновенный промысел), и контролирующей инстанцией (через Свое всеведение), и, наконец, Судией.

Но и жизнь земная берет свое: в мусульманской морали на протяжении веков откладывались, проходя испытание временем, те нормы, которые были обусловлены потребностями человеческого общежития. Главная среди них (и она часто повторяется): относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы люди к тебе относились. И в этом смысле мусульманская мораль антропоцентрична.

В исламе нет всеохватного и общеобязательного свода моральных правил. Это вызвано в первую очередь неинституционализированностью этой религии, отсутствием в ней «центрального руководства» (типа папства или патриархии) и обязывающих каждого правоверного решений. Коран дает основы мусульманской морали, Пророк с его Сунной (собранием сообщений о делах и речениях) — недосягаемый нравственный идеал для мусульманина. Потом чередой идут Авторитеты, среди которых и Праведные халифы, и сподвижники Пророка, и великие ученые.

В этом ряду особое место занимает имам Али Ибн-Аби-Талиб (умер в 661 г.) — двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада, пользующийся уважением среди всех мусульман, а у шиитов считающийся носителем Божьей благодати. Послания, высказывания, речи, назидания, приписываемые имаму Али, собраны в книге «Путь красноречия» (окончательный вид ей придан в XI в.). Есть ученые, которые подвергают сомнению аутентичность этого собрания как произведения имама. Но нас здесь это не занимает: книга более тысячи лет является неотъемлемой частью исламской культуры. Она — буквально живое наследие. Вспоминается, что в начале 80-х годов этого века один журналист опубликовал в бейрутском журнале большое интервью с имамом Али, где ответами на вопросы были цитаты из «Пути красноречия». Но не только этим утверждается современность книги: как и произведение любого другого авторитета, «Путь красноречия» — книга для каждодневного чтения и неукоснительного следования — вчера, сегодня и завтра.

От бренного родителя, свидетеля времени, преклонного возраста, покорного веку, порицающего дольний мир, ночующего в жилищах мертвецов, покидающего те жилища назавтра,— дитяти, уповающему на недостижимое, идущему по пути тех, кто сгинул, мишени болезней, заложнику дней, вместилищу бед, рабу дольнего мира, покупателю обольщения, должнику случая, пленнику смерти, союзнику забот, спутнику огорчений, вехе бедствий, сраженному страстями, наследнику мертвых.

И вот, то, что мир от меня отвернулся, век против меня ополчился, а мир иной ко мне приблизился, помешало мне размышлять о других, заботиться о том, что после меня остается. Но когда я поглубже поразмыслил над собственными заботами, то лишился самомнения и самолюбования и увидел я, каков на самом деле. И это придало мне серьезности, в которой нет примеси игривости, честности, в которой нет и следа лжи. И увидел я, что ты — часть моя, даже более — весь я. И коли что-то тебя затрагивает, то и меня трогает; и смерть, коль тебя настигла, меня поразила; и стало меня в твоих делах заботить то, что заботит меня в моих делах. И написал я тебе, чтобы быть помощником тебе с моим заветом, что бы со мной ни случилось.

Завещаю тебе, сын мой, страх перед Богом, и обязательное исполнение Его наказов, и укрепление сердца твоего Его упоминанием. Крепко держись за вервие Его, и не будет тогда ничего крепче между тобою и Богом, если ты за него станешь держаться.

Оживляй сердце свое проповедью, умерщвляй его благочестием, укрепляй его достоверным знанием, освещай его мудростью, посрамляй его напоминанием о смерти, делай его несокрушимым через отрицание в нем человеческой природы, обучай его на несчастьях дольнего мира, предупреждай его о злобе века и нелепости сменяющих друг друга дней и ночей, снабди его сведениями о тех, кто был в прошлом, напомни ему то, что постигло бывших до тебя, пройди по их жилищам и стоянкам и посмотри, что они совершили, от чего уходили, к чему пришли и где остановились. И увидишь ты, что ушли они от любимых, поселились на чужой стороне. И станешь ты как бы одним из них. Так озаботься своим жилищем. И не продай мир иной за дольнюю жизнь.

Воздерживайся от слов о том, чего не знаешь, и от речей о том, о чем не спрошен. Не вступай на путь, на котором можешь заблудиться; лучше удержаться от блужданий, чем потом мучиться страхами. Приказывай дозволенное и сам поступай соответственно, отвергай запретное рукой и языком; не щади усилий, чтобы удалиться от тех, кто запретное совершает.

Напрягай все свои силы в служении Аллаху, и не будет тебе в этом упрека. Постигай глубины истины, где бы она ни была. Углубляй познания в религии. Приучай себя к терпению. Терпеливость — благой нрав. Находи для своей души пристанище во всех делах в твоем Боге, так ты дашь ей приют в пещере неприступной, в крепости могучей. В нужде обращайся к своему Господу, рука Его и дает, и лишает. Почаще проси помощи у Аллаха.

Уразумей мой завет и не отклоняйся от него. Воистину, лучшая речь — та, что приносит пользу. И знай, что нет блага в знании бесполезном. И недостойна изучения та наука, что не дает пользы.

Сын мой! Когда я увидел, что возраст мой стал преклонным, а тело мое немощным, начал я сочинять этот завет и вкладывать в него мудрые правила, поспешая передать тебе то, что в душе моей, пока не настал мой срок, опасаясь, как бы мнение мое не стало ущербным, подобно тому как стало слабеть тело мое, страшась, что опередят меня на пути к тебе суматоха страстей и соблазны жизни дольней и станешь ты как необъезженный жеребец. Ведь сердце юноши подобно незасеянной земле: что бросишь в нее, то она и приемлет. И посему приступил я к твоему воспитанию, пока не огрубело твое сердце, не стал занятым ум твой, чтобы ты серьезно принял то, чем снабдят тебя люди, обладающие опытом, а ты — будешь избавлен от труда спрашивать, будешь убережен от того, чтобы лечиться

горьким лекарством опыта. И так ты получишь то, что мы приобрели, и станет ясным для тебя то, что, быть может, было темным для нас.

Сын мой! Я, хоть и не прожил столько, сколько те, кто был до меня, рассмотрел дела их, поразмыслил над сообщениями о них, прошел по тем местам, где они обитали, и вот я — как бы один из них. Более того, получилось так, как если бы я со всеми теми их делами, что стали мне доступны, стал долгожителем и жил и с первым из них, и с последним. И понял я, что́ в тех делах светлое, а что темное, что́ полезное, а что вредное, и извлек я для тебя из каждой вещи суть ее, выделил прекрасное, отбросил неведомое. И озаботился в твоих делах тем, что заботит сострадательного родителя, и собрал жизненные правила для тебя, вступающего в жизнь, открытого веку, благонамеренного и чистосердечного. И начать порешил я с обучения тебя Божественной Книге и ее толкованию, законоустановлениям Ислама и его правилам, тому, что разрешено в Исламе и что запрещено, да так, чтобы не увести тебя к иному. И тут испугался я, что собьет тебя то, в чем разошлись между собою люди в своих взглядах и мнениях и запутались. Милее мне, чтобы ты познал трудную истину, чем увлечение тем, что может тебя заманить на путь погибели. И молю я, чтобы направил тебя Аллах в Своей милости, чтобы вывел Он тебя туда, куда ты устремляешься. И сей завет тебе я заповедал.

Знай, сын мой, что милее всего для меня было бы, если бы ты взял из моего тебе назидания покорность Аллаху и ограничение тем, что Он тебе определил делать, а также следование тому, как жили твои предки и добродетельные члены твоего семейства. Они ведь тоже смотрели на себя так, как ты сейчас на себя смотришь, и думали так, как ты думаешь, но потом пришли к тому, что стали следовать известному и воздерживаться от не вмененного в обязанность. А если душа твоя не примет сразу то, что они познали, то пусть удовлетворится твое стремление через уяснение и обучение, но не через погружение в сомнения и поиск превосходства в спорах. И прежде чем начать размышлять, воспользуйся помощью твоего Господа и испроси у Него удачи и сохранности от любого изъяна, который мог бы тебя в сомнение ввести или ввергнуть в заблуждение. И коли узнал ты достоверно, что очистилось твое сердце и смирилось, сложилось твое мнение и укрепилось и стала эта твоя забота единственной, то тогда поразмысли над тем, что я тебе разъяснил. Но если не сложилось в тебе то, что ты для себя желал бы — совершенное умозрение и полное понимание,— то знай, что ты поступаешь необдуманно и погрязаешь во мраке. А стремящийся к пониманию Религии не действует наобум и не путается в собственных мыслях, лучше этого избегать.

Вдумайся, сын мой, в заповедь мою. И знай, что Тот, кто владеет смертью, владеет и жизнью. Тот, кто творит, умерщвляет. И Тот, кто в прах превращает, новую жизнь дает. Тот, кто испытывает, избавленье дает. И не стоял бы дольний мир, если бы не было в нем от Бога блаженства и испытания человеков, и награды в жизни иной, и всего того, что мы и знать-то не знаем. И если случилось тебе засомневаться в чем-то таком, то сведи свое сомнение к неведению, ведь ты родился невеждой и после лишь стал что-то узнавать. И как часто не знаешь ты чего-то, и сомневаешься, и блуждаешь как в потемках, а потом к пониманию приходишь. Посему держись за Того, кто тебя сотворил, и дал тебе пропитание, и сделал таким, каков ты есть. И пусть Ему будет твое поклонение, к Нему твои просьбы, от Него тебе снисхождение.

Знай, сын мой, что никто так не возвестил о Боге, как сделал это Посланник (мир ему и его семейству!), так избери его себе путеводителем, к спасению ведущим. Я же не пожалею для тебя совета, ведь ты не увидишь в себе того, что я замечаю в тебе.

И знай, сын мой, что если бы у Бога был сотоварищ, то пришли бы к тебе его посланники, и увидел бы ты проявления власти и силы его, и узнал бы ты дела его и свойства. Но Он — Бог единый, как Он сам о себе сказал. Никто Его власть не оспаривает. Он не исчезнет никогда. Он всем предшествовал вещам — притом, что «предшествование» к нему неприло-

жимо; Он после всех вещей пребудет бесконечно. И слишком велика Его божественность, чтоб быть охваченной умом или сердцем. И если ты это познал, то действуй так, как всякий другой — в своей малости, в своей слабости, в своей немощи, в своей великой нужде в Господе, в покорности Ему, в боязни Его наказания, в надежде на Его снисхождение. А Он тебе не наказал ничего, кроме добрых дел, не запретил ничего, кроме порочных поступков.

Сын мой! Тебе рассказывал уж я о мире дольнем, о том, каков он есть, о том, как исчезает он и переходит из одного в другое состоянье; и рассказал тебе о горнем мире, о том, что уготовано живущим в нем. И разъяснил тебе на притчах, каковы они, чтоб ты уразумел те притчи и сообразно поступал. Подобен тот, кто дольний мир познал, тем людям, что отправились в поход, бесплодные места покинув, и устремились к плодородным, зеленью покрытым. Перенесли дороги трудные, с друзьями расставания, лишения походов, скудность пищи и вот — пришли в обширную страну, чтоб обрести покой. Не ставили они страданья ни во что, готовы были на любую трату, и не было для них милее ничего, чем то, что приближает их к стране обетованной, подводит к цели.

А тот, кто миром дольним очарован, похож он на людей, что жили в месте плодородном, но поменять его решили на бесплодную страну, и ненавистно, отвратительно для них расстаться с тем, что было, направиться к тому, к чему они влекомы.

Сын мой, душа твоя пусть станет весами верными тому, что меж тобою и другими. Ты делай для других лишь то, что благом для себя считаешь. Не делай для других того, что самому тебе нелюбо. Не обижай, как не желаешь быть в обиде. С добром иди к другим, как хочешь, чтоб тебе добро творили. В себе то порицай, что и в других ты порицаешь. То, чем в себе доволен, ты с удовольствием встречай в других.

О том лишь говори, что знаешь, пусть даже будет малым знание твое. Не говори другим того, что самому тебе немило слышать.

Тщеславие от правильности в сторону уводит, оно — беда умов. Трудись, но не копи богатства для кого-то. Коли наставлен был на верный путь и цель свою достиг, твоя покорность Богу пусть будет наивысшей.

Знай, что пред тобою дальний и тяжелый путь и ты его пройти обязан так, как нужно. Так оцени размер припаса и силы рассчитай, не нагружай себе на спину столько, что понести не сможешь, такая тяжесть станет мукой. И если среди неимущих увидишь ты того, с кем поделиться можешь ты припасом, чтоб часть его тот неимущий пронес до Страшного суда, когда тебе та доля пригодится, так нагрузи его своим припасом. И если сможешь, пусть доля та побольше будет, а то так может статься, что станешь в ней нуждаться и не найдешь. Прибегни к помощи того, кому ссужал ты деньги, когда богат был, пусть он тебе поможет в час нужды. И знай, дорога та крутая, и тот, кто легок на подъем, тому идти сподручней, чем обремененному, а тот, кто медлит,— в худшем положении, чем тот, кто быстр. И ты придешь, как ни мечись, к блаженству райскому иль к мукам адским. Так вышли же вперед дозор и подготовь себе жилище, ведь после смерти ты не сможешь исправить прегрешения, вернувшись в дольний мир. Знай также, Тот, в чьей длани все, что в небе, на земле хранится, позволил возносить Себе молитву, и поручился за ответ, и наказал тебе просить Его, чтоб дал Он, и к милосердию взывать, чтоб был Он милосерден. И не поставил никого, кто мог бы стать преградой промеж тобой и Им, не сделал никого заступником пред Ним, и не лишил тебя Он милости Своей. Пусть ты неверно покаянье совершил, Он не спешит тебя карать, тебя не попрекает, если ты раскаялся, и не позорил Он тебя, когда ты был того достоин, не наказал тебя Он строго, а принял Он твое раскаяние, на преступление твое Он преступленьем не ответил и не лишил тебя надежды на милосердие Свое. Но зачел Он тебе твой уход от греха как благодеяние, посчитал твой проступок за один, а одно твое доброе дело за десяток и распахнул пред тобой врата покаяния. И коли ты призвал Его, твой зов услышал. А испросил ты избавленья — Он знает, в чем оно. Свои ты нужды

до Него донес и душу показал Ему свою, на горести свои Ему пожаловался ты, раскрыл Ему свои печали, испросил Его помощи в делах, и попросил ты столько милостей, что дать никто, кроме Него, не может,— и долгий век, и тела здравие, и пропитание в достатке. А Он вручил тебе ключи Своих хранилищ — позволил с просьбой обращаться, и ты, когда захочешь, молитвой растворяешь врата Его благодеяний и призываешь ливень милосердия Аллаха. Не будь обескуражен тем, что не всегда Его ответ приходит сразу, дар соответствует тому, кто одаряем. Быть может, запоздал ответ, чтоб оценил награду по достоинству тот, кто просит, и дар, кто ждет. А может, испросил ты нечто, но не было дано тебе, чтоб получил ты рано или поздно лучшее, чем то, или лишен был потому, что благо для тебя лишенным быть чего-то: ведь бывает так, что ты стремишься к тому, в чем гибель вере. Так обращайся с просьбой к Богу о том, чья красота с тобой пребудет, вред не сохранится. Богатство не останется с тобой, ты не останешься с богатством.

И знай, что создан ты для бытия иного, а не для дольней жизни, исчезнешь ты, а не пребудешь, умрешь, не будешь вечно жить. Живешь ты в доме, что взаймы получен, в конце пути, за ним уж — жизнь иная. А ты бежишь от смерти, не надеясь от нее укрыться. Она тебя настигнет, так будь же наготове, не допусти, чтобы настигла тебя она, а ты в плохом мгновенье — проступок совершил и не раскаялся еще. И если так случится, то ты погубишь душу.

О сын мой! Почаще вспоминай о смерти, о том, что случится с тобой и к чему ты придешь после смерти. И ты ее встретишь настороже и укрепившимся, а она тебя не застанет врасплох. Не прельщайся пребыванием людей в дольней жизни, их бешеной привязанностью к ней. Ведь Бог тебе о ней сообщил, а она пред тобой свою погибель оплакала, свои язвы тебе показала. Те, кто дольнюю жизнь населяет,— псы лающие, львы лютые, один на другого рычащие, и могучий сжирает слабого, большой покоряет малого. Они — скот стреноженный, они же — скотина заблудшая, путы утратившая (игра слов; вариант: скотина заблудшая, разум потерявшая.— *А. И.)*, что отправилась в неизвестную местность; они — стада, пожирающие беду в долине трудов, нет у них пастыря, направляющего на верный путь, и нет погонщика, приводящего на хорошее пастбище. Повела их дольняя жизнь по дороге слепцов, отвратила их взоры от маяка, направляющего на истинный путь, и заблудились они в смятении, и утонули в ее благах, и сделали ее своим Господом, и стала она играть с ними, а они играть с ней, и позабыли о том, что за дольней жизнью.

Но понемногу рассеивается мрак, и будто паланкинов череда, и те, кто поспешал, уже на месте: ведь тот, кого несут, сменяясь, ночь и день, вперед идет, на месте оставаясь, он — в путешествии, хотя и неподвижен.

И знай наверняка, что не исполнится твоя надежда, что срок назначенный ты не изменишь, и ты такой, как те, что были до тебя. Так к малому стремись и будь умерен в добывании. Ведь сколько раз стремление к беде приводит. И не всякому стремящемуся дается пропитание. А не каждый, кто умерен, лишен прибытка. Будь выше низкого поступка, пусть даже он ведет к желанной цели, ведь не найдешь замены душе своей, что ты при этом расточаешь. Не будь рабом других, ведь сотворил тебя Аллах свободным. То не является добром, что достигается чрез зло, то не покой, к чему приходишь через тяготы.

Ты скакунам желаний воли не давай, ведь принесут тебя они к тем водопоям, где вода — погибель. И сделай, если сможешь, так, чтоб меж тобою и Аллахом никто не встал, кто обладает благом, в котором ты нуждаешься. Ведь ты свое возьмешь и так, свою получишь долю. А малое от Бога крупнее и почетнее, чем то большое, что тварь Его тебе вручит, пусть даже будет то большое всеохватным.

Случилось промолчать невольно — исправить это легче, чем то, что скажешь не подумав. Ремень затянешь — в бурдюке все сохранится. То, что в руке ты сохранишь, милее для меня, чем то, что из чужой руки получишь. Пусть будет слаще для тебя отчаяния горечь, чем просьбы к людям,

а ремесло и воздержание — милее, чем богатство и распущенность. Нет более способного свой сохранить секрет, чем тот, кому секрет принадлежит. Нередко человек стремится к тому, что вредно. Велеречивый не нести не может вздор. Кто размышляет — прозревает истину. Водись с людьми благими, и одним из них ты станешь, чурайся злых людей — от зла ты удалишься. Вредная пища запретна. Обидеть слабого — чрезмерная несправедливость. Бывает доброта во зло, суровость же бывает добротой. Случается, лекарство недугом становится, болезнь — лекарством. Бывает, присоветует хорошее неспрошенный и ошибется тот, чьего спросил совета. Не уповай на пожелания благие, они — товар для мертвецов. От испытаний разум крепнет, увещевание — вот лучший опыт. Лови момент, пока не наступила перемена. Не всякий, кто стремится, постигает, не всякий, кто ушел, вернется. Не растранжирь припаса, что сбережен для жизни горней. Любое дело след оставит. Тебя постигнет то, что предназначено тебе. Купец рискует. Порой и малое желанней, чем большое. Нет блага в неухоженном источнике, как пользы нет от друга, что подозренье вызывает. Будь снисходителен ко времени своему, коль удалось тебе его объездить, как молодую верблюдицу. Не рискуй чем-то в стремлении получить большее. Берегись, чтобы не понес тебя скакун враждебности.

В отношениях с братом своим принуждай себя связи с ним сохранять, если он стремится к разрыву; угождать ему, если он отвернется; проявлять к нему щедрость, если он пожадничает; приближаться к нему, если он удаляется; быть мягким к нему, если он грубит; прощать его, если он совершил проступок,— будто ты раб его, а он — твой благодетель. Но не делай этого не к месту и в отношении несоответствующих людей. Не бери в друзья врага твоего друга, ведь так ты станешь своему другу врагом. Будь искренен в назидании брату своему, о хорошем придется говорить или о плохом. Гнев свой пей мелкими глотками, не знал я глотков более сладких, чем эти. Будь мягок с тем, кто груб с тобой, и он станет склоняться к мягкости с тобой. Победи врага своим достоинством, сие — сладчайшая победа. Если хочешь совершить разрыв со своим братом, то прежде оставь ему нечто, что позволит тебе вернуться к нему когда-то. Не разочаровывай того, кто счел тебя добрым.

Не предавай забвению право брата твоего, надеясь на то, что вас связывает, не будет тебе братом тот, чье право тобою попрано. Не имей интереса в том, кто отказывается от тебя. Да не будет стремление брата твоего к разрыву крепче, чем твое — к сохранению связи; да не будет его плохое отношение сильнее, чем твое хорошее; да не будет твоя несправедливость больше, чем того, кто с тобой несправедливо обошелся: ведь он себе во вред, а тебе на пользу старается. Да не будет огорчение наградой тому, кто тебя обрадовал.

Знай, сын мой, что пропитание бывает двух видов — то, которого ты желаешь, и то, которое тебя желает. И если ты его не настигнешь, так оно тебя настигнет. Что гаже в человеке, чем покорность при нужде и заносчивость в богатстве? В дольней жизни обладаешь ты тем, чем жилье укрепить сможешь в жизни иной. Если скорбишь ты о том, что из рук твоих ускользнуло, то скорби обо всем том, что в них и не бывало. Суди о том, чего не было, по тому, что случилось. Ведь дела похожи одно на другое. Не будь из тех, кто пользы не извлекает из назидания, если только не допекло его; ведь разумный назидается притчами, а скоты назидаются только битьем. Отбрось от себя приходящие тревоги решимостью, что дается терпением, а также доброй надеждой. Кто отступил от меры, совершил неправедное. Пусть спутник соответствует пути. Друг — тот, чья дружба отсутствием проверена. Огорчения сопутствуют неразумию. Порой и близкий более далек, чем дальний. Порой и дальний ближе ближнего. Чужак — тот, кто никого не любит. Себе пути закрыл всяк, право преступивший. Кто на себя надеется, ступает тверже, а наикрепчайшая та связь, что меж тобой и Аллахом. Кому ты безразличен, тот твой враг. Бывает разочарованье достиженьем, коли к погибели вела мечта. Проявится всяк недостаток, не всяк удобный случай плод приносит. Бывает, зрячий промахнется, слепец

же выйдет к цели. Зло отложи, его ты совершить всегда успеешь. С глупцом расстаться — все равно что повстречаться с умным. Кто времени доверился, того оно предаст, кто время возвеличил, того оно унизит. Не всякий, кто стрелял, попал. Сменяется власть, и меняется время. О спутнике спроси, в путь отправляясь, и о соседе — покупая дом. Не говори о том, что вызывает смех, пусть даже речь других передавая. Не советуйся с женщинами: их мнение — глупость, их решимость — бессилие; оберегайся от их взглядов за покрывалом, что на них набросил. Чем гуще покрывало, тем им больше пользы. Из дома если вышли они, то это так, как если бы ты в дом привел того, кому не доверяешь. И если сможешь, чтобы они не знали никого, кроме тебя, то сделай так. Не заставляй женщину делать то, что превышает ее возможности, ведь женщина — ароматный цветок и, как он, бесполезна. Своей щедростью не преступай того, что она способна воспринять. Коль можешь обойтись ты без нее, то лучше к ней не обращайся. Не ревнуй без причин, это и правильного поведения женщину может ввергнуть в порок, и невинную — в сомнения.

Для всякого человека среди слуг твоих назначь занятие; нельзя, чтобы люди, что тебе служат, слонялись без дела.

Будь щедрым с племенем своим, ведь соплеменники твои — крыло, которое в полет тебя возносит, тот корень, что тебя питает силой, рука, которой ты хватаешь.

Вручи Аллаху веру и жизнь свою. И у Него спроси судьбу благую в делах твоих и близких и далеких, в сей жизни и иной. И мир тебе!

Критика

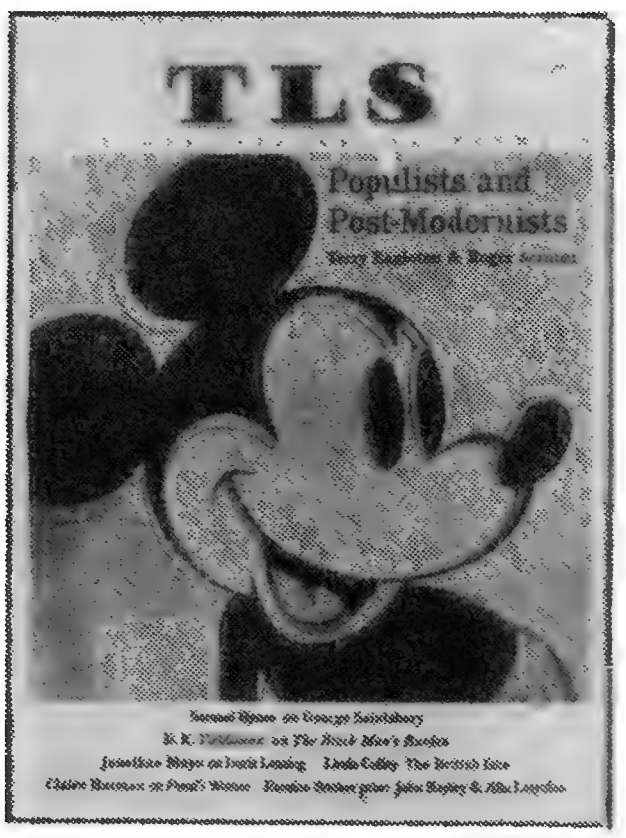
Литературная пресса мира

«THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT»

Новая рубрика раздела критики посвящена тем зарубежным периодическим изданиям, которые непосредственно участвуют в процессе создания и осмысления мировой литературы. Это родственники российских толстых журналов и литературных еженедельников, делают их наши коллеги. Издания эти не похожи друг на друга, различны их тиражи, различна и степень их влияния на культурную и общественную жизнь своей страны. Но каждое из них неповторимо и интересно, потому что на этих страницах ощутимо биение живого пульса литературы.

«ИЛ» готовит целую серию материалов, в которых представит читателю ведущие литературные журналы и газеты разных стран. Мы расскажем о том, как они делаются, какова их эстетическая и общественная позиция, познакомим читателей с лучшими или наиболее характерными публикациями. Открываем рубрику одним из самых авторитетных литературных еженедельников планеты «Таймс литерари сапплмент», или, как его называют сокращенно, «TLS».

О самом еженедельнике рассказывает поэт и переводчик Г. Кружков, недавно побывавший в редакции «TLS». Кроме того, мы предлагаем вашему вниманию две статьи, привлекшие внимание читающей публики. Первая посвящена Луи Альтюссеру, философу-марксисту, одному из идейных отцов молодежного бунта 1968 года. Вторая представляет новый, непривычный взгляд на заговор немецких военных против Гитлера 20 июля 1944 года.



Г. КРУЖКОВ

ЛЮБИТЕ «TLS» — ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

Если вы хотите следить за литературной жизнью в Англии и быть в курсе всех книжных новинок, вам не обойтись без «Литературного приложения к «Таймс» — «The Times Literary Supplement» («TLS»).

Правда, есть еще «Лондонское книжное обозрение», но оно уступает «TLS» по разным параметрам, и прежде всего в периодичности: «Обозрение» выходит дважды в месяц, а «Приложение» — еженедельно.

В таком случае возникает вопрос, чем оно отличается от нашей «Литературки»? А тем и отличается, что «Литературная газета» — это именно газета, нацеленная на злобу дня, последние новости и сенсации. А «TLS» скорее журнал — хотя и на газетной бумаге, и объемом не больше «Литературки» (32 полосы, но вдвое меньшего формата). Тираж его составляет всего 30 тысяч, но реальных читателей

вчетверо больше: ведь «TLS» поступает во многие библиотеки по всему миру. Основной, господствующий жанр на страницах английского «Литприложения» — рецензия или обзор. В любом случае плашки с крупно набранными названиями и выходными данными рецензируемых книг всегда на виду — рядом с заголовком статьи. Не нужно вчитываться в текст, чтобы понять, о чем идет речь,— вежливость элементарная, но очень приятная.

Чтобы составить представление о содержании «TLS», возьмем наудачу какой-нибудь номер — хотя бы вот № 4669 — и совершим небольшую экскурсию по его страницам (с осмотром некоторых видов).

В первую большую статью «Маркс и убийство» заглянем мельком (читатель имеет возможность прочесть ее целиком) — она посвящена французскому философу-марксисту Луи Альтюссеру в связи с выходом в Париже нескольких книг о нем, включающих автобиографии и другие материалы.

Следующая статья — о Георге Лихтенберге (1742—1799), немецком ученом и эссеисте, авторе знаменитых романов. В Германии вышли новые исследования о нем, впервые опубликованы записи, которые он вел много лет,— «Sudelbücher», или «Расходные книги», как он называл их, используя бухгалтерский термин. Джереми Адлер, профессор Лондонского университета, считает «Sudelbücher» главным писательским достижением Лихтенберга. Этот автопортрет, беспримерный по откровенности и глубине самоанализа (мы вправе употребить термин XX века, настолько мысль Лихтенберга опередила свое время), эта, как он сам выразился, «история моего духа и моего несчастного тела» вправе занять почетное место среди самых потрясающих книг исповедального жанра.

Лихтенберг был выдающимся физиком, исследователем электричества, одно из его открытий легло в основу нынешнего принципа ксерокопирования. Но, должно быть, не зря Фрейд в письме Эйнштейну писал, что «психолог Лихтенберг еще более велик, чем физик». Кое в чем он, несомненно, предвосхитил Фрейда, подчеркивая глубокие связи между интеллектом и сексуальностью, жизнью тела и души. Его совсем не поверхностный гуманизм поистине выстрадан в той героической борьбе, которую он вел всю жизнь со своей недужной плотью. Но не memento mori было его девизом. Он предлагал проект часов, которые должны были выбивать в четверть каждого часа: «Помни...», в половину: «Помни, что ты...» и каждый час: «Помни, что ты человек».

Уже по первым статьям мы видим, что «TLS» не ограничивается лишь английской литературой. Что подтверждается следующими рецензиями: Эдварда Тима — на собрание сочинений Йозефа Рота (Кёльн, на немецком языке), Энтони Бёрджесса — на «Путешествия во сне и в воображении» шведа Артура Лундквиста и Стивена Льюкса — на книгу Вацлава Гавела «Летние размышления».

Книга Гавела (с подзаголовком «О политике, морали и гражданском сознании») интересна своей донкихотской попыткой утвердить рыцарские принципы в политике. «Я глубоко убежден,— пишет автор,— что политика в целом не является бесчестным делом, а если частично и является, то лишь постольку, поскольку ею занимаются бесчестные люди». Он утверждает, что мнение о лживости и нечистоте политики нарочно распространяется теми, кто хочет «отвратить людей от участия в общественных делах».

И вот что удивительно. Я читаю и чувствую, что снова, несмотря на весь наш горький опыт, почти готов в это поверить.

Следующие три страницы идут под шапкой «Русская литература». Почти целый разворот отведен рецензии профессора Джона Бейли на сборник «Бродский глазами современников», изданный на английском языке издательством «Макмиллан» (составитель Валентина Первухина).

Разумеется, нет ныне другой фигуры в русской поэзии, столь возмущающей ее магнитное поле. Само присутствие Иосифа Бродского «где-то там», в Америке — как железный топор, подложенный под компас корабля, путающий понятия севера и юга, метрополии и эмиграции.

Естественно, что наряду с высокими и сверхвысокими оценками возникает и «бунт на борту», недовольство ощущаемой порой авторитарностью, почти «сталинизмом» его поэзии (Анатолий Найман), а также претензией всегда прокладывать курс (Виктор Кривулин).

Вообще, до единодушия в мнениях далеко. Борис Мейлах, например, отмечает подавление эмоциональности в стихах Бродского, Евгений Рейн делает акцент на массированном введении прозаического в поэзию, а Александр Кушнер, наоборот, называет его «последним романтиком в мире». Но, может быть, ближе всех к истине оказывается рецензент книги Джон Бейли, замечающий, что Бродский (как и Джон Донн) постоянно разоблачает в своих стихах все человеческие и поэтические иллюзии, разоблачает нервно и ожесточенно,— но для того, чтобы снова пустить их в ход, лишь повернув по-своему, по-другому.

Еще более важным, чем влияние Донна, профессор Бейли считает родство Бродского с Оденом, чье имя красной нитью проходит через всю статью. «От Жуковского и Тютчева до Ахматовой, Пастернака и Мандельштама,— пишет рецензент,— русские поэты всегда соблюдали молитвенную важность, характер и тон обряда в своих стихах. Акмеизм Мандельштама, его «тоска по мировой культуре» таинственно совместимы с этим глубоким и почти набожным консерватизмом, а новая бродскианская легкость, увы, нет. И хотя увлечение Оденом — почти до самоотождествления себя с этим англо-американским поэтом — пришло, когда Бродский и сам уже вполне сложился как зрелый художник, в нем, несомненно, с самого начала жило сходство с оденовской «харизмой», тем особым обаянием, подобного которому в русской традиции прежде не существовало».

В дополнение к статье опубликовано английское стихотворение «Fossil Unwound»; я попытался переложить его на русский. Томас Венцлова, литовский поэт, профессор Йейльского университета и друг Бродского, пишет: «Я предпочитаю его русские стихи английским, а русские оригиналы его собственным переводам их на английский». В данном случае я не знал, существует ли русская версия этого стихотворения, тем интереснее было посмотреть, что у меня выйдет. Замечу, что в названии явная аллюзия на поэму Шелли «Prometheus Unbound» — «Освобожденный Прометей (или раскованный)».

ИОСИФ БРОДСКИЙ

Архизмей раскованный

Шесть часов пополудни. Губу брезгливо наморщив,
Сперматозавр Королевский влезает в ворота рая.
— Музыка, милая Хельга, это лишь щекочущий кончик рояля.
Посмотри, как пальмы враскачку трутся в окошке.
А это малыш твой, Хельга? — Доброе утро!
Он собирает марки, невинная крошка...
Что у него под альбомчиком?.. Кама-сутра!
Подойди-ка ближе, Эдипчик! Мы, сфинксы, совсем не страшны.
Бойся лишь пустоты,— сказал Торричелли.
Любовь — томление водонапорной башни
по открытому крану. Вот это, Хельга, мученье!
Я чуть не весь плейстоцен пропахал в первобытном раже;
Группенсексфюрер — мое почетное званье.
О! Как чудовищно я заряжен:
сунуть палец в зад — и полыхнет замыканье.
Геологию щупать скучно — сплошные кремни,
но Историю я имел — это мне знакомо.
Монумент ее жертвам надо ставить не у тюремной
стены, а у главных ворот роддома.
Что за век! отбомбятся — и сразу пускают сопли,
хочешь в горло вцепиться — «бабочка» вязнет в пасти.
Способ родиться один, а подохнуть — сотни,
нищий выбором в шоке — вот привалило счастье.

Перевертываем страницу — ба, вновь знакомые лица! Рецензия на монографию об Андрее Платонове; Виктор Ерофеев пишет о книге Томаса Сейфрида.

Главный пункт статьи — непереводимость прозы Платонова, писателя загадочного и не похожего ни на кого из своих современников. В. Ерофеев сравнивает его с Гоголем, который тоже, как говорится, «весь сидит в языке» и остается поэтому «вещью в себе» для западного читателя. Но Платонов, по мнению рецензента, еще более непереводим, чем Гоголь.

В. Ерофеев подступает к этой проблеме с разных сторон. Сперва он делает упор на психологической нестабильности обоих великих писателей. Непереводимость, пишет он, есть клинический симптом распада логических связей, грамматической и синтаксической дисгармонии. Кажется, что нас уже готовы завести в дебри абстрактного психоанализа. Но, к счастью, этого не случается. Ближе к концу Ерофеев нащупывает суть дела: в эпоху социального кризиса, столкновения двух культур, яростно отрицающих друг друга, Платонов спускается глубже, к онтологическим основам жизни, отсюда потрясающая новизна его языка, стремящегося «поженить» изначальные сущности, найти подлинные слова взамен условных формул.

Сможет ли книга Сейфрида объяснить Платонова английскому читателю или привлечь к нему их любовь? На этот вопрос Ерофеев отвечает отрицательно. Главная польза книги, однако, в том, что она помогает утверждению мифа о недооцененном, непонятом писателе, «в один прекрасный день (цитирую) этот миф породит переводчика под стать задаче».

Дальше следует французский раздел: статья о так называемой «новой прозе» (добрая дюжина книг попадает в этот обзор), рецензия на Полное собрание пьес Ионеско и Полное собрание сочинений Жака Превера.

Подумать только, этот анархист, бунтарь, разбрасывавший свои стихи направо и налево, этот «песенник» Превер удостоился издания в академической серии «Плеяда»! 1452 страницы! Одних примечаний 500 страниц мелким шрифтом! Он сам лучше всех оценил бы иронию судьбы. Мастер пародии и веселой игры со словом, поэт политический и лирический, сюрреалист и социалист, он прежде всего был свободным человеком, фанатиком свободы — и вырывался из любых пут, едва только начинал ощущать их мягкую настойчивость.

И вот интересно: чем личностней, независимей он был, тем понятней для «человека с улицы», родней для «коллективного сознания». Увы, доказано, что прелесть французской песни непереводима на другие языки...

Ты помнишь, Барбара,
Как дождь шумел с утра
Над набережной Бреста?
Вода бежала струясь,
И ты шагала смеясь
В лучах и брызгах дождя...
О Барбара!
Этот дождь над заливом,
Над причалом и молом,
Над линкором красивым,
Над матросом веселым...
О Барбара!
Кто мог подумать о том,
Что завтра грянет война
И ты пойдешь под дождем
Железа, крови, огня?.. [1]

Мы перевалили через середину журнала. Дальше — комментарии, письма читателей (отдельная страница), религия, искусство (включая театр и кино), текущая английская «фикшн» (свежие романы), история (на этот раз — покушение на Гитлера в 1944 году) и два разворота, посвященных итальянской литературе, в том числе Итало Кальвино.

Уже это перечисление дает понятие о колоссальной широте журнала, о его тематическом спектре. Впрочем, у каждого номера свой уклон. Скажем, следующий,

---

[1] Перевод автора статьи *(Прим. ред.)*

от 2 октября, почти не касается иностранной литературы, он посвящен (как свидетельствует с первой страницы большой портрет в романтической черной шляпе) столетию со дня рождения Альфреда Теннисона.

Рецензируются биография поэта и другие книги, вышедшие к юбилею. Особый интерес представляет писательская дискуссия о Теннисоне — двенадцать мини-эссе, среди авторов которых такие известные имена, как Том Полин, Кингсли Эмис, Шеймас Хини.

В свое время Джеймс Джойс крепко припечатал поэта-лауреата, назвав его Лаун-Теннисоном. Тогда, в 20—30-х годах, его репутация упала до самой нижней отметки. Ныне, когда наследие викторианства переосмысливается, он оказался в центре самых противоречивых мнений — от яростных нападок до благодарного восхищения. Сравните:

«...Все, что фальшиво, бессодержательно, автопародийно, нечестно, лживо и безнадежно дохло в культуре, воплощено в его стихах» (Том Полин).

«Для меня он и впрямь, как когда-то его назвал Элиот, самый печальный из английских поэтов, если только слово «печальный» может означать не изящную скорбь, а глубокое уныние, близкое к отчаянью» (Кингсли Эмис).

Кстати, Элиот остается самым обсуждаемым (без соперников) поэтом в Англии. Обзор последних работ о нем с экзотическим названием «Тайное сердце шамана» охватывает целых 19 книг, вышедших за последнее время.

Но простите меня — я, кажется, увлекся, то есть зачитался. От «TLS» действительно трудно оторваться. Здесь все — и крупнейшие события культуры, и книжная текучка, и английская литература, и «заморская» (как говорят англичане), искусство, история, философия, политика...

Писать в «TLS» престижно, поэтому круг его авторов включает самые авторитетные имена критиков, писателей и академических ученых.

Но вот что любопытно: «академичности» в худшем смысле этого слова на страницах «Литприложения» нет. Статья, адресованная лишь специалистам, то есть обитателям замкнутого научного гетто, неизбежно отдает провинциальным духом.

«Если ученый хочет, чтобы образованная публика оценила его работу, он обязан избегать этой провинциальности. А для этого необходимо постоянно стремиться смотреть на специальные вопросы с неакадемической точки зрения»,— пишет поэт и критик Стивен Логан.

«TLS» избегает занудности. Но тут не любят и противоположного — расхлябанных рассуждений о том о сем. Недаром даже Жак Деррида, один из идолов современной литературной теории, подвергается жесткой критике в статье С. Логана. Именно за нарочитую темноту, вычурность своего письма.

Неудивительно. Ведь логике, умению четко излагать свои мысли учат в английской школе на уроках литературы. И это главное, чему там учат. Стоит послушать, как четко, по пунктам излагают свое мнение пенсионеры и домохозяйки в телефонных радиодебатах!

«Рассматривать детали, не получив представления о целом,— все равно что фотографировать кирпичную стену с расстояния в шесть дюймов»,— это из стандартного английского учебника для пятого класса.

«Литературное приложение к «Таймс» выходит с 1902 года. Теперь, правда, к газете «Таймс» оно никакого отношения не имеет — это совершенно самостоятельное издание. Название — дань традиции: англичане трижды подумают, прежде чем что-нибудь менять. Да чаще всего так и останутся в задумчивом состоянии.

Стоит подчеркнуть, что «TLS» — не узколитературный журнал. Наоборот. Все проблемы, волнующие современный мир, так или иначе находят отражение на его страницах — в зеркале книг, в многогранной призме литературной критики.

В общем, снова скажу: читайте «TLS» — источник знаний.

МАРК ЛИЛЛА

МАРКС И УБИЙСТВО

Демон Альтюссера и бегство от субъективности

Ян Мулье Бутан. «Луи Альтюссер. Биография». Том первый: «Возникновение мифа». Париж.
Луи Альтюссер. «Будущее длится долго» (приложение: «Факты»).
Издатели Оливье Корпе и Ян Мулье Бутан. Париж.
Клеман Россе. «В это вот время». Париж.

Серым ноябрьским утром 1980 года французский философ-марксист Луи Альтюссер задушил свою жену Элен у себя в квартире в здании Высшей нормальной школы (Эколь нормаль). Через несколько часов «скорая помощь» отвезла его в психиатрическую больницу, где он и был оставлен по решению суда, посчитавшего его не способным отвечать за поступок, которого философ, если ему верить, даже не помнил. В то время многие в Париже подозревали, что не обошлось без интриг бывших normaliens [1], сделавших все, чтобы сберечь и оправдать бывшего своего наставника. Но скоро выяснилось, что всю взрослую жизнь Альтюссера терзали тяжелые депрессии, а в клиниках он провел почти столько же времени, сколько в Школе. Тут публика убедилась, что «дело» из происшествия не выйдет, и потеряла к нему интерес. И если Альтюссер-убийца поминался, то только наряду с самоубийственным прыжком Никоса Пуланца с Монпарнасской башни и смертью Мишеля Фуко от СПИДа как еще один жутковатый эпизод из последнего акта «la pensée 68 [2]».

Какими бы мотивами и целями Альтюссер ни руководствовался, это было еще и само-, а не просто убийство. После события он отошел от профессиональной и общественной жизни, бóльшую часть следующих десяти лет провел в психиатрических клиниках и тихо скончался в 1990 году. К этому времени его почти забыли, и не только из-за убийства. Век Альтюссера на сцене французского общества был действительно краток. Он громко начался в 1965 году, когда Альтюссер выпустил две нашумевшие книги: «Pour Marx» [3], сборник статей, и совместную с учениками работу под названием «Lire le Capital» [4]. Эти работы создали ему имя ведущего марксиста поколения. Но в конце семидесятых, после выхода книг Солженицына о ГУЛАГе и после резни в Камбодже, французы, в общем, разочаровались в Марксе. Альтюссера по-прежнему широко читали и обсуждали итальянские и латиноамериканские коммунисты, уважали левые в британских и американских университетах. Но для нескольких тысяч парижан, которые и составляют le monde entier [5] для всякого французского интеллектуала, он уже перестал существовать.

Поэтому не без удивления узнаешь, что об Альтюссере, его трудах и его «поступке» во Франции прошлой весной жарко спорили. Причина такого оживления — выход сразу двух автобиографий Альтюссера. Первая, краткая, под названием «Les Faits» [6], написана в 1975 году. Это захватывающий документ, в котором смешаны моменты просветления и буйного помешательства: Альтюссер описывает воображаемые встречи с папой Иоанном XXIII и де Голлем, делится мечтой ограбить банк и страхом, что за ним гонятся Красные бригады. Вторые записки, «L'Avenir dure longtemps» [7], длиннее и были написаны в 1985 году, чтобы «объяснить», как его ранние переживания подготовили почву для преступления. Вторая книга уклончивей и гораздо туманнее. Есть в ней что-то и от раздевания на людях, потому что здесь Альтюссер изображает себя интеллектуальным мошенником, читавшим Маркса мало, Фрейда еще меньше, а Ницше вовсе не читавшим. Одновременно с этими столь непохожими автобиографиями вышел первый том обширной биографии, которую написал один из его учеников, Ян Мулье Бутан, и которая содержит уже третью версию раннего периода его жизни. По вновь открытому делу Альтюссера уже напечатано несколько полемических статей, и за книжицей Клемана Россе на эту тему, наверное, выйдут и другие, поосновательнее.

Жгучее любопытство к этим марксистским «замогильным запискам» налицо. Но как ни оценивай марксизм Альтюссера, есть все основания к скепсису, когда на подобном материале в очередной раз начинают доискиваться биографических истоков философской мысли. После случая Хайдеггера (где ставки высоки) и случая Де Мана (где они ничтожно малы) возникает сомнение, можно ли чему-нибудь научиться, вороша кости сравнительно второстепенного философа, к тому же, по общему мнению, тяжелобольного и социально опасного?

Научиться, как ни странно, есть чему. Независимо даже от их психологической ценности (а речь все-таки о подлинных дневниках интеллигентного сумасшедшего) книги Альтюссера дают редкую возможность заглянуть за кулисы послевоенной жизни французских интел-

---

[1] Студенты Высшей нормальной школы. *(Здесь и далее прим. перев.).*
[2] Мышление 68-го года *(франц.).*
[3] «За Маркса» *(франц.).*
[4] «Читая «Капитал» *(франц.).*
[5] Весь мир *(франц.).*
[6] «Факты».
[7] «Будущее длится долго» *(франц.).*

лектуалов. И из них, как из многих недавно вышедших биографий и воспоминаний, видно, что радикальная французская философия этого периода гораздо слабее связана с большой историей или с нашей «постмодернистской» эпохой, чем с общими маниями кучки мыслителей, работавших в крайне централизованных французских условиях. Всякий, кто этими мыслителями интересуется, должен, несмотря на обстановку скандала, эти книги прочесть, чтобы познакомиться со скрытыми историческими предпосылками нынешнего нашего способа думать.

Луи Альтюссер родился в доме своего деда в Алжире в 1918 году и прожил среди pied noir [1] до 1930 года, когда семья переехала в Марсель. Уже подростком он выказывал многообещающий ум и после переезда семьи в Лион в 1936 году смог поступить в одну из лучших провинциальных школ, готовивших к Эколь нормаль. Он исключительно хорошо учился в Лионе, став чуть не первым в классе и завоевав уважительную дружбу учителей. Самыми выдающимися среди них были философ Жан Гиттон и консервативный историк Жан Лакруа, оба правоверные католики. Более того, одно из открытий в книге Бутана — это сила юношеской приверженности Альтюссера к монархии и католицизму и постоянство его религиозных чувств до начала пятидесятых годов, то есть уже годы спустя после вступления в компартию. Уезжая из Лиона в 1939 году, он ничем не отличался от любого своего консервативного и набожного сверстника, готовящегося войти в ту аристократию, которая правила Францией начиная с Третьей республики.

Было ли детство Альтюссера нормальным? Масса стараний отдана этой проблеме в биографических сочинениях, но на удивление мало сделано для убедительного ответа. Дело в том, что сам Альтюссер рисует две совершенно разные картины семейной жизни, вторую — имея в виду создать психологический портрет убийцы. В мемуарах 1975 года он изображает родителей чопорной католической парой, которых чуть ли не случайность свела в неудачном браке и чья совместная жизнь была довольно холодной. Они, однако, любили его на свой неуклюжий лад, приносили необходимые жертвы ради его образования и, когда он уехал из дому, непрерывно с ним переписывались. Во фрагментах этой переписки, приводимых биографом, ясно видна взаимная привязанность.

Как замечает Бутан, на поверхности детства Альтюссера никак не отражается глубинный фолкнеровский хаос. Что же тогда делать с его записками 1985 года, где вина за душевные беды — и косвенно за преступление — возлагается без обиняков на плечи maman и papa? Тяжело читать эти страницы, на которых недостойная неблагодарность сочетается с очень плоским анализом его полового созревания (или отсутствия такового). Поражаешься, видя, как человек, знаменитый изощренностью ума и скептицизмом, повторяет трюизмы своего последнего психоаналитика в стиле «Freud raconté aux jeunes filles» [2]. Видимо, Альтюссер настолько погрузился в марксизм, что утратил способность смотреть на людей иначе, чем в свете классов и идеологий. Он в этом почти признается в начале вторых записок, когда говорит, как «удивлен» тем, что не может применить прежние свои марксистские категории «pour comprendre ce qui m'est advenu». [3]. Такое признание присяжного мыслителя — тревожный симптом того, что вульгарный фрейдизм переживет вульгарный марксизм как интеллектуальная и культурная сила нашей эпохи.

Действительно ли детство Альтюссера было первоисточником последующего душевного распада или нет, навсегда останется неясным. Одна из причин этой неясности в том, что естественный ход его личной и профессиональной жизни был резко прерван чрезвычайным историческим событием, которого не могли объяснить ни марксизм, ни фрейдизм: второй мировой войной. Хотя в 1939 году Альтюссер поступил в Эколь нормаль, но до официального зачисления его призвали на действительную военную службу. Весной 1940 года он уже попал к немцам в плен и оставался в лагере для военнопленных в Шлезвиг-Гольштейне до 1945 года. Альтюссер удивительно мало говорит об этом периоде в своих мемуарах, если не считать слов о том, что жилось в лагере сравнительно неплохо и что там он впервые познакомился с ровесниками из других социальных слоев (в том числе с коммунистами). Но в письмах и интервью Бутан находит свидетельства того, что депрессии Альтюссера начались именно тогда и тогда же он начал искать убежища в заботливости врачей и уюте больничной койки. В это же время он потерял веру — событие, о котором в автобиографиях он умалчивает.

Какими бы ни были причины, ясно, что в конце 1945 года в Париж приехал слабый, почти сломанный юноша. И именно в этом состоянии душевной слабости он вступил в три связи, которые определят его взрослую жизнь. Одно из достоинств книги Бутана (в целом слишком растянутой) — в том, что ему удается установить соотношение этих связей: с Эколь нормаль, с будущей женой, Элен Леготье, и с компартией — и показать, почему они составили единое, неделимое целое в сознании Альтюссера.

Самыми ровными и удачными оказались отношения Альтюссера со Школой: они позволили ему утолить интеллектуальное честолюбие, несмотря на тесные рамки, наложенные болезнью. Рамки эти обнаружились уже на втором году в Школе, когда он впал в опасную депрессию, требовавшую лечения. Надо отдать должное школьному начальству, которое быстро распорядилось и поместило его в отдельную палату школьного лазарета, где он нередко (как вслед за ним и Мишель Фуко) искал пристанища и потом. Несмотря на перепады настроения, блестящий ум Альтюссера вскоре превратил его в любимца Школы, и когда освободилась вакансия caïman [4] по философии в 1948 году, соперников у него не оказалось. Как и все остальное в Эколь нормаль, место caïman уникально. Это не профессорская должность, поскольку Школа — не университет. Формально — занимающий этот пост просто отвечает за руководство студенческими работами в какой-то области и подготовку к общенациональному agrégation [5]. Преподавать требуется только

[1] Алжирцы европейского происхождения *(франц.)*.
[2] «Фрейд в изложении для девиц» *(франц.)*.
[3] ...чтобы понять, что со мной случилось *(франц.)*.
[4] *Букв.*: репетитор *(франц.)*.
[5] Конкурс *(франц.)*.

время от времени, и при таком расписании Альтюссер мог часто отлучаться для лечения. Но, учитывая центральное место Школы в интеллектуальной жизни Франции и огромное значение, придаваемое agrégation по философии, caïman-философ по определению становится одной из ключевых фигур французского интеллектуального истеблишмента. Соответственно, с 1948 по 1980 год два поколения французских философов и интеллектуалов прошли через маниакально-депрессивный надзор Альтюссера.

Альтюссеру повезло, что Школа стала для него отзывчивой «матерью»; ведь с Элен и с компартией отношения у него сложились исключительно трудные. Как явствует из биографии, рассматривать эти отношения нужно вкупе. С будущей женой он встретился сразу после приезда в столицу, когда впечатление от него вполне сводилось к тому, что это подавленный, набожный, консервативный и сравнительно не от мира сего студент. Элен Леготье была его противоположностью почти во всех отношениях: еврейка, коммунистка, активная и приобретшая такой опыт, о котором Альтюссер не мог даже и мечтать. Она была на несколько лет старше, чем он, и с тридцатых годов участвовала в левом движении, работала для Жана Ренуара, войну провела в Сопротивлении, где подружилась с Альбером Камю и Луи Арагоном. Хотя после освобождения у Элен осталось больше воспоминаний, чем надежд, она все равно была самым необычным существом, которое Альтюссер встречал за всю свою жизнь.

Отношения Альтюссера с Элен могли бы завершиться на том, что она лишила его невинности в лазарете Школы, если бы при этом она не спасла ему жизнь (или если бы он так не думал). Когда в Париже Альтюссеру впервые поставили диагноз «депрессия», он был почти обречен на сумасшедший дом: перспектива, естественно, его ужаснувшая, так как тогда не была редкостью и пожизненная изоляция. Элен отказалась признать диагноз и устроила второе обследование у врача, который прописал шоковую терапию, что тогда представлялось меньшим злом. Курс лечения привел его в чувство, по крайней мере — на время, и сохранил свободу. После участия в освобождении Франции Элен, так сказать, освободила и Альтюссера. Сколь бы неразборчив — сексуально и идеологически — он потом ни стал, этих почти одновременных освобождений Альтюссер не забывал никогда и в следующие десятилетия ни разум, ни здравый смысл, ни инстинкт самосохранения не могли оторвать его ни от Элен, ни от партии.

Кто была Элен Леготье? Портрет, нарисованный Бутаном, лестным не назовешь. О ее прошлом мало что можно сказать с уверенностью, не считая того, что, презирая свое еврейское происхождение, она поменяла фамилию (Ритман). Бутан не устает повторять, что у нее была непривлекательная внешность, жесткий характер и что она не умела ладить с друзьями и учениками Альтюссера. Сам Альтюссер часто и бурно с ней ссорился, и они часто расходились. Тем не менее они всегда возвращались в его клаустрофобическую квартиру в Школе и продолжали вместе страдать до того самого ноябрьского утра.

А страдали они всерьез, как дома, так и на людях. Интереснее всего с исторической точки зрения, безусловно, те главы биографии, которые рассказывают о борьбе четы Альтюссеров с ФКП в послевоенное десятилетие, и в этих главах Бутан замечательно воссоздает зловещую сталинистскую атмосферу эпохи. Истоки этой небольшой драмы все еще окутаны тайной. Видимо, сразу после войны партия отказала Элен в приеме, обвинив ее в том, что она участвовала в страшных лионских убийствах, которые были частью «чисток» после освобождения. Элен упорно отрицала обвинения, и Альтюссер, разумеется, ей верил (Бутан дает понять, что партии кое-что могло быть известно). Всю оставшуюся жизнь пара посвятила унизительной задаче: обелить имя Элен и выпросить партбилет. Составлялись письма, устраивались собрания, но даже видное академическое положение Альтюссера не тронуло партийных лидеров. Одно унижение следовало за другим. Например, когда в 1950 году по этому вопросу собралась местная партячейка, Альтюссер из соображений сталинистской дисциплины проголосовал против жены («Je le savais depuis longtemps, j'etais bien un làche» [1].). В том же году самого Альтюссера вызвали на собрание партгруппы студентов Школы, потребовали, чтобы он объяснил свою связь, и приказали порвать с Элен. Он согласился, но на следующий же день раскаялся (в то время членами ячейки были Ле Руа Ладюри и Мишель Фуко).

Первый том Бутана завершается началом 1956 года, за три года до выхода первой книги Альтюссера. Дата не случайная, так как с этого момента радикально меняются и общественное лицо Альтюссера, и политическая ситуация. Для ФКП 1956 год стал водоразделом: секретный доклад Хрущева, поражение венгерского восстания, робкий флирт ФКП с так называемым коммунистическим гуманизмом. Альтюссер выступал против перемены курса, и именно его оппозиция во имя догматически чистого, антигуманистического марксизма составила ему репутацию в ближайшие десять лет. Во втором томе, несомненно, будет обращено пристальное внимание на эволюцию взглядов Альтюссера в этот период, на его доктринальные споры с партией, на открытый им coupure [2] между ранним и поздним Марксом, на его заигрывания с ленинизмом, маоизмом, теологией освобождения. Короче, в этом томе появится более знакомый нам Альтюссер.

Посмотрим, обнаружит ли Бутан схожий coupure между ранним и поздним Альтюссером. Возможно, второй том вернет некоторый глянец поздним работам Альтюссера, но трудно представить, что они переживут ту жестокую психологическую редукцию, которой сам Альтюссер подверг их автора. Если верить его первым запискам, альтюссеровский марксизм можно защищать, но его создатель — сумасшедший. Если верить вторым, то альтюссеровского марксизма вообще не было, поскольку Альтюссер за свои поступки не отвечал — ни за книги, ни за убийство Элен. Может быть, из его болезни следует, что и обеим автобиографиям нельзя верить, но с чем же мы тогда останемся? Парадокс Альтюссера, как парадокс критского лжеца, кажется неразрешимым.

[1] Я давно знал, что я трус *(франц.)*.

[2] разрыва *(франц.)*.

А в конечном счете, это, наверно, и неважно. Марксизм Альтюссера был философской однодневкой, непредставимой — и даже необъяснимой — нигде, кроме как в этом парижском petit monde [1] шестидесятых годов и в этой интеллектуальной чашечке Петри — Высшей нормальной школе. Но мораль, скрытая за этой философией, все еще существует и выказала замечательную живучесть, как видно и из случая Альтюссера. Его раннее политическое учение, изложенное в работах о Марксе, заключалось в том, что человек не «субъект» исторической деятельности, но только «носитель» истории, которую через него творят идеология и социальные структуры. Это превратилось в догмат в «la pensée 68», которое старалось изгнать «субъективность» и «гуманизм» из любой интеллектуальной области. Когда антигуманистический марксизм Альтюссера не смог пролить свет на убийство собственной жены, он легко сменил лошадей и усвоил антигуманистического Фрейда, чтобы доказать тот же моральный тезис: человек не является самостоятельным субъектом.

Это правда. Луи Альтюссер самостоятельным субъектом не был. Он был одержим чем-то вне его контроля, демоном, мучившим его сорок лет и заставившим убить единственного человека, которого он любил. К иному выводу, читая эту скорбную исповедь, прийти нельзя. Но неужели все мы одержимые? Сегодня труды Альтюссера кажутся длительной попыткой приобщить нас к его состоянию, убедить нас не только в том, что современный капитализм гипнотизирует с помощью «идеологических аппаратов государства», но и в том, что, как он написал в последних мемуарах, «самый ужасный, невыносимый и страшный из всех идеологических аппаратов государства — это семья». Теперь биография раскрыла нам, насколько личный смысл имели для Альтюссера (как и для Фуко) философское бегство от субъективности и атака на гуманизм. А почему их стремление зачеркнуть собственное «я» нашло отклик у целого поколения западных интеллектуалов — это загадка, с которой столкнутся историки, начав писать о том времени, в которое мы живем.

РИЧАРД ДЖ. ЭВАНС

НЕУДАВШИЙСЯ ВЗРЫВ

Петер Хофман. «Клаус Шенк, граф фон Штауффенберг и его братья». Штутгарт.
Клеменс фон Клемперер. «Немецкое Сопротивленне против Гитлера (Поиски союзников за границей)». Оксфорд.
Давид Клей Лардж, изд. «В борьбе с Гитлером (Формы немецкого Сопротивления в третьем рейхе)». Кембридж.
Фрэнсис Р. Никосия, Лоуренс Д. Стоукс. «Немцы против нацизма». Оксфорд.

Когда граф Клаус фон Штауффенберг внес портфель с бомбой в ставку Гитлера 20 июля 1944 года, и ему, и его сообщникам было ясно, что шансы на успех ничтожны. С 1938 года они раз за разом замышляли устранить Гитлера тем или иным способом. Но до сих пор не находилось никого, кто был бы и готов совершить покушение, и имел бы к Гитлеру личный доступ. Сам Штауффенберг тоже не считался многообещающей кандидатурой. В североафриканской кампании он лишился глаза, половины одной руки и трех пальцев на другой. При таких данных вставить в бомбу запал под пристальными взглядами гитлеровской свиты становилось делом нелегким, и неудивительно, что, когда Штауффенберг вставил заряд только наполовину, на него уже начали кидать подозрительные взгляды. Не сумев поставить портфель достаточно близко к фюреру, он, чтобы не привлечь еще большего внимания, оставил его с другой стороны огромного стола, откланялся и вышел.

Когда бомба взорвалась, взрывная волна, во-первых, рассеялась из-за того, что сразу же рухнули шаткие стены деревянного барака, а во-вторых, Гитлера от нее заслонила толща стола. Тем не менее, убежденный, что уцелеть Гитлер не мог, Штауффенберг, обманув караулы, добрался до самолета, вылетавшего в Берлин, и начал переворот. Переворот был уже обречен. Слишком немногие генералы собирались его поддержать; Геббельс сумел взять под свой контроль ВВС и предъявить военным хотя и потрясенного, но все-таки узнаваемого Гитлера, чтобы подтвердить: покушение сорвалось; СС и гестапо начали действовать мгновенно; лояльное руководство армии приступило к аресту заговорщиков; и через несколько часов заговор провалился. Штауффенберга расстреляли без суда; и в следующие несколько месяцев сотни заговорщиков, их родственников, знакомых, сочувствующих, колеблющихся были арестованы

[1] Мирке *(франц.)*.

и предстали перед нацистскими судами. Очень многих казнили, часто с особой жестокостью. Единицы выжили, чтобы после войны рассказать о случившемся.

Вот история немецкого Сопротивления, многократно рассказанная, начиная с самых первых послевоенных сообщений Ханса Ротфельса и Герхарда Риттера. История, в сущности, простая. Но она стала источником, по-видимому, бесконечного восхищения и споров. Четыре рецензируемые книги — еще одно свидетельство того, как стоек интерес историков к Сопротивлению. Они сообщают множество деталей — иногда новых, чаще уже известных, которые помогают заново оценить заговорщиков, их мотивы, цели и то, как они представляли будущее в случае успеха.

Петер Хофман в своей доскональной семейной хронике показывает, что сам Штауффенберг был консерватор-романтик, политический энтузиазм которого во многом шел еще от юношеского опыта в кружке почитателей поэта Стефана Георге. Штауффенберг приветствовал приход гитлеровского третьего рейха и надеялся на создание нового правового и расового порядка в Германии. В 1938 году он одобрял удаление евреев из немецкой культурной жизни. А отвратило его от режима то, как, начиная с июня 1941 года, велась война на Восточном фронте. Намеренное отталкивание и угнетение местного населения возмущали его, а массовые убийства евреев, советских граждан и военнопленных приводили в ужас. Он решил, что нацистские вожди предали светлые идеалы 1933 года. В 1943 году он начал думать об устранении Гитлера с целью помочь армии стать во главе страны и создать корпоративное государство по образцу фашистской Италии, где бы аристократии гарантировалось особое положение, а крестьянство было защищено от посягательств индустриализма.

Если бы Штауффенбергу удалось покушение, главой нового режима, по замыслу заговорщиков, стал бы генерал Людвиг Бек, бывший начальник Генштаба. Бек был антисемит, в глубине души монархист и последовательный враг демократии. Некоторые генералы-заговорщики участвовали в политике расового уничтожения, осуществлявшейся на Восточном фронте с 1941 года. Адмирал Канарис, который, уже примкнув к заговору, продолжал, как глава военной разведки, действовать против союзников, тоже был монархист. В первые годы Веймарской республики он сочувствовал Freikorps [1] (организации фашистского типа), в испанской гражданской войне поддерживал националистов, а генерал Франко был его кумиром, и портрет генерала висел у него на почетном месте.

Эти люди продолжали давнюю прусскую, затем — общенемецкую традицию армейского сопротивления гражданским властям, которая включала яростные, хотя в итоге провалившиеся, попытки генералов пойти дальше Бисмарка в войнах 1866 и 1870—1871 годов, смещение канцлера Бетмана Хольвега и связывание рук кайзеру в первую мировую войну. Как и Штауффенберг, многие генералы, участники заговора 1944 года, считали Гитлера дилетантом, выскочкой, который зарвался и от которого надо избавиться. Все до одного фанатики антибольшевизма, они вряд ли, судя по их поведению до 1944 года, много бы сделали для защиты «западной цивилизации» и «немецкой культуры» от варваров, если бы пришли к власти.

Политические идеи штатских заговорщиков тоже не очень обнадеживали. Предполагавшийся канцлер послепереворотного правительства Карл Гёрделер служил при нацистах мэром Лейпцига и порвал с ними только в 1937 году. Стойкий монархист, он одобрял устранение «неассимилированных» евреев из немецкого общества. Его политические взгляды, как и многих его соучастников, подразумевали не возврат к многопартийной Веймарской республике, которую все они презирали, а воссоздание авторитарной модели бисмарковской империи. Намеченный в министры иностранных дел Ульрих фон Хассель был поклонником Муссолини, с которым познакомился в бытность послом в Риме с 1932 по 1938 год. Члены Крайзауского кружка, идеалисты, большей частью аристократы, всерьез включившиеся в Сопротивление на его поздних стадиях, думали устроить политическую жизнь исключительно на частной и местной основе и точно так же выступали против партийной системы. Профсоюзные лидеры, которых им удалось привлечь, разделяли многие из этих взглядов и приветствовали поглощение профсоюзов нацистским «Рабочим фронтом» в 1933 году. Они никоим образом не представляли главных традиций социал-демократического рабочего движения.

И самое важное, все они верили в Великую Германию, в которую входили бы Австрия, Судеты, большая часть Польши, Эльзас-Лотарингия и которая облеклась бы во все великолепие заморских колоний, отобранных Лигой Наций у Германии в конце первой мировой войны. Еще в 1943 году Гёрделер думал о предложении мира на основе немецких границ 1914 года. Со временем и он, и другие заговорщики расширили свои взгляды настолько, чтобы допустить создание единой Европы. Но имелась в виду Европа под немецкой гегемонией. Идеалом Гёрделера было Британское Содружество, пересаженное на европейскую почву и с Германией в качестве метрополии.

При таких взглядах заговорщиков на внутреннюю и внешнюю политику после устранения Гитлера неудивительно, что западные союзники постоянно закрывали перед ними дверь. Клеменс фон Клемперер в своем исчерпывающем рассказе об их все более отчаянных попытках заручиться поддержкой Запада «Немецкое Сопротивление против Гитлера» справедливо разделывается с легендой, будто Чемберлен «спас» Гитлера от внутреннего путча в 1938 году, согласившись на Мюнхенский договор: приготовления генералов были слишком любительскими, а цели их внешней политики слишком близки к гитлеровским, чтобы можно было надеяться на успех. Только в 1944 году конспираторы начали всерьез сбавлять великогерманские амбиции, изо всех сил стараясь пойти на уступки союзникам. К моменту покушения Штауффенберга они были совершенно растерянны, безнадежно мечась между жалкой надеждой, что они смогут сохранить верховенство Германии в Европе, заключив сепаратный мир с Западом,

[1] «Добровольческий корпус» *(нем.)*.

и между растущим пониманием того, что скорее всего их усилия только приблизят полный разгром Германии. Главный и неотменимый факт относительно заговора состоит в том, что он возник только тогда, когда внутренним кругам в правительстве и армейском руководстве стало ясно, что Гитлер проигрывает войну. Как отмечает покойный Мартин Брошат в статье, которая вошла в замечательный, хотя слишком краткий сборник материалов конференции «В борьбе с Гитлером», изданный Давидом Клеем Ларджем, «заговор был в какой-то мере бунтом той консервативной элиты, которая вначале вошла в нацистские властные структуры, но затем уступила влияние и посты фанатичным членам партии и услужливым выдвиженцам. Разочарование консервативной элиты в режиме было вызвано не только потерей влияния, но и ее осведомленностью о положении дел на фронтах». Та же самоуверенность, которая в 1933 году внушила консерваторам мысль, будто они смогут управлять Гитлером, через одиннадцать лет обманула их надеждой, будто они могут его скинуть. В обоих случаях их подвела роковая недооценка энергии и решительности нацистских вождей и функционеров.

В их действиях была, безусловно, и моральная сторона (на этом настаивают и Хофман и Клемперер): они хотели, чтобы противодействие нацистским преступлениям, независимо от возможности успеха, сняло бы хоть часть исторической вины, которая, как они понимали, ляжет в будущем на немцев. Но настоящая послевоенная Германия оказалась совсем не той, какую они воображали. У их политических идей не было будущего, и меньше всего — в отказавшейся от внешнеполитических притязаний многопартийной Федеративной Республике. В результате победила политическая традиция немецкого католицизма, а не милитаристского консерватизма. Если бы бомбовый заговор удался, он мог бы спасти сколько-то жизней, сократив войну. Но он мог стать причиной и будущих бед, снабдив нацистов и националистов очередной легендой о «ноже в спину», объясняющей поражение.

Хофман, конечно, не прав, когда говорит, что заговор дал немцам моральную перспективу для взгляда на их недавнюю историю. Запоздалые попытки Конрада Аденауэра объявить наследие Сопротивления легитимирующей силой для Федеративной Республики (и особенно для немецкого перевооружения) в пятидесятые годы нашли в обществе слабый отклик. Широкий интерес пробудился только в конце шестидесятых, когда с помощью работ нового поколения историков социал-демократы заново открыли вклад своей собственной партии в борьбу с Гитлером, причем их борьба велась шире, идейней, с позиций намного менее властных и привилегированных и с гораздо меньшими надеждами на скорый успех. Поэтому есть некоторая ирония в том, что наследие Сопротивления во всем его разнообразии стало явным, только когда возникла критическая дистанция от заговорщиков 1944 года, когда прошло двадцать — тридцать лет. Из четырех обозреваемых книг только «Немцы против нацизма» (Festschrift [1] в честь Петера Хофмана; как и все хорошие Festschriften, этот сборник, воздавая юбиляру должное, демонстрирует и ограниченность его работ) исследуют это наследие по-настоящему всесторонне. В нем показано, что заговор Штауффенберга был только частью более широкого, менее организованного процесса сопротивления, неучастия, несогласия в третьем рейхе. Хорошо бы не забыть об этом, когда будет отмечаться пятидесятая годовщина покушения на Гитлера. Идеи и цели заговорщиков мало чем способны помочь тем немцам, которые стараются сдержать растущую волну насилия и расизма в недавно объединившейся стране. Если и есть для них в прошлом источник воодушевления, то это, конечно, социал-демократы, коммунисты и все те, чьи акты гражданского неповиновения и идеологической солидарности давали надежду на сохранение хоть какого-то подобия человеческого достоинства в гораздо более суровых условиях третьего рейха.

---

[1] Юбилейный сборник. *(нем.)*

Перевод с английского Г. ДАШЕВСКОГО

Трибуна переводчика

Возрождая эту рубрику, когда-то существовавшую в «ИЛ», но вот уже несколько лет не подающую признаков жизни, мы приступаем к делу, которое считаем своим долгом. Ведь наш журнал — не просто сборник переводов из зарубежной литературы и статей о ней; «ИЛ» издавна является центром русского художественного перевода, здесь печатались и печатаются лучшие мастера переводческого искусства; многие из них начинали свой творческий путь именно со страниц «Иностранки». Сохранение и приумножение традиций русского художественного перевода — дело важное и нужное, особенно сегодня, когда коммерциализация книгоиздательства привела к массовому выбросу на прилавки непрофессиональных, низкокачественных переводов. Мы рассчитываем, что эта рубрика станет для переводчиков своего рода «гайд-парком», где они смогут поговорить о профессиональных проблемах. Надеемся, что начинающие переводчики почерпнут из этих публикаций немало полезного, а читатели получат возможность заглянуть в тайны сложного ремесла, именуемого художественным переводом.

В этом номере мы публикуем главу из книги Лорина Лейтона, американского теоретика перевода, профессора Иллинойсского университета, книги, в которой автор сопоставляет опыт американской и советской переводческих традиций. Воспользовавшись этим текстом как предлогом для более широкого разговора, мы попросили трех опытнейших отечественных переводчиков американской литературы высказаться о книге Л. Лейтона, и не только о ней.

Итак: ВИКТОР ГОЛЫШЕВ, переводчик романов «Вся королевская рать» Роберта Пенна Уоррена, «И поджег этот дом» Уильяма Стайрона, повести «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи; ИННА БЕРНШТЕЙН, переводчица романов «Моби Дик» и «Бенито Серено» Германа Мелвилла, «Костры амбиций» Тома Вулфа, произведений Джона Апдайка, О. Генри, Марка Твена, Уильяма Фолкнера; ВЛАДИМИР ХАРИТОНОВ, переводчик романов «Герцог» Сола Беллоу, «Портрет Баскома Хока» Томаса Вулфа, автобиографической книги Вильяма Сарояна «Вот пришел, вот ушел сам знаешь кто», пьес Юджина О'Нила и Скотта Фицджеральда.

ЛОРИН ЛЕЙТОН

ДВА МИРА — ОДНО ИСКУССТВО

Заключительная глава

Перевод с английского И. ТОГОЕВОЙ

Русские и советские переводчики потратили немало сил, чтобы определить собственные позиции, собственную школу. При этом главный упор делался на то, что создана совершенно новая, многоязычная и многонациональная Всесоюзная школа перевода, какой никогда еще не бывало в мире. Создавая эту школу, отцы-основатели — Горький, Чуковский, Кашкин и др.— были заняты не только разработкой основополагающих законов ее существования и развития, но и ожесточенной борьбой со своими противниками по таким существенным вопросам, как метод, стиль и терминология; борьба эта продолжается и по сей день. Определения, даваемые советской школой перевода перечисленным выше понятиям, столь же часто встречаются в исследованиях по специальным, весьма конкретным проблемам, как и в крупных трудах, посвященных самой советской школе перевода в целом. В данном исследовании мне невольно пришлось противопоставлять определения, даваемые различными авторами,— например, четыре широко распространенных постулата В. Россельса в известной мере противоположны представлениям о художественном переводе, изложенным в теоретических трудах И. Кашкина, А. Федорова и Г. Гачечиладзе, и, в свою очередь, тому определению советской школы перевода, которое дала для Международной ассоциации переводчиков Евгения Калашникова. Все эти определения свидетельствуют прежде всего о попытках четко сформулировать особенности советского метода перевода, известного как

© 1991 by Northern illinois University Press

художественный. Ни одна другая школа или ассоциация переводчиков, принадлежащая иной национальной культуре, не имела столь сильного стремления во что бы то ни стало доказать — даже в мелочах! — каким именно должен быть художественный перевод и каким он быть не должен. Одно из определений советской школы представляется мне способным послужить неким резюме, основой для окончательной оценки состояния литературного перевода в России и Америке.

В своей главной работе «Основы общей теории перевода» А. В. Федоров предположил, что шесть «основных правил» перевода заняли настолько прочные позиции в научных исследованиях и критике, что вряд ли большая часть переводчиков станет их оспаривать. Во-первых, как прямое следствие необходимости точно и полноценно представить оригинал, на советских переводчиков ложится и определенная идеологическая ответственность. Во-вторых, переводчики гарантируют высокое качество литературного языка, на который оригинал переводится, что достигается отчасти борьбой с буквализмами и проникновением в родной язык переводчика нежелательных иноязычных элементов. В-третьих, советские переводчики осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами диалектического единства формы и содержания. В-четвертых, оригинал воспринимается ими как некое семантическое единство, в котором каждая составляющая играет свою собственную семантическую роль и которое непосредственным образом связано со специфическими национальными и социальными особенностями среды и эпохи. При этом переводчики воспринимают как целое, так и его составляющие в терминах художественной и семантической ценности. В-пятых, советские переводчики тщательно анализируют язык и стиль автора, а также внимательнейшим образом изучают историю того народа, к которому переводимый автор принадлежит, его язык, культуру и литературу — то есть исповедуют принцип восприятия конкретных явлений в их взаимозависимости и взаимосвязанности друг с другом и внешним миром. Переводчики отдают себе отчет в том, что каждый отдельный вид перевода — художественный, справочный, коммерческий — предъявляет свои собственные требования, что смысл того или иного слова или высказывания всегда зависит исключительно от контекста, что невозможно придумать какие-то общие рецепты или правила для всего множества этих контекстов и что отсутствие подобных правил отнюдь не дает права изменять или искажать смысл оригинала. И в-шестых, советскими переводчиками взят на вооружение принцип переводимости текста: для них полноценный перевод возможен.

Определение Федорова важно для нас не только само по себе, но и потому, что оно демонстрирует некоторые особенности советского метода литературного перевода. Нельзя не отметить, что определение это, как и определения Россельса, Гачечиладзе и многих других, сформулировано очень четко и звучит убедительно. Один, два, три постулата, одно, два, три допущения — один-два-три, один-два-три — такова вся советская школа перевода. Советские теоретики не настаивают на том, что перевод — это некое непостижимое высшее искусство; напротив, они подчеркивают важность конкретного слова в конкретном контексте, а не самого по себе. Однако сходятся в том — и это мнение является общепринятым,— что занимают в литературе вполне определенное и законное место, и совершенно уверены, что их литературные голоса будут услышаны. Неотделимым от этой склонности к высказыванию авторитетного мнения представляется «идеологический» пункт определения реалистического перевода — он носит чисто политический характер и требует для данного социального явления полномочной централизованной организации. Мне не встречалось иного, столь же бессовестно идеологического определения перевода. Подобная тенденция отчасти просматривается и в федоровском определении, но лишь в третьем его допущении, где говорится, что советские переводчики вооружены марксистско-ленинским принципом диалектического единства формы и содержания. Однако уже и до Федорова стало вполне очевидно, что ленинские принципы и марксистская гносеология так или иначе положены в основу самых различных определений реалистического перевода — то есть перевода художественного, если следовать мнению Кашкина, Россельса и Гачечиладзе.

Другие же советские переводчики не столь охотно приписывают эстетике серьезные идеологические функции, предпочитая определять свое искусство в терминах этических. Переводы и способы перевода с точки зрения советской школы не просто верны или не верны; они честны или нечестны, «принципиальны» или

«беспринципны». Отметим, например, принципиальный характер определения Федорова: разумеется, переводчики должны брать на себя и идеологическую ответственность, но помимо этого они должны гарантировать и полноценность перевода, принимать во внимание культурные и эстетические традиции, применять принцип широкого и глубокого изучения предмета, бороться с буквализмами, чтить принцип переводимости и обеспечивать такое качество собственной продукции, чтобы она была адекватна оригиналу и в полной мере доносила его ценности до читателя. Иван Кашкин, Мария Лорие, Нора Галь, Рита Райт — все они как бы закрепляют за переводчиком, критиком, редактором, издателем и читателем специфические моральные и этические обязательства. Н. Чуковский и И. Кашкин отнюдь не одиноки, утверждая, что переводчики, не знакомые с теорией,— это всего лишь беспринципные любители. Нора Галь выражает глубочайшее презрение по поводу претенциозного калькирования и буквального перевода реалий. Чуковский также подвергает жестокой критике недостаточно художественные переводы.

Ни в одном другом государстве, ни в одной национальной культуре теоретики перевода не проявляют такой твердости суждений, не формулируют их столь четко, программно, не добавляют в свое искусство столько идеологических «приправ». Ни одной другой литературной традиции не свойственны столь самоуверенные рассуждения об «общем мнении». Ни одна другая переводческая школа или ассоциация не обладает столь хорошей организацией, и нигде более переводчики не имеют возможности столь авторитетно рассуждать на моральные, идеологические или организационные темы. У американских переводчиков просто нет тех средств, какие предоставляются переводчикам советским их государством, и тех политических и социальных условий, чтобы создать централизованную организацию, способную монополизировать этот вид работы в общенациональных интересах, определять общие для всех переводчиков эстетические принципы под эгидой единой для всего общества идеологии. Эта отличительная особенность просматривается и в четкости определений, даваемых советской школой перевода, и в том, как эти определения преломляются на практике и до какой степени касаются частностей.

В большинстве стран сегодня переводчики являются членами Международной ассоциации переводчиков и, следовательно, пользуются в какой-то степени общими для всех профессиональными установками. В США принципы перевода были — по крайней мере, до какой-то степени — упорядочены благодаря деятельности таких организаций, как американский ПЕН-центр, Американская ассоциация переводчиков и Американская ассоциация литературного перевода. Но ни один из существующих уставов таких объединений не позволяет себе предписывать какой-то строго определенный метод перевода, диктовать, как именно тот или иной переводчик должен переводить. В семи из восьми статей, опубликованных американским ПЕН-центром в последнее время, говорится главным образом о коммерческих отношениях между автором, издателем и переводчиком, включая все моменты, касающиеся авторских прав. И лишь в одной статье подняты вопросы нравственно-эстетического порядка: «Переводчики должны уважать оригинал и воздерживаться от каких-либо изменений или сокращений в нем без разрешения на то со стороны автора или его доверенного лица. Точно так же следует уважать и текст перевода». Мы не находим в этих публикациях ни предписаний, ни точных определений, ни упоминаний о каком-либо конкретном методе перевода, ни слова об адекватности или полноценности, ни запретов по поводу перевода буквального — здесь нет вообще никаких четко сформулированных правил или допущений. Хотя если бы возникла потребность в голосовании, то, вполне возможно, большинство переводчиков подписалось бы именно под перечисленными выше принципами. Буквальный перевод не в почете и среди американских литераторов, и большая часть американских переводчиков, по всей очевидности, столь же решительно отвергает перевод «научный», язык которого, вне зависимости от конкретного названия самого метода, всегда оказывается безжизненным, пресным. Но ни одна американская переводческая организация не осмелится определять для большинства — даже при условии некоей надежды на «общее мнение»,— что́ такое теория и практика перевода и каковы они должны быть.

Впрочем, было бы справедливо еще раз отметить, что, несмотря на столь значительные организационные, идеологические и нравственные усилия по определению и закреплению общепризнанных правил и методологии перевода, советские

теоретики в данной области отнюдь не являются догматиками. При всей фундаментальности и четкости даваемых ими определений сами они проявляют значительную гибкость и прагматизм. Сложно, например, отыскать трех других переводчиков, которые отличались бы большим свободолюбием, чем Борис Пастернак, решительно переосмысливший Шекспира, Самуил Маршак, не позволивший ни формалистам, ни семантистам повлиять на его стихотворные переводы Роберта Бернса, или В. В. Левик, который, как бы между строк читая произведения различных европейских поэтов, приблизился к самому отдаленному краю переводческого спектра. Столь же трудно найти в советской школе и более преданного сторонника научного перевода, чем Михаил Лозинский; а Валерий Брюсов отличался столь же поразительной склонностью к переводу буквальному, что и Владимир Набоков. И все же этим поэтам отводятся главнейшие роли в искусстве перевода, и именно о них с огромным уважением говорится в двух наиболее известных книгах, посвященных художественному переводу: «Искусство перевода» К. Чуковского и «Поэзия и перевод» Е. Эткинда. И единственная очевидная тому причина — то, что, несмотря на всю нелюбовь советской школы как к буквальному переводу, так и к переводу чересчур вольному, переводчики не колеблясь определяют и оценивают качество и уровень мастерства в тех случаях, когда переводил действительно Мастер.

Самым простым, достойным и в конце концов определяющим подходом русских к переводу является их интуитивное преклонение перед переводом как искусством, убежденность в том, что перевод и должен оцениваться как произведение искусства, с помощью соответствующих художественных критериев. О подобной точке зрения свидетельствуют и слова Евгении Калашниковой о том, что перевод произведения искусства и сам должен быть произведением искусства, и если он соответствует этому уровню, то становится неотъемлемой частью той литературы, на языке которой сделан, и заявление К. Чуковского о том, что художественный перевод в любом случае акт творческий, и именно потому, что он является составляющей частью искусства, для него не существует всеобъемлющих правил.

Следует также отметить, что советская школа перевода уже не столь уникальна, как то утверждают ее приверженцы. Лучше всего можно оценить особенности этой школы в соотношении с американской традицией, считая, что все остальные страны мира лишь недавно достигли того же уровня (что и советская школа) в теории и практике перевода. Нет сомнений, что в этом отношении советская школа действительно была впереди всех, но сегодня ни в практике, ни в теории перевода не существует сколько-нибудь драматической разницы между этой школой и остальным переводческим миром. Основным аргументом моего сравнительно-критического исследования является то, что литературный перевод в России и Америке должен пониматься в контексте всемирной конвергенции идей и точек зрения, особенно усилившейся в последние несколько десятилетий. Эту конвергенцию мнений отлично иллюстрирует спектр «автономных» способов перевода, предложенный Мэрилин Гаддис. Литературный перевод, literarische Übersetzung, traduction littéraire — эти понятия уже вошли в соответствующие языки как общеупотребимые, и конвергенция их продолжает осуществляться на международном уровне. Переводчики за пределами России не столь решительны в своих утверждениях, как их советские коллеги, но и они согласны с тем, что конкретный вид перевода, имеющий четкое определение и выполненный в полном соответствии с этим определением,— это всего лишь середина весьма протяженной шкалы ценностей, где есть место множеству разновидностей и способов перевода.

Советская школа решительно отмела и буквальный перевод, и перевод «научный», тогда как во всем мире к «буквалистам» всего лишь относятся с некоторым неодобрением. Советские теоретики и критики перевода проявили значительную решимость и в том, чтобы вытолкнуть за пределы вышеупомянутого спектра такие разновидности переводческой работы, как имитация и адаптация текста оригинала. Впрочем, нетрудно заметить, что это вопросы иного уровня, но отнюдь не направленности. Очевидно и то, что дефиниции советской школы художественного перевода вполне согласуются при желании с теми, которые приняты везде при обсуждении вопросов, связанных примерно со средней частью спектра. «Органический» перевод Андре Лефевра, «имитирующий» (или «точный») Дж. М. Коэна, «метрический» Вальтера Арндта и «экспрессивный» Катарины Рейс — все они делаются в рамках перевода литературного, свидетельствуя о чувстве равновесия, об умеренности, о гибкости, о творческом подходе, о верности оригиналу, о честности и скром-

ности переводчика, его высоких моральных качествах, то есть обо всем том, что подразумевает определение советской школы.

В отношении теории перевода признаки некоей всемирной конвергенции не менее очевидны, и проявляются они прежде всего в одинаково быстром и эклектичном развитии исследований в этой области. Русские мастера художественного перевода и американские мастера перевода литературного испытывают одинаковую антипатию к лингвистическим исследованиям (и плохо в них разбираются) в области перевода, однако русские переводчики вряд ли станут отрицать, сколь мощное влияние лингвистические работы А. Федорова оказали на советскую школу, а американские переводчики, в свою очередь, отнюдь не пренебрегают работами таких лингвистов, как Джордж Стайнер, посвященными, например, творчеству Бабеля. Исследования искусства перевода во всех странах мира, включая Советский Союз, во многом обязаны прежде всего многочисленным работам лингвистов в самых различных областях — психолингвистике, социолингвистике, антрополингвистике, философии языка, семиотике. Что касается последней, то вряд ли, конечно, такие ведущие теоретики, как Гачечиладзе, решились бы использовать термины «значимость» и «значимый», столь важные для Дж. Стайнера и Л. Келли, однако советская семиотическая наука заняла ведущее место в мире благодаря так называемой московско-тартуской школе, и можно найти определенные свидетельства влияния этой школы на советскую теорию перевода в таких работах, как статья Л. Микулиной [1], посвященная анализу реалий в терминах информационно-коммуникативной теории. Семиотика и структурная лингвистика воздействовали на исследования по вопросам перевода и посредством работы Дж. Леви «Перевод как процесс принятия решений», который в свою очередь обязан ее написанием Роману Якобсону. Как бы на пересечении двух наук находятся и работы Е. Эткинда по сравнительной стилистике, и Юрия Левина по исторической стилистике, и П. Папаяна по сравнительной метрике. Влияние психолингвистики, социолингвистики и антрополингвистики заметно не только в названной статье Л. Микулиной, но и в исследованиях проблемы реалий С. Влахова и С. Флорина [2]. Советские лингвисты создали также мощную базу для развития компьютерного перевода — таковы, например, работы Л. Бархударова и В. Комиссарова [3].

Упоминавшаяся конвергенция, однако, вовсе не означает, что советская или американская теория и практика перевода совпадают с некими немыслимыми международными образцами. Так, например, по мнению «экспрессионистов», совершенно очевидно, что в других странах переводчики не стремились столь решительно к самовыражению в процессе перевода, как то делали переводчики советской школы. Советская теория как бы оставляет в переводимой работе местечко и для самого переводчика, для его собственного «я», хотя, безусловно, основным этическим принципом советской школы является прежде всего выражение «я» авторского. Подобную точку зрения разделяют и другие. Так, например, Дж. Стайнер одним из первых среди современных теоретиков перевода включил скромность в число основных и обязательных качеств переводчика. Неодобрение, высказываемое в американских литературных кругах по поводу «узурпации» места автора, подмены переводчиком авторского «я» своим собственным, стало очевидным с выходом критической работы Аллена Тейта, посвященной разбору поэтических «имитаций» Роберта Лоуэлла. Однако многие американские поэты и до сих пор верят, что их собственный поэтический дар способен преодолеть любые преграды, даже языковой барьер,— и свидетельством тому являются слова Бертона Раффела о том, что искусное владение родным языком снимает для поэта всякую необходимость знать язык переводимого произведения.

Подобные сходства и различия можно обнаружить и в склонности русских и американских переводчиков к подражательности. Нигде нет большего числа определений, данных этому виду перевода, чем в советской школе. Правда, Р. Адамс часто называет процесс перевода «раздумьями», а Р. Брауэр считает его чем-то вроде «зеркала в зеркале». Однако непохоже, чтобы кто-либо из американских теоретиков

---

[1] Л. Микулина. «Национально-культурная специфика и перевод». В сб. «Мастерство перевода». М., 1979, с. 79—99.

[2] Сергей Влахов и Сидор Флорин. «Непереводимое в переводе (реалии)». В сб. «Мастерство перевода». М., 1969, с. 432—456.

[3] Л. С. Бархударов. «Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода». М., 1975.

В. Н. Комиссаров. «Слово о переводе». М., 1973.

перевода вздумал, подобно Кашкину, Россельсу и Гачечиладзе, подводить под этот творческий процесс базу в виде ленинской теории отражения действительности, уверенно считая, что перевод суть отражение оригинала, и пропагандировать столь отточенный метод, как перевод реалистический, то есть идеи о том, что перевод — это отражение оригинала, который в свою очередь является отражением действительности. Разница в данном случае носит идеологический характер; есть и другие идеологические различия. Несмотря на свой существенный вклад в постструктуралистскую теорию, западные марксисты не обращали должного внимания на науку о переводе и, похоже, даже не ведали о таких достижениях советской школы, как марксистско-ленинская теория реалистического перевода. Аналогичным образом и советская герменевтическая теория («проникновения в текст») весьма существенно отличается от подобных теорий на Западе, хотя попытка Гачечиладзе внедрить теорию перевода в марксистскую гносеологию изначально представляла собой чистой воды герменевтику. Подход к вопросам перевода с позиций марксистской гносеологии также совсем иной, чем, например, у Стайнера и Келли, которые на первое место ставят критическое толкование, разъяснение текста с одновременным его анализом, желая найти адекватное решение и тот угол зрения, который присущ автору оригинала вне зависимости от того, каким покажется содержание и цель произведения при первом, поверхностном знакомстве с ним. Гачечиладзе, напротив, вполне допускает, что действительность, отраженная литературным произведением, познаваема и что если единство формы и содержания, а также целого и его частей, имеющее место в оригинале, в точности воспроизведено и сохранено при переводе, то и тайные, и явные цели автора будут непременно выявлены и сохранены.

Термин «формализм» по отношению к советской школе представляется неуместным. У него слишком тяжелый идеологический багаж, и к тому же формализм издавна считается здесь причиной буквализмов и научного авантюризма в переводе. Но если оставить терминологию в стороне, то можно предположить, что глубокое уважение советской школы к текстуальному анализу и составляет основу веры в ценность текста-объекта или текста-цели [1]. В дискуссиях советской школы по вопросам перевода нет и следа какого бы то ни было принижения первостепенной значимости текста оригинала. Кашкин, Россельс, Гачечиладзе и Федоров едины в том мнении, что процесс перевода должен начинаться с тщательного и порой изнуряющего стилистического анализа текста, а В. Коптилов и вовсе считает подобный анализ краеугольным камнем в процессе перевода. Формалистические термины «норма», «повторность», «средство», «доминанта» составляют основу и сущность советской критики в области перевода. Действительно, термин «адекватный» позаимствован из теории текста-объекта, как и остальная свойственная этой концепции терминология: «компенсация», «замена», «эквивалент», «соответствие», «пропорциональность», «эффект», «функциональность» и так далее.

С другой стороны, неуместно и предполагать, что советская теория перевода обязана своим происхождением рецептивной теории или критике, вызванной откликами читателей. Культура, отвергнувшая формализм и структурализм, вряд ли воспримет достижения постструктурализма. Тем не менее советские теоретики перевода развили ориентированную на читателя концепцию, использующую принцип воздействия на него как некую меру уровня критики. Термин «полномерный» имеет к принципу этого воздействия на читателя то же отношение, что и термин «адекватный» к переводу текста, и следует помнить, что А. Смирнов считал подобную установку главной в своем определении художественного перевода, считая, что под «адекватным» понимается такой перевод, который отражает все намерения автора, как явные, так и неосознанные, и способен оказать определенное эмоционально-идеологическое воздействие на читателя; при этом переводчик обязан по возможности сохранить и авторские художественные средства — образность, краски, ритм и так далее,— воспринимая их не как вещь в себе, но лишь как способ достижения общего художественного эффекта.

Тесная связь текста перевода с его воздействием на читателя осталась основополагающей в определениях художественного перевода вплоть до сегодняшнего дня. Так, развивая постулат Смирнова об адекватности перевода в систему адекватной передачи идей и прибавляя сюда термин «полноценный», А. Федоров

---

[1] По аналогии с «языком-объектом», то есть таким, который является предметом описания, «содержанием» для языка второго порядка (или метаязыка), использующимся как средство для его научного описания. *(Прим. перев.)*

поддерживает ту точку зрения, что самая справедливая оценка качества перевода дается с позиций его «эмоционально-идеологического художественного воздействия на читателя». Когда Гачечиладзе включил термины «полноценный» и «адекватный» в свое марксистско-ленинское определение реалистического перевода, он придал дополнительный импульс движению критики и теории перевода от текста к читателю, от анализа текста как такового к оценке его согласно откликам читателей. Когда Россельс провозгласил функциональность одним из четырех основных принципов советской школы, он хотел этим сказать, что процесс перевода должен завершаться созданием текста, который будет оказывать на новых читателей такое же воздействие, какое оказывал на прежних читателей текст оригинала. Имея в виду долгую историю достижения некоего равновесия между переводом, ориентированным на оригинал, и его оценкой, ориентированной на читателя, вряд ли покажется неуместным следующее заключение: советская теория перевода принимала на вооружение некоторые правила относительно языка и литературного уровня переведенной работы, которые лишь значительно позднее были четко сформулированы немецкой теорией восприятия и англо-американской критикой, ориентированной на мнение читателей.

О справедливости подобного заключения свидетельствует многое. По мнению Андре Лефевра, переводы, в сущности, подразделяются на два основных типа: «ориентированные на текст» и «ориентированные на читателя». Стивен Стрейт считает, что при оценке любого перевода необходимо прежде всего ответить на два вопроса: «Прав ли переводчик в своем выборе средств, достаточно ли «точен» перевод?» и «Вызывает ли перевод такую же реакцию у читателей, как оригинал?». По словам Роберта Адамса, перевод «подобен литературной беседе с новым читателем, чьи взгляды достаточно необычны, чтобы настолько углубить диалог, что возникает возможность увидеть текст совершенно по-новому». Переводчики в США и других странах давно уже обсуждают проблемы соотношения читательской реакции и адекватности перевода оригиналу. Например, Леви, Стайнер, Келли и многие другие авторы, упоминавшиеся в моей книге, говорили об этом не раз. Как, впрочем, и советские теоретики перевода. Так, Е. Эткинд считает, что у переводчика есть две возможности: либо приспособить иностранное художественное произведение к восприятию читателя, сделать незнакомое знакомым, далекое — близким, либо честно показать читателю богатство средств того или иного автора, красоту иной национальной формы искусства, историческую стратификацию иного общества, некую индивидуальную систему творчества [1]. Таким образом, переводчик может быть ориентирован либо на текст, либо на читателя, либо, согласно утверждениям теоретиков советской школы, на достижение некоего равновесия между тем и другим. В любом случае, впрочем, читатель играет главную роль не только в оценке перевода, но и непосредственно участвует в самом творческом процессе.

Так, по словам Олексия Кунджича [2], рядом с автором и переводчиком в процессе перевода появляется еще один участник — читатель. Причем активная его роль начинается задолго до того, как он берет в руки готовый перевод. Даже впервые склонившись над письменным столом, переводчик чувствует, что из-за плеча у него как бы выглядывает будущий читатель, вместе с ним сомневаясь и принимая решения. Без читателя, пишет Кунджич, творчество невозможно, ибо оно всегда должно иметь своего адресата. И действительно, предпринимая попытку переложить то или иное художественное произведение на свой родной язык, переводчики не только делают читателей своими соучастниками, они и сами функционируют в качестве читателей. По словам И. Кашкина, и без того ясно, что переводчик соединяет в одном лице, во-первых, читателя, воспринимающего оригинал опосредованно, затем — критика, анализирующего художественные особенности оригинала, и, наконец, писателя, который в свою очередь художественно воссоздает оригинал на своем родном языке.

Исследования, посвященные вопросам перевода, носят ныне достаточно эклектичный характер. Терминология и понятия в них позаимствованы из самых различных областей лингвистики, литературоведения, критики, философии. Все еще не до конца ясно, куда завело нас столь быстрое развитие этой новой отрасли знаний, однако теоретики перевода во всех странах мира имели перед собой одну цель и достигали в известной степени одинаковых выводов вне зависимости от того,

[1] Е. Эткинд. «Поэзия и перевод». М — Л., 1963, с. 414.
[2] О. Кунджич. «Переводческий блокнот». В сб. «Мастерство перевода». М., 1968, с. 12—13.

сколь различными были их первоначальные подходы к решению данного вопроса. А потому, несмотря на их эклектизм, исследования вопросов перевода начали постепенно обретать форму, а теоретики — вполне последовательно пользоваться новыми идеями и понятиями. Пока что, видимо, упомянутый эклектизм сохранится, и нет оснований надеяться, что наука о переводе станет столь же конкретной, как некогда в советской школе. Но тот факт, что русские и американские переводчики сходятся в своих взглядах на отношение к тексту оригинала и на проблему воздействия на читателя, причем этот процесс шел в обеих странах независимо друг от друга, заставляет предположить, что возможно и дальнейшее сближение точек зрения и развитие науки о переводе в направлении синтеза двух подходов — ориентации на текст и на читателей. Возможно, именно благодаря этому теория перевода обретет конкретную форму. Во всяком случае, можно утверждать, что новые идеи и новые решения различных проблем перевода будут найдены где-то в пределах того спектра, о котором говорилось раньше, и ближе к той точке, где начинается конвергенция двух основных типов перевода.

ВИКТОР ГОЛЫШЕВ

Переводчика уподоблю муравью, теорию перевода — энтомологии. Обычно энтомолог высказывается о муравьях. «Ночью они спят, а днем строят муравейник». Тут муравья попросили высказаться об энтомологе.

Суждения теоретиков о частном очевидны и одномерны. Переводчик принимает решение одновременно по многим параметрам, включая такие пустяки, как количество слогов в слове, появление ненужной шипящей и прочее (речь о прозе).

О буквализме. Советскую дискуссию о нем Л. Лейтон излагает без гнева и пристрастия, в традициях современной американской науки о литературе. Сам автор тяготеет к здравому смыслу, и это, конечно, достойно восхищения. Другое дело — дискуссия, вращаемая вокруг перевода В. Брюсовым половины «Энеиды».

«В переводе, предлагаемом вниманию читателей, мною сделана попытка воспроизвести все особенности формы стихов Вергилия» (Брюсов). Переводчик забыл, что не только он владеет русским языком, но и язык им повелевает, ибо создал его как личность. Ту же форму Брюсов лепит из другого материала. Получается пластилиновый паровоз в натуральную величину. Паровоз не едет, потому что в нем нет пара.

Нет промедленья, и тотчас с огромною мощью выносит
Лик свой Дарéт, появляясь при шумном ропоте мýжей:
Тот, кто единый решался бороться Пáрида против,
Тот, у могилы кто, где великий покоится Гектор,
Бýта, любимца побед, с огромным телом (который
Хвастал, себя выводя от Бебрúкийской крóви Амика)
В битве сразил и на желтый песок умирающим бросил.
Первым таковый Дарéт главу к бою высокую вынес...

«У могилы кто, где». Читать эти стихи все равно что завтракать шнурками.

Переводчик живет в двух мирах. Это трудно, и он устает метаться туда и обратно. Ему надоедает метать бисер перед «литературными потребителями» (по изящному определению М. Гаспарова), и тогда он начинает играть этим бисером сам. («Приближать читателя к подлиннику», а не «подлинник к читателю» /М. Гаспаров/.)

Наблюдения показывают, что переводчики склоняются к буквализму по мере развития у них склероза. Буквализм — не метод, а профзаболевание. Больным надо давать освобождение от работы и бесплатную путевку в санаторий.

Интересно, что в работах теоретиков перевода почти нет речи о красоте (у физиков — больше). Интересно, что никогда нет речи о параллельности опыта переводчика и автора. Не видевши орла, напрягают воображение и дают портрет крупной курицы.

Занятно, что перевод, действие, связанное с чувством, описывается в терминах интроекций и фрикций.

О «советской переводческой школе». Ее нет. Не могу видеть в одной школе Лорие, Стенича, Сороку и тех школьников, которые производят подавляющую часть совокупного продукта. Если школа — учреждение и одних принимает, а других исключает, то да, есть такая школа. Вообще же перевод — дело частное.

Автора удивляет, что в оценках советских теоретиков сильно звучала этическая нота: «честный» — «нечестный» перевод, «принципиальный» — «беспринципный». Это потому, что он жил за границей. Среди прочих у перевода была санитарная функция. Всегда был соблазн припасть к руке дающего. У нас переводчики помогали порядочным русским писателям сохранить душевное здоровье публики при блокадном умственном пайке. В таких условиях лгать — еще и некрасиво.

ИННА БЕРНШТЕЙН

Литературные произведения, конечно, непереводимы. И никакими рецептами, мудрыми теориями, пунктами и подпунктами этому горю не поможешь. Наша работа — вроде голографии, воспроизведение оригинала, более или менее похожее, но повисающее в воздухе. Как водопад Виктория посреди зрительного кинозала. Африку еще надо как-то домыслить и держать в уме. Ведь всякий текст живет в контексте, его смысл и понимание читателя обусловлены окружающей реальностью, и географо-исторической, и языковой. У меня, например, лет 15 назад вышел перевод романа, который назывался — «October Light». И всем было тогда очевидно, что так и сделать по-русски: «Октябрьский свет» невозможно — советский языковой контекст придал этому словосочетанию иной смысл. Сейчас-то, наверно, уже можно бы...

(Зато сегодня забавно проснулась двусмысленность в скромном описании: «...на пьедестале стоит Ленин с протянутой рукой».)

Мы часто стремимся придать переводимому тексту больше живости и объемности посредством введения в него материала из контекста, из того, что в оригинале есть, но не выражено. Однако этот прием чреват опасностями. Даже если без всякой африканской экзотики, просто при описании знакомой нам жизни большого города. Например, Нью-Йорка. Вот фразы одного персонажа из современного американского рассказа:

> «Конечно, вы уже укатили в это время на Лонг-Айленд, на Кейп-Код или, я не знаю, на море, штат Нью-Джерси». И ниже:
> «Я вижу, для нее жуткое оскорбление, что она могла ездить на лето к морю».
> (Of course, you were already on Long Island, or Cape Cod or someplace the Jersey shore. I see this is a big insult to her that she should go away for the Summer.)

Перевод как бы добавил в текст толику краски из контекста, педализировал еврейскую интонацию, привлек знакомую для русского читателя тему — отъезд на лето из города к морю. Но такое подкрепление текста контекстом содержит в себе угрозу недостоверности, в данном случае здесь прямая неправда. Дело в том, что, во-первых, и Лонг-Айленд, и Кейп-Код — такие же приморские курорты, как и Джерсейское побережье, которое рядом с Нью-Йорком, на той стороне Гудзона, да и сам Нью-Йорк — океанский порт. (А Лонг-Айленд — один из его районов.) Словом, уехать из Нью-Йорка на море географически невозможно. К тому же в Восточных штатах горожане пошикарнее уезжают на лето не к морю, а в горы.

Перевод текста контролируется оригиналом. А для воссоздания контекста материал дают книги, газеты, карты, фильмы, словари, и прочая, и прочая. Переводчику нужно знать как можно больше. А наипаче — видеть своими глазами. Мы ведь недаром всю жизнь тихо просимся за границу. Но все равно личные впечатления автора проследить невозможно. Мы их возмещаем своими. Свобода прекрасна, но надо постоянно быть настороже, чтобы не завраться.

Вот и выходит многажды проклятое неразрешимое противоречие между «красотой» и «верностью», то есть между органичностью, живостью — и достоверностью. Переводя художественный текст на другой язык, мы как бы преследуем двух зайцев: предлагаем читателю произведение искусства и одновременно содействуем сближению культур. Если, скажем, сидят две крестьянки, миссис Томпсон и миссис Тейлор, и одна другой говорит: «Я, чай, подруга, мужик твой в питье меры не знает»,— то, с одной стороны, этак живее, естественнее и убедительнее, чем «Мне кажется, дорогая, что мистер Томпсон — человек очень невоздержанный». Но тогда уж хочется посадить их на завалинку у ворот, одеть в сарафаны и вообще убрать эти непривычные «миссис», а называть их просто и естественно: «Петровна и Фоминична». Но это неправда. Английские женщины так не одеваются, и ведут себя иначе, и разговор у них другой. Впрочем, как ни стараться, «по-ихнему» у нас все равно не получится. Вот и делай что хочешь. Мне лично в глубине души всегда хотелось, чтобы «мои» персонажи сохраняли легкий английский акцент,— хотя на практике я, как и все, норовлю вычеркнуть то, что «не по-русски»...

В ранней книге В. Набокова — переводе кэрролловской «Алисы» (которую он назвал Аней) — можно найти любопытные примеры такой раздвоенности. Персонажи, да и сам автор, часто изъясняются калькированными, англообразными фразами, натренированная рука советского переводчика-редактора так и тянется подчеркнуть язвительной извилистой линией: «Я же должна одеться, чтобы отправиться играть в крокет с Королевой» или: «Это показалось Ане отличным случаем, чтобы стукнуть одного об другого». Но вперемешку с такими неловкими оборотами попадаются и отрадно «живые», «свои» разговоры: «Теперь скажи мне, Петька, что это там в окне? — Известно, ваше благородие,— ручища!» Или: «Где другая лестница? — Не лезь, мне было велено одну принести. Яшка прет с другой.— Яшка, тащи ее сюда, малый!»

Который Набоков прав? Должно быть, тогда он еще сам искал для себя правильное решение. Что уж он в конце концов выбрал, это другой вопрос.

Мне иногда кажется, что в экуменическом деле взаимосближения «буквальные» переводы важнее. Недавно в одном очень современном американском романе мне попалось выражение: a wedge of cranes, и славно было узнать в нем наш журавлиный клин — хотя, конечно, наш лучше, так как держится на созвучии, но все-таки приятно, что он и над ними пролетает. А ведь мог бдительный тамошний переводчик сказать, что по-английски так не говорят. И был бы прав.

Чужеродные, «не свои» обороты, образы, словоупотребления, интонации, попадая в другую атмосферу, приносят с собой призвуки «той» культуры, иные подходы, оценки, критерии. (Вон у нас «заграничный» — эпитет хоть и слегка устаревший, но четко положительный, а по-английски foreign, тем более outlandish — вещи просто отвратительные.) Разного рода заимствования пусть даже сами не приживаются — ненужное язык отторгает,— но все же как-то содействуют внутренним процессам развития.

ВЛАДИМИР ХАРИТОНОВ

В 1990 году в издательстве «Советский писатель» вышел, сильно запоздав, сборник «Мастерство перевода. 1985». Его порядковый номер — 13 — бросает меланхолическую тень на судьбу предприятия, державшегося 35 лет. И если академические штудии («теория перевода»), может, каким-то образом продолжатся на энтузиазме, то критика, и прежде не очень баловавшая вниманием переводы, очевидно, замолчит совсем. Да ее уже нет. Выходят странные книги, выполненные на невозможном уровне, однако беспокоиться по этому поводу как бы некому, некстати и негде. А еще памятны не только дискуссии, в очередной раз поднимавшие глобальные проблемы перевода, но и пристрастные разборы отдельных переводческих неудач (реже — удач). Отличный образчик этого продолжительного культурного кипения — сборник «Художественный перевод: проблемы и суждения» (изд. «Известия», 1986), составленный из материалов, прошедших в свое время в журнале «Дружба народов». Неостывшими страстями пахнула на меня и книга Л. Лейтона «Два мира — одно искусство» — уже по той причине, что в ней много «про нас». Я не историк и не теоретик перевода и не замахиваюсь выставлять ей оценку. На мой взгляд, это большая работа в смысле систематизации, переводологической номенклатуры; в рассуждении же «нового шага» — не знаю, может статься, это шаг на месте, никуда не подвигнувший, но сохранивший внутреннее движение темы. Как практик я всегда поглядывал на эту литературу с виноватым интересом. Любопытно, что предмет твоих повседневных занятий имеет научный коррелят, опекаемый авгурами. Виноватость же проистекала из того, что чтение этих трудов мало дает практически и рано или поздно перестаешь следить за их разбирательствами. Перестаешь даже понимать, чего они там не поделили, утешаясь (без самообольщения, конечно) мыслью Белинского: «В сфере искусства ученый знает, художник умеет». Для переводчика-практика наука о переводе привлекательна постольку, поскольку утверждает непреложность таких истин, как переводимость иноязычного текста, и всегда индивидуальное и конкретное решение самой этой задачи. За результат отвечает только исполнитель — не школа и не направление. Вообще, замечу в скобках, в той или иной мере хозяйские притязания на текст вправе объявить любой его читатель, но раньше и тверже всех («Так не говорят!») это делает редактор; мистическую силу этих правомочий я ощутил на собственном опыте, редактируя чужие переводы. Был такой обычай: успех записывать в актив советской переводческой школы, а неудачника корить за отступничество от ее замечательных принципов. Можно набрать много хороших прилагательных (реалистический, адекватный), можно насчитать и шесть, и более критериев художественности, но либо перевод *есть* — либо его *нет*. В этом смысле якобы вечно караулящие переводчика Сцилла и Харибда (буквализм и вольный перевод) опасны только для тех, кто не умеет переводить иначе. Научное обоснование («не хотят» переводить иначе) подоспеет задним числом, хотя можно и заблаговременно подготовиться. Только здравый смысл подскажет, какую, например, реалию следует перевести, а какую транскрибировать, не погнушавшись дефинитивной сноской. Смешно по этому случаю тревожиться о засорении языка. Оно идет не через книги. Включите радио, посмотрите на уличные вывески, послушайте, наконец, сегодняшнюю живую речь. Кстати, о просторечиях. Для переводчика-практика здесь тоже все достаточно очевидно. Попытка передать на русском языке лондонский кокни или бруклинский акцент такая же утопия, как желание угостить англоязычного читателя курской или ярославской речью. Кроме простого синтаксиса и сниженной лексики, тут, пожалуй, ничего другого не придумать. Профессионализмы и жаргон ловят в специальных словарях, но у нас их нет. Набитый ненужными в нашем деле советизмами («крупокомбинат») справочник «Новые слова и значения» (1984) обещал какие-то перспективы, но развеялся и этот мираж. Откровенно плохо обстояло дело с бранью и специфической лексикой ввиду целомудренных традиций нашего речевого поведения. Поскольку редакторат у нас в основном женский, русские версии западных крутых людей шли с потерями. Отечественная словесность последних лет подала здесь помощь сверх ожиданий. Мелочи, частности, эмпирика — все это и определяет, по-моему, существо переводческой работы, но я никоим образом не хочу оставить впечатление легкомысленного или, не дай бог, высокомерного отношения к таким трудам, как книга Лейтона. Мне нравится, что они выходят и их разноголосый ученый пересуд как бы учитывает и мой ежедневный двух-, если повезет — трехстраничный урок.

МИРЧА ДИНЕСКУ: «КОГДА-ТО Я БЫЛ ПОЭТОМ...»

Мирча Динеску имел все, чтобы стать баловнем тоталитарного режима в Румынии. Дебютировав в 17 лет, он быстро занял прочное положение в литературе. Автор восьми сборников стихотворений, лауреат премий Союза писателей и Румынской академии, член правления писательской организации, М. Динеску был известен и за границей, где неоднократно публиковался.

В Румынии начала 80-х надвигались «идеологические заморозки». Поэт, которого один из критиков как-то назвал «нежной мимозой», реагировал на них болезненно: иронизировал, возмущался, протестовал. Ему намекали, что не мешало бы слегка сбавить тон, изменить голос, подстроиться... Но это претило, и «мимоза» неожиданно выпустила шипы.

Одним из первых «выпадов» поэта против режима Чаушеску стало интервью «Вести о весне привели меня в Москву...», которое он дал автору этих строк для журнала «Иностранная литература» (1987, № 7). Рубикон был перейден, и в 1988 году последовали новые атаки против диктатуры — в выступлениях на международной конференции писателей в Берлине и у микрофона московского радио. В марте 1989 года среди румынских литераторов получило распространение открытое письмо М. Динеску к председателю Союза писателей Д. Р. Попеску: поэт возмущался унизительным обращением, которому подвергаются писатели в румынском полицейском государстве. В ответ ему инкриминируют «незаконные связи с иностранными дипломатами» и увольняют из еженедельника «Ромыния литерарэ». Строптивый поэт остается без заработка, но отнюдь не складывает оружия. 17 марта парижская «Либерасьон» публикует интервью М. Динеску, в котором он называет Румынию «страной социальной экзотики». Здесь нельзя повеситься, так как нет мыла и веревки, нельзя совершить даже акт самосожжения из-за нехватки спичек. Полицейских здесь больше, чем голубей, а спекулянты создали новую денежную единицу — сигареты «Кент». Это страна абсурда, где пограничники наводят ружья на собственную территорию, а пшеницу жнут только на экранах телевизоров. Бог отвернулся от румын!

Возмездием был домашний арест: у дверей дома М. Динеску появились охранники в штатском, отключили телефон, а сопровождавшие поэта повсюду агенты препятствовали любым контактам. В поддержку арестанта выступили семь других румынских литераторов, имена которых немедленно стали табу на страницах прессы. «Дело Динеску» вызывало все больший интерес на Западе, за его освобождение высказались 60 румынских писателей-эмигрантов, опубликовали письмо протеста французские литераторы, стихи Динеску все чаще печатались в Германии, Франции, Нидерландах.

Корреспондентом ТАСС я оказался в Румынии осенью 1989 года. Конечно же, мне не давала покоя мысль о новом интервью с опальным поэтом. И вот дождливым октябрьским вечером я стоял у дверей дома М. Динеску. Четверо атлетически сложенных молодых людей преградили мне путь, предложив предъявить документы. Аккуратно переписав данные моего паспорта, «секуристы» невозмутимо сообщили мне, что встреча с М. Динеску невозможна. Тогда я попросил разрешения передать ему по традиции буханку черного хлеба. Получив любезное разрешение, я оставил душистый «кирпич» на каменном заборе и убрался восвояси. После декабрьских событий, между прочим, я поинтересовался у М. Динеску, получил ли он «передачу». Нет, конечно, он так и не узнал о моем визите. Так что за тайной полицией Чаушеску еще и стоимость одной буханки московского черного хлеба!

Через несколько дней М. Динеску, невзирая на бдительную стражу, удалось передать «на волю» новый обличительный текст, опубликованный «Франкфуртер альгемайне цайтунг» под заголовком «Мамонт и литература». После этого поэт был готов к самому худшему и в парикмахерской на вопрос мастера, как его стричь, мрачно ответил: «Для тюрьмы».

А 22 декабря в отделении ТАСС вдруг заработал телевизор, и я услышал знакомый, срывающийся от возбуждения голос, который возвещал румынам свободу! Утром соседи сообщили Динеску, что его охранники сбежали. Поэт вышел на улицу, люди узнали его, посадили на броню захваченного демонстрантами танка и увезли на телевидение. Я тоже помчался на студию. Мы расцеловались, но на мое предложение немедленно дать интервью М. Динеску сказал лишь, едва справляясь с волнением: «За двадцать лет диктатуры и гнета мы разучились пользоваться свободой. То, что творится сейчас,— это безумие, вулкан, бред». Спустя несколько часов в Бухаресте зазвучали выстрелы, и он был вынужден на несколько дней уйти в подполье.

В эти горячие дни М. Динеску был включен в Совет Фронта национального спасения, избран председателем временного руководящего комитета Союза писателей. Позднее ему не удалось сохранить за собой кресло парламентария. Зато председателем Союза писателей он был переизбран беспрецедентным в истории организации румынских литераторов большинством голосов.

Пора героической эйфории, однако, быстро миновала, и постепенно брала свое повседневность, полная мелочных интриг, сплетен и скандалов. Прозвучавший на национальной конференции литераторов призыв М. Динеску «покаяться» не был услышан писателями, которых раздражало всякое упоминание о компромиссах с совестью в «золотую эпоху». Они предпочитали обсуждать тиражи и цены, тарифы и гонорары. «Не превращаются ли наши литераторы в экономистов? — спрашивали газеты.— Неужели интересы писателей, которые когда-то были совестью нации, сводятся только к повышению собственного благосостояния?»

Бедность порождала зависть, а зависть — дрязги. Среди литераторов появились соперничающие группировки, Союз писателей раскололи ожесточенные распри. И не очень-то умеющий лавировать между писательскими самолюбиями М. Динеску превратился в удобную мишень буквально для всех. В ход пошли и площадные оскорбления, и вероломные инсинуации, и даже вполне грамотно организованные провокации с целью «пришить уголовку» поэту. Его обвиняли в непомерном властолюбии и финансовой нечистоплотности, субъективизме и произволе, снобизме и политических играх. «Узурпатор», «растратчик», «иностранный агент» — лишь немногие образчики этой манеры полемизировать. Ошеломленный М. Динеску, который еще год назад сочинял «открытые письма» председателю писательской организации, теперь сам стал получать их в большом количестве, да еще от бывших друзей и единомышленников! Как говорится, это было бы смешно, не будь так грустно!

...С апреля 1990 года М. Динеску как образцового государственного функционера можно ежедневно видеть в «конторе» — красивом «доме Вернеску», где теперь располагается Союз писателей. С 9 утра и до 16 вечера он считает деньги в кассе литературного фонда, разбирает «трудовые споры» сотрудников литературных журналов, ведет нудные переговоры с министерскими чиновниками, а в перерывах между этими неблагодарными занятиями дает интервью, в которых отбивается от сыплющихся на него со всех сторон обвинений. Увы, совсем не такой виделась поэту-диссиденту М. Динеску его жизнь в свободной Румынии! И вот принято решение о досрочной отставке: Берлинский университет предоставил М. Динеску стипендию сроком на год (от нескольких подобных предложений, поступивших после декабрьской революции, он в свое время отказался). Таков был «текущий момент», когда мы с М. Динеску наконец встретились для долгожданного интервью, которое я предпочел начать издалека:

— *Как известно, в румынской литературе практически не существовал феномен «самиздата». Похоже, что писателям удавалось публиковать все написанное. Более того, я слышал, будто некоторые авторы нарочно сочиняли «крепкие» пассажи, призванные привлечь — а по сути, отвлечь! — внимание цензора, который «снимал» их, а роман в целом становился «проходным». Правда ли это?*

— В Румынии было несколько категорий цензоров. Прежде всего это вышедшие в тираж партийные работники, которые ничего не понимали в литературе и попадали в цензуру, как на «кладбище слонов». Таких можно было провести при помощи эзопова языка и других подобных уловок. Были цензоры — члены Союза писателей, которые из страха и стыда перед коллегами предпочитали иногда кое-чего «не замечать», у которых можно было «отспорить» сомнительные эпизоды. Многие на собраниях критиковали автора, а в коридоре украдкой пожимали ему руку.

Мы ведь находимся «у врат Востока», где ко всему относятся легко... А потом Чаушеску уничтожил официальную цензуру, и нам уже не с кем было торговаться как на колхозном рынке. В результате опасливый издатель сам «заворачивал» неблагонадежную книгу, а смелый — брал на себя ответственность за ее выпуск в свет. Например, Марин Преда, который был директором издательства «Картя ромыняскэ», направил две мои книги сразу в типографию: «Пусть их читают в ЦК после того, как они будут напечатаны. Цензуры больше нет!» А с последней книгой — «Смерть читает газету» — в 1987 году вышла незадача. Издательство подписало ее в печать, но она была остановлена цензурой, которая... не существовала. И тогда я переправил ее на Запад!

— *Может быть, эта легкость, с которой многие в Румынии меняют «оперение», сформировалась исторически и стала частью национального характера?*

— Да, вероятно, это обусловлено историей. Приходили турки — мы надевали тюрбаны, их сменили русские — мы натягивали сапоги и плясали «казачка». Но, между прочим, румынам удалось провести султана, который поверил в их преданность и отказался от строительства мечетей, оставив нам православные церкви. Так и Георгиу-Деж усыпил недоверчивость Хрущева, и из страны были выведены советские войска. Но сегодня этот оппортунизм переходит всякие разумные границы! Бывшие ярые коммунисты становятся оголтелыми антикоммунистами. Это неприлично и отвратительно, мы впадаем в безудержный карьеризм. Сорок лет мы имитировали коммунизм, а теперь имитируем свободу! Зло не искоренено в Румынии, оно лишь приняло иные формы.

— *Оппортунизм принято клеймить. Но есть японская танка, в которой говорится о том, как ветка крепкого, но хрупкого ясеня сломалась под тяжестью мокрого снега, тогда как ветка гибкой сакуры гнется, выскальзывает и — вновь выпрямляется!*

— Что же, конечно, это двурушничество имело и положительные стороны... Возможно, исторически оно спасло Румынию, которая находилась на пути великих империй. Но литературе оно причинило большой вред, даже если и позволило выжить. Я убежден, что мораль — существеннейший элемент литературы. Многим талантливым румынским писателям двойная мораль помешала оправдать ожидания, которые на них возлагались. Сегодня видно, что это — неудавшиеся писатели, растратившие напрасно свое дарование. После эффектного, многообещающего дебюта их талант вдруг иссяк. И роковыми для них оказались именно компромиссы. «Ничего,— говорили они.— Пусть я накропал поэму, прославляющую диктатора. Зато потом напишу гениальный роман и отыграюсь!» Но отыграться не удалось! Нельзя одним и тем же пером лгать и создавать бессмертные произведения! Это все равно как если бы соединить канализацию и водопровод: спускаешь воду в уборной, и нечистоты стекают в кухонную раковину!

— *Но все же писатели сосуществовали с режимом? Ведь за редкими исключениями, к которым принадлежишь и ты, румынские литераторы не выражали открытого протеста против диктатуры. Почему?*

— Да, многие мои коллеги должны были бы ощутить чувство вины. Тогда, в декабре, все свалили на Чаушеску. Но при этом забыли, что «светлый образ» диктатора создавался общими усилиями интеллигенции, в том числе и писателями. Чаушеску был почетным председателем Румынской академии, университеты наперебой присваивали ему почетный титул доктора «гонорис кауза», ежегодно выходили пять-шесть роскошно изданных томов с посвященными ему поэмами... Кто их писал? Писатели, которые участвовали в этих славословиях, сегодня ведут себя как ни в чем не бывало! Кто знает, если бы тогда, в декабре, мы вскрыли эти нарывы, то сегодня, может быть, уже были бы здоровы. После революции прошло уже три года, а Румынии все еще нужно правительство врачей, а не политиков! Более того, сегодня выясняется, что в Румынии нет писателей, которые не были бы диссидентами при Чаушеску! Я уже никому не говорю, что был диссидентом. Мне стало противно само это слово — «диссидент»! Если спросить сегодня, сколько диссидентов было среди двух тысяч членов Союза писателей, то окажется, что их было три тысячи! Это просто стыдно!

— *Хорошо, вернемся в сегодняшний день. Где былая солидарность писателей, которые считались единственной силой в Румынии, противостоящей Чаушеску? Почему сегодня коллеги подвергают тебя перекрестной критике?*

— В Союзе писателей — восемьсот поэтов, и большинство из них сегодня жалуются, что издатели не хотят печатать их стихов. «Сделай что-нибудь! — требуют они от меня.— Ты же председатель!» Но мы теперь живем в демократическом обществе, а это значит, что я не могу снять телефонную трубку и отдать приказ включить чью-то книгу в издательский план. Я могу разве что пойти к частному издателю и влепить ему пару пощечин. Но что из этого выйдет!

Писатели, как и все румыны, не готовы жить в обществе потребления. Люди, которые в течение двадцати лет, покупая кусок колбасы, должны были предъявлять паспорт, не способны уяснить, что такое конкуренция. Мой друг Адам Михник по этому поводу говорит: нетрудно сделать суп из аквариума, но аквариум из супа невозможно! Они не могут понять, что при капитализме нельзя прокормиться сочинением стихов! Поэты полагали, что после казни Чаушеску витрины румынских гастрономов немедленно и автоматически заполнятся колбасой. Увы! Вышло иначе: им теперь угрожает голодная смерть! Но, видимо, именно таков удел настоящего поэта! Поэты всегда умирали с голода! Аномалией было то, что происходило в Румынии, где сочинители элегий и патриотических поэм обзаводились животиками! Нет! Пусть теперь патриоты пишут стихи о родине на голодный желудок! Патриотизм не должен зависеть от метаболизма поэта! Думаю, что сегодня в Румынии не более пятидесяти писателей смогут печатать свои книги. А остальные? Остальные думают: «Кто виноват? Конечно, Динеску! Негодяй!»

Конечно, я совершил ошибку, приняв этот пост, вместо того чтобы писать мои книги. Я наивно полагал, что одновременно смогу остаться поэтом Динеску! Но не тут-то было! Теперь я нечто вроде главного бухгалтера! Уже два года все мои мысли заняты ценами,

тарифами, налогами... Уже два года я не читал стихов. А ведь я все же поэт! Или, по крайней мере, когда-то был поэтом!

Теперь я вылечен навсегда! Хотя срок моего председательства истекает через два года, я подам в отставку досрочно, уеду в Германию и буду работать над новой книгой! И надеюсь, что на этом свете мне не доведется больше встречаться с писателями!

Но, между прочим, я мог уехать раньше, но совестно было оставлять Союз писателей на произвол судьбы! Сейчас я веду переговоры с министерством труда, чтобы наших пенсионеров взяли на государственный бюджет. Идут переговоры с министерством финансов — чтобы налог на книгу был повышен до десяти лей, чтобы его платили и частные издательства. Понемногу дела выправляются...

— *Может быть, ты вкратце обрисуешь материальное положение Союза писателей?*

— После декабрьской революции у нас водились денежки! Книги тогда были дешевы, издавались большими тиражами и приносили доход. Мы чувствовали себя богатыми; каждая проданная книга приносила в казну Союза писателей два лея. Мы взялись финансировать двенадцать литературных журналов, платили зарплаты тремстам молодым писателям и пенсии восьмистам престарелым литераторам. Но прошел год, и цены на бумагу и типографские расходы возросли в десять раз. Если в 1990 году журналы принесли нам миллион лей прибыли, то в следующем 1991 году мы потеряли на них 60 миллионов!

Нам предлагают искать пути к рентабельности, но абсурдно требовать дохода от неприбыльной творческой организации. Мы же — писатели, мы лишь переводим бумагу! Вот если бы мы были Союзом румынских колбасников, то наверняка приносили бы прибыль! Культура, которая жила на дотациях в течение сорока лет, теперь может погибнуть всего за два года! Для меня очевидно, что до тех пор, пока в Румынии не появятся спонсоры-миллионеры, культуру обязано субсидировать государство!

Конечно, власти поддержали бы журналы, если бы они плясали под дудку правительства. Но писатели, как правило, находятся в оппозиции. Не могу же я снова вводить цензуру! Так мы расплачиваемся за провозглашенную в декабре независимость!

И все же у нас есть и достижения! Нам удалось сохранить Союз писателей! Он не распался, как в России, Венгрии, Польше... И я пока еще председатель двух тысяч писателей! Правда, около тысячи из них, вероятно, меня проклинают! Да и вообще это абсурд — быть председателем объединения, с половиной членов которого у тебя нет ничего общего. Ведь я — председатель и тех писателей, которые писали поэмы о партии и Чаушеску, которые доносили на меня в «Секуритате»...

— *Получается довольно безотрадная картина... Каков же выход?*

— Ну, ты ведь знаешь мое кредо: лучше умереть стоя...

— *Да, но почему-то мне кажется, что оставшиеся две тысячи писателей не проявят особого энтузиазма...*

— Действительно, почему-то никто не хочет умирать — ни стоя, ни сидя... Так что, вероятно, нас ждут долгие и мучительные страдания. А рецептов нет. Каждый ищет выход в одиночку. Вот пример: я начал выпускать политическую юмористическую газету «Академия Кацавенку» (Кацавенку — персонаж комедии И. Л. Караджале «Потерянное письмо», олицетворяющий продажного политика.— *Н. М.*). Ее делает «команда» всего из семи человек, среди которых нет ни одного писателя. Все писатели озабочены стилем и пишут примерно одинаково, кроме, конечно, очень талантливых. И эта газета, которую делают врачи, инженеры, журналисты, вполне рентабельна. Ее тираж — сорок тысяч, то есть больше тиража всех журналов Союза писателей, вместе взятых! Я — президент «Академии Кацавенку», и это мне нравится гораздо больше, чем быть председателем Союза писателей!

— *Допустим, ты «донесешь свой чемодан». Но кто позаботится о румынской культуре и литературе?*

— Ты прав, культура переживает сегодня жестокую драму. В наши дни рабочий зачастую уже не может позволить себе купить книгу для своего ребенка. Очевидно, что происходит процесс изоляции культуры, которая сосредоточивается в узком социальном секторе. Политики, психологи, социологи должны задуматься над последствиями уничтожения культуры в Восточной Европе. На Западе действует исторически сложившаяся иерархия ценностей, в которой культура занимает свое место, и это спасает писателей от голодной смерти. Иное дело — в Румынии, перепрыгнувшей из дикого коммунизма сразу в дикий капитализм.

— *Кажется, Синявский сказал как-то, что настоящая литература рождается только в условиях тоталитаризма. Может быть, он был прав?*

— Святое негодование писателя — мать вдохновения. Мы по-прежнему живем в нищете, и это дает нам возможность остаться писателями. Конечно, иногда я вспоминаю о прошлом с ностальгией... Но нет! Это ясно! Интеллигент несчастлив всегда, при любой системе. Теперь мы поклоняемся обществу потребления: миф писателя бесследно растаял, и в центре всеобщего внимания — коммерсанты. В общем, я думаю, что писателям опять суждено голодать...

НИКОЛАЙ МОРОЗОВ

МАРГИТ КОВАЧ: СВЕТ, ИСХОДЯЩИЙ ОТ ОГНЯ

Художница и скульптор Маргит Ковач родилась в начале нашего века в Дьёре, провинциальном венгерском городке, в семье учителей. Отца она потеряла рано, а мать была рядом всю жизнь, и после ее ухода дочь так и не смогла оправиться. Близкий друг, помощница, а в трудные годы и подмастерье — от таких женщин передается счастливая уверенность в бесконечности жизни, и их дети до конца дней чувствуют себя детьми.

Способность к творчеству проявилась в ней рано. Она быстро «схватывала» и переносила на бумагу свои детские впечатления и образы, ставшие потом материалом для многочисленных превращений: «угловатые фигуры крестьян в городском пейзаже, простые и чистые лица деревенских женщин, несущих свою нехитрую поклажу, веселое оживление рынка, расцвеченное яркими сценками у овощных, фруктовых и рыбных прилавков. Ее увлекала игра с формой, и вот однажды живший по соседству печной мастер заметил это и предложил девочке на пробу свой «материал»...

«...Глина — хлеб мой насущный, моя радость, моя боль. Уже с первого прикосновения она стала частью моей жизни. И с тех пор, попав в ток моей крови, то на верх волны радости, то в провалы испуганной безнадежности влечет меня, поднимает и опрокидывает вновь».

Древнейшее ремесло людей Земли, нелегкий труд гончара — занятие для терпеливых и достойных. В его сильных руках — красота и прочность домашнего мира, а когда он отдается игре, вслед за ним нам тоже дано пережить наслаждение от встречи с фантазией, наваждением цвета, света и тени в судьбе человека. Маргит Ковач остановила свой творческий выбор на этом занятии.

В ее родной Венгрии, не раз терявшей и заново обретавшей себя в огненном вихре европейских войн и революций, художникам жилось так же нелегко, как и всем прочим людям. Новая по историческим меркам страна нуждалась в выражении собственного характера, а в декоративном, прикладном искусстве народные корни культуры, пусть и в стилизованном виде, могли проявиться особенно ярко. Появление работ молодой художницы, во многом отвечавших утонченной стилистике «art nouveau» («новое искусство»), было встречено с интересом [1]. Их сразу же нарекли «поразительными» и «по-настоящему венгерскими».

Она говорила, что видит мир с птичьего полета, и потому то, что она изображает, получается немного похожим на сказку...

«...По синему лесу, по зеленому полю птичка [2] гуляет...» Уж не та ли,

---

[1] Первое участие в выставках отмечено 1928 г. (Будапештский национальный салон); затем последовало множество экспозиций в Венгрии и за рубежом, удостоенных премий и наград: 1936 — золотая медаль на V триеналле в Милане; 1937 — Специальный диплом Всемирной парижской выставки; 1958 — «Гран-при» Всемирной выставки в Брюсселе. С 1973 — постоянная экспозиция в Сентендре, с 1974 — в музее Яноша Ксантуша в Дьёре.

[2] В венгерской фольклорной традиции образ волшебной птицы, так часто появляющийся в разных обличьях у М. Ковач, — один из самых ярких и многозначных символов воскрешения, победы над смертью, ставших частью национального сознания.

что приносит девушке весточку от любимого человека? Или это он сам, ходит под голубым небом в обнимку с вольным ветром, и как ни зовет она: «Прилетай скорее, золотую клетку для тебя готовлю, клетку золотую, с серебряной дверцей...» — не летит, не хочет терять свободу... А может, это и вовсе дивная пава — так важно она выступает и гордо смотрит, несет в клюве чудесые цветы и дарит счастье и богатство всем добрым людям — ну хоть во сне, хоть в сказке, хоть в мечтах?...

Действительность — глазами птицы, и сказка, запечатленная в глине...

...тут поднялся ужасный ветер, и закружил принцессу, и забросил ее на верхушку огромного дерева. И никто не знал, как ее спасти, и король уже плакал и все обещал отдать за нее. Никто не знал, только Янчико сказал, что попробует. А все смеялись — куда тебе, простофиле! А он не слушал и не обиделся, он лез-лез, падал-падал, опять лез, все вверх и вверх, и всех победил и спас принцессу. А потом к себе в деревню ушел — зачем ему царство?..

Ее любимые цвета — голубой и желтый. Любимые герои — Люди: Мать, Дети, Семья. Веселые, лукавые лица с голубыми глазами. Расплывчатая, безбрежная старость. Все во Всем. Библейские сюжеты — в многообразии формальных выражений: рельефы, панно, фигуры. Чаще других — образ св. Георгия, поражающего змея. Человек сам обязан вести ежедневную борьбу против собственной греховной лени, уныния, праздности. Только трудом, трудом и самоотречением можно приблизиться к праведной жизни. Чистота и цельность спасают не только в сказках. Но как же труден этот путь... Еще один частный мотив — плач, плакальщицы, страдание; горе и счастье покаяния. В этих фигурах, порой на грани возможной симметрии и реальности, может быть, особенно заметно и ощутимо мощное движение духа самой художницы.

Тот, кто отмечен бременем Дара и призван нести людям свои творения, «вдыхает» в них *свою* душу. И вот, «гончара уже нигде нет, а его настроение, озорство, радость, скорбь все звучат в его черепках и говорят с идущими вслед за ним...»

Но и огонь, верный спутник его ремесла, не только формализует глину. Свет, духовная субстанция огня, *его* душа словно срывается с языка пламени и влетает в самую суть вещей, сделанных Маргит Ковач.

А уж потом «идущие за ней» никак не могут надивиться...

ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА

У книжной витрины

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ

Доктор Криминейл

Malcolm Bradbury. **Doctor Criminale. «Secker and Warburg»**

«Доктор Криминейл» — единственный роман Малькольма Брэдбери за последние десять лет; действие в нем разворачивается в самое недавнее время — осенью 1990 года и в первой половине следующего, 1991 года. Сюжет тесно связан с международными общественно-политическими событиями: именно они определяют поступки и повороты судьбы многочисленных персонажей.

Молодой журналист Фрэнсис Джей, оказавшись на церемонии вручения литературной премии «Букер» 1990 года, привлекает внимание двух дам — продюсеров телекомпании «Нада». Они намереваются снять документальный сериал «Великие мыслители в эпоху гласности», а ведущим предлагают стать Фрэнсису, который поневоле дает согласие (его газета закрылась, и журналист остался «на мели»). Отныне задача Джея — обрисовать биографию весьма заметной, но вместе с тем таинственной личности, доктора Базло Криминейла. Этот постмодернистский писатель, критик, политолог и философ поспевает всюду; никто не знает, откуда он взялся, ясно лишь, что он — «европеец» с довольно темным прошлым. Джей следует за ним с одной научной конференции на другую: Лондон, Вена, Будапешт, Милан, Лозанна, Буэнос-Айрес и, наконец, южная Германия. (В издательской аннотации не зря сказано, что автор, М. Брэдбери, любит путешествовать.) Эти перемещения позволяют Джею собрать необходимый, порой обескураживающий материал о «великом философе .современности».

ФРАНСУА ВЕЙЕРГАН

Слабоумие боксера

François Weyergans. **La démence du boxeur. «Grasset»**

Маститый восьмидесятичетырехлетний кинорежиссер с немного странным именем Мельхиор Мармон покупает дом, в котором прошло его детство, и, оставшись один, воскрешает в памяти события своей долгой и бурной жизни. Жена была моложе его на сорок лет, однако овдоветь суждено было ему, а не ей. В тридцатые годы Мельхиор Мармон потратил все деньги на провалившиеся тогда фильмы (зато теперь телевидение готово выложить за них любую сумму). Последний его фильм назывался «Слабоумие боксера», и Франсуа Вейерган не случайно точно так же озаглавил свой роман. Слабоумие боксера, в медицинском смысле,— это особый вид нарушения мозговой деятельности у пожилых боксеров, получивших слишком много ударов в голову. Подобным же боксером предстает на страницах книги и ее главный герой: история его жизни больше похожа на перечень бесконечных ударов со столь же закономерным, как в спорте, финальным этапом. Рассудок все чаще изменяет старику, отчего воспоминания хаотичны и разрозненны и представляют собой невообразимую путаницу, порой переходящую в полнейший вздор. Счастливые и горестные минуты, обрывки разговоров, фрагменты встреч с актерами и режиссерами, хоровод имен реальных людей и персонажей (Айвенго, Элизабет Тейлор, Цицерон, Хичкок...) — таково содержание мыслей старика (и, естественно, романа о нем). В финале книги героя ждет вечный покой как итог и самой жизни, и мыслей о ней. Мельхиор Мармон, этот боксер, для которого рингом стало все вокруг, получает последний, сокрушительный удар. Все его существо бунтовало против того, что человек смертен, что конец неизбежен; Мармон даже фильмы свои всегда оставлял незавершенными. Не в пример своему герою Франсуа Вейерган роман закончил и получил за него премию Ренодо — вторую по значимости во Франции.

МАРТИН КРУЗ СМИТ

Красная площадь

Martin Cruz Smith. **Red Square. «Random»**

Мартин Круз завоевал популярность и добился коммерческого успеха, избрав в качестве основной темы своих книг события в Советском Союзе (а теперь — в России). Честный следователь Аркадий Ренко — главный герой его предыдущего бестселлера «Парк Горького» — действует и в новом детективно-приключенческом романе «Красная площадь». Вернувшись из «ссылки» на флот, Аркадий попадает в изменившуюся Москву, где на фоне бесконечных очередей разворачивается ожесточенная борьба военачальников и предпринимателей. Информатор Аркадия, связанный с дельцами черного рынка, погибает от взрыва искусно подложенной бомбы, и следователю с его бригадой приходится напрямую столкнуться с коррумпированными мафиозными чиновниками. Помощница Ренко, неутомимый эксперт Полина определяет технологию изготовления бомбы, в результате чего может быть нарушен покой «аппаратчиков». Аркадия отстраняют от ведения дела, однако перед гибелью информатор успевает послать шефу факс с условной фразой «Как пройти на Красную площадь?» и навести на след, ведущий в Мюнхен. Между тем Аркадий с удивлением слышит по радио

«Свобода» голос своей потерявшейся любовницы Ирины и всеми правдами и неправдами устраивает себе командировку в ФРГ. Умело пользуясь знанием советской системы и психологии, Аркадий загоняет в тупик малосимпатичных сотрудников консульства и, конечно же, воссоединяется с Ириной. Благодаря содействию мюнхенского коллеги Ренко нащупывает цепь, среди звеньев которой — русские бюрократы, чеченские мафиози и немецкие банкиры.

ФРАНСУА НУРИСЬЕ

Хранитель развалин

François Nourissier. **Le gardien des ruines. «Grasset»**

Маститый романист и эссеист член Гонкуровской академии Франсуа Нурисье принадлежит к старшему поколению современных французских литераторов. В центре его последнего романа находится тема старины. Главный герой — парижский врач «общего профиля» Альбен Фаржо, странный, немного смешной человек, чья молодость и зрелость давно позади. Этот чудак любит все старое: идеи, дома, традиции, заблуждения. Даже пациенты его интересуют только пожилые — им он помогает преодолевать, помимо болезней, возрастные проблемы. Ровесники доктора Фаржо, как и он сам, не понимают (а следовательно, не принимают) сегодняшних реалий, стремясь сохранить прошлое в нетронутом виде, а в итоге их поведение кажется окружающим нелепым или — в лучшем случае — «консервативным».

Рассказывая об одном сентябрьском дне 1981 года, Ф. Нурисье при этом описывает полвека (с 1938 по 1990 годы) жизни главного героя и его страны. Война, освобождение, голлизм, алжирская трагедия — все потрясения и метаморфозы Франции так или иначе испытал вместе с ней Фаржо. Переплетаясь с его личными неудачами и драмами, победами и поражениями, более масштабные события создают в памяти доктора столь дорогой ему образ былого. Бешеные скорости, новая мораль, иной ритм жизни — все это чуждо старику, и он предпочитает ностальгические воспоминания. Фаржо выбирает роль «хранителя развалин», хотя и сам уже не уверен, стоят ли они почитания и любви.

МИШЕЛЬ РИО

Тлакило

Michel Rio. **Tlacuilo. «Seuil»**

Сюжет нового романа Мишеля Рио свидетельствует о богатой фантазии его автора. Главный герой, чудом спасшийся после кораблекрушения, возвращается с далекого неведомого острова на собственноручно построенном странном паруснике. Друг детства английский лорд ожидает его на не менее удивительном судне, где помощник капитана — покладистая красотка, а экипаж — капелла ирландских монахов. У друзей появляется возможность отправиться к острову Экстазис, превращенному его правителем-тираном в гигантское казино, бордель и курильню опиума для порочных толстосумов-туристов. Там, на острове, томится ученый, который пытается истолковать сложнейший свод законов древних ацтеков, и друзья намереваются вырвать ученого из рук тирана. В пути их корабль попадает в бурю, но они, стоя у руля, невозмутимо продолжают беседу о литературе...

В «Тлакило» Мишель Рио создал мир, в котором смешались страсть к приключениям (как у Жюля Верна), к экзотическим героям (наподобие Тарзана), интерес к ирландскому фольклору и к достижениям цивилизации ацтеков. Роман изобилует литературными аллюзиями, автор обыгрывает ситуации из произведений Пьера Луи, маркиза де Сада, Маргерит Юрсенар. Многие сюжетные линии и отдельные эпизоды перекликаются с более ранними книгами самого Мишеля Рио. Приключения главного героя — это продолжение его путешествий, описанных в романе «Пассаты»; некоторые персонажи перешли из романа «Архипелаг», где рассказывалось о детстве героя. Все эти книги (как и предыдущая — «Оплошность», 1991) были замечены и критикой, и читателями. Что касается «Тлакило», то роман удостоен французской литературной премии Медичи 1992 года.

ДЖАНЕТТ УИНТЕРСОН

Надписи на теле

Jeanette Winterson. **Written on the Body. «Cape»**

Надписи на теле есть у каждого, в них — тайный ключ к душе человека; они невидимы и порой похожи на азбуку Брайля для слепых, прочитать которую дано только любящим и умелым рукам... Главная тема нового романа английской писательницы Джанетт Уинтерсон — любовь как наивысшее и единственно возможное человеческое счастье. Оно, однако, бывает трудным, а путь к нему — непростым. Призрачным оказалось семейное счастье Элджина и Луизы. Вялый, равнодушный Элджин не способен понять самого близкого человека; когда Луиза заболевает лейкемией, он в состоянии помочь ей лишь как врач. По выражению одного из персонажей книги, брак — это большое оконное стекло, которое просит кирпича. Неудивительно, что супруги расходятся, как только на горизонте появляется некто третий. Традиционный любовный треугольник (муж, жена, разлучница) у Дж. Уинтерсон представлен весьма нетрадиционно, ибо разлучница соблазняет не мужа, а жену. Впрочем, ни пол, ни имя этой третьей — или третьего — четко нигде не определены, если не считать некоторых косвенных признаков (чулки, букетик искусственных цветов на шляпе). И хотя роман построен как интимный дневник разлучницы, называющей себя Лотарио, половая принадлежность его автора не акцентируется. Тем самым Дж. Уинтерсон подчеркивает: важно не кто кого любит, а как. Именно поэтому Луиза с первого взгляда влюбляется не в «него» или «нее», а просто в «необыкновенно красивое существо» — Лотарио. Именно поэтому в романе начисто отсутствуют сцены физиологической близости между влюбленными; зато на двадцати четырех страницах следует восторженное описание тела Луизы. Поэтичность, возвышенность чувств усилива-

ется неоднократными аллюзиями на сонеты Шекспира и Песнь Песней Соломона, а лукавое озорство дневника Лотарио перекликается с фривольностью мемуаров Казановы.

Предыдущие книги Дж. Уинтерсон («Есть и другие фрукты, кроме апельсинов», «Страсть», «Сделать вишню эротичнее») удостоены различных премий и наград, не раз переиздавались, были успешно экранизированы. Ее новый роман вызвал большой резонанс и выдвигается на премию «Букер».

БАРТ ДЭВИД ШВАРЦ

Реквием по Пазолини

Barth David Schwartz. **Pasolini Requiem. «Pantheon»**

Сотрудник журнала «Сайнтифик американ» Барт Дэвид Шварц предпринял попытку воссоздать жизнь великого Пьера Паоло Пазолини. В новой широкомасштабной (в книге более 730 страниц) биографии весьма подробно представлена личная и творческая судьба итальянского писателя, поэта, художника и кинорежиссера. В частности, автор детально излагает обстоятельства кошмарной гибели Пазолини в 1975 году от руки молодого авантюриста. Как известно, эту смерть некоторые исследователи и литературоведы (например, Джузеппе Дзигайна) склонны считать тщательно спланированным опосредованным самоубийством. В своей версии этой трагедии Б. Д. Шварц опирается как на итальянские источники, так и на произведения самого мастера.

Яркой, неординарной личности Пазолини всегда было тесно в узких рамках общепринятых условностей и так называемых «моральных ценностей». Оберегая прокрустово ложе морали, общество одарило нонконформиста соответствующим ярлыком («скандальный» и т. п.) и неустанно травило Пазолини: его книги и фильмы 33 раза подвергались судебным преследованиям. Американский журналист, анализируя многочисленные факты, убедительно показывает естественную, исконную связь политики и сексуальности, столь характерную для творчества Пазолини. Его талант, питаясь иронией, продвигался к интеллектуальной ясности, находился в постоянном поиске наиболее сильных выразительных средств и живо откликался на требования современности; послевоенный Рим «надиктовал» Пазолини рассказы о бедняках, а в 60-е годы его увлекло расцветавшее кино Италии.

ПАТРИК ЭРУАР-СИАД

Океания

Patrick Erouart-Siad. **Océanie. «Seuil»**

Тридцативосьмилетний Патрик Эруар-Сиад пока занимает относительно скромное место в современной франкоязычной литературе. Однако отсутствие громких титулов и званий отчасти компенсируется своеобразием культурных корней молодого автора. Его отец — француз, а мать — уроженка небольшого восточноафриканского государства Джибути. Смесь двух диаметрально разных миров, характерная для личной судьбы Эруар-Сиада, находит заметное отражение и в его книгах.

Новый роман «Океания» — это история жизни молодого папуаса по имени Ту; он, еще отрок, беззаботно пасет свиней и играет с магическими морскими раковинами на песчаных берегах Новой Гвинеи. Такое безоблачное существование заканчивается, когда старейшины племени решают послать Ту в далекое путешествие, чтобы он познал тайны иных народов — белых, желтых, черных,— вернулся и поведал обо всем соплеменникам. Так накануне второй мировой войны начинаются долгие, затянувшиеся на несколько десятилетий странствования отважного, до наивности бесхитростного и доверчивого посланца. Он побывает на многих островах Тихого океана, в Японии и Австралии, на японском китобойном судне среди пьяных и жестоких матросов, на американском авианосце среди негров, индейцев и мексиканцев. Его ожидают открытия и разочарования, отчаяние и одиночество, любовь и радость. В конце концов, многое повидав, многое поняв, многому научившись, «современный Одиссей» вернется на родину и расскажет обо всем, что довелось пережить. Ту, этот маленький язычник, останется сыном туземного племени, но тот новый, другой мир сильно изменит его и примет в свои сыновья.

МАРГАРЕТ ЭТВУД

Добрая порода

Margaret Atwood. **Good Bones. «Bloomsbury»**

Эту новую книгу крупнейшей канадской писательницы можно лишь условно назвать сборником рассказов — настолько мозаична череда представленных в ней разножанровых сюжетов. Ее открывает фантазийная зарисовка «Дурные вести», которые, по мнению автора, действительно «не лежат на месте», ибо в повествованиях о бедствиях и несчастьях есть некая притягательность. В следующих сюжетах Маргарет Этвуд предоставляет возможность высказаться известным персонажам: Рыжая Курочка по-новому истолковывает свою историю о бережливости, предостерегая от бремени домашних забот; Гадкой Сестре Золушки и Злой Мачехе удается замолвить словечко за себя; королеве Гертруде — поведать свою версию событий в «Гамлете».

Полеты безудержной фантазии в одних случаях совершаются на низкой высоте от Земли из-за тяжести ее проблем (перенаселение, войны, экологические катастрофы), в других — вырываются в космическое пространство. Оттуда писательница всматривается в земную жизнь глазами инопланетян. Они изучают характерные модели поведения «пещерных людей» (новелла «Возвращение домой»), наблюдают за действиями «кровеносных существ», постигая таинства их смерти («Хладнокровные») и рождения («Чужая территория»). «А теперь восславим глупых женщин»,— предлагает далее М. Этвуд в одноименном этюде-литании, где перечисляется все то, чем литература обязана дамам недалекого ума.

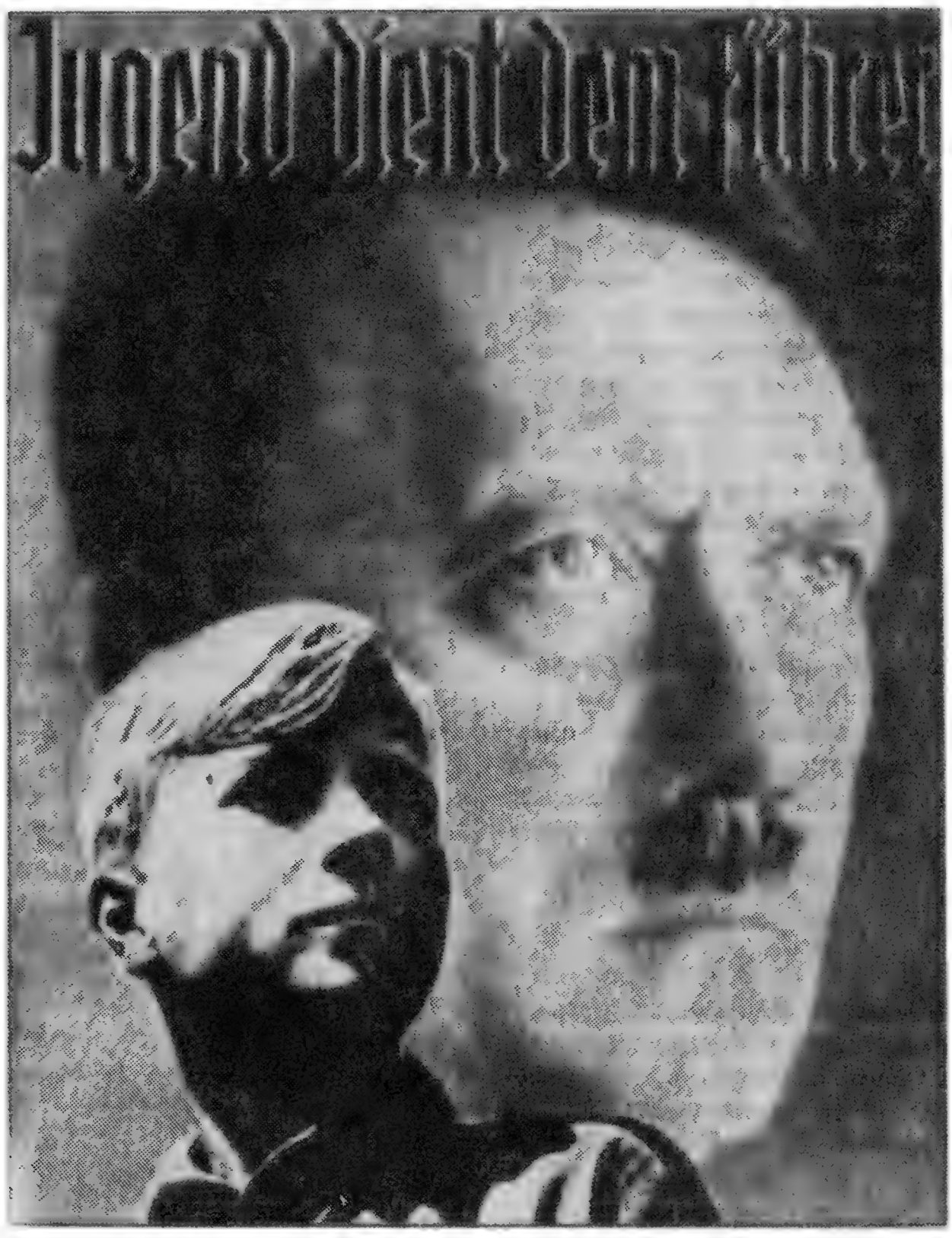
Эту художественную галерею завершает полотно, давшее название книге. На языке оригинала «добрая порода» — буквально «хорошие кости» — подразумевает и «тонкая кость», и «здоровяк», «силач» и «святые мощи». Маргарет Этвуд обыгрывает значения этого словосочетания, дабы отметить вехи бытия.

Великобритания

ПО ГОРШКУ И КРЫШКА

Адольф Гитлер считал себя не только политиком, но и художником и поэтому твердо решил: после прихода к власти в 1933 году национал-социалисты обеспечат такой расцвет культуры, которому изумится весь мир. Вскоре мир действительно изумился — однако причины были другие. Нацисты жестко подчинили все виды творчества идеологическим и политическим требованиям государства, с яростью изгнали всякое современное искусство из картинных галерей, театров и концертных залов (в области музыки «вредными» оказались и Малер, и Хиндемит, и джаз). Взамен «сверхлюди» наводнили все пошлыми и бездарными «произведениями».

Суть нацистского культурного эксперимента и причины его провала — такова тема книги исследователя Питера Адама «Искусство третьего рейха», основанной на его же одноименном двухсерийном документальном фильме (в 1989 году он был удостоен первой премии Британской академии кино- и телеискусства). То, что идея создания чисто арийского искусства провалилась, фашистские лидеры поняли довольно быстро. Говоря о театре «новой Германии», Йозеф Геббельс заметил: «Для сегодняшнего дня недостаточно иметь лишь классику и безобидные пустые пьески». К тому моменту были запрещены все шедевры Веймарского периода, а из классиков не тронули — да и то частично — Гёте и Шиллера. Даже фюрер, казалось, был обескуражен отсутствием каких-либо признаков культурного расцвета; он постепенно перестал покупать для своих резиденций современную немецкую живопись, а в речах все больше делал упор не на качественные изменения искусства, а на то, что оно наконец-то «принадлежит народу», который со временем возродит его.



«Молодежь служит фюреру». Плакат 1936 года.

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью».)

Нацистам требовалось лишить «культурную элиту» всякого влияния, для чего, например, в 1936 году была фактически запрещена деятельность искусствоведов и критиков: им разрешалось лишь описывать произведения, связанные с определенным кругом тем — храбрость, патриотизм, жертвенность, преданность, материнство, родина. При этом, разумеется, остались за бортом и были уничтожены всевозможные «разлагающиеся» направления — дадаизм, кубизм, экспрессионизм, абстракционизм... Возобладавший реализм сочетался с воспеванием мифологических сюжетов (ведь национал-социализм предполагался

Х. С. Цайглер «Музыка дегенератов». Обложка каталога выставки в Дюссельдорфе в 1938 году.

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

как воплощение древнегреческого идеала). Однако подражание Элладе зачастую превращалось в карикатуру. Так, на картине Адольфа Циглера «Суд Париса», по замечанию одного американского историка, Парис явно думает не о трех красавицах, а о том, скоро ли он получит звание группенфюрера СС. К концу 30-х годов относительно мирные буколические и мифологические сцены сменились более агрессивными военными.

Официальными скульпторами режима были Арно Брекер и Йозеф Торак, которые специализировались на мускулистых мужских фигурах-символах. Работы Брекера под названием «Армия» и «Партия» особенно ценил Гитлер, считая их шедеврами германского искусства всех времен. Как пишет Питер Адам, эти мощные обнаженные тела, как и архитектура третьего рейха, страдают тяжеловесной, пугающей грандиозностью, подавляющей в зрителе все личностное, человеческое.

Италия

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП «МОНДАДОРИ»

В минувшем сезоне солидное миланское издательство «Мондадори» порадовало читателей множеством интереснейших новинок. Среди произведений маститых авторов заметен роман «Пушечный фитиль» с подзаголовком «Хроники войны на море» Дино Буццати — это своего рода репортаж о трагических и героических страницах истории итальянского флота во времена последней войны. Совсем иную тему разрабатывает видный литератор и критик Энцо Сичильяно: его роман «Синий пакет» рассказывает о дружбе двух римских подростков в 50-е годы, об их надеждах, увлечениях, о пробуждении таланта. Драматург, режиссер театра и кино Джузеппе Патрони Гриффи описывает ночные похождения двух приятелей и их «сладкую жизнь» в Риме и дает реалистичный портрет современного столичного общества («Из железа и плоти»).

Север и Юг Италии сильно разнятся, однако «северное» издательство «Мондадори» с успехом публикует южан. Винченцо Консоло родился на Сицилии и лишь в зрелом возрасте переехал в Милан; его роман «Ночью, дом за домом», удостоенный премии «Стрега» за 1992 год, озаглавлен символично, ибо повествует о зарождении фашизма в 20-е годы и его продвижении по Сицилии. Еще один сицилиец, Энцо Руссо, пишет о родном острове, глядя на него глазами своего персонажа, через много лет вернувшегося в отчий дом, ставший чужим и опасным («Колосящаяся пустыня»). Настоящим литературным событием стала книга «Огонь в душе» — сборник впервые публикуемых бесед писателя, эссеиста Леонардо Шаши (1921—1989) и критика Доменико Порцио (1921—1990). В них Л. Шаша говорит о мафии, о церкви, о Сицилии и сицилийском «эросе», о своей юности.

Обложка сборника «Позови когда хочешь».

(Каталог издательства «Мондадори»)

Обложка книги Лилианы де Куртис «Тото: сделать исключение».

(Каталог издательства «Мондадори»)

Среди документальной прозы и публицистики выделяется исследование «Итальянцы и Церковь» Джордано Бруно Гуэрри — это первая книга, анализирующая тысячелетнее влияние религии вообще и католической в частности на характер Италии и ее народа. В жанре мемуаров блеснула Лилиана де Куртис — дочь знаменитого комика Тото; она живо поведала о яркой, неординарной личности отца, а Федерико Феллини снабдил эти воспоминания своим предисловием («Тото: сделать исключение»). Писательница и журналистка Мирелла Дельфини предложила читателям весьма необычную книгу под названием «Послушай, кто говорит». Это выдуманные интервью с 60 животными: звери с юмором отзываются о людях и о самих себе. «Бог нас создал бесплатно» — этот бестселлер состоит из сочинений школьников о Боге, деве Марии, Евангелии и десяти заповедях. Предыдущая аналогичная антология разошлась тиражом в миллион экземпляров, а подготовил ее к публикации бывший учитель Марчелло Д'Орта. Журналисты Карло Фруттеро и Франко Лучентини — также авторы международных бестселлеров; их очередная совместная книга «Дурак возвращается» завершает трилогию о человеческой глупости и делает вывод: после нескольких лет затишья дураки вновь вышли на передний план в политике, прессе, кино и на телевидении.

Что касается молодых писа-

телей, то помимо издания новых книг талантливых и уже популярных Лары Карделлы и Сильвии Баллестры (им 24 и 23 года) состоялся дебют оригинального литературного дарования — Алессандро Голинелли. Его роман «Лишь бы заплатили» — это история юноши, которого окружают жестокость, насилие и продажность, но который, как и все его сверстники, мечтает о дружбе, любви, нормальной работе. Конкурс для начинающих авторов, организованный издательством «Мондадори», выиграл сборник из 19 эротических рассказов «Позови когда хочешь»; в нем отражается фантазия и психология современной молодежи, отношение к любовной страсти в себе и в других.

Физиономия из овощей (брокколи, луковицы, баклажан, стручок зеленой фасоли).

(Журнал «Паблишерс уикли»)

США

ВОТ ВАМ И МИЗАНТРОП!

Уильям Берроуз давно известен читающей публике как автор едко-сатирических и кошмарно-фантасмагорических произведений — достаточно вспомнить его нашумевший роман «Голый завтрак». Однако в своей последней небольшой книге «С кошкой внутри» (издательство «Викинг») он открылся с совершенно новой и весьма неожиданной стороны. Оказывается, У. Берроуз, этот мизантроп и мастер изображать жестокость, обожает кошек. Он подробно и любовно описывает повадки, привычки и особенности грациозных пушистых созданий; рассказывает о том, как ему случилось подружиться с осиротевшим котенком по имени Сухарик; размышляет о давней, таинственной связи между кошками и их двуногими старшими братьями, которая зародилась еще в Древнем Египте. При этом У. Берроуз демонстрирует не только незаурядную эрудицию, но и теплый, лиричный юмор. Например, однажды, когда автор собирал вещи для короткой поездки в Нью-Йорк, он в какой-то момент вдруг почувствовал, что уже упакованный чемодан стал как будто тяжелее: внутри сидели четыре котенка! Это его пестрая домашняя кошка по имени Семицветик Джоун посадила туда своих детенышей, словно хотела сказать: «Не оставляй моих малышей, возьми их с собой». А сам Уильям Берроуз, обращаясь к любителям кошек во всем мире, говорит своей новой книгой: «Помните, всегда помните, что миллионы котят, котов и кошек, мяукающих в ваших домах по всей Земле, любят вас и полностью доверяют вам».

«КУЛИНА» — НА ЛАТЫНИ ЗНАЧИТ «КУХНЯ»

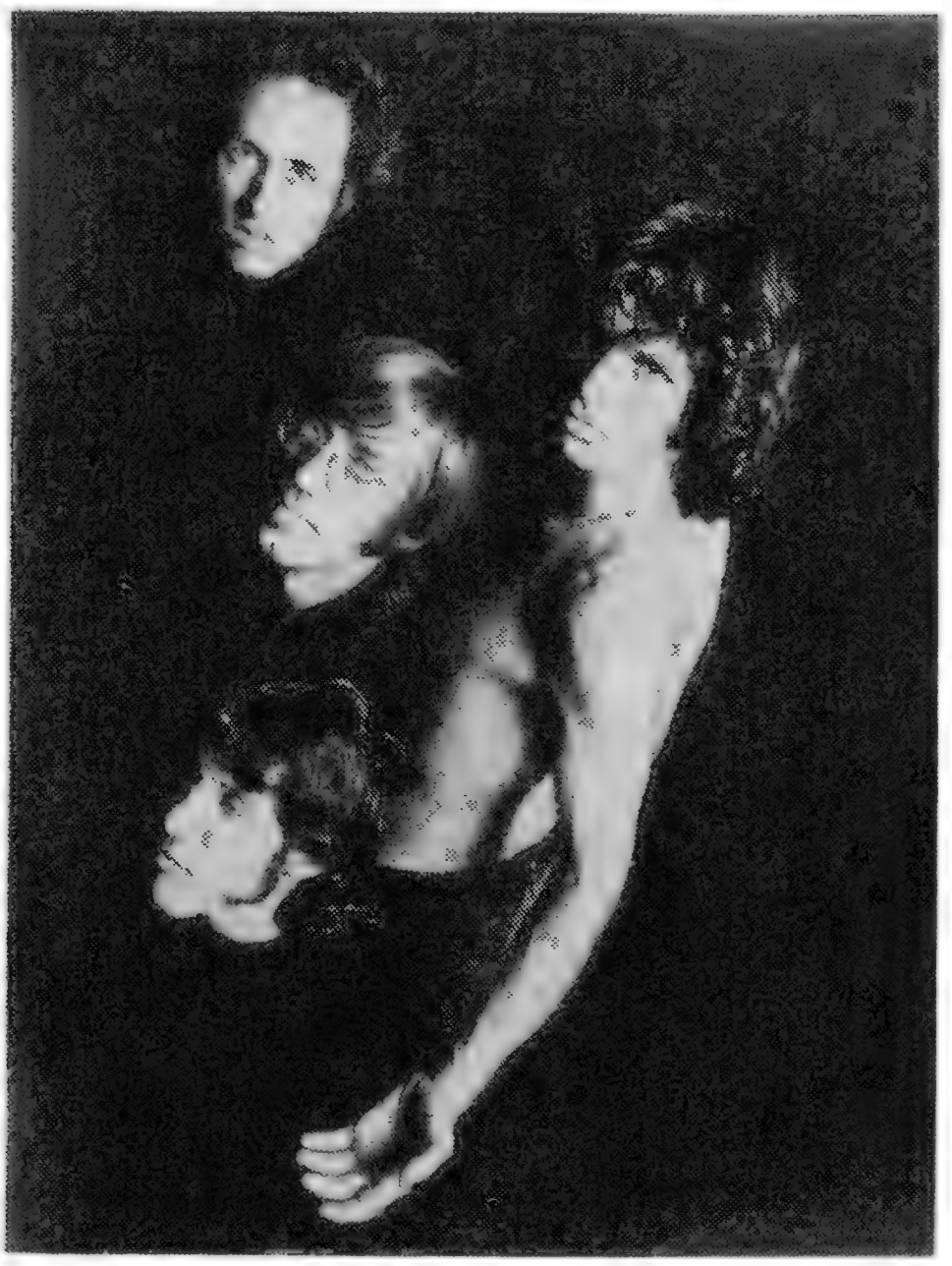
Многие крупные американские издательства (не считая специализированных) регулярно публикуют кулинарные книги, которые неизменно пользуются спросом. Одна из причин, видимо, кроется в том, что американцы и американки, несмотря на обилие ресторанов, кафе и прочих подобных заведений, любят готовить сами. Не залеживаются на полках пособия по выпечке собственного хлеба, причем, как свидетельствуют владельцы книжных магазинов, покупают их в основном мужчины. Сейчас самой популярной в Америке считается кухня Таиланда, хотя не уступают позиций французская и итальянская. Вообще кухни средиземноморских стран ценятся, потому что их блюда не только вкусны, но и полезны. Заботой о здоровье объясняется и все большее распространение вегетарианства, которое из манеры питаться превращается в стиль жизни.

Однако у американцев, помимо практичности, гурманства и стремления к разнообразию, есть и многие другие мотивы. Ведь через еду можно приобщиться к культуре иного народа или даже иной эпохи, поэтому многие экзотические кулинарные книги содержат, наряду с рецептами, описание соответствующей посуды, сервировки стола, порядка подачи блюд и напитков, значение конкретного элемента трапезы. Например, в средневековье гостю в знак особого уважения давали самому смешивать вино с водой. Любопытно, что вышедшая недавно «Средневековая кулинария» Мэгги Блэк сразу нашла свой — и немалый — контингент читателей. В поисках новых кулинарных идей некоторые издатели углубились еще дальше в историю: издательство Чикагского университета опубликовало рецепты Древнего Рима. Современных поваров (и едоков) они поражают как необычностью блюд, так и отсутствием многих привычных продуктов: томатов, картофеля, кукурузы, кофе, сахара, риса... Не меньше внимания привлек первый перевод на английский язык знаменитой поваренной книги Елены Молоховец. Изучая классическую русскую кухню, американцы не забывают и о своей: вновь и вновь переиздаются бестселлеры в этой области, в частности, сборник «Искусство питания» широко известной М. Ф. Фишер.

Невиданного доселе размаха достигла публикация кулинарных книг для детей. Поскольку взрослые заняты на работе, юные повара смело берутся приготовить что-нибудь вкусное себе, а то и всей семье. Это и реальная помощь по дому, и возможность проявить фантазию, удивить родителей и гостей. Издатели стараются учитывать возраст кулинаров, поэтому в книгах много рисунков, а рецепты, как правило, просты, понятны и нередко забавны: «буквенная» лапша, печенье в виде смешных рожиц. Иногда «вместе» с детьми готовит или «рассказывает», что и как нужно делать, полюбившийся им персонаж сказок или мультфильмов.

СВЕТ УГАСШИХ ЗВЕЗД

Джимми Хендрикс, Джим Моррисон и Дженис Джоплин — эти три звезды рок-музыки стремительно и ярко загорелись в конце 60-х, но столь же быстро — уже в начале 70-х — навек погасли одна за другой. Однако популярность их ничуть не уменьшилась: например, ежегодно раскупается 300 000 экземпля-



Группа «Дорз»

(Журнал «Паблишерс уикли»)

ров записей Дженис Джоплин. В нынешнем году певице исполнилось бы 50, и среди биографических книг, выпущенных к этому юбилею, особое место занимает «Целую, ваша Дженис». История жизни звезды, написанная ее сестрой Лорой, ценна впервые публикуемыми письмами Дженис домой, в родной Техас. В них бунтарка и нонконформистка, любимица рок-групп из Сан-Франциско и их поклонников предстает совсем иной — беззащитной и ранимой.

Не ослабевает интерес и к творчеству группы «Дорз» («Двери»), хотя гибель лидера, Джима Моррисона, в 1971 году практически положила конец выступлениям и записям. Журналист Дэнни Шугерман, близко знавший музыкантов, подготовил уникальный сборник «Слова всех песен «Дорз». В него, помимо 100 песен, вошел посмертный поэтический альбом «Американская молитва», а также тексты многочисленных журнальных рецензий, интервью, очерков. Кроме того, сборник украшают 75 редких фотографий легендарной рок-группы, число поклонников которой возросло после шумного успеха художественного фильма Оливера Стоуна. Теперь у любителей рок-н-ролла есть еще одна возможность вспомнить своих кумиров.

ФРАНЦИЯ

И РАДУЕТ ГЛАЗ, И О МНОГОМ ГОВОРИТ

Весьма любопытную книгу предложил читателям исследователь цветовой символики и геральдики историк Мишель Пастуро. Его «Словарь современного значения цветов» (издательство «Бонтон») включает в себя около сотни статей и затрагивает самые разные, порой неожиданные, вопросы: отчего в наши дни на невесте белое платье, в то время как веками оно было ярко-красным? Почему голубое мужское белье все чаще соперничает с белым? С чем связан цвет ползунков, пачек сигарет и книжных обложек? Используя широкий временной и пространственный диапазон, М. Пастуро показывает, как в значении цвета в той или иной культуре отражаются его восприятие и стиль жизни данного общества в данную эпоху.

Например, в странах западной культуры черный цвет издавна символизировал власть, а одетый в черное человек внушал почтение, даже страх (судья, священник, полицейский, арбитр на футбольном поле). Кстати, футбольный судья полностью «почернел» лишь приблизительно к 1925 году, а до того отличался от однотонной, как правило, формы игроков черно-белой полосатой одеждой — в некоторых видах спорта (в частности, в хоккее) арбитры и сегодня похожи на зебру.

Своеобразна история красного цвета: в средневековье это цвет преступления и греха; во Франции вплоть до XIX века в красное одевали заключенных и каторжников. Значение красного (а это первоначально цвет крови) постепенно изменилось, и он все чаще стал символизировать запрет. Универсальность такой его функции хорошо известна — светофор, штрафная карточка футболисту и т. д. С конца средневековья наблюдается противопоставление «красный (женское) — синий (мужское)». Продолжение его проявляется в более мягком варианте «розовый — голубой» при выборе вещей для младенцев. Однако в Бельгии девочку могут одеть в голубое, а мальчика — в розовое; а кое-где в Испании и Италии вместо розового используют красный.

Пожалуй, самая удивительная судьба у желтого. В античности (Древняя Греция, Рим) этот цвет был в чести и играл важную роль в общественной жизни и религиозных ритуалах. К XIV веку он стал символизировать трусость, подлость, вероломство и предательство (на картине Джотто, например, Иуда, целующий Христа, изображен в желтой накидке). Тогда же в некоторых частях Европы его стали связывать с изгоями и отверженными (евреи, мусульмане, прокаженные и т. д.), а затем с больными и сумасшедшими (желтые дома). Единственной положительной стороной его восприятия оставалась ассоциация с золотом. К началу XX века, согласно общеевропейским опросам, желтый оказался наименее предпочитаемым среди цветов. Его частичная реабилитация состоялась лишь в 1919 году, когда на победителе велогонки «Тур де Франс» появилась желтая майка лидера.

По материалам еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США), журналов «Плюраль» (Мексика), «Лир», «Магазин литтерер» (Франция), «Паблишерс уикли» (США), каталогам издательств и сообщениям наших корреспондентов.

Авторы этого номера

РОБЕР МЕРЛЬ (ROBERT MERLE; род. в 1908 г.) — французский писатель, лауреат Гонкуровской премии. Автор романов «Уик-энд на южном берегу» («Week-end á Zuydcoote», 1949; рус. пер. 1969), «Смерть — мое ремесло» («La mort est mon métier», 1952; рус. пер. 1963), «Остров» («L'île», 1962; рус. пер. 1963), «Разумное животное» («Un animal doué de raison», 1967; рус. пер. 1969), «За стеклом» («Derrière la vitre», 1970; рус. пер. 1972), «Мальвиль» («Malevil», 1972; рус. пер. 1977), пьесы «Сизиф и смерть» («Sisyphe et la mort», 1950; «ИЛ», 1955, № 4), романа-репортажа «Солнце встает не для нас» («Le jour ne se lève pas pour nous», 1986; «ИЛ», 1988, № 10), цикла исторических романов, посвященных эпохе религиозных войн во Франции XVI века, пьес, документальных и др. произведений.
Роман «Мадрапур» вышел во Франции в 1976 году («Madrapour». Paris, Éditions du Seuil, 1976).

КШИШТОФ КОНКОЛЕВСКИЙ (KRZYSZTOF KĄKOLEWSKI; род. в 1930 г.) — польский прозаик и журналист. Дебютировал в литературе в 1956 г. Автор сборников рассказов и репортажей о судьбах поляков во время второй мировой войны: «Три злотых за слово» («Trzy złote za słowo», 1964), «22 истории, которые написала жизнь» («22 historii, które napisało życie», 1967), «17 историй, которые написала война» («17 historii, które napisała wojna», 1971), «Как вы теперь поживаете?» («Co u pana słychać?», о нацистских военных преступниках; отрывки из этой книги опубликованы в «ИЛ», 1976, № 8). В последующие годы им написаны повести и рассказы «Парадиз» («Paradiz», 1988), «Дневник тем» («Dziennik tematów», 1984), «Суждения и зондаж» («Sądy i sondy», 1991).
Публикуемые рассказы взяты из сборников «Документальные сказки» («Baśnie udokumentowane». Warszawa, Iskry, 1978), «На сто сороковом километре влево» («Na sto czterdziestym kilometrze w lewo». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1978), «Лето без каникул» («Lato bez wakacji». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986).

ДЭВИД МЭНИКОМ (DAVID MANICOM; род. в 1960 г.) — канадский поэт. Переводы публикуемых стихотворений выполнены по изданию «Теология ласточек» («Theology of Swallows». Lantzville, Oolichan books, 1991).

КАГРАМАНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — публицист и литературный критик. Автор книг «Метаморфозы нигилизма» (1986), «Кто готовит апокалипсис» (1988), «Америка похищает Европу» (изд. АПН на английском, французском и немецком языках) и др. Статьи Ю. Каграманова печатались в журналах «Вопросы философии», «Новый мир», «Иностранная литература» и др.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

ВАКСМАХЕР МОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1926 г.) — переводчик, литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги очерков «Французская литература наших дней» (1967), сборников переводов «Поль Элюар. Стихи» (1971), «Страницы европейской поэзии. XX век» (1976), «Страницы африканской поэзии. XX век» (1980), переводил стихи Г. Аполлинера, Сен-Жон Перса, Р. Шара, П. Сегерса, А. Френо, Ж. Руссло («ИЛ», 1988, № 1), Гильвика, А. Боске, Я. Рицоса и др. В его переводах издавались романы: «Воспоминания Адриана» М. Юрсенар, «Ночной полет» и главы из книги «Цитадель» А. де Сент-Экзюпери, «Большой Мольн» Алена-Фурнье, «Взгляд египтянки» («ИЛ», 1977, № 1) и «Дитя-зеркало» Р. Андре («ИЛ», 1984, № 1), эссеистика А. Моруа, А. Мальро и др.

ПАРИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1944 г.) — русский поэт, переводчик, критик. Автор книг лирики «Избранные стихи» (М., 1990) и «Интерлюдии» (Ф., 1991). В его переводах публиковались трагедия Софокла «Антигона» и элегии Овидия, книга «Средневековая французская лирика», стихи Ф. Петрарки, П. Ронсара, Дж. Донна, Дж. Китса, И. Эйхендорфа и др. поэтов-классиков. В «Иностранной литературе» печатались его переводы П. Целана (1974, № 5), Ж. Рубо и Б. Варгафтига (1979, № 8), Э. Паунда (1991, № 2).

ИГНАТЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1947 г.) — доктор философских наук; автор книг «Халифы без халифата» (1988), «В поисках счастья» (1989) и других работ по истории и современному состоянию исламской философии, этики и политической мысли. Директор исследовательской программы «Новый Восток» в «Горбачев-Фонде».

Цветные иллюстрации номера — работы венгерского скульптора МАРГИТ КОВАЧ.

По всем вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47.

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 04.03.93. Подписано в печать 29.04.93. Формат 70X108 1/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,53. Заказ № 3574.

Тираж 102 000 экз. Цена по подписке 33 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 «Иностранная литература», № 6 , 1—256